Александр

СОЛЖЕНИЦЫН

ПУБЛИЦИСТИКА







ПУБЛИЦИСТИКА

В трех томах

ТОМ 3

Статьи,
письма,
интервью,
предисловия

ЯРОСЛАВЛЬ
«ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»
1997

ББК Р7
С60

Солженицын А. И.

С60 Публицистика: В 3 т. Т. 3. — Ярославль: Верхняя Волга, 1997. — Т. 3: Статьи, письма, интервью, предисловия. — 1997. — 560 с.
ISBN 5-7415-0478-7

Предлагаемое трехтомное собрание публицистических произведений Александра Солженицына впервые печатается в России и существенно расширено и дополнено по сравнению с западными изданиями.

В третьем томе впервые собраны и печатаются в хронологическом порядке статьи, письма, общественные заявления, интервью писателя за годы 1982—1994, вплоть до возвращения на родину. Больше половины их никогда не публиковались в России. В этом томе, помимо политической публицистики, значительное место занимают литературно-критические эссе и интервью на литературные темы. В отдельный раздел помещены предисловия к книгам (1971—1991). Том завершается «Грамматическими соображениями», плодом размышлений автора над современным состоянием русского правописания.

С $\frac{4702010204}{М139—03—97}$ 97 ББК Р7

Издание выпущено в свет при содействии
Государственного Комитета РФ по печати

ISBN 5-7415-0478-7

НА ЗАПАДЕ

1982-1994

ГЛАВНЫЙ УРОК

Статья для журнала «Экспресс», 15 января 1982

В чём главный урок декабрьских польских событий? За последние 65 лет этот самый урок преподан миру — то более, то менее отчётливо — добрых сорок раз. И все сорок раз западные умы постарались не заметить его, не понять или изъяснить криво. Каких только не слышим мы и теперь истолкований: от наивного негодования, что Западу испортили Рождество (подобные вопросы я получил от одной английской газеты), до фантастического миража, что в Польше объявилась военная хунта южно-американского образца — и она оттеснила ослабевшую компартию.

Наверно, компартию, взявшую власть, оттеснишь! Кто, когда и где её оттеснил?

А самое простое объяснение — внешняя сила, «Кремль заставил Ярузельского». Но если «Кремль заставил» — достаточное объяснение, то ведь и советскую армию и даже советских чекистов тоже ведь «заставляют», — значит, они не виновны? Тогда и все мы, подсоветские люди, тоже ни в чём не виновны: нас всех тоже «заставил Кремль» ещё с 1918 года — ЧК, расстрелами, потопленьями барж с живыми людьми, концлагерями на многие миллионы людей, уничтожением населения в размерах, беспрецедентных в мировой истории. И мы тоже объективно укажем, что на первых порах «Кремль» охотно опирался и на внешнюю силу: сотни тысяч военнопленных, получивших право свирепствовать в чужой стране. Да, конечно, коммунизм никогда не побрезгует опереться на внешнюю силу — но недостойно и самообманно класть это в главное объяснение. Если коммунизм укрепился в России, на Кубе или в Абиссинии — то, значит, нашлось достаточно охотников из народа этой страны проводить его палаческие жестокости, а остальной народ —

не сумел сопротивиться. И виноваты — все, кроме тех, кто погиб, сопротивляясь.

«Кремль заставил»? Да. Но зачем же Ярузельский, и польская милиция, и польская армия, — зачем они подчинились? Как же могло сразу найтись исполнителей больше полумиллиона? Среди сорока предыдущих уроков польский тем особенно ярок, что перед нами — как никакая другая, цельная единая однородная нация, сплочённая своим религиозным и национальным чувством, — как будто невозможно её расколоть! — но вот из неё же находится нужное число коммунистических исполнителей. А среди тех поляков, кто сегодня негодует, может быть найдём и таких, кто в 1945 уничтожал Армию Краёву? (Как и среди жертв Праги 1968 найдём немало тех, кто с энтузиазмом устанавливал коммунизм в 1945 и издевался над беглецами из СССР.)

Вот и урок: что опасность человечеству XX века — не в отдельных странах, не в отдельных нациях, не в отдельных правителях — а в мировом зле коммунизма. Что коммунизм уже 65 лет победно и почти беспрепятственно идёт по миру — и нет такой нации в Европе, которая бы не готова была поставить ему нужное число палачей, а затем покориться и вся. Сегодняшняя ФРГ? — почти уже лежит плашмя перед коммунизмом, даже не надо звать кадры из ГДР. В сегодняшней Франции? — уже давно не скрывается партия, за которую голосуют миллионы, объявляющая о своей готовности поставить нужные кадры. И достаточно — больше, чем в Польше, — найдётся их в Италии, Испании и Великобритании.

Не в том новость, что «Кремль заставил», а — человечество по сегодняшний день не подготовлено, слабо́ противостоять запредельному, умонеохватимому злу коммунизма, всегда застигается им врасплох. Не в том грозность, что «Кремль заставил», а: мы все, человечество, по нашей духовной слабости даём себя вогнать в гроб коммунизма. Как легко сегодня выражать запоздалые сочувствия Польше и пламенные надежды, что поляки подымутся из-под ярма и тем загородят шествие коммунизма по Европе, — но зачем же в 1946 году западные союзники так беспечно предали

эту Польшу (и Болгарию, и Румынию) в пасть коммунизма? И какая новинка в оккупации Афганистана, если Троцкий на вершине власти так и писал, что «путь в Берлин лежит через Афганистан», а Ленин ещё в программу 1915 года в Швейцарии поставил: вторжение своей (ещё не существовавшей) революционной армии в Индию!

Да, мировой коммунизм — всегда внешняя сила, по отношению ко всякому народу. В польском уроке то и выпукло, что даже Польша, с её вольнолюбием, с её всенародным порывом к свободе, — вот терпит поражение. А ни в какой западно-европейской стране не накопилось и сравнительной силы сопротивления. От этого польский декабрь звучит похоронным маршем той Европе, которая от 1918 до 1981 так и не поняла степени опасности *себе самой.*

Стало модно усыплять себя, что «идеология коммунизма мертва», потерпела катастрофу. О, она ещё в достаточно багровом расцвете, чтобы подчинить себе весь мир. Вместе с Брежневым и Ярузельским за нынешние события в Польше отвечает и Дэн Сяо-пин, и Пол Пот, и Кастро, и никарагуанские вожди, и Марше, и — да! — Берлингуэр и Карильо, как бы они ни изображали вслух протеста. По Польше давящей поступью идёт *их* идеология, именно она! (И для гневно протестующих социалистов это тоже, признаться, родное: ведь идеология всякого социализма основана на насильственных государственных действиях. Не спутаем: «Солидарность» вдохновлялась вовсе не социализмом, а — христианством.)

«Идеология умерла»? Прежде чем она умрёт — она ещё как бы не успела развалить и завоевать весь Запад и пососать его кровь. Коммунистическая идеология — это такая неестественная метафизическая сила, которая действует как бы вопреки законам физики, экономики и социологии. Вместо того чтобы неизбежно лопнуть — она побеждает. Она побеждает — слабостью Запада. Идеология коммунизма ещё может пережить и СССР, и коммунистический Китай: на Земле ещё найдётся для неё другой питательной почвы.

Уже 65 лет Запад — каждый год и каждый месяц — склоняет и свои весы в ту же сторону — чтобы пасть и

подчиниться. Несколько поколений европейцев позволили себе отдаться комфорту, когда к востоку от Буга убивали и вымаривали десятки миллионов. Так и сегодня духовно потерянные европейские пацифисты спешат дать подножку Соединённым Штатам, намеренным, может быть, сопротивляться. В Европе господствует надежда не на самих себя, а только — на внешнее чудо, на успех туманных переговоров с коммунистами.

Но чудо — не приходит к потерянным душам. И никакие переговоры с коммунизмом никогда не были плодотворны для Запада, всегда — поражение. (Два видимых исключения: Австрия — личный жест Хрущёва, и запрет воздушных ядерных испытаний — защитная реакция планеты). Все переговоры — от Генуи (1922) через Ялту, Хельсинки и до сегодняшней Женевы, — всё кончалось обманом Запада и выигрышем коммунистов. Тщетно надеяться и теперь. Западные демократии обеими руками держатся за иллюзии.

Слепота — верить в спасительные переговоры с бессердечным противником, когда Запад слаб в своей основе, в результате трёхвекового развития самой Европы. Нынешнее общество Запада, как оно существует, всё более в виде потребительского, разочарованного в труде, гедонистического, с разрушаемой семьёй, наркоманского, атеистического и парализованного терроризмом, — исчерпало свою жизненную силу, потеряло духовное здоровье, — и в сегодняшнем виде не может выжить.

И социализм — не выход, а только другая форма той же болезни.

Да, покорённые народы то там то здесь ещё будут пытаться подыматься, и когда-то будут иметь успехи, оплаченные кровью, — но гибелью Запада было бы только на это надеяться, как надеется он сегодня. Надежды всего живущего на Земле могут быть только внутренние: на укрепление *своего* духа и возвышение своих жизненных ценностей.

СКОРО ВСЁ УВИДИМ БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА

Статья для журнала «Экспресс», 23 апреля 1982

Всякую минуту, что мы живём, — не менее одной страны (иногда сразу две-три) угрызается зубами тоталитаризма. Этот процесс не прекращается никогда, уже скоро 40 лет. Но включайте телевидение любой западной страны, раскрывайте любой западный журнал, газету — они полны цветущих улыбок, от вождей государств до рядовых обитателей. Каждый день уменьшается остров западного мира, над ним нависают ракеты, в нём наверчивается осатанелая спираль инфляции, на каждом шагу в мирной жизни рвутся бомбы, стачка ОПЭК грозит оставить без топлива, мир катится в уже не скрытую пропасть, — а Запад цветёт улыбками. Да ведь их отрабатывают ещё у детей как правило социального кода. Американская, например, молодёжь признаёт только принцип «о'кей!» и веселиться, а если кто пожалуется о сомнениях или заботах — значит, он порочный неудачник. Вот эти не сходящие с лиц улыбки в сегодняшнем западном мире пугают меня, кажутся мне зна́ком потерянности. Надрывное желание всегда выглядеть весёлым — унизительно и опасно для человечества. Нас, на Востоке, инерция страдательных десятилетий давно отучила от внешнерадостного вида. Наши лица перед фотоаппаратами остаются такими же осунутыми, как и в жизни.

Всякую минуту, что мы живём, — где-то на Земле одна-две-три страны вновé перемалываются зубами тоталитаризма. Но, не поняв этого ужаса и не желая помочь отбиваться от него, — лишь посылают туда телевизионных операторов, чтоб они фильмировали эту кровь, пот и слёзы, передавали агонию страны, а мы бы в своих удобных гостиных рассматривали бы их. Телевизионные предприниматели, вот и голландские в Сальвадор, посылают операторов не для того, чтобы

выяснить объёмную истину и жестокую угрозу своей же цивилизации, но — как недавно и американские телекомпании во Вьетнам — чтобы доказывать недобросовестно, однобоко, что это гиблое правительство, полно недостатков, и не надо его поддерживать. Странно: отчего же тогда не шлют фильмировать никарагуанские аэродромы, концлагеря, или как сандинисты выкуривают и сжигают индейцев? Потому что их туда никто не пустит — и они сразу смиряются. И едут подсматривать с открытой стороны. И скандалить о каждом замеченном промахе или пороке.

Несчастные эти правительства — уже сорок их прошло и кануло! — обречённые коммунистами в жертву: подрываемые безжалостной тоталитарной бандой — они обязаны перед лицом террора той банды демонстрировать изощрённое демократическое балансирование, иначе именно *их*, а не террористов освищет вся мировая медиа, весь тот мир, который должен был бы стать их союзником, но спешит утопить их. Утопить — и в форме обманных «переговоров», как мечутся сейчас мексиканские и французские неунывающие миротворцы, забывшие все уроки 65 лет: такие «переговоры» на время — как раз то, что и требуется коммунистам, чтобы прикрыть обманными обещаниями своё убивающее проникновение. Но нигде на Земле коммунисты никогда не были остановлены переговорами — и всегда выигрывали от них. (Хоть и вспомните бессмертные переговоры Киссинджера с Северным Вьетнамом.) И — как с демократическим сознанием можно предлагать законному правительству переговоры с мятежниками?

Сегодня победное наступление коммунизма отчётливее всего видно в Центральной Америке. Но, отдав когда-то без всякого сопротивления Кубу (а через Кубу — Анголу и Абиссинию), а сандинистам даже помогав американским сочувствием и деньгами, теперь — для Сальвадора, Гондураса и Гватемалы — можно выдвинуть идею благородных переговоров с обманщиками. И снова подымаются и стройнеют ряды американских пацифистов, не ощущая за плечами мешка так безмозгло проигранного Индокитая: «Только не вмешательство! только не разрешить одному советнику

взять с собою в джунгли одну винтовку! Ещё рано вмешиваться нам!» И т а к — они будут удерживать своё правительство и сами отступать до тех пор, когда коммунисты дойдут до границы Техаса. А тогда — уже слышу, как они взвопят: «А теперь уже поздно, всё упущено! Мы не можем мобилизовать американскую молодёжь. Надо — сдаваться...»

Коммунисты везде уже на подходе — и в Западной Европе и в Америке. И все сегодняшние дальние зрители скоро всё увидят без телевизора и тогда поймут на себе — но уже в проглоченном состоянии.

И какое было бы удобство для Франции и Англии, если бы телевидение уже оперировало в 1918 году! Троцкий в свою армию, разумеется, не допустил бы ни одного, — и не просились бы, и не обижались бы. Не увидели бы их объективы, как он громил жителей Ярославля химическими снарядами и интернациональными отрядами, как расстреливал без суда восставших рабочих Ижевского и Воткинского заводов. Но зато как бы они нахлынули к Деникину и Колчаку, с какой жадностью ловили бы их каждый недемократический шаг, и своими репортажами быстрей бы облегчили западно-европейскую совесть, почему правильно — не помогать и изменить своим недавним союзникам по войне.

Но я так пишу о новейшей русской истории, как если бы на Западе ею (а не прикремлёвскими сплетнями) интересовались и знали бы её. После прошлой моей статьи в «Экспрессе» совсем не рядовые по кругозору французы спрашивали: о каких военнопленных я пишу, что они помогали установить коммунистическую власть в России? Да о тех военнопленных из войск центральных держав, которые были после октябрьского переворота не только освобождены, но получили право *полного* гражданства в стране своего пленения, то есть распоряжаться жизнью чужой страны, — и активно завлекались в ряды Красной армии, так что скоро в девяноста городах России уже стояли из них оккупационные интернациональные гарнизоны — это в пору полной демобилизации самой русской армии.

Много лет все усилия коммунистического аппарата были направлены скрыть от народа нашей страны (и

от Запада) память об истинном ходе событий в начале XX века, и особенно за годы 1917—1922, и изобразить их в версии коммунистов. И задуманное вполне удалось: в СССР гораздо лучше известно начало XIX века, чем начало XX. Историческая память настолько перебита, что даже большинство сегодняшних советских диссидентов вынуждено вести свои построения и предложения на материале не глубже сталинского времени или на внеисторических политических соображениях. Что же сказать тогда о более отдалённой Европе, где усилиями уже не государственного аппарата, но множества революционных энтузиастов создавалось то же заглушение и искажение? (Г-н Суварин и сегодня имеет неутомимость оспаривать, что коммунисты в России — единственная из партий — питались миллионами вильгельмовской Германии.) Поработали тут и заказные художники вроде Эйзенштейна с его прогремевшим, но лживым фильмом «Броненосец Потёмкин» (придуманные, никогда не бывавшие сцены). Только в такой обстановке глубокого непонимания нашей революции может иметь успех в Соединённых Штатах фильм «Красные». А вот скоро подоспеет и советский режиссёр Бондарчук на ту же тему: вялое топтание у незащищённого Зимнего дворца будет, как обещают, изображено неудержимым штурмом десяти тысяч солдат, которых там и в помине не было в 1917.

Возникло на Западе ложное понимание, что современный СССР есть продолжение старой России — а это путь поперёк неё, всрез и на уничтожение. От глаз наблюдателей упущен процесс полного разрыва всех традиций религии, культуры, национального сознания и физического уничтожения десятков миллионов носителей их. В 20-е годы в СССР само употребление слова «Россия» допускалось только уничижительное и ненавистное, а с оттенком преданности — вело к аресту. Тогда гремели стихи советского поэта:

Мы расстреляли толстозадую бабу Россию,
Чтобы по телу её пришёл Коммунизм-Мессия.

С тех пор русская культура смертельно подорвана и ещё встанет ли на ноги?.. А сам русский народ, как уже видят демографы Запада, вошёл в стадию биоло-

гического вырождения, так что за столетие, если не быстрей, должен уменьшиться вдвое, а затем и вовсе исчезнуть с лица Земли! И этот процесс, возможно, необратим.

И как тут не восхититься смелостью Карильо и Берлингуэра! Они — «в оппозиции» социализму «советского образца»! — как будто бы в Корее, или Китае, или Кубе мир где-нибудь видел другой образец. Их было уже сорок проб, и, оказывается, все «недостаточно марксистские». Нет! дайте еврокоммунистам извести ещё 15 миллионов человек, и осуществить ещё два образца социализма, о которых, увы, последующие критики тоже выскажутся, что они «не вполне марксистские». (А разве мало проговорено в самом «Коммунистическом Манифесте», что такое марксизм?) Всё расхождение между этими двумя: итальянские коммунисты считают, что Великий октябрьский переворот сегодня, после 65 лет, уже утратил своё руководящее значение, а испанские — что и сегодня не утратил! Это — тот самый бандитский переворот, который с первых же ленинских дней лишил наш народ всех и всяких прав, затем *отобрал* у крестьян землю — 4/5 всей возделываемой земли России (по революционной легенде — «дал» землю), превратил богатейшую страну в голодную, нищую и уничтожил десятки миллионов людей! Если бы Карильо и Берлингуэр были честны, они давно бы прокляли этот октябрьский переворот с самого его начала и сняли бы со своих партий позорное название «коммунистических».

Молодым людям Запада, сознающим пороки общественной системы, в которой они живут, но уже понявшим и цену коммунизма и честно ищущим некий «третий путь» построения общества, я хотел бы сказать: вместе с вами я тоже углядел достаточно пороков западной системы. И особенно в нынешний монополистический век она утратила многие черты прежде задуманной истинной, ответственной свободы; и страсть к обогащению и наслаждению перешла нравственные пределы; и нередко западные правительства направляются совсем не теми, кто выбран на выборах, а из тени; и безумные капиталисты сами же питают коммунистического зверя на всеобщую и свою собственную по-

гибель. И, разумеется, для будущего мы обязательно должны искать и третий, и четвёртый, и пятый пути, — не всем же одно, но все на высоту! — не в примитивных экономических комбинациях, но в укреплении духовной основы общества. Однако так уплотнились опасности нашего времени, что на поиски те нет отдельного досуга — а уже раскрыта побеждающая пасть второго пути: откусить нам всем головы раньше тех поисков. И надо успевать и не трусить отбиваться от неё.

И это ещё — пока советские коммунисты не помирились с китайскими. А признаки есть. А тогда у них дело пойдёт ещё куда поворотистей.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РЕЙГАНУ

Кавендиш, 3 мая 1982

Дорогой господин Президент!

Я восхищаюсь многими аспектами Вашей деятельности, радуюсь за Америку, что у неё наконец такой президент, не перестаю благодарить Бога, что Вы не убиты злодейскими пулями.

Однако я никогда не добивался чести быть принятым в Белом доме — ни при президенте Форде (этот вопрос возник у них без моего участия), ни позже. За последние месяцы несколькими путями ко мне приходили косвенные запросы, при каких обстоятельствах я готов был бы принять приглашение посетить Белый дом. Я всегда отвечал: я готов приехать для существенной беседы с Вами, в обстановке, дающей возможность серьёзного эффективного разговора, — но не для внешней церемонии. Я не располагаю жизненным временем для символических встреч.

Однако мне была объявлена (телефонным звонком советника Пайпса) не личная встреча с Вами, а ланч с участием эмигрантских политиков. Из тех же источников пресса огласила, что речь идёт о ланче для «советских диссидентов». Но ни к тем ни к другим писатель-художник по русским понятиям не принадлежит. Я не могу дать себя поставить в ложный ряд. К тому же факт, форма и дата приёма были установлены и переданы в печать прежде, чем сообщены мне. Я и до сегодняшнего дня не получил никаких разъяснений, ни даже имён лиц, среди которых приглашён на 11 мая.

Ещё хуже, что в прессе оглашены также и варианты и колебания Белого дома, и публично названа, а Белым домом не опровергнута формулировка причи-

ны, по которой отдельная встреча со мной сочтена нежелательной: что я являюсь «символом крайнего русского национализма». Эта формулировка оскорбительна для моих соотечественников, страданиям которых я посвятил всю мою писательскую жизнь.

Я — вообще не «националист», а патриот. То есть я люблю своё отечество — и оттого хорошо понимаю, что и другие также любят своё. Я не раз выражал публично, что жизненные интересы народов СССР требуют немедленного прекращения всех планетарных советских захватов. Если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно со мною, — их первым действием было бы уйти из Центральной Америки, из Африки, из Азии, из Восточной Европы, оставив все эти народы их собственной вольной судьбе. Их вторым шагом было бы прекратить убийственную гонку вооружений, но направить силы страны на лечение внутренних, уже почти вековых ран, уже почти умирающего населения. И уж конечно открыли бы выходные ворота тем, кто хочет эмигрировать из нашей неудачливой страны.

Но удивительно: всё это — не устраивает Ваших близких советников! Они хотят — чего-то другого. Эту программу они называют «крайним русским национализмом», а некоторые американские генералы предлагают уничтожать атомным ударом — избирательно русское население. Странно: сегодня в мире русское национальное самосознание внушает наибольший страх: правителям СССР — и Вашему окружению. Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, вне государственных форм, которое характерно для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже Ваших советников. Настроение это губительно для будущего обоих наших народов.

Господин Президент. Мне тяжело писать это письмо. Но я думаю, что если бы где-нибудь встречу с Вами сочли бы нежелательной по той причине, что Вы — патриот Америки, — Вы бы тоже были оскорблены.

Когда Вы уже не будете президентом, если Вам при-

дётся быть в Вермонте — я сердечно буду рад встретить Вас у себя.

Так как весь этот эпизод уже получил исказительное гласное толкование и весьма вероятно, что мотивы моего неприезда также будут искажены, — боюсь, что я буду вынужден опубликовать это письмо, простите.

С искренним уважением

А. Солженицын

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНРИХУ БЁЛЛЮ

31 мая 1982

Дорогой Генрих!

Мои тёплые пожелания к Вашему 65-летию! Прежде всего — здоровья и здоровья! А затем — чтобы возраст и дальше не был для Вас помехой так же свежо и остро воспринимать и передавать жизнь родной страны и её язык.

Мы с Вами почти ровесники. Но и кроме того наше с Вами положение сходно в том, что оба мы, хотя и по-разному, потеряли свою родину: я лишён её, потому что изгнан, а Россия — смертельно больна, неузнаваемо обезображена; вы — потому что Германия разорвана надвое и потеряла себя в обеих частях. Две ужасные войны между нашими странами — надолго подорвали, заковали и опрокинули навзничь оба народа. И обоим — маячит долгое выздоровление, ещё в одном ли столетии?

На исходе нашего жизненного срока и сил — как помочь этому длительному выздоровлению своей страны? Одна из лучших надежд — становление и расцвет национального языка вопреки нивелирующему катку века.

Будем работать хотя бы в этом.

Сердечно Вас обнимаю.

Ваш

Александр Солженицын

РАДИОИНТЕРВЬЮ К 20-ЛЕТИЮ ВЫХОДА «ОДНОГО ДНЯ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» ДЛЯ БИ-БИ-СИ

(Интервью ведёт Барри Холланд)

Кавендиш, 8 июня 1982

Александр Исаевич, когда и как создавался «Иван Денисович»?

Я в 50-м году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего день в подробностях, в мельчайших подробностях, притом день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а — рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался и только в 1959, через девять лет, сел и написал.

Сколько времени вы его писали?

Писал я его недолго совсем, всего дней сорок, меньше полутора месяцев. Это всегда получается так, если пишешь из густой жизни, быт которой ты чрезмерно знаешь, и не то что не надо там догадываться до чего-то, что-то пытаться понять, а только отбиваешься от лишнего материала, только-только чтобы лишнее не лезло, а вот вместить самое необходимое.

Были ли при публикации сделаны купюры и внесены изменения в текст, как это произошло с заглавием?

Да, заглавие Александр Трифонович Твардовский предложил вот это, нынешнее заглавие, своё. У меня было «Щ-854. Один день одного зэка». И очень хорошо он предложил, так это хорошо легло. А что касается изменений серьёзных в тексте, сам Твардовский не

был расположен ничего менять. Но разумом редакция понимала, что надо бороться за то, чтоб обстричь когти, смягчить текст, и его заместитель Дементьев на заседании редакции произвёл большую на меня атаку, он требовал многое снимать, например разговор с баптистом весь снять, религию всю снять. А я настолько не добивался этой печатности, я уже писал до этого больше десяти лет, и молчал уже сорок лет с лишним, я им сказал: «Знаете, не подходит — не печатайте. Я могу ещё десять лет помолчать, ничего не случится». И так, собственно говоря, вся его серьёзная атака отлетела, ничего они не добились, были мелкие пожелания от того рецензента Хрущёва, который всё это проводил, чтобы там снять лишнюю брань на конвой, — ну, это я снял. А самого главного, надо сказать, как-то не заметили ни в редакции, ни даже когда Хрущёву уже прочли и Хрущёв утвердил эту вещь к печати. И вдруг спохватились, что там есть такое совсем страшное место. Это бригадир Тюрин в рассказе своём говорит, что однажды он встретил на пересылке бывшего своего командира взвода и узнал от него, что командир полка, который с ним расправился, и комиссар полка — оба в 37-м году расстреляны. И Тюрин говорит: «Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь». Спохватились, что это удар уже не по сталинскому «культу личности», а удар в самое сердце советской власти; получается, что они, они это сделали собственными руками, и вот наказание Божье. Схватились, и тогда мне из ЦК звонили, чтоб я снял это место одно. А я и тут сказал — нет, я уже знал, что Хрущёв разрешил. Да я это место ни за что бы не уступил, мне без него не надо. И так прошло, в общем, почти что без всяких существенных изменений.

И сохранился ли ещё первоначальный текст?

Да, мы сохранили первоначальный текст, как он был ещё в самом начале написан, и все последующие изменения. Серьёзных изменений не было, ну так, редакторская работа, фонетическая работа была.

Как, по-вашему, эти изменения не отразились на повести?

На смысле повести нисколько не отразились, нисколько. В общем, надо сказать, что удивительным образом прошла вещь; так, как была задумана, вот так целиком она и прошла.

Существует ли прототип Ивана Денисовича или это собирательный образ?

Ивана Денисовича я с самого начала так понимал, что не должен он быть такой, как вот я, и не какой-нибудь развитой особенно, это должен быть самый рядовой лагерник. Мне Твардовский потом говорил: если бы я поставил героем, например, Цезаря Марковича, ну там какого-нибудь интеллигента, устроенного как-то в конторе, то четверти бы цены той не было. Нет. Он должен был быть самый средний солдат этого ГУЛАГа, тот, на кого всё сыпется. И хотя я знал, конечно, десятки и даже сотни простых лагерников, но когда я взялся писать, то почувствовал, что не могу ни на ком остановиться одном, потому что он не выражает достаточно, отдельный, один. И так сам стал стягиваться собирательный образ. Странным образом, героя я взял — фамилию и наружность — своего солдата из батареи, вовсе не зэка, он никогда в лагере не сидел, Шухов, был у меня такой солдат. А биографию я уже брал от других и все события жизни ещё от третьих, от четвёртых. Иногда собирательный образ выходит даже ярче, чем индивидуальный, вот странно, так получилось с Иваном Денисовичем.

Расскажите, пожалуйста, что вы почувствовали 20 лет назад сразу после того, как в ноябрьском номере «Нового мира» была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича».

Должен сказать, что я не полностью осознал значение уже сделанного. Я понимал так, что это очень счастливый, неожиданный прорыв в советской толще, в этой глыбе, но нужно этот прорыв развивать и продолжать, как можно больше теперь двигать в этот про-

рыв. А Твардовский, напротив, уже понимал всё значение того, что эта повесть напечатана в Советском Союзе. Мне-то казалось так: ну, не напечатают в Советском Союзе, ну, через два-три-четыре года я напечатаю на Западе. Я не понимал всего значения того, что это именно в Москве напечатано. И когда 18 ноября я, как раз в день публикации, к нему пришёл, он положил передо мной «Известия» со статьёй Симонова, с похвальной статьёй Симонова относительно «Ивана Денисовича», и говорит: «Нате, читайте, смотрите что!» А я говорю: «Ах, Александр Трифонович, отложим это дело, давайте скорей думать, как нам следующие рассказы печатать». Он даже разочарован был, что я совсем и не стал читать статью Симонова, уже потом. Вот так я был настроен, я настроен был — что это не какой-то уже сделанный шаг конечный, а что это только начало, что теперь нужно начинать прорываться.

Показалось ли вам, что с публикацией «Ивана Денисовича» наступил переломный момент, наступила новая эра в советской литературе?

Вот я всего значения не осознал. Я только понимал, что это начало прорыва. Конечно, нужно прорывать и в других областях, не только мне и не только в литературе, и это может стать поворотной точкой. Ну, конечно, ожидали контратаку, и сам я думал так, что, ну, через полгода меня начнут давить, так что надо вот за полгода что-то сделать. А сказать, что наступила новая эра в советской литературе?.. — для этого нужно было, чтобы литература получила какую-то свободу. А, в общем, литературу-то зажали, зажали и не дали развиваться. Тогда, конечно, казалось, что успех будет бóльшим, мы прорвём больше.

Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» неразрывно связана с именем покойного главного редактора «Нового мира» — поэта Александра Твардовского. Как вы думаете, если бы не Твардовский, возможно ли было издание повести каким-нибудь другим путём?

Для того чтобы её напечатать в Советском Союзе,

нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей. Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора журнала — нет, повесть эта не была бы напечатана. Но я добавлю. И если бы не было Хрущёва в тот момент — тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал Сталина ещё один раз — тоже бы не была напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали сами подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня. Это невозможно, это совершенно невозможно. Система была так устроена, и за 45 лет она не выпустила ничего — и вдруг вот такой прорыв. Да, и Твардовский, и Хрущёв, и момент — все должны были собраться вместе. Конечно, я мог потом отослать за границу и напечатать, но теперь, по реакции западных социалистов, видно: если б её напечатали на Западе, да эти самые социалисты говорили бы: всё ложь, ничего этого не было, и никаких лагерей не было, и никаких уничтожений не было, ничего не было. Только потому у всех отнялись языки, что это напечатано с разрешения ЦК в Москве, вот это потрясло. Да, вот такая роль была Александра Трифоновича Твардовского.

В автобиографической книге «Бодался телёнок с дубом», наряду с похвалой, у вас были критические замечания в адрес Твардовского. Сейчас, двадцать лет спустя, как вы оцениваете личность и деятельность Александра Трифоновича?

Не точно и не верно сказать, что у меня в книге — похвалы и критические замечания. Я писал о Твардовском как о живом человеке, со всем, что в нём есть, и взлёты его, и падения его. Я смею сказать, что я создал портрет совершенно живого Твардовского, и ничего похожего не было сделано до меня, и ещё не знаю, будет ли после. Я очень его любил, и даже не специально я задавался целью создать портрет, но когда писал, то много думал о нём, и я считаю, что вы-

шли не «критические замечания и похвалы», а живой памятник ему. Я видел, как Твардовский выполнял историческую задачу, попав в колёса чужой машины. Он был истинно народный, крестьянский поэт, и с этим здоровым крестьянским чувством он попал в ранний социалистический город, под колёса первых пятилеток. Имел личный литературный успех, а дальше его начали перемалывать вот эти колёса проклятого советского сорокалетия. Сорок лет его перемалывало, от 1930 года до 1970, до смерти. Совещания, заседания, звонки из ЦК, выговоры, партийные накачки, партийные обязательства, цензура, непрерывно давящая, тупая, идиотская·цензура. У него были силы огромные, может быть богатырские, но всё это перемололо то сорокалетие. И ему вкладывалась эта партийная идея как оправдание его существования, иначе бы он жить не мог. И вот у него получилось раздвоение сознания — художественного сознания свободного поэта и партийного сознания впряжённого чиновника. И вот этот контраст и погубил его, потому что не может человек выдержать без потерь такое страшное напряжение, и целых сорок лет. У нас с ним были разногласия всегда тактические, он вёл многолетнюю, многодесятилетнюю линию и считал, что вот такая тяжесть и будет, а мы медленно, постепенно будем размачивать эту советскую глыбу. А я считал, что нужно мгновенно действовать, молниеносно. Я считал, что нужно сию же минуту, как только напечатали «Ивана Денисовича»... Ко мне обращались газеты — «Известия», «Правда», «Литературная газета» — дайте кусочек, дайте откуда-нибудь, хоть из неоконченной вещи. А у меня уже «Круг первый» был кончен, я мог давать отрывки из «Круга первого», предполагал давать сталинские главы, я хотел в «Современнике» ставить пьесу, захватить как можно больше плацдарма, им нельзя будет потесниться назад. Вот так я считал. А Твардовский такого моего темпа не мог принять, он считал, что я ушиблен лагерем, от этого так боюсь, а что после такого успеха, когда меня признало ЦК, Хрущёв, тут уже совершенно можно быть спокойным, что у нас есть многие годы. Я считал, что этих многих лет нет. Но эти вот тактические разногласия нас сильно

разделяли, и некоторые шаги свои я даже не мог ему открывать, настолько они были острые, резкие, я считал, что надо бить по Союзу писателей, бить по ЦК, бить по системе. А он не мог понять этой моей торопливости и напряжения. А я тоже не мог достаточно оценить вот этот его долгий, долго рассчитанный ход. Теперь, когда много времени прошло и можно оглянуться, в отдалении посмотреть, — можно сказать, что Твардовский лучше меня чувствовал дальнюю судьбу нашей литературы. Вот он сумел вести журнал с таким вкусом художественным, с таким чувством меры, с таким чувством личной ответственности и ответственности перед отечественной историей, какая сейчас необходима для нашей литературы в её новом критическом моменте, а её нет. Он исключительно был бы нужен сейчас, в момент, когда подходят, когда уже наступили годы, решается лицо будущей русской литературы, решается — как она, каким дыханием пойдёт. Он был враг всякой авангардистской эквилибристики. Дело в том, что не одна цензура угрожает литературе, но личная безответственность угрожает ей не меньше. И вот эту личную безответственность мы сейчас видим кое-где там, где литературе удалось освободиться. Твардовский был в высочайшей степени ответственен перед ходом литературного корабля.

> Вы упомянули статью Симонова. И в газете «Правда» от 23 ноября даже критик Ермилов, высоко отзываясь об «Иване Денисовиче», писал среди прочего: «Повесть Александра Солженицына, порою напоминающая толстовскую художественную силу...» Тогда — можно было предвидеть дальнейший ход событий, а именно, что ваши последующие произведения не выйдут в свет и вы сами станете объектом суровых осуждений?

Вы знаете, вот именно так я и понимал, то есть — что хорошо, если полгода у меня есть, потом оказалось — два месяца. Что мне будут сворачивать шею — я это знал и нисколько не был упоён тем, что меня восхваляет вся пресса, я в это не верил.

За двадцать лет после «Ивана Денисовича» на Западе вышли ваши главные работы: «В круге первом», «Раковый корпус», «Август Четырнадцатого» и наконец «Архипелаг ГУЛаг». Как вы сейчас относитесь к вашему первенцу?

Всякий писатель, наверно, так и я: переходя к новой работе, уходишь в неё весь, поэтому всегда живёшь в новом произведении, в очередном, а старое отдаляется. Так отдалился от меня и «Иван Денисович», да и ещё во времени, настолько, что даже в каком-то смысле я ощущаю себя уже не совсем его и автором, а будто он уже отдельно от меня существует. И даже могу вместе с вами вот со стороны на него посмотреть. Он сделал очень большую тяжёлую работу, прорыв в Советском Союзе — раз, и потом он в моей биографии сыграл ту большую роль, что он помог написать «Архипелаг». Из-за того, что я напечатал «Ивана Денисовича», — в короткие месяцы, пока меня ещё не начали гнать, сотни людей стали писать ко мне письма, а некоторые и приезжать, рассказывать ещё. И так я собрал неописуемый материал, который в Советском Союзе и собрать нельзя, — только благодаря «Ивану Денисовичу». Так что он стал как пьедесталом для «Архипелага ГУЛага».

«Иван Денисович» оказал огромное влияние на общественное сознание целого поколения советских людей. Как вы думаете, оказала ли повесть влияние на дальнейшее развитие русской литературы?

Мне трудно самому как автору говорить о прямых влияниях, о косвенных влияниях повести. Но дело в том, что свободной обстановки для того, чтобы проявилось влияние, не было. Быстро задавили «Ивана Денисовича» и меня, а потом изъяли его изо всех библиотек. И растут следующие не только читательские, но и литературные поколения, не читавшие его. Не дали возможности, не дали времени ему проработаться.

Хотелось бы попросить вас поделиться впечатлениями о нынешнем состоянии литературы в СССР.

Надо сказать, что русская литература, в общем,

оказалась с крепким хребтом. Пережить 65 лет коммунистического гнёта, цензуры, уничтожения — и всё-таки, всё-таки сохранить основную струю. У нас нельзя писать правды, большей части правды. Кажется, чем же тогда литературе существовать? Как ни удивительно, но у нас на родине есть группа писателей, которая в этих условиях умудряется сохранить литературу, полную богатого русского языка, и литературу, лично ответственную, с ответственностью автора перед собой, перед читателем и перед отечественной историей. И это обнадёживает меня, в том смысле, что когда крахнет цензура и будет кризисный выход из нынешнего состояния в свободное, наша литература, может быть, убережётся от тех ужасных опасностей, которые грозят литераторам, когда им открывается совершенно безответственная свобода и они начинают бросаться в шальные эксперименты, и даже просто в брань, и даже просто в мат.

И наконец, Александр Исаевич, расскажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете. Что должно вскоре появиться в свет?

Уже много лет я работаю над историческим повествованием «Красное Колесо». Это книга о том, как произошла революция в России, и последствия её, ранние советские годы. Это огромная вещь, и она, по мере работы, ещё, выясняется, больше, чем я думал. Она состоит из Узлов, Узлы — это книги отдельные, посвящённые короткому важному времени, где завязан узел, где решается история. Такой один Узел — «Август Четырнадцатого» — у меня выйдет полностью весной 1983 года. Раньше был один только том его, а теперь добавится второй том, столыпинский, история деятельности Столыпина и смерти его, убийства. Второй Узел — «Октябрь Шестнадцатого» — тоже у меня закончен, мы его сейчас набираем, он тоже в двух томах и мог бы появиться в свет хоть в том же 83-м году, но, может быть, будет несколько дожидать иностранных переводов. Следующий Узел — «Март Семнадцатого» — в четырёх томах. Это, собственно говоря, запись Февральской революции, как она произошла, день за днём и час за часом, участвуют сотни исторических

лиц и десятки вымышленных для того, чтобы подхватить этот материал. Не знаю, как в других литературах, но по-русски нет ничего такого подобного: описать революцию всю в огромных движениях и в каждой мелочи. Всё вместе, вот эти восемь томов, составляют «Действие Первое. Революция». Собственно, революция в России была одна, не Пятого года, и не Октябрьская, а Февральская. Она есть решающая революция, которая и повернула ход нашей страны, да и всей Земли. Октябрьская революция является почти эпизодом и, во всяком случае, следствием Февраля. Следующее Действие — Второе — будет посвящено Семнадцатому году, течению Семнадцатого года. Этот год был до того насыщен событиями, что каждый месяц являлся как новая эпоха. И там у меня идут: Узел 4-й — «Апрель Семнадцатого», Узел 5-й — «Июнь-июль Семнадцатого», Узел 6-й — «Август Семнадцатого», Узел 7-й — «Сентябрь Семнадцатого». Эти вот четыре Узла составляют Действие Второе, течение самого Семнадцатого года. И к концу его, до октябрьского переворота, уже совершенно понятно, что режим февральский упал и только приходи, бери кто хочешь, поднимай власть с земли. Та́к ведь октябрьский переворот и был сделан — кучкой людей, в одном городе, за несколько часов, — просто подняли упавшую власть. Я не знаю, как у меня будет с годами, со здоровьем, как Бог даст, вообще-то замысел мой продолжается дальше, замысел у меня на 20 Узлов, я должен бы описать дальше Гражданскую войну и первые годы становления советской власти, до 1922 года, до конца подавления крестьянских восстаний. Но думаю, что мне уже жизни на это не хватит.

КОММУНИЗМ К БРЕЖНЕВСКОМУ КОНЦУ

Статья для газеты «Йомиури»

На примере нынешнего Советского Союза можно видеть, во что превращает коммунизм всякую страну и все народы, попавшие в его власть. От страны к стране различия второстепенны, основные же черты процесса повсюду одинаковы.

Первым действием коммунистов, пришедших к власти в России в 1917, было: откупиться от Германии 25, 30 или 40% русской территории, чтобы только на остальной удержать свою власть. (Этот высший принцип коммунистов — удержаться у власти любой ценой, хотя бы гибелью страны, народа и соседних народов, — проходит единым стальным стержнем от Ленина до Брежнева, и Сталин был тоже всего лишь Лениным, доведенным до логического конца.) Тотчас же коммунисты повели внутреннюю гражданскую войну на уничтожение не только своих военных врагов, но всех невоенных слоёв населения, расстреливая целыми сёлами, разоряя уезды, обезлюживая города и губернии. По вине коммунистов, отнимавших у крестьян даже семенное зерно, голод 1921 года охватил 30 миллионов человек, а умерло в Поволжьи 5 миллионов крестьян. С тех пор массовые голоды не покидали нашу страну, в голоде 1933 вымерло ещё 5—6 миллионов, в военные годы 1941-45 крестьяне ели травяные лепёшки, в послевоенный голод 1946-47 люди умирали, а правительство вывозило хлеб за границу. От 1917 и посегодня у населения уже никогда не бывало ни сытости, ни безопасности, ни личной свободы. Надо ли удивляться, что при первом же столкновении с гитлеровской Германией в плен сдалось около 3 миллионов бойцов, население занятых областей ждало от чужеземных войск освобождения, и даже в месяцы явного крушения Германии только из тех советских граждан, кто

оказался вне своей страны, в Освободительную армию против Сталина записалось несколько сот тысяч добровольцев. Но Гитлер вёл войну не против коммунизма как идеологической чумы, а на захват и покорение народов СССР, — и народ по вынужденности, защищая себя, защитил и спас коммунизм.

Для того чтобы не иметь себе внутри страны никакой конкуренции, коммунисты ещё в ходе гражданской войны 1918-20, а после её окончания даже интенсивнее, ликвидировали все другие политические партии, все нейтральные культурные, религиозные, национальные и экономические организации, производили неуклонное массовое уничтожение всех, кто мог бы представить хоть в чём-либо оппозицию коммунистической власти. Уничтожали целиком сословия — дворянство, офицерство, духовенство, купечество, и отдельно по выбору — каждого, кто выделялся из толпы, кто проявлял независимое мышление. Первоначально самый сильный удар пришёлся по самой крупной нации — русской — и её религии — православию, — затем удары последовательно переносились на другие нации. Эти уничтожения ещё к концу «спокойных» 20-х годов составили уже несколько миллионов жертв. Тотчас вослед произошло истребление 12—15 миллионов самых трудолюбивых крестьян. История последовательных уничтожений в СССР за все десятилетия посильно изложена мною в книге «Архипелаг ГУЛаг».

Какой же смысл был уничтожать лучшую, трудолюбивую часть крестьянства? Мы ничего не поймём в коммунизме, если будем пытаться его понять на простой человеческой разумной основе. Пружина коммунизма, как завёл её ещё Маркс, — это власть и власть любой ценой, не считаясь с потерями и вырождением населения. Важно, чтоб у коммунистической власти не было в стране экономически независимого, сильного соперника, чтобы крестьянство — а его было в стране 80% — обессилело и не могло бы противостоять власти. Колхозная система разрушительна экономически, но выгодна политически. Так сельское хозяйство коммунистической страны строится не из расчёта на урожай, а «идеологически». Ведётся уродливым цен-

тральным бюрократическим планированием, которое не способно предусмотреть реальных обстоятельств и не задумывается о будущем, но хочет хищнически сорвать с земли как можно больше сегодня, как будто завтра на этой земле уже не жить. Десятилетиями власть спускает бредовые разрушительные приказы — и люди, не имея никакой свободы действия, вынуждены выполнять. Крестьянин уже не привязан душевно к земле и работе, как было столетиями. Добились: омертвили крестьян до равнодушия, и они исполняют глупые приказы: посев не в срок, уборку не в срок; необратимую распашку лучших лугов под неудачную пашню; рубку лесов до пересыхания рек; или осушение хорошего озера, только чтобы формально выполнить «план мелиорации»; и сколько осушат земли мелиорацией в одном месте — столько гектаров зарастает в другом без рабочих рук. И добытый урожай зерна и овощей сгнивает от плохого хранения и недостатка транспорта вовремя. Сельскохозяйственные машины ржавеют зимами под открытым небом и быстро выходят из строя. Не успеют внести удобрения, сколько намечено «по плану», — остаток сжигают, чтобы не было уличающего следа. Или вот картинка: комбайнёр продаёт по дешёвке на сторону семенное зерно, вместо того чтобы посеять его: его не проверят, сколько он посеял, и ему неважно, сколько взойдёт. На два месяца в год ещё пригоняют на гибнущие поля «на помощь» городских школьников и неумелое городское население: они бесполезно перебывают здесь время, которое им оплачивается государственной зарплатой в тех учреждениях, где они эти месяцы отсутствовали. За последние 10 лет советский импорт продовольствия вырос в сорок раз, четыре неурожая подряд — чего стоит такое сельское хозяйство!

За собранную колхозную продукцию государство десятилетиями платило искусственно ничтожно, так что труд колхозника отнимался вовсе даром — и наградой тому, кто весь день полол поле от сорняков, были только сами жёсткие сорняки — для своей коровы или козы. Отобрав у колхозника полный рабочий день бесплатно — государство разрешало ему в остаток дня и вечера зарабатывать себе пропитание на кро-

хотном приусадебном участке в четверть гектара. На этих участках отдают свои последние силы глубокие старики (до недавнего времени никто из них не получал пенсии, а сейчас получают мизерную), инвалиды и дети. (15 миллионов сельских детей не знают, что такое *игры*, сельские подростки ниже ростом и болезненнее городских.) Крестьянские приусадебные участки составляют около 2% обрабатываемых площадей страны — а дают одну треть всей продукции овощей, яиц, молока, мяса! Но так как до одной же трети всей колхозной продукции ещё гибнет от дурного хранения — то, значит, крестьяне, эксплуатируемые вдвойне, за счёт своих индивидуальных участков, своих стариков и детей, и лишённые всякой современной техники и удобрений, только руками, как встарь, — дают почти п о л о в и н у этих продуктов в стране! — и даже это не всё могут продавать свободно на рынке, но и из этого должны уступать государству часть — раньше в виде ещё нового «налога», теперь в виде «добровольной» продажи по дешёвке.

Вдуматься: каково соотношение коммунистического сельского хозяйства, где всё взрослое сельское население работает днём на 98% площадей — и 2% крохотных личных участков, где работают инвалиды, дети и по вечерам взрослые. Но даже и это последнее спасение уничтожают власти в идеологическом безумии: в последние годы всё больше колхозов переводится в совхозы, то есть превращают колхозников в индустриальных рабочих, лишённых и этих приусадебных участков, не останется скоро и их. Сносят целые деревни, разрушаются остатки крестьянского быта, переселяют в многоэтажные здания, где уже нельзя держать скот и птицу. В который раз советская власть сама под собой уничтожает основу производства — зато «торжествует» идеологически.

Такая же несуразица во всей экономике. Полное взятие производства в руки государства разрушило производство. Несмотря на то что 60 лет все речи вождей, газеты и радио гремят об успехах советской промышленности — вся она в болезненном состоянии, вся в язвах, которые залатываются только беззаконными «микрокапиталистическими» путями, в обход социа-

листических. Основная задача советской экономики — не расцвет экономики, не рост общего производства, ни даже производительности труда, ни даже прибыль, — а только функционирование мощной военной машины и изобилие для правящей касты. Партийная бюрократия не способна организовать ни производство товаров, ни торговлю — но лишь отнять произведенное. Это — система, не терпящая ничьей самостоятельности. Не имея способности эффективно управлять экономикой, власти заменяют руководство тотальным насилием. Экономика перепоясана и сдавлена множеством административных запретов, цель которых — не дать появиться свободным социальным силам. Эти запреты тупо распространяются также на многие плодоносные научные направления — взамен того ведущая техника или закупается или крадётся на Западе, производительность труда повышается за счёт мирового технического прогресса, — это сопровождается фантастическими миллиардными иностранными долгами или оплачивается истощением недр: за время своего господства советские руководители продали и промотали запасы ископаемых, достаточные для своего поколения и для двух следующих — за сыновей и за внуков. Великая держава — всё покупает, от электроники до зерна, а продаёт только недра и оружие. По жизненному уровню страна находится в четвёртом десятке стран, а 12% государственных доходов составляет спекулятивная водка, спаивающая население до идиотичности, и бракованные вина, изготовленные антисанитарно: правительство спаивает народ, чтоб иметь деньги для своих мировых замыслов. Руководящий экономикой центральный «план» не предвидит никаких местных и конкретных событий, но неизменен к исполнению и оттого превращается в абсурд и хаос. Местные хозяйственники заняты только тем, как бороться с планом и обойти его, — и на каждом шагу их сторожит за это уголовный кодекс. Невозможно никакое реальное строительство строго по закону — не будет ни материала, ни рабочей силы, — а только в обход закона, и все дрожат перед судебным наказанием, а иначе — вообще ничего не будет построено. Запреты так стягивают, что руководители производств не ре-

шаются вводить несомненно выгодную новую технологию: может нарушиться план, сроки; спокойнее — заявить на следующую пятилетку. Инициативные смелые люди то там, то здесь пытались создать в своём производстве свободу финансов, чтобы платить не по мелочному государственному регламенту, а пропорционально количеству и качеству труда, — и всегда давали блистательные производственные результаты — и тотчас их обуздывали сверху новыми запретами, срезкой бюджета, а то и судебным наказанием: если появятся свободные экономические силы, то бюрократия упустит руководство событиями и саму власть. «План» составляется не по качеству товаров, не по богатству их ассортимента, но по общей стоимости, — и кто выпустит больше дорогих, ненужных, непродаваемых вещей — тот «впереди» и премирован. Чтобы выполнить «план» — ежегодно рубят и сплавляют леса больше, чем потом могут вывезти, и он сгнивает. Таков «план», что в Сибири, где больше всего энергоресурсов, — дефицит электроэнергии. Под обширный Камский завод бесплодно потратили площадь добротного чернозёма. Объявлена «всенародной стройкой» Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, для неё не жалеют затрат, материалов и рабочей силы — а качество пути отвратительное, осадка, поезда сходят с рельсов, а стоимость 1 километра (5 млн. рублей) в 20 раз больше, чем строила в Сибири же старая Россия 80 лет назад (1 км — 50 тыс. рублей, старый рубль равен 5 советским).

К тысячам таких примеров надо добавить ещё одно коммунистическое свойство: обязательную *системy лжи*. От самого рождения коммунистической системы одним из главных её усилий было — скрыть от мира и исказить истинно происходящее. И это удалось ей тотчас же и затем во всех перипетиях десятилетий. (Остальной мир и хотел заблуждаться, он и хотел поверить в добродетели социализма.) Так и с 1-й сталинской пятилетки 1928 года были, для внешнего престижа, объявлены невыполнимые задачи, и ещё отягощены лозунгом «пятилетка в 4 года!», и ото всех потребовано под угрозами обязательное выполнение, — и всем звеньям управления не осталось никакого вы-

хода, кроме ложных рапортов о несделанном, как сделанном, дутые цифры. А затем эти дутые цифры систематически ставились опорами новых планов, а в новом неисполнении снова лгали — и вот происходит наслоение лжей за полвека. СССР не даёт истинной статистики не только для заграницы, но и сами вожди не знают подлинного положения в своей стране.

Нечего и говорить, что такое обезумелое руководство экономикой со взглядом вперёд только на военные нужды и при полном презрении к народному бытию ведёт к непоправимому разрушению природной среды. «План» любой ценой, а что при этом будет погублено — неважно, уж тем более — исторические места или заповедные уголки природы. Строят многочисленные гидроэлектростанции, перегораживая равнинные реки так, что под затоплением погибают посевные площади, сенокосы, жилые пространства, а от торопливых плотин гибнет рыболовство, — во много дороже, чем полученная электроэнергия. Под этими новыми «морями», которыми коммунисты ещё и хвастаются, уже погибло с десяток городов, много сотен сёл, ценные леса. Напротив, драгоценное Азовское море, прежде дававшее рыбы больше трёх больших морей — Чёрного, Каспийского и Балтийского, снизили по уровню Волго-Донским каналом и обратили в яму для индустриального стока, рыбы в Азовском стало в 90—100 раз меньше, чем до Второй мировой войны. Разрушив ближнюю Европейскую Россию, перекинулись разрушать за Уралом. Уникальное озеро Байкал, пережившее все геологические катастрофы 25 миллионов лет, с самой чистой в мире водой, — отравлено навсегда стоками тяжёлых металлов и целлюлозного комбината, дающего шины для тяжёлых бомбардировщиков. Электростанцией под Алма-Атой высушили половину озера Балхаш. Освоением казахской целины превращено в пески 3 миллиона гектаров. Сибирский лес рубится хищнически, без воспроизводства. Неприспособленная лесная техника необратимо разрушает почву и губит таёжный подрост. Неумелой постройкой БАМа непоправимо губится широкая полоса вдоль линии, поверхностный слой обращается в заболоченную пустыню; непомерным взятием гравия губят реки. Губит

огромную площадь и нынешний судорожный газопровод Таймыр—Европа (которому помогает вся Европа, и даже Япония, и который не обойдётся без лагерного труда). И всем этим коммунистическая власть безоглядно платит, чтобы захватывать новые страны в Африке и в Азии — и для такого же погубления (как хищничают и в мировом океане). Полвека назад уничтожили крестьянство для бредовой идеи колхозов — теперь удивляются: почему нет урожаев? Так исправить климат: реки, текущие в Ледовитый океан, повернуть на юг! — новый безумный проект, который через несколько лет принесёт новую гибель — уже не только русскому Северу, но почувствует и вся планета, когда нарушится режим Ледовитого океана. «План» для всех предприятий таков, что некогда и дорого беречь природу, строить очистные сооружения. И — уничтожается окружающая среда, все окрестности городов и заводов изуродованы и замусорены, все реки отравлены двойной и тройной «предельно допустимой концентрацией» ядовитых веществ, а воздух в городах — десятикратной, и даже в некоторых — стократной. (И обо всём этом публично не оповещается, гибель природы и угроза людям так же засекречены, как и всё в Советском Союзе; кто пытался громко о том заявить — попадал в психиатрическую больницу.) Рак лёгких в нашей стране за последние 10 лет удвоился. Вместе с нашей природой умираем и мы сами.

Дети растут сиротами при живых родителях: из-за того, что заработка отца никогда не хватает и всегда работает мать, — миллионы детей начинают существование с перегруженных яслей и детских садов, в нездоровых нервных условиях, при недостатке персонала, без хорошего пригляда, но уже с «идеологическим воспитанием». И у миллионов же вся жизнь потом потянется через такие общежития — рабочих училищ, заводские — заброшенные, антисанитарные, где рано начинается пьянство и разврат и откуда молодым людям невозможно выбраться на отдельную квартиру: им не получить для этого милицейской «прописки». Они оказываются в крепостнической зависимости от начальников своих производств, которые эксплоатируют их безгранично: потеряв работу, они теряют и жизнь в

этом городе. Это всеобщее в Советском Союзе положение: работодатель имеет и полную административную власть над работающим; каждый человек в любом месте, кроме отчасти Москвы, полностью лично зависим от административного начальника: он не может выставлять ему требований и не может никуда уехать. Зарплаты — бедственно низкие, они не оплачивают и десятой доли труда рабочего. У всех тесное и плохое жильё, в одной квартире живут по несколько чужих друг другу семей — и даже десятилетиями работая на одном предприятии, нельзя заработать права на отдельную семейную квартиру. Кроме Москвы, Ленинграда — товары повсюду низкого качества, и ещё за ними долгое стояние в очередях. То вовсе исчезают — мыло, стиральные порошки, нитки, иголки, посуда, бельё, вата, электролампочки, самое неожиданное. И никогда за 65 лет население не получало полноценной пищи и необходимого количества калорий. В провинции десятилетиями сущий голод: нет мяса, рыбы, яиц, молока, даже макарон и круп (а риса не видят уже полвека), последние годы в многих городах введена карточная система — это безо всякой войны и стихийных бедствий! Нигде в мире женщины во множестве не работают на таких тяжёлых физических работах без механизмов, как в СССР. И ещё сверх работы на производстве советские женщины тратят на домашний труд и стояние в очередях по 30 часов в неделю. (И государство заинтересовано, чтобы люди были заняты заботой о пропитании и не оставалось бы мыслей ни на что другое.) Так называемое бесплатное медицинское обслуживание — отвратительного качества, больницы — убогие. По всей стране — массовый алкоголизм, и среди молодых мужчин высокая смертность от аварий. Всё больше пьют и женщины.

Правительство грабит и землю и население в сотнях миллиардов рублей — подавленное население имеет только один путь реального сопротивления: встречно воровать у правительства свой кусок хлеба. Издревле в России воровство считалось тяжким грехом, сейчас воровать у государства — это общая, всем понятная жизнь, иначе не проживёшь, через воровство у государства народ возвращает часть своих прав, и такой

вид массовой народной самозащиты разрушительно вредит правительству. Многие предметы нигде в стране нельзя честно купить — но их можно украсть у себя на производстве (проволоку, гвозди, машинное масло, краски, удобрения) и затем продать на рынке краденого. На каждом производстве и в каждом колхозе расхищаются материалы, инструменты и продукты, всё вместе тоже на миллиарды рублей, внося в производство хаос. Дети колхозников учатся воровать с 6-летнего возраста. На бесчестную власть никто не желает работать честно. Никто не получает достойной оплаты — но и никого не заставишь работать в полную силу — ни рабочих у станков, ни государственных чиновников, ни даже учёных в научно-исследовательских институтах: каждый стремится устроить себе «отдых» в рабочие часы, чтобы иметь силы на вечерний приработок или свои занятия. Люди работают всё ниже и ниже своих способностей — и, чтобы создать на важных участках какой-то стимул, руководство предприятий само идёт на обман государства, создаёт оплату по несуществующим должностям или даёт возможность незаконного приработка.

От жестокой жизни, постоянного голода, жилищной тесноты и нехватки времени женщины не имеют сил на воспитание детей и делают много абортов — у славянских народов свыше 4 абортов на одно живое рождение. От частых абортов следует вторичное бесплодие и выкидыши, их число возрастает на 6—7% в год. От плохого питания беременных, плохого медицинского обслуживания, отравленного воздуха в городах и женского алкоголизма высока детская смертность, а сохранённое потомство растёт болезненным, у детей множатся генетические пороки. Одновременно с падением рождаемости в СССР растёт и общая смертность и падает средняя продолжительность жизни. По расчётам, сделанным до 1917 года, по тогдашнему состоянию рождаемости — наша страна должна была иметь к 1985 г. — 400 миллионов человек, а имеет только 266, таковы потери от коммунизма. Мы вступили в период необратимого вымирания славянских народов в СССР. Из-за растущего бесплодия женщин в самый детородный возраст и генетической инерции вымирание

русских вряд ли может быть остановлено в ближайшие 100 лет даже благоприятными политическими и социальными переменами.

Над раздавленным народом возвышается угнетательский партийно-государственный аппарат, вместе с аппаратом пропаганды и репрессий — это 3 миллиона. Это — каста, обеспеченная всем в избытке — спецмагазинами (лучшие товары по резко уменьшенным ценам), доплатой секретных денег, не облагаемых налогами, лучшими домами и квартирами, особым лечебным обслуживанием, бесплатными санаториями, властью над населением, а сама не подлежащая судебной ответственности, — но зато платящая беспрекословным раболепным исполнительством. Они обязаны быть равнодушны к страданиям своего народа в прошлом, настоящем и будущем: член касты — только пока он верен Системе, но выбивается из неё при малейшей нелояльности. В центре касты находится олигархия партийных функционеров, тысяч 100, их потребности вообще не знают ограничений, так привольно не жил правящий класс старой России, — и их дети направляются так же привилегированно, чтобы по наследству остаться в той же олигархии. Вожди СССР по своим личным потребностям имеют чрезмерно и власти, и почёта, и имущества, — кажется, зачем бы им рваться завоёвывать весь мир? Но так ведёт их Коммунистическое Безумие, они — тоже пленники идеологической системы. В их руках — неконтролируемые финансы, военная мощь, международная политика. Коммунистическое правительство уже держится непомерно долго по срокам отдельной человеческой жизни, оно выпило из подвластных народов живую жизнь, развратило, омертвило дух всеобщей обязательной ложью. Всепроникающая ложь — самая изнурительная черта режима. Уже больше полувека миллионы людей принуждаются к искусственному дутому «социалистическому соревнованию», «коммунистическим субботникам» (бесплатная работа в свободный день), издевательским собраниям и внедрению лжи в мозги на обязательных после рабочих часов политических занятиях. Народные волнения, частые в раннекоммунистические годы, как тогда подавлялись обильной кровью,

так подавляются и теперь при малейшем возникновении (восстание в Новочеркасске, в Александрове, Муроме, Краснодаре, мятеж на балтийском миноносце, забастовки в Перми и нескольких волжских городах). Массы охвачены духовным упадком и равнодушием: бессильное чувство, когда видишь, что твоя родина уничтожается и изгаживается уже две трети века. Иногда стихийная злоба прорывается оскорблением или взрывом официальных памятников.

Настойчивее же всего, как главных врагов, власти преследуют религию и национальное самосознание. Жестоко запрещается всякое религиозное воспитание детей. Все вероисповедания сжаты душащей петлёй. В Прибалтике бандитски убивают католических священников. У баптистов и пятидесятников отбирают детей, а родителей бросают в тюрьмы. Жестоко наказывают тюремными сроками православных: священника Глеба Якунина, молодёжную группу Огородникова—Пореша, издательницу сборников христианского чтения Крахмальникову. Но самые изнурительные и повторные сроки достаются выразителям национальных чаяний всякого подсоветского народа. Преследуется арестами и сроками простая милосердная помощь семьям заключённых от Русского Общественного Фонда, созданного мною на гонорары «Архипелага ГУЛага» и поддержанного сборами в стране.

Коммунизм по своей античеловечности исторически беспрецедентен, до XX века ни в одной стране ничего подобного не было, а сейчас — уже больше чем в двадцати странах. И уже много раз он должен был то там, то здесь крахнуть, но всегда устаивал, а сильные враги его, напротив, разрушались. Коммунизм — капкан, из которого не выскочил ещё ни один народ никогда. Никакая личная тирания не сравнится с идеологическим коммунизмом: для всякого личного тирана есть пределы, где власть насыщает его. Но тотальную коммунистическую власть не может насытить никакая отдельная страна. Коммунизм — это такая умонепостигаемая власть, которая совсем не имеет цели расцвета своей страны, здоровья и благополучия своего народа, — но платит и народом, и страной для достижения посторонних целей. Такая главная цель ком-

мунизма не есть разумное, но фанатическое стремление зажрать как можно больше внешней территории и населения, в желаемом пределе — всю планету. При коммунизме никакая страна не готова к длительному, здоровому экономическому существованию. Но вполне способна на удар, захват, военную экспансию — это необходимая форма существования коммунизма. Этот закон внешней агрессии обязателен для всех коммунистических стран. Так и коммунистический Китай (это уже не подлинный, исторический Китай!) при своей военной слабости уже формировал убийц — красных кхмеров, поджигал индонезийскую революцию. А Северная Корея вторглась в Южную и только из-за американских войск не может кончить расправу. А Вьетнам, едва справясь с Америкой, обескровленный, — уже вторгся в Камбоджу, Куба — в Латинскую Америку и в Африку, Абиссиния — в Эритрею, Южный Йемен — в Северный, Ангола — в Намибию. И характерно, что коммунистический империализм (в отличие от прежнего колониального) нисколько не служит даже интересам и обогащению той нации, которую гонит на завоевание, но её-то губит в первую очередь.

Опасная иллюзия — различать коммунизмы «худшие» и «лучшие», более агрессивные и более миролюбивые. Коммунизмы — все античеловечны, а если какой ведёт себя внешне смирнее, то он ещё просто не набрался военной силы. Если о китайских, северокорейских и вьетнамских лагерях нам почти ничего неизвестно, то только потому, что там ещё жёстче держат, чем в советских: не дают оттуда выскользнуть никому и никаким сведениям. Но и в Аддис-Абебе расстрелянных школьников складывают штабелями. Но священников расстреливают и в Албании и в Анголе. И во всех коммунистических государствах — не разумная, не практическая, но «идеологическая» форма собственности. Марксизм — враждебен и физическому существованию и духовной сущности любой нации. И тщетна надежда — найти с коммунизмом компромисс, улучшить отношения через уступки или торговлю.

Коммунизм — это отрицание жизни, это — смертельная болезнь и смерть всего человечества. И — нет на Земле страны с иммунитетом против коммунизма.

Сейчас на Западе большое возбуждение в связи со сменой руководства в Советском Союзе и, разумеется, большие надежды. И, разумеется, несколько легких показательных шагов от нового руководства, особенно в интеллектуальной свободе и эмиграции, уже дадут «сигнал», что всё исправляется. Обзор советской действительности показывает, что ни сменой лидеров, ни десятком символических жестов положение не может быть исправлено, а только коренным оздоровлением жизни народа.

А коммунизм исправить или улучшить — нельзя. С ним можно только покончить — совместными усилиями многих народов, угнетённых им.

Сентябрь 1982

НОБЕЛЕВСКОМУ КОМИТЕТУ МИРА

ОСЛО
Нобелевский комитет

Горячо поддерживаю выдвинутую на соискание Нобелевской премии мира кандидатуру Леха Валенсы. Его мужество, мудрость, разумные действия вызывают восхищение. Это и есть глубинные, основательные пути мира. В коммунистических странах такие действия достаются сверхчеловеческим напряжением сил — но и оказывают колоссальное влияние на общую человеческую историю. Мы все в долгу у Валенсы — больше, чем это, может быть, сознают сегодня в Европе.

Александр Солженицын

14 сентября 1982

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ ЯПОНСКОЙ КОМПАНИИ «НИХОН»

(Интервью ведут — Госуке Утимура, профессор-русист; Синсаку Хоген, дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел)

Токио, 5 октября 1982

Госуке Утимура. Господин Солженицын, уже прошло семь лет с тех пор, как мы встретились в Париже, я и не надеялся, что мы ещё раз встретимся в Японии.

Да, я очень рад.

Госуке Утимура. Вы приехали в Японию, в самую, можно сказать, маленькую страну в мире, где люди живут в маленьких домиках, однако Япония очень развита в промышленном отношении. Каковы ваши впечатления от пребывания в Японии?

Я сейчас ездил по Японии в течение двух недель. Я был севернее Токио, в области Тохоку, и был к югу, и к юго-западу, посмотрел немало. Впечатления от Японии у меня многослойные. Есть слой, который видит каждый человек, как только посмотрит на Японию, именно то, что вы упомянули: крайнюю стеснённость вашей территории, скудость недр, нет и хороших почв для богатых урожаев. Япония как бы изначально поставлена в самые невыгодные условия для жизни, поэтому японцы должны возместить все эти недостатки своим трудолюбием, умением и изобретательностью. И действительно, я восхищаюсь тем, как японцы умеют использовать землю, пространство, — это общее замечательное качество, к которому всё человечество должно стремиться: большая плотность в малом объёме. Отдельно я восхищался предметами японского искусства, особенно в Курашики. Сам город Курашики — весь как произведение искусства. Отдельно мне удалось посетить японскую школу, в провинции, в Ямагучи. Я сам преподаватель математики и физики, и

мне было очень интересно посмотреть, как преподают математику и физику в Японии. Я с удовольствием отметил, что преподавание ведётся плотно и строго, с учеников много спрашивают. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, так и должно быть всегда, но мы знаем, что в наше время, к сожалению, в некоторых странах существует теория полной распущенности молодёжи, дать ей полную свободу ничего не делать. Я очень рад, что в Японии этот взгляд не привился.

Но если говорить о впечатлениях более глубоких, более сложных, то я весьма напряжённо пытался понять, как в Японии уравновешиваются национальные традиции, национальные корни и современная западная цивилизация. Физика знает несколько видов равновесия — безразличное, неустойчивое и устойчивое. Я нашёл, что равновесие здесь как будто существует, но неустойчивое. То есть Япония, к счастью, не потеряла национальных корней, как уже на наших глазах потеряли некоторые народы Земли; но она с традициями отступила, отступила в дома, в людские отношения и в старинные храмы, в старинные места, а общественные пространства Японии настолько уже отданы мировой цивилизации, что если, например, сменить японские вывески, то даже не скажешь, что это Япония. Я придаю очень высокое значение тому, чтобы народ сохранил свои традиции и корни. Без этого современная цивилизация грозит гибелью. Сейчас, находясь уже в Японии, я прочёл, например, что руководители вашей страны провозглашают лозунг дальнейшей интернационализации национальной жизни. Мне кажется этот лозунг опасным и неправильным. Надо уметь участвовать в интернациональной жизни, всё время сохраняя себя как народную личность.

> Госуке Утимура. Вы в своей речи в Гарвардском университете говорили, что сейчас и американские и советские руководители боятся национализма. Применительно к Японии, каким вы считаете соотношение между национализмом и интернационализмом?

Я сознательно в своём предыдущем ответе не пользовался словом «национализм». Национализм — тер-

мин, не поддающийся строгому определению, а сейчас даже и бранный. Я считаю себя не русским националистом, а русским патриотом. Патриотизм есть любовь к своей родине, и человек, который глубоко любит свою родину, понимает, что и другие народы также любят свою. И патриот своей страны не может быть сторонником того, чтобы притеснять другие народы. Я сейчас говорил о сохранении национальных корней, национальных традиций, национального облика. Я считаю, что перед нивелирующим потоком современного мира это одна защита каждому народу. Ибо современная мировая цивилизация, в жадной экономической экспансии не считаясь ни с чем индивидуальным, уничтожает нравственные ценности повсюду в мире. Меня иногда изображают противником Запада, — я не противник Запада, но я противник обезличивающей современности, да.

> Госуке Утимура. Я вполне согласен с тем, что нельзя развивать экономику, разлагая моральный стандарт, — наоборот, на основании развития морального стандарта должна развиваться также и экономика.

Да, сила страны состоит в первую очередь в её духовной крепости, а не в экономике.

> Госуке Утимура. Вы сказали, что, посещая в Ямагучи нашу школу, вы получили такое впечатление, что в Японии преподавание ведётся очень строго. Мне кажется, что наши телезрители, слушая такое ваше высказывание, могут понять его как ироническое. Потому что после Второй мировой войны в нашей системе обучения такое понятие, как «патриотизм», считается как будто запретным словом и, наоборот, получает как будто регрессивное направление. И теперь считается, что проводить наше обучение на основе национальных корней не ценно.

Я не имел в виду никакой иронии. Я оговорился, что я математик и физик, я посещал уроки физики и математики. Я с удовольствием посещу ещё другую школу, в Токио. Однако мне совершенно невозможно

получить впечатление от преподавания общественных наук, гуманитарных, потому что это всё будет по-японски. Я с огорчением принимаю ваши слова о том, что патриотизм изгоняется из японских школ и считается как бы позорным. Это тревожное явление.

Госуке Утимура. Однако эта тенденция постепенно изменяется. Поскольку я выезжаю и выступаю со своими речами примерно 10 или 14 раз в месяц, я имею возможность наблюдать разные места. Постепенно это положение у нас меняется к лучшему. Особенно, мне кажется, существенно различие между Токио и провинциальными районами.

Именно где же тенденция патриотического воспитания больше проявляется — в провинции или в Токио?

Госуке Утимура. В провинции без обучения, сами усваивают эту истину, что очень важно сохранять свои традиции и любить свою страну.

А в Токио с этим хуже?

Госуке Утимура. Можно сказать, в Токио с этим слабо. Есть такой взгляд, что патриотизм может привести к мировой войне. А Достоевский говорил, что именно патриотизм только и может нас привести ко всечеловечеству. Что вы думаете в связи с этим о положении на Дальнем Востоке, в частности в Китае? Как мы можем избежать мировой войны?

Патриотизм не может привести ни к какой войне, ибо патриотизм не желает никаких захватов. К мировой войне могут привести именно бредовые идеи коммунизма о мировой революции. И не только могут привести — приводят! Я однажды выразился, что Третья мировая война не только пришла, она уже кончилась. После 45-го года Советский Союз распространил коммунизм на 20 стран — никакая мировая война никогда не кончалась тем, чтобы 20 стран захватить.

На Дальнем Востоке?.. — я вот читаю в «Джапан Таймс», вашей газете, и совершенно потрясаюсь: от

вашего премьер-министра или от бывшего американского президента, только что посетившего Китай, мы слышим буквально, что сильный коммунистический Китай — это гарантия мира, совместно с Китаем можно поддержать мир во всём мире. Я считаю это безумием, полным непониманием природы мирового коммунизма. Коммунистический Китай только ещё не успел хорошо набрать силы, у него пока только 4 миллиона войск. Вас он предупреждает от возрождения милитаризма, а сам имеет четырёхмиллионную армию. Коммунистический Китай подавляет тибетский народ, пытался взорвать Индонезию, насадил самых страшных — изо всех коммунистов хуже нет — красных кхмеров, — это Китай посадил. Он сегодня подрывает Малайзию, Таиланд. Вы говорите сейчас о тяжёлом угнетении в Советском Союзе, а что вы знаете об угнетении в Китае и Северной Корее? «Архипелаг ГУЛаг» мой напечатан с опозданием в 40 лет против событий. В XXI веке к вам сюда приедет «Солженицын» из Китая, и он вам расскажет, что́ сегодня в Китае. А мы знаем, как китайцы плывут в Гонконг, хотя их могут акулы съесть, и вьетнамцы бегут, — а потому что жить нельзя под коммунизмом. И восточные немцы бегут в Западную Германию.

> Синсаку Хоген. А народ в Советском Союзе хотя и недоволен, но терпит. Я хочу спросить, когда же они поднимутся?

Отвечу. Когда я говорил о неустойчивом равновесии, я имел в виду, что Япония находится ну вот примерно как этот шар на плоскости. *(Рисует перед экраном.)* Чуть-чуть толкни — может скатиться сюда или туда. А всякий коммунизм — это вот, положение шара в яме. Поэтому, чтобы выбраться народу из коммунизма, нужны исключительные условия, так сказать, землетрясение нужно. Попасть туда ничего не стоит, очень легко попасть, а выбраться... Вы спрашиваете — когда в Советском Союзе кончится? Кончится. Но я спрошу вас — а в Китае, а в Северной Корее, а во Вьетнаме когда кончится? Везде такое положение, в яме. На наших глазах поляки немножко подпрыгнули, вот так вот, и опять свалились.

Синсаку Хоген. Говоря о международном коммунизме, надо иметь в виду, что он находится в положении очень шатком, и мы поэтому не должны переоценивать его силу. Что касается Китая, то надо сказать, что китайский народ — очень умный народ, и они в настоящее время направляются в сторону прогресса, улучшения. А в Советском Союзе, мне кажется, дела идут в противоположном направлении. Идея китайского народа вообще несовместима с идеей коллективизма. И процессы, которые шли на недавнем партийном съезде там, указывают именно на такое направление. Они, конечно, как коммунисты не будут спускать свой флаг, но развитие пойдёт в ином направлении. А международный коммунизм, я лично считаю, сейчас постепенно направляется к поражению, и не пора ли в Советском Союзе народу подняться против него?

Вы говорите — не надо переоценивать силу коммунизма, но опаснее её недооценивать. Вы коммунизм мерите обычными шкалами — экономической, государственного устройства, административного, — да, в этом всём он уступает Западу. Но, когда у коммунизма экономические трудности, он заставляет Запад себе помогать. Что был Советский Союз после гражданской войны, в 1920 году? — в развалинах лежал. Кто его поднял? — Америка. Кто сейчас помогает Советскому Союзу и Восточной Европе? — весь Запад. Вы подумайте, Западная Европа и Америка дали Советскому Союзу займов в четыре раза больше плана Маршалла. Вы напрасно думаете, что коммунизм такой шаткий. Если пойдёт так, как сейчас идёт, то он вас всех ещё съест. Вы сказали «китайцы — умный народ», а я отвечу: глупых народов и нет на земле. Я не знаю на земле ни одного глупого народа. Вы говорите — китайскому характеру противоположен коллективизм, так он противоположен всякому народу, он противоположен вообще человечеству, а его навяжут кому угодно, и японскому в том числе. Если китайцам так противоположен коллективизм, как же допустил китайский

народ при Мао Цзэ-дуне коммуны, которые и сегодня не распущены? Вы опасно переоцениваете сегодняшний партийный съезд китайский. Когда Хрущёв проводил XX съезд — тоже казалось: Советский Союз поворачивает. А вот, четверть века прошло — никуда не повернул.

> Госуке Утимура. Я бы хотел опять коснуться вашей речи в Гарвардском университете. Господин Киссинджер в своей книге «White House Years» отметил, что роль, которую вы сыграли в последнее время, очень велика. Ваше появление и тома вашего «Архипелага» сильно изменили весь спектр политических и нравственных взглядов американской элиты. Стала очевидна ценность неоконсерватизма, и это течение в Америке укрепилось. Он считает это очень важным, поскольку в результате изменилось течение американской цивилизации. Надо сказать, что и во Франции ваше влияние очень велико.

Если говорить об «Архипелаге ГУЛаге», то это особенная книга, потому что там 227 свидетельств вошли в мою голову и меня, так сказать, толкала эта коллективная сила. Я как будто бы писал не просто свою книгу, но я писал за всех погибших, это особенное ощущение. Моего личного опыта там тоже немало, но он так раздроблен, разбросан в разных местах, что если бы кто-нибудь попробовал его собрать, то это нелёгкая задача.

> Госуке Утимура. В Японии ваши книги широко расходятся, но мне кажется, что «Архипелаг» не все ещё прочли. Где-то вы писали, что американские родители детям своим деньги платят, чтобы читали эту книгу. А в Советском Союзе русские платят невероятные деньги, чтобы на чёрном рынке её купить.

Да, мои книги достигают читателя на родине через все препятствия, но, конечно, в малом числе и большими трудами. И опасно. У кого находят «Архипелаг», его наказывают и даже арестовывают.

Госуке Утимура. У вас на родине, конечно, покупают книгу, чтобы прочесть. А у нас в Японии покупать книгу и читать — это разное дело. Например, многие наши литераторы купили и знают вашу книгу «Архипелаг ГУЛаг» — но сколькие из них успели прочесть? Легче в эту сторону не смотреть. Однажды Рассел в Лондоне сказал такие слова: «лучше быть красным, чем мёртвым». Эту его позицию критиковал один из наших литераторов — именно после выхода вашей книги «Архипелаг ГУЛаг». А те литераторы, которые сегодня ведут кампанию против ядерного оружия, подписывают петиции, — они усвоили эти слова Рассела.

Конечно, передать западному читателю весь страшный опыт наш под коммунизмом — трудно, потому что человек, как видно, учится только на собственном опыте, только на собственной шкуре. Пока сам не испытает — не поймёт. Ещё и течение современной цивилизации приучает человека быть поверхностным. Течение цивилизации западной, дающей много благ, расслабляет человека, он слишком ценит всё то, что имеет, ему не хочется собраться перед опасностью. А тут ещё парадоксальную роль сыграло ядерное оружие. С одной стороны, им показан весь ужас и конец всего человечества, что может в одну минуту кончиться всё. И у человека начинает развиваться безразличие: раз можно потерять всё сразу, то и вообще не нужно по мелочам ничего делать. Привыкли жить под ядерным зонтиком: полетят ракеты, на них ответят, — значит, не будет ракет. А чтобы никакой не возник конфликт, лучше во всём уступать, разрядку делать, смягчать. Парадоксальным образом ядерная сила, впервые открытая на Западе, не усилила его, а ослабила. Не стало необходимым молодым людям готовиться к борьбе, к защите, — а всё решится там, ракетами. И коммунизм использует это и нажимает, а Запад отступает, потому что, не дай Бог, будет ядерная война. Я лично уверен, что никакой ядерной войны вообще не будет. Человечество применило химическую войну — и испугалось, отошло. Применило ядерную — и испугалось,

есть инстинктивный общий защитный рефлекс у человечества. Но дело в том, что Запад не готов защищаться ничем другим, кроме ядерного оружия. Упали, ослабли характеры, все рассчитывают на ядерный ответ. Так и пошёл этот самый расселовский ужасный афоризм, так он и пошёл — от слабости характеров.

> Госуке Утимура. Я хотел бы сказать ещё об одном парадоксе. Мои друзья, которые посетили Советский Союз, рассказывают, что там наблюдается среди молодёжи подъём религиозного верования. Мне кажется, такой дух, такое настроение — очень чисты, это постижение пришло через шестидесятилетнее страдание.

Да, именно. Как боролись, как уничтожали! — катком прокатывали, чтобы никакой веры не осталось. А молодая зелень, трава пошла в рост всё равно. Я очень рад, что вы это видите. Когда я в Гарвардской речи сказал, что страшное угнетение выработало у нас твёрдые характеры, то поднялась волна возмущения в западной прессе. Да, конечно, коммунизм развратил души миллионов, потери от коммунизма неисчислимы, не только физические, но и духовные. Я не хотел этим сказать, в Гарвардской речи, что все мы на Востоке стали крепкие и сильные, но у нас появились такие люди, которые удивительно крепки и сильны вопреки обстоятельствам. Вот вам Лех Валенса, сегодняшний кандидат на Нобелевскую премию мира, — он стоит открытой грудью против танков. Я горячо поддерживаю его кандидатуру на премию мира именно потому, что вот это и есть борьба за мир. Не то борьба за мир, когда Брандт или Киссинджер капитуляции подписывают и сдают свои позиции, и не тот заслужил Нобелевскую премию мира, кто — наступающая сторона, агрессор, как Ле Дык Тхо. Вот подлинный борец за мир, Лех Валенса, характер, воспитавшийся в коммунизме. Но не от коммунизма, конечно, а от веры в Бога у него такой характер.

Синсаку Хоген. Я именно об этом и говорил: такое грубое античеловеческое поведение международного коммунизма не может поддерживаться долго.

Может и долго, но, конечно, оно не может поддерживаться вечно. Однако главная надежда на освобождение от коммунизмов — не та, что снаружи кто-нибудь поможет, а что сами народы, изнутри, освободятся. Но повторяю вам этот рисунок: вот шарик, он, понимаете ли, в яме. Я для того рисовал это, чтобы показать: коммунизм — необычайно устойчивая система. Для того чтобы шарик из ямы вырвать, нужно совпадение ряда благоприятных условий. Мы никогда не можем верно предвидеть ход истории, и самые большие мудрецы ошибались в предсказаниях, даже в близких. Жизнь бесконечно разнообразна, и она даёт такие комбинации, которых не ожидаешь. Но надо всё же сказать, что общая окраска сегодняшнего дня человечества очень мрачная. С одной стороны, мы видим подкоммунистические народы, загнанные в яму; с другой стороны — свободные народы ложно понимают свою свободу, в основном — как свободу наслаждаться и делать что хочу. Истинная свобода состоит в том, чтобы постоянно иметь над собой высший нравственный принцип. Могу делать всё, что хочу, а не буду! Сам себя ограничу. Мне возражают: если вы ограничите свободу для зла, тогда это уже не свобода, такая свобода нам и не нужна. Но человек от самого начала, а не от нынешней западной цивилизации, создан Богом именно с полной свободой и добра и зла. Однако нам дан разум, и нам дано сердце для того, чтобы мы могли сами — сами! — ограничить свою свободу. Это высший принцип — самоограничение. Не государство должно постоянно ограничивать и уговаривать: «этого не надо, вот этого не надо...», — не государство, мы сами должны это делать. Моё главное противоречие с современной западной мыслью состоит именно в разном понимании задач, которые стоят перед человеческой жизнью. Западное понимание, записанное и в американской конституции, — это «стремление к счастью». Оттого что все стремятся к счастью — все ведут экс-

пансию, и жить никому на земле скоро будет нельзя. Мне кажется, главный порок современной цивилизации — в неверном понимании цели человеческой жизни. Она в том, чтобы кончить жизнь на более высоком нравственном уровне, чем твои начальные задатки. Вот это есть достойный путь человеческой жизни. Нам дана полная свобода для зла, а мы должны всё время сами, добровольно его отрезать и не делать. В Евангелии сказано: какая польза человеку, если он весь мир приобретёт, а душу свою потеряет? Современная цивилизация ведёт к тому, что человек завоёвывает мир, а душу свою теряет.

> Госуке Утимура. Я хотел бы спросить вас: в чём, где находится корень современной западной цивилизации?

Я думаю, что в философии Просвещения XVIII века. Мы замечаем деградацию свободы в западном мире за уже столетия два. Пока свобода ещё в XVII—XVIII веке несла прежние представления о религиозной ответственности, это была свобода благодетельная, но, когда образ Высшего затмевается, куда-то исчезает, а вся жизнь переходит вот в эту суету и кипение, вот тогда свобода обесценивается. И тогда рождается эта мысль, что свобода зла чуть ли не даже ещё важнее, чем свобода добра.

> Госуке Утимура. Если говорить об истории русской мысли, то и Герцен и Бердяев писали: нельзя найти выход, не учитывая достоинств религиозных.

Да, я убеждён глубоко, что из того кризиса, в котором находится современность, выход только в поднятии нравственного и религиозного сознания. Но путь для этого обычно, естественно идёт через национальные формы, вот почему я и считаю, что народу, который утратит свои национальные традиции и формы, труднее сделать этот подъём, труднее. Для того и нужно национальные традиции всячески удерживать, чтобы облегчить самим себе путь нравственного возвышения.

Госуке Утимура. В настоящее время Япония, можно сказать, приняла западный курс, и её можно назвать западной страной. Видите ли вы для Японии возможность нравственного выхода?

Я как раз нахожу, и я с этого начал беседу, что Япония не сдалась современности, а только отступила. Отступила, сохранив ещё очень многое традиционное. У вас юридические отношения не стоят выше человеческих, Япония не разъедена ещё до такой степени юридизмом, как другие западные страны. Потом я нахожу, что в Японии трудолюбие стоит очень высоко, ещё сохраняется любовь к труду, к самому процессу труда, на этом, главным образом, основан экономический японский успех. На Западе уже во многих местах видно равнодушие к труду, деньги и без этого есть.

Госуке Утимура. Россия и Япония, мне кажется, имеют общие черты, в частности — что они не особенно обращают внимание на конторы и законы. И там и тут люди связаны не столько законами, сколько традициями, и там и тут высоко ценятся человеческие отношения. Но Япония становится, можно сказать, Дальним Западом. И теперь в Японии, бывает, студенты спорят с учителями, профессорами, держа в руках сборник законов. Нет ли у вас такого чувства, что подобное явление проникнет даже в семью?

Я не могу судить: то, что вы говорите, для меня новость. Я знаю страны, где это уже вошло внутрь семьи. Не дай Бог. Но вот к вашему сравнению Японии и России. Если говорить о прежних веках, то всегда была эта разница между Востоком и Западом. Запад уже много веков как стал на почву легализма, юридизма как главного компаса жизни. А Восток всегда придерживался более эмоционального отношения, восприятия и взаимной теплоты. Но, к сожалению, я никак не могу принять ваш комплимент в отношении сегодняшнего Советского Союза. Сегодня в Советском Союзе не потому нет закона, что мы добровольно не ставим юридизм выше всего, а потому что нас лишили

последних остатков всякого закона. Как раз японский пример даже не с чем сейчас сравнить; японцам открыты законы, каждый японец может действовать строго по закону и требовать соблюдения закона. Но какой-то более объёмный взгляд ещё каждого удерживает, чтобы не броситься в эту гонку.

Госуке Утимура. Мережковский говорит, что Европа становится грубой или простой именно из-за того, что живёт на одних законах, что управление по-европейски делает людей мелкими. Эти споры известны давно как споры между славянофилами и западниками.

Я бы сказал, основной спор современности можно представить так: сперва ли надо организовать социальные институты — и тогда будет человек хорош, или сперва надо воспитать человеческие характеры — и тогда будут институты, которые нам требуются для достойной жизни. Так вот, восточный взгляд состоит в том, что дело прежде всего в воспитании характера, — и Запад раньше, в Средние Века, тоже это отлично понимал, и там это было. Но с эпохи Просвещения пошло так: человек — вообще идеальное существо, он будет делать только хорошее, если вы создадите ему хорошие социальные условия, социальные институты, чтобы среда ему не мешала. И всё будет хорошо. Это было роковое заблуждение, и сегодня мы пожинаем его плоды.

Госуке Утимура. То же самое сказал Ленин: прежде всего нужна революция, а потом уж воспитание, в коммунистическом духе.

Да, коммунизм и социализм — тоже вышли из Просвещения, они его наследники. Именно потому западному сознанию так трудно противостоять социализму и коммунизму, что в основе — много общих положений, корни, происхождение одинаковые. Не из религиозного чувства они выросли, а вот из таких гражданских рассуждений.

Госуке Утимура. По-вашему, на основе религиозного убеждения можно проявить самоограничение, но, мне кажется, нелегко это сделать.

> Вот считают со времени Просвещения, что человек сам по себе добрый и ничего не сделает плохого, если обстановка будет создана хорошая. Но когда же, как долго придётся ждать нам, чтобы добро над нами взяло власть?

Конечно, религиозному человеку легче даётся самоограничение, история всех религий даёт нам поразительные примеры. Но я даже не мечтаю о том, чтобы мы достигли поразительного самоограничения, — однако ответственное самоограничение доступно всякому современному безрелигиозному человеку. И атеисту сегодняшнему, если он человек ответственный, доступно разумно ограничить самого себя. Чтобы достойно жить среди себе подобных, человек должен гораздо больше отказываться, чем брать. И насколько я могу судить — это очень в восточном характере, и очень в японском.

ТРИ УЗЛОВЫЕ ТОЧКИ ЯПОНСКОЙ НОВОЙ ИСТОРИИ

Речь в Токио, 9 октября 1982

В истории некоторых народов бывают моменты, драматически приковывающие внимание столетий и законно входящие в мировые хрестоматии. В них содержится долгий урок для многих других народов.

В жизни Японии за последние 130 лет я различаю три таких момента. Первый — в самом начале периода. А третий — как раз сейчас, он ещё не созрел до конца, не отлился и, может быть, даже в Японии не всеми понят.

Два с половиной столетия длилась эпоха Токугава, ревностно охранявшая национальное развитие от разрушительных внешних влияний. Девизом той эпохи были: скромность и умеренность образа жизни. В те века Япония никуда не шагала вовне, ни на что не претендовала вовне — только желала, чтоб её оставили в покое для мирного внутреннего развития. (Не уклонюсь сказать, что я с большим сочувствием и пониманием отношусь к тогдашнему настроению в Японии.) Но внешний мир со всех сторон жадно наступал и требовал. 130 лет назад наведенные пушки иностранных военных кораблей заставили правительство Эдо уступить всемирному принципу свободы торговли.

И японцы совершили тогда изумительный поворот, достойный хрестоматий для всех поколений. Они приняли горький урок не только с мужеством, — но с невиданной находчивостью и настойчивостью. Все усилия, прежде направленные на сохранение внутренней жизни, они перенесли на то, чтобы перенять достижения и умения прочих стран — и в этих умениях (да при скудости своих недр! при стеснённости своей земли!) оказаться умелее самих учителей. И сегодня — мы поражаемся результату: японцы настолько переняли и усвоили принцип свободы торговли, что стра-

ны, продиктовавшие его когда-то, теперь не знают, чем и как загородиться от японского экспорта, куда деться от свободы торговли с вами. Не вы придумали эту безграничную торговлю — но вы показали, что такое есть она!

Однако принятый путь бурного экономического развития вёл к усилению всякой мощи, и в том числе военной мощи. А военная мощь — соблазн всех преуспевающих государств. Этого пути соблазна не миновала и Япония — уже с конца минувшего века, а в XX веке прошла сквозь яркое могущество.

В начале века несчастно пересеклись пути Японии и России. Я с горечью вспоминаю это — не именно потому, что Россия потерпела тогда военное поражение, но потому, что осуждаю тогдашнее русское правительство за всякое продвижение в Маньчжурию и к Жёлтому морю, с амбициозной железной дорогой по чужой земле. Все эти захваты представляли инерцию крупного государства, не контролируемую высоким смыслом.

По моему убеждению, люди духовной деятельности никогда не смеют оправдывать ничьей агрессии и захватов, но особенно непримиримо — когда захваты оказывает их родная страна. Как русский писатель я уже высказывался неоднократно, что цели истинной России не могут содержаться ни в военных захватах, ни во вмешательстве в дела других стран. А сегодня Россия, лишённая даже своего имени, лица и характера, обращённая в уродливый СССР, имеет перед собой безмерные внутренние задачи — самолечения, физического и духовного, от смертоносных последствий коммунизма — и на это может уйти 150—200 лет.

Но не могу отнести свои убеждения только к одной своей стране: я равно отношу их и к другим странам и народам. Величие всякого народа — не в завоеваниях, не в широте границ, а в широте души и стойкости перед бедами. Национальный дух должен строиться на моральной чистоте, а не на военной грозности. Единый подход ко всем странам: не должно быть захватов чужого, и военное продвижение в чужие пределы не является доблестью.

Мне уже пришлось разрабатывать публично прин-

цип, который я считаю несомненным: что народы и государства в своей политике не освобождаются от тех нравственных требований, которые мы ожидаем от каждого отдельного человека: порядочности, честности признаний, умения ограничивать самого себя и не делать другому такого, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Самоограничение я считаю высшим принципом каждого человека и каждой нации. Наблюдаемое сегодня повсюду в мире направление экспансии всех видов, включая экономическую, напряжение схватить, приобрести побольше, я считаю ложным и губительным для всего человечества. Если даже животный мир — и тот знает меры самоограничения, то насколько обязанней знать их мы — и в материальной области, и в социальной. Когда внешняя среда не ставит нам пределов — мы должны опомниться и поставить себе пределы сами.

Универсальность этих критериев разрешает мне сегодня как бы переступить законы гостеприимства и даже требует сказать, что в названный период расширения военного могущества Япония, повторяя ошибку многих до себя, нарушила эти правила: увлечённая своим могуществом, она бросила силы в военные завоевания далеко за своими естественными пределами. И это было нравственным искривлением славного пути, начатого реставрацией Мейдзи — а сегодня приведшего Японию на технические вершины современного мира.

Однако моё суждение не ново для вас — и в самой Японии многие пошли в выводах гораздо далее, после японского поражения 1945 года и особенно после Хиросимы и Нагасаки. В том, как ваш народ пережил атомную катастрофу, есть большая душевная глубина. Такая катастрофа не могла не сотрясти национального сознания, не отпахнуть истинных вопросов бытия, в которых одновременно и бездны, и вершины. Так Япония, вероятно первая в мировой истории, включила в конституцию запрет войны как средства решения международных споров и провозгласила отказ от развёртывания когда-либо в будущем любых военных сил. И этот момент я имел в виду как второй, когда назвал три эпизода вашей истории, достойных войти в мировые хрестоматии.

Я только удивляюсь, что после таких невиданно кардинальных решений в вашей же стране сегодня проявляется попытка уклониться от ответственности за своё недавнее прошлое и приукрасить его для молодых поколений. Я уверен, что никакой моральный рост и путь будущего самоограничения невозможны без признания и раскаяния в своих прежних грехах и ошибках. Ваше грандиозное наступление в 30-е годы и во Второй мировой войне было прорывом гордыни — и не следует этого замазывать, но так и признать. Это была тяжёлая ошибка, ослепление — и можно понять теперь возмущение всей Юго-Восточной Азии. Но не из-за чьих-то государственных протестов, а ради собственной чистоты — говорить правду об истории жестоко необходимо.

Сейчас я две недели непрерывно ездил по разным местам Японии, всматривался в жизнь, сколько мог. По столь малому опыту, я, конечно, не осмеливаюсь высказывать весомых суждений. Но я радостно поражён некоторыми чертами вашего общества и общественного миросозерцания. Например, тем, что в Японии нет уродливой юридической суеты, изнуряющей некоторые страны Запада, того юридического разврата, когда чуть не по каждому случаю бросаются к адвокату и в суд. Японцы определённо предпочитают улаживать дела по-человечески, путём взаимного понимания смысла. И радуюсь тому, что в вашей стране — невысок уровень преступности, и улицы ваши безопасны в любое время суток. И тому, что Японию не сотрясают эгоистические частые забастовки, которые на Западе тоже уже доходят до разврата, когда бастуют даже те, от кого зависит жизнь человека и всеобщая жизнь, — врачи, авиадиспетчеры, почтари, учителя, пожарные! — да не только сами бастуют, но ещё и отгоняют тех, кто пытается тушить пожар! Или когда городские рабочие сами повредили водопроводные и газовые трубы для лучшего успеха своей забастовки: чтобы город попал в катастрофу и прибег бы к ним! Это уже — безумный мир. Я думаю, что выдающиеся экономические успехи Японии произошли во многом и от того, что спорящие производственные стороны чаще проявляли самоограничение и взаимопонимание.

Я всегда представлял и теперь вижу, что способность самоограничения является коренным, глубоким свойством японского характера, оно проявлено много раз в вашей истории — и можно только поздравить вас с этим и учиться у вас. Я думаю, что национальное качество облегчит вам принятие ещё многих решений — вот, например, поддержать милосердное мировое соглашение ограничить промысел китов — из любви к нашей планете. Когда-то — и в не очень дальнем будущем — когда передо всем миром вырастает необходимость перейти от экономики захлёбно-интенсивной к экономике стабильного уровня и всем людям на Земле самоограничивать себя в потреблении — вам, японцам, удастся это, наверно, естественнее всех.

Я думаю, эта же способность к самоограничению поможет вам гармонически восстановить уже сильно нарушенное равновесие между переёмом западной культуры и сохранением национального своеобразия. Ваши национальные корни никак не менее важны для вас сегодня, чем ваше талантливое перенятие западной современности — тем более, когда она течёт в глубоком духовном кризисе, теряет моральное наполнение. Японскому духу всегда была свойственна оригинальность мироощущения и мироповедения. Я думаю, это свойство поможет вам сейчас: хотя с некоторым усилием, но вырваться со стандартной западной дороги. Тем легче вам это достанется, что японцы — одна из немногих оставшихся на Земле гомогенных наций. Счастье таких стран — что не бывает слишком резкого внутреннего раскола.

XX век упростил и огрубил человеческое мышление. Стали называть явления плоско, грубыми ярлыками. Например, такие пары ярлыков, чтобы судить о целых странах: «капитализм» и «социализм», «демократия» и «автократия». Но в этих поверхностных терминах совсем теряется глубокий смысл человеческой жизни. Вот мы видим две сверхдержавы, как будто противоположные по государственному строю, но это нам не объяснит, почему обе страны так схожи низким уровнем школьного образования, подорванностью семьи, а главное — потерянностью любви к труду. Схожи, хотя причины в обоих случаях и противопо-

ложны: крайняя скудость или крайний избыток. Интерес к труду потерян: в СССР — от полной безнадежности что-либо заработать, в Соединённых Штатах — от чрезмерно высоких достигнутых условий: можно многое получить, работая и кое-как, «хочу получать, а не работать». В этом последнем, кстати, я вижу главную причину, почему Япония обгоняет США в экономике. Из моего посещения провинциальной японской школы я вынес впечатление, что и японским детям не дают терять золотого времени и бездельничать, как в некоторых других странах.

Но даже при сохраняемом вашем национальном здоровьи и при ваших блистательных экономических достижениях многие в Японии ощущают, а руководители страны тем более видят, что Япония находится в неустойчивом и угрожаемом положении. Увы, в современном мире невозможно возложить все национальные надежды на одно лишь экономическое процветание. В нынешнем мире ваша страна беззащитна перед опасностью внешнего порабощения — и не только с севера, как думают у вас. Тридцать лет ваша надежда была на американскую защиту, но в последние годы вы могли убедиться во многих случаях, что внутренняя, а особенно духовная сила Соединённых Штатов уже не соответствует взятым на себя мировым обязательствам. Вы видели, как она уступала и проигрывала малому Северному Вьетнаму, и должна была уйти. Как бессильна оказалась в Иране, или в Никарагуа, в Сальвадоре, и вот уже двадцать лет беспомощно терпит приставленный к своему животу кубинский револьвер. Как обессиливает её масса слепородных пацифистов, совсем не понимающих мировой обстановки и степени близкой опасности уже самим Соединённым Штатам. И опасно вам поддаться взамен каким другим иллюзиям, как проявили руководители вашей страны не один раз даже в нынешнем году: то утопическому предложению Советского Союза дать обещание не применять первым обычного оружия (советский режим легко и даст такое и любое другое обещание, только никогда не выполнит); то предложению прекратить продажу американского оружия Тайваню, чтобы якобы «создать стабильность» на Дальнем Востоке, — са-

мая ложная идея! Надо совсем не понимать природы мирового коммунизма, чтобы надеяться достичь с ним стабильности через капитуляцию или предательство союзников. Не предавать надо союзника и соседа, как бы ни был он мал, но всеми силами поддерживать каждого, кто сопротивляется мировой коммунистической чуме. Каждая новая жертва, отданная в пасть коммунизму, только раззаряет его агрессивность. Коммунисты — не нормальный политический собеседник, всякие переговоры с ними ведут только к их пользе. Ждать от коммунистов когда-либо какой-либо пощады — иллюзия: пощады никогда никому не было и не будет. Вообще нельзя анализировать сегодняшние события в мире в прежних понятиях национальных государств, где правительства служат интересам своих народов: одна треть государств в мире уже имеет коммунистические режимы, и это надо понимать. Против коммунизма есть только один способ: железное устояние.

Коммунизм — это сила, которой ещё не знала мировая история. Это явление — противочеловеческое и даже метафизическое: даже её пороки, абсурды и провалы идут ей на укрепление. И поверхностны суждения тех западных специалистов, что какой-нибудь Брежнев нуждается в том или ином внешнеполитическом успехе для укрепления своей внутренней власти: из истории ли Ленина, Сталина или Брежнева можно привести примеры, когда своими поражениями они только укреплялись.

Благодаря непрерывным капитуляциям всего окружающего мира и торговой и финансовой помощи от него (и Япония тоже участвует в этом процессе, вместе со всеми не видя, что миллиардные займы никогда не будут выплачены коммунистами) — коммунизм только наступает и одерживает повсюду победы. По отношению к коммунизму губительно питать иллюзии, что его можно умерить лёгким обращением или уступчивыми формулировками. Нет! — только вслух на весь мир называя его язвы, вы можете хоть как-то сдерживать его. Сами коммунисты нисколько не стесняются вести свою истребительную «идеологическую войну» при любой обманной «разрядке».

Чтобы понять коммунизм — не надо придавать серь-

ёзного значения его «национальным модификациям», но сосредоточиться на изучении самой идеологии и истории её за 135 лет, она чуть старше вашей эпохи Мейдзи. Все нынешние коммунисты происходят от «Коммунистического Манифеста» Маркса—Энгельса 1848 года — и даже те из коммунистов, кто сегодня рядятся в европейские демократические одежды, в глубине своих замыслов твёрдо усвоили по марксизму, что насилие — основной способ и захвата власти и удержания её. Марксизм таков от самого начала: единственно на русском языке в Собрании сочинений Маркса—Энгельса напечатаны такие детали из их переписки, которые рисуют их как заговорщиков и беспринципных мошенников.

И не верьте тем, кто убаюкивает Запад, что коммунистическая идеология «умерла» в СССР или в какой другой коммунистической стране, что « в неё уже никто не верит». Да, народы не верят, но они бессильны влиять на события. А вожди верят или не верят — это не имеет значения: по железной коммунистической скованности они действуют строго по формулам марксизма во всей внешней, внутренней, административной и финансовой политике. И эта идеология несёт им победу за победой над остальным разъединённым миром с упавшим духом. Коммунисты могут варьировать гласные мотивы — но никогда не покидают конечных целей.

Здесь место оговориться и о всемирном модном мифе социализма. Этот термин без однозначного конкретного содержания употребляют повсюду в мире просто как мечту о «справедливом обществе». Идея социализма — это ложная идея, что все человеческие проблемы можно решить социальными преобразованиями. Но какие бы мягкие формы ни обещал социализм — он всегда есть насильственное установление издуманного недостижимого всеобщего уравнения личностей. Один из лучших умов сегодняшней России, Юрий Орлов, учёный физик, ныне изводимый коммунистами в лагере уже 6-й год до болезней и смерти, показал, что *полный* социализм — это есть неизбежно тоталитаризм. Что какими бы постепенными и мягкими мерами ни двигался социализм, но если только они будут после-

довательны — конвейер социалистических преобразований сбросит ту страну (и весь мир) в пропасть коммунистического тоталитаризма.

Это демонстрируется и реальным поведением социалистов всех стран: они никак не устаивают против коммунистов. Полвека социалисты всего мира старались скрыть убийства и мерзости, происходившие под коммунистическим красным флагом, утверждать, что ничего подобного нет. Так и сегодня Социалистический интернационал никогда не упустит случая обругать Чили — а о несравненных преступлениях, творимых в Китае, Северной Корее, Вьетнаме, Камбожде, Лаосе, — не произнесёт звука. И социалисты у власти: шведские — укрепляли вьетнамских палачей, сегодня французские — никарагуанских, и не кто иной, как Брандт, загубил воссоединение Германии и развалил прочность Европы. И что-то ваши японские социалисты не идут на штурм поддержать польских рабочих — но расплываются за «мир вообще», — так, чтобы и саму Японию ослабить.

А именно-то ослабляться и нельзя Японии в нынешнем свинцовом мире. Именно от слабости многих правительств и обществ сгустилась сегодняшняя опасность. И уже так долго сгущается она, что люди беспечно приучаются уже и не думать о ней. А тем и сложней становятся проблемы: надо не просто остановить наступление коммунистического тоталитаризма, но прежде преодолеть свою слабость духа.

А такая слабость есть и у Японии: треть века назад из самого благородного порыва отказавшись когда-либо снова взять в руки оружие — вот вы стоите беспомощны перед смертельными опасностями. И ваши несравненные экономические достижения оказываются всего лишь карточным домиком и не могут вас спасти. В ложном поиске вы ищете какую-либо внешнюю силу, которая бы вас защитила вместо вас самих. Одна такая ложная надежда: положиться на защиту Соединённых Штатов. Другая — и уже роковая — попробовать защититься от коммунизма коммунистическим же Китаем, который умело притворяется «добродушным».

Как сегодня Китай, кротким притворялся и Советский Союз, пока у него не было сил к агрессии. И кáк

надеялся Запад на советские обещания, пока велась война с Гитлером! И ка́к СССР тотчас озверился, захватывая Восточную Европу!

Насколько китайский коммунизм «добродушен», вы можете видеть по его действиям. Он пытался взорвать Индонезию, но, к счастью, в этом не успел. Он пригонял свои войска спасать агрессивный северокорейский коммунизм и пытался захватить Южную Корею, да не удалось. И если понадобится — пригонит войска в Корею снова, посмотрите — как горячо встречают они Ким Ир Сена, а ведь были у них и тайные встречи. И сегодня, несмотря на «помягчение» с Соединёнными Штатами, Китай требует убирать американские войска из Кореи. Китайские коммунисты провели безжалостный геноцид тибетского народа. Коммунистический Китай взрастил и посегодня поддерживает красных кхмеров, — может быть, самых лютых из современных палачей. И сегодня помогает коммунистам Таиланда и Малайзии мутить свои страны. И даже так далеко, как в Перу, орудуют сегодня маоисты-террористы. Именно китайские вожди (впрочем, и советские) произносили чудовищные декларации, как они переживут ядерную войну: даже если половина человечества будет уничтожена (Мао Цзэ-дун), если в Третьей мировой войне погибнет больше, чем во Второй, — «только облегчится решение проблем» (Дэн Сяопин) и «после ядерной войны Китай соберет осколки разбитого мира» (Чжоу Энь-лай). А что творится внутри самого Китая, сколько людей уже уничтожено коммунизмом, сколько сидит в лагерях, сколько подвергается издевательскому «перевоспитанию» и как угнетается весь народ, не мягче, чем в СССР, — это станет открыто известно только в XXI веке, с большим опозданием, как и об СССР. Кто видел по телевизору заседания последнего китайского партийного съезда — ведь это страшное зрелище! Нынешним Китаем управляют такие же жестокие аморальные существа, как и всеми коммунистическими государствами. (И когда они сегодня протестуют против исправления японских школьных учебников — не подумайте, что это волнует их как китайцев, что у них сколько-нибудь болит сердце за свой народ, — сами они погубили своего народа много

больше, чем ваша оккупация.) Вполне понятно, что у Японии есть — и должно быть — чувство вины перед китайским народом, — но от этого не должно возникать стеснённости или долга перед разбойным коммунистическим правительством Китая. Напротив, поддерживая нынешнее правительство в Пекине, вы только помогаете угнетать китайский народ.

И шатки надежды тех на Земле, кто слишком уповает на нынешний советско-китайский конфликт. Да, два родственных режима поссорились — но могут в любой момент и помириться на общей идеологической основе. Если бы советско-китайские противоречия были бы государственными, были бы в самом деле непримиримыми — СССР давно бы поддерживал и вооружал Тайвань, — но он этого не делает! Заметьте, что и коммунистический Китай двадцать лет, до 1964 года, поддерживал советское правительство в захвате северных японских островов. Обратите внимание и на последний поворот их съезда: Ху Яо-бан уже не назвал СССР «главной угрозой международному миру», а взамен того — «соперничество между США и СССР», — попытка Китая сыграть в равновесие.

Надежда стать бы «союзником» коммунистического Китая означает для Японии начать путь капитуляций. «Договор о мире и дружбе», который специально отпраздновать поехал в Пекин ваш премьер-министр, не даёт Японии никакой гарантии — как и Сталин легко нарушил договор о нейтралитете с вами. Ни один соседний с вами коммунизм — ни северокорейский, ни вьетнамский — не будет нейтрален в тяжёлый для Японии момент, но против вас. Вас привлекает получить близкие ресурсы сырья и рынок сбыта в Китае. Но на этом уже попались все страны Запада за последние 65 лет: вырастили себе превосходного смертельного врага. Да, заманчиво вам кажется: загородиться от советской угрозы Китаем. Но это есть самая верная гибель Японии, только немного отсроченная. Вы позже навлечёте на себя бурю, которая сметёт вас с ваших островов.

Да продажа оружия другим, чтоб убивали где-нибудь в стороне, — вряд ли нравственней, чем открыто вооружиться самим. Ваше душевное движение 1945

года уж во всяком случае не включало: создавать оружие для продажи другим.

В Хиросиме, где и сегодня с ужасом испытываешь на себе это дьявольское обожжение, на памятнике написано: «Спите спокойно, мы не повторим этой ошибки.» Да, *этой* ошибки, то есть ошибки обширных военных захватов, вы не повторите, надеюсь. Но жизнь устроена так, что возможности новых ошибок всегда подкрадываются к нам в новом виде — и мы их не узнаём — и совершаем вновь! Сейчас такая ошибка подкрадывается к вам в одежде — в надежде: довериться тоталитарному правительству коммунистического Китая, загородиться им от опасности. Но это и есть та ошибка Запада 1941—1945 годов, которая привела его в нынешнюю беспомощность.

Ваш отказ от армии и вооружения в 1946 году был исключительно благороден — но опережал современную безжалостную действительность. В своём отказе вы исходили из того, что вы были наступающей стороной и, стало быть, если вы не начнёте войны, то войны и не будет. А она — все эти сорок лет взрывает и сжигает мир, и вот-вот хлынет на вас.

Но если Япония могла проявить такую силу натиска для захвата Азии — неужели она, ещё невиданно возросшая экономически, не может проявить эту силу для спасения самой себя? В таком новом ответственном решении, в таком новом переходе — я и вижу смысл современной, назревшей третьей узловой точки новой японской истории.

Да, твёрдо помнить своё возникшее отвращение к агрессии, не забывать своего раскаяния о прошлом и не маскировать его в историческом изложении, — но стать сильной для обороны своей жизни, чтобы не рассчитывали найти в вас лёгкую добычу.

Чтобы стране укрепить оборону быстро и эффективно — придётся всем приносить экономические жертвы, — но спасение своего народа дороже.

И не только спасение самих себя, но на Японии, как самой развитой азиатской стране, лежит большая ответственность и за страдающих соседей — китайцев, вьетнамцев, лаосцев, камбоджийцев, — и за другие соседние народы, сегодня ещё свободные, но сильно

угрожаемые — и за Южную Корею, и Таиланд, и Малайзию, и Сингапур. Если вы находили в себе силы завоевать эти народы — ваш нравственный долг найти в себе силы и защитить их.

По поверхности западного мира у вас нет слишком надёжных союзников. Но это не значит, что их и вовсе нет на Земле. Напротив: их — многолюдное множество, их-то — больше всего на планете. Это — народы, угнетённые коммунизмом на четырёх континентах. Постарайтесь приобрести зрение — увидеть это, ощутить реально, — тогда-то и может приблизиться истинно великий момент японской истории.

Тем, кто не жил под коммунизмом, трудно вообразить, насколько там народ — русский, или китайский, или кубинский — обморочен, как во сне, сам не свой, себе не принадлежит, скован, не отвечает за то, что́ вытворяют его правители. Коммунизм — энергетическая яма, и непомерно трудно выкатиться из неё, нужно счастливое совпадение усилий. Но свои усилия приложат эти народы, как вы могли видеть иногда — в Будапеште, Новочеркасске, Праге, Гданьске, или по русскому военному летчику, перелетевшему сюда к вам, в Японию. Я особенно хочу вас предостеречь от роковой ошибки: считать советское или пекинское правительство национальными, а советскую агрессию понимать как «русскую». Научитесь понимать русский народ как вашего союзника.

Может быть, из-за памяти русско-японской войны 1904 года или из-за сталинского вероломства в 1945, — сегодняшней Японии не так легко увидеть, что с истинной Россией, что с русским народом у неё — разногласий нет.

Моё горячее желание, которое и привело меня в поездку к вам: чтобы на Дальнем Востоке больше не вспыхивала война. Чтоб из трёх великих стран, которые здесь граничат, никакая пара никогда бы больше не воевала. Я мечтаю дожить до трёхсторонней дружбы — японо-русско-китайской. Но сегодня этому мешают два — и не только два — коммунистических правительства, — и перед ними Японии неизбежно надо стать сильной, на своих сильных ногах.

Не надейтесь на обманчивую дружбу ни с пекинским, ни с советским правительствами — вы не достигнете её никаким торговым сотрудничеством, никакими миллиардными займами, никакими политическими маневрами.

Но я смею заверить вас, что японо-русская дружба — и обоснованна, и возможна, и — наступит!

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ГАЗЕТЕ «ЙОМИУРИ»

Токио, 13 октября 1982

Моримото (*заведующий иностранным отделом «Йомиури»*). Господа, я благодарен вам всем за то, что вы пришли на сегодняшнюю встречу, несмотря на свою занятость. Я думаю, что тут все друг друга знают, но всё же надо представить. Господин Шотаро Ясуока, литератор и писатель, известен по всей Японии. Господин Хироши Кимура, специалист по русской литературе и переводчик. Господин Хаяо Симидзу, профессор Токийского института иностранных языков, специализируется в международной и советской политике. Должен прийти ещё профессор Кичитаро Кацуда, он был в командировке и опаздывает; он специализируется в юридической, политической области. Я сегодня послужу вам в качестве ведущего. На этой встрече я предоставляю вам говорить как хочется и что хочется, свободно. Сначала послушаем, господин Солженицын, ваши впечатления от поездки по Японии и ваше мнение о нашей культуре. Я был бы рад, если бы тут произошёл обмен мнениями о западной культуре и современной цивилизации. О свободе в Советском Союзе. О связи между литературой и политикой. Но я прошу вас не считать для себя обязательными мои предложения. Итак, прежде всего я хотел бы слышать от вас, господин Солженицын, ваши впечатления от нашей страны Японии.

Солженицын. К сожалению, это будет повторением того, что я уже говорил по телевидению. Поэтому — по желанию господина Моримото — либо вовсе не повторять, либо очень сжато.

Моримото. Как вы знаете, телезрители и читатели газеты — разные люди, поэтому в данном случае не

будет повторения. Хотелось бы попросить вас рассказать ещё раз.

Солженицын. Вообще у меня другой принцип, я считаю, что писатель не должен ничего повторять дважды. Это — удел политиков, и даже обязанность их, повторять многократно одно и то же.

Моримото. А почему вы придерживаетесь принципа неповторения?

Солженицын. Это принципиальная разница между писателем с одной стороны и журналистом и политиком с другой. Считается, неправильно считается, что журналист и писатель — две ступени одной и той же профессии. На самом деле профессии писателя и журналиста прямо противоположны. Журналист должен схватить немедленно то, что он увидит, и сию же минуту передать. А затем, с течением времени, часто даже повторять, выражая какую-нибудь политическую линию, те же самые тезисы и доводы. А писатель не должен никогда спешить с выводами, его доводы должны отстаиваться годами, и повторение одного и того же просто нарушает художественную меру. И вообще, когда я выступаю с какими-то публичными заявлениями или интервью, я, собственно, нарушаю писательский жребий, писательский удел. И я бы ни за что этого не делал, если бы не было двух причин, которые настойчиво требуют этой моей деятельности. Одна причина та, что у меня на родине за советские десятилетия интеллектуальные гуманитарные силы во многих этажах почти нацело уничтожались. И на немногих уцелевших остаётся долг говорить за всех умерших. И так получается, что вот я, писатель Солженицын, то и дело выступаю с публицистикой. А физики Сахаров, Орлов и математик Шафаревич, все академики, вынуждены заниматься социальными проблемами. А вторая причина: что вне пределов СССР о событиях в нашей стране слишком часто высказываются поспешные, верхоглядные, а по сути — неверные мнения.

Моримото. Но всё-таки вкратце ещё раз повторите.

Солженицын. Прежде всего, я нисколько не считаю свои суждения авторитетными, ибо я путешествовал только две недели и был связан шоссейными дорогами, автомобилем, не было возможности просто бродить с рюкзаком среди людей. Мои впечатления можно разделить на два слоя. Один слой — это то, что несомненно, и, в общем, видят все, и японцы прекрасно знают. Это то, что у вас мало земли, земля скудная, нет ни ископаемых, ни хороших почв, что нужно всё это возместить трудолюбием. И как всегда в жизни бывает, стеснённые обстоятельства заставляют человека расти и в специальности, и в душевных качествах. Поэтому у японцев развилось такое невероятное трудолюбие и искусство, которыми они так блеснули в XX веке. Я не имел возможности наблюдать японский семейный строй, а это очень важный элемент современности, ибо крепкая семья — основа здоровья нации. (К сожалению, я не могу здесь судить, хотя косвенные впечатления больше складываются положительные.) Мне удалось посетить несколько уроков в одной школе, провинциальной. Школу, воспитание молодежи я считаю одним из главных ключей к судьбе нации, к тому, что с ней делается. И я с удовлетворением должен сказать, что эта школа, где я был, в хорошем состоянии. Я был на уроках физики и математики, которые мог понимать без перевода. От ребят действительно требуют занятий, и, видимо, не господствует та гнилая педагогическая идея, как в некоторых странах Запада: что детям надо дать возможность до восемнадцати лет наслаждаться, не напрягаясь в трудах, пока они сами определят себя, что́ именно они хотят.

А второй слой наблюдения за Японией такой: я хотел понять, насколько Япония устаивает перед разрушительным потоком современности и перед опасностями XX века. Я считаю, что, собственно, каждая страна в нашем мире стоит перед двумя опасностями. Одна опасность, как будто очень явная, — это мировой коммунизм, который наступает и захватывает страну за страной. По отношению к этой опасности можно было ожидать совершенной ясности у японцев, полного сознания опасности, и что они готовятся её отразить. К сожалению, я нашёл здесь неустойчивое состояние,

нет настоящего понимания опасности, и нет готовности к отражению. В частности, это сказывается в том, что в Японии существует миф, будто есть хорошие коммунизмы. Ваш уходящий премьер-министр сделал много заявлений в таком духе. Как будто бы китайский — хороший коммунизм, северокорейский не опасный, вьетнамский не опасный, один советский опасный. На самом деле, все коммунизмы на земле, какие только есть, все опасны, и все одной античеловеческой природы. Ну вот, а вторая опасность, она не такая мгновенная, не такая быстрая, но, в общем, разрушительная для всех наций на земле: это общее течение сегодняшней цивилизации. Современная цивилизация ведёт к уничтожению национальных особенностей и национальных корней. Современная западная цивилизация начиналась с высоких принципов христианства, но христианство за последние два века очень быстро выветривается из западного мира. Вот пример: в Соединённых Штатах запрещена молитва в школах и невозможно сейчас в Сенате добиться, чтобы разрешили её для желающих, — не для всех, а для желающих! — нет, чтобы вовсе не было! В современном мире — и в экономической области, и в социальной — есть тенденция к саморазрушению. Западный мир потерял высокие принципы свободы, измельчил их, и только барахтается, как выжить перед опасностями. Что же касается культуры, то я бы сказал, что поток современной западной культуры отличается пошлостью. Эта пошлость переполняет досуг людей, развлечения и медиа. И от них обратно отражается на жизнь: массовая подача пошлости портит жизнь, отпечатывается на жизни. Вот я и разрешу себе перейти ко второму вопросу господина Моримото относительно японской культуры: это связано. Я должен сказать, что я поражён, в каком количестве японских пьес и фильмов содержится моральный вывод и моральный принцип. Иногда очень высокий. И всегда усилия автора направлены к тому, чтобы морально укрепить своего читателя или зрителя. Как это не похоже на то, что разливается по американскому кино и театру, какое количество там бессодержательных и даже злых сюжетов, связанных с убийствами, развратом, гомосексуализмом. Относительно

японской культуры можно сказать, что она всеми силами старается удержать национальные традиции и корни. В них — спасение. Однако исход поединка с современностью, дуэли с современностью, пока ещё не ясен.

Моримото. А каково мнение господина Ясуока по этому поводу?

Ясуока. Я очень благодарен за вашу высокую оценку японской культуры. Вы сказали, что в японской культуре, например в кино и театре, как выход или исход берёт верх моральное стремление. Очень благодарен. Но вот вчера мне пришлось познакомиться с произведениями новых молодых писателей, для того чтобы присудить первенство одному из них. Остались только три произведения из многих, но все эти три были против вашего высказывания, против вашей надежды. В первом произведении человек убивает своего отца из-за алкоголизма. Во втором говорится о человеке, который издаёт порнографический журнал, он исходит из того, что именно такими вещами поддерживается культура, и он своей деятельностью в этой области надеется преобразовать общество. А в третьем — человек приходит в такое состояние, может быть, из-за слишком большого самообвинения, что в конце концов заливает свой, понимаете, член горячим кипятком, сжигает. Я не хотел бы дальше продолжать в этом роде, но, мне кажется, сейчас в Японии культура тоже подвергается западному влиянию, которое заключается в проповеди саморазрушения.

Солженицын. Господин Ясуока поправляет меня в сути суждений. Я и предупредил, что они могут быть пока очень первичны, поверхностны. Я ещё продолжу смотреть фильмы, чтобы понять это лучше. Но господин Ясуока не опровергает моего делового совета: что надо держаться за национальные традиции, корни против разрушительного потока западной массовой культуры.

Ясуока. Сто лет назад Япония приняла западную цивилизацию и образование по-европейски. После падения власти Токугавы люди начали считать, что, при-

нимая идею свободы личности, можно превратиться в такого цивилизованного человека, как на Западе. Но, принимая идею о человеке, о личности, о свободе, они упустили, что свобода — вопрос совести, они перестали обращать внимание на традиционные японские идеи достоинства, верности, уважения своих родителей. В нашем детстве, конечно, ещё звучали такие темы, но в последнее время в произведениях искусства очень часто возникает тема убийства отца. В данном случае играет очень большую роль американская культура и литература. Что касается Америки, — может быть, убийство отца основано на их истории. Америка получила независимость от Англии, в борьбе с ней, — может быть, поэтому стало достоинством убить отца. Для американцев выше всего своя независимость; если будет отвергнуто убийство отца, то Америка сама может быть в чём-то разрушена, может потерять свою моральную основу. Мы уважаем американское чувство самостоятельности, но когда эта американская идея войдёт в Японию, то, мне кажется, может создаться очень сложное положение в Японии.

Солженицын. Я совершенно согласен с господином Ясуока, его замечания весьма глубоки. В Америке защита личности доведена до абсурда, в ущерб интересам общества. И можно сказать, даже без парадокса, что американские законы, по сути говоря, защищают преступников. Вот почему действительно для Японии сложное положение: Америка, с одной стороны, для них главный союзник и защитник, а с другой стороны — несёт в себе столько моральных опасностей.

Ясуока. Конечно, в американской цивилизации имеются очень негативные стороны. Но, однако, хорошая сторона — уважение к личности. А что касается Японии, то мы уже несколько тысяч лет живём на таких маленьких островах, в густоте, и мало обращаем внимания на свободу личности.

Солженицын. Ну, уважение к человеку и уважение к достоинствам личности в Японии никогда не угасало, оно всегда было.

Ясуока. Я недавно читал произведение молодого

русского писателя Распутина под названием «Живи и помни». Это произведение получило государственную премию СССР. Я вообще считал раньше, что произведение, которое получает сталинскую премию, — невысокого качества. Но моё предубеждение было ошибочным. В этой повести Распутина речь идёт об одном дезертире, и там очень тепло говорится о его жене, которая защищала мужа. Во время войны я тоже был мобилизован, находился в армии, но тогда, надо сказать, само дезертирство очень было трудно, тем более что в японском обществе смотрели на дезертирство другими глазами, не так тепло, как написано в повести. Мы узнаем вот из ваших произведений, какой под Сталиным был режим строгий. Тем более я удивляюсь такому очень сильному стремлению к свободе, даже самозащите против насилия.

Моримото. Наша тема очень расширилась.

Солженицын. Всё же я сделаю маленькое замечание. По поводу удивления господина Ясуока, что в Советском Союзе государственную премию вдруг может получить хорошее произведение. Я сам так же точно всегда думал, что не может, но за последнее время здоровые силы литературы так растут, что даже режим не может сманеврировать и иногда вынужден хорошему произведению дать премию. Валентин Распутин смело поставил больной вопрос. А чтобы понять всю уродливость коммунизма: во Вторую мировую войну солдаты, которые отважно сражались, до последнего, и потом попали в плен, они получали по десять лет тюрьмы.

Моримото. А что касается Японии: те, кто попал в плен, а потом возвращались в свою родную роту, — им пришлось самоубийством кончать. Ввиду общественного мнения — они не могли поступить иначе.

Симидзу. Вы в своём впечатлении о Японии указали на здоровое состояние японской семьи.

Солженицын. Я выразил надежду, я определённо не знаю.

Симидзу. По этому поводу среди японцев тоже

есть два мнения — положительное и отрицательное, пессимистическое можно сказать. Если спросить американских и советских людей, то наверно больше можно услышать оптимистических мнений по этому поводу. Вы сами жили в Советском Союзе, теперь живёте в Америке, поэтому, исходя из своего двустороннего опыта, вы можете сравнивать и с жизнью в Японии. Справедливо сказать, в японской семье ещё сохраняется более здравое состояние, чем в Америке и в Советском Союзе. Однако последнее время, мне кажется, начали появляться деформированные семьи. Может быть, у нас дело ещё не дошло до такого положения, что можно назвать его уже нездоровым или гибельным, как наблюдается на Западе. В старое время Достоевский говорил о случайной семье, где члены семьи направлены в разные стороны, нет общности и соединённости, не объединены они одной идеей. Вот то же самое, может быть, в Японии в наше время. Тем не менее я думаю, что если в Японии будут сохранены традиции нашей национальной цивилизации и культуры, то на этом пути, может быть, удастся улучшить положение. Почему нас могут ожидать изменения к лучшему? Потому что хотя Япония до сих пор следовала за европейской цивилизацией, но в последнее время у нас стали замечать, что на Западе идёт разрушение семьи. Что касается отношений между личностью и семьей, то, как господин Ясуока отметил, в нашей литературе тоже появился герой, который борется за самостоятельность, это даже стало темой нашей литературы. Но, мне кажется, теперь японцы начали понимать, к чему приводит установление такой независимой личности, на примере Запада или Америки, — японцы начали понимать, чтó это принесёт. Десять лет назад я был в Америке и встретился с профессором Робертом Таккером. Тогда наш разговор зашел о хиппи, и мы говорили, что вот хиппи стремятся разрушить свою прежнюю семью, а ведь хотят создать свою новую. Противоречиво их мышление. Господин Таккер говорил, что важно не само отстаивание своей личности, а гармония между установлением личности и массовой жизнью, что ли, обществом. Что касается убийства отца, то издавна есть такие произведения. Ведь когда создавалась

какая-нибудь политическая система, то обязательно происходило какое-то убийство между родными, можно привести пример из римского времени или даже из Библии, о Каине. Традиционно при перемене политической системы наблюдалась такая ситуация.

Мне кажется, что нам надо было бы больше уделить внимания второму слою вопросов, которого вы касались, то есть беззащитному положению Японии сейчас.

Солженицын. Вы имеете в виду беззащитность относительно чего — коммунизма или потока цивилизации?

Симидзу. Против коммунизма.

Солженицын. Я хочу только двумя словами докончить тему. Я с большим сочувствием выслушал взгляды господина Симидзу, и меня порадовала его обнадёживающая оценка семьи в Японии. А что всякое изменение политической системы связано с убийствами, — нет, не всякое! И надо стремиться к тому, чтобы крупные реформы делать мирным путём. Это высшее искусство. В начале этого века крупный русский государственный деятель Столыпин как раз быстро реформировал Россию без кровопролития, если не считать казни террористов, просто убийц. Наши надежды — моя и моих единомышленников — на то, чтобы изменить советскую систему без кровопролития, без убийства ещё двадцати-тридцати миллионов человек. Это невероятно трудно, но только вот такая победа духа даёт плодотворное развитие в дальнейшем.

Моримото. Поскольку господин Кимура давно вас знает, хотелось бы попросить его сказать относительно вашей связи с Японией и японской культурой.

Кимура. Я последние три недели путешествую по стране вместе с господином Солженицыным. Что касается его интереса к Японии, то он большой, особенно последние эти три-четыре года. Вообще к Японии большой интерес у интеллигенции Советского Союза, России. Первое же произведение Солженицына «Один день Ивана Денисовича» произвело очень большое впечатление на японских читателей. В прошлом году, когда

я встречался с вами, Александр Исаевич, я рассказал вам, что в Японии русские классики очень много читаются. Об этом вы, кажется, не знали и поэтому удивились. Так высоко ценили японские читатели произведения русских писателей, но за последние 60 лет, после установления советского режима, было мало хороших произведений. Однако «Иван Денисович» был большим подарком для японских читателей. Я думаю, что Япония после Франции, наверно, самая большая страна, где переведены почти все ваши произведения. Их воспринимают высоко, как художественные, но, с другой стороны, поскольку ваши произведения обличают систему советского режима, они также воспринимаются высоко и в политическом отношении.

Моримото. Теперь разрешите познакомить вас с профессором Кацуда. Мы ожидаем от него вопроса.

Кацуда. Прошу извинить меня за то, что я запоздал, я прилетел только сегодня. Я получил большое впечатление от вашей речи 9-го числа. На меня также большое впечатление произвела ваша способность создать какую-то особую атмосферу. Тургенев отзывался высоко о русском языке. Ваша речь на русском языке была очень эффектна. Вы похожи были на Достоевского, когда стояли на этой трибуне. Вы говорили, что у японцев остаётся ещё способность самоудержания. Даже для меня, который живёт долго в Японии, это очень сложный вопрос. Достоевский сказал вечное слово: если Бога нет, тогда всё позволено. Я думаю, это правильно. По-моему, свобода не может существовать без какого-то авторитета. Если нет чего-то выше человека, то свобода стала бы какой-то развратной. Но вот в Японии христианство не смогло укорениться. Что касается синтоизма, то трудно сказать, можно или нельзя назвать его религией. А что касается буддизма, то, мне кажется, эта религия потеряла в последнее время способность захватывать души людей. Однако вы говорили, что тем не менее, по сравнению с европейскими странами, у нас в Японии остаются ещё силы самоудержания. До некоторой степени я согласен с вами. По-моему, критерий поведения японцев основывается не на морали, а на эстетике.

Солженицын. Это очень интересно.

Кацуда. Например, наш премьер, — вы упомянули, что он не останется на посту председателя. Но ведь он имеет большинство своей партии, поэтому если он хотел бы, то мог задержаться на этом посту. Однако относительно такого его решения — отречься от своего поста — наш японский народ, масса, тоже и политические деятели, и даже статьи газет, отзываются очень хорошо. Они говорят в том смысле, что его решение отважное или, понимаете, честное, и эстетически его высоко оценивают. Это именно традиционная японская культура — достоинство поведения. Поскольку сохраняется у нас такая эстетическая точка зрения, мне кажется, у нас в Японии не будет такого падения морального уровня, как в Америке или Европе.

Солженицын. Роль эстетики в Японии нельзя не заметить. Но мне кажется чрезвычайно интересной мысль профессора Кацуда, что и мораль в Японии держится на эстетизме. Всемирно известно положение, что есть три высших принципа: Истина, Добро и Красота. Это часто повторяли многие мыслители, в том числе Достоевский. Но красота казалась в эту триединую формулу искусственно добавленной. Однако Япония в трактовке профессора Кацуда как раз даёт такой пример, где бой идёт за красоту, за степень приятия или неприятия красоты. Вероятно, Япония не единственная такая страна, наверно не единственная, но очень яркий пример.

Кацуда. Ваша критика Америки мне кажется схожей с герценовской. Герцен бежал из России в 1847 году и потом, находясь за границей, разочаровался во Франции, в Германии, в Англии. Хотя тогда произошла Французская революция, в 48-м году. Герцен в своей критике Европы указывает, что в Европе рождается массовый либерализм, а личность занимается пустяками, вырождается. Духовно Герцен возвратился в Россию. Вы разочарованы в Европе, а также в Советском Союзе, — трудно найти, куда возвращаться вам пока.

Солженицын. Герцену критиковать западную жизнь было трудней, чем мне, потому что все плоды

разложения ещё так не раскрылись, как сейчас. Сегодня разложение Запада видно каждому. Но, с другой стороны, духовный возврат в Россию для Герцена был легче, потому что Россия реально существовала. Мне трудней потому, что Россия как таковая искорёжена, изрезана, извращена, что прямо, открыто она не существует. Её надо ещё от этого извращения освободить и потом лечить от последствий коммунизма двести лет.

Моримото. Теперь мы бы хотели слышать ваше мнение относительно будущего Запада, а также Советского Союза. Вы в своей речи в Гарварде говорили, что сейчас западная цивилизация находится в очень трудном положении и как раз наступает время ее поворота. Как вы считаете, каково будет дальнейшее развитие нашей цивилизации?

Солженицын. Течение цивилизации, как оно идёт, грозно-губительно для всего человечества. Сейчас в человечестве нет ни одного народа и ни одного государства, которое давало бы полностью благодетельный пример своим устройством жизни и своей нравственностью. Человечество всё больно, и поразительно, поразительно, что в таких абсолютно противоположных системах, как Советский Союз и Соединённые Штаты, мы вдруг видим похожие черты разложения. Разложение семьи, потеря интереса к труду, дурное воспитание подрастающего поколения. Казалось бы — как же из разных причин, из разных как будто источников может выходить одно и то же следствие? А дело в том, что по-настоящему обе системы — и нынешний Запад и нынешний коммунизм — исходят из одного и того же корня — безрелигиозного гуманизма. Смотреть оптимистически на будущее нашей цивилизации не могу, вопрос не решён. Ясно, что мы все погибнем, если не вернём себе сознания Целого и Высшего над нами, в пользу которого, Высшего, мы должны самоограничиваться все — и люди, и нации. Широко по Западу, всюду и везде, на каждом месте, да и в Японии, говорится: «свобода, свобода, свобода...» — и почти никто не призывает к самоограничению. Мне недавно попалось выступление одного японского публициста,

который в японском журнале отвечает на мою Гарвардскую речь. И он отвечает так: как это я, в Гарварде, выступаю за моральные ценности? — это неправильно, он пишет, это неправильно. Свобода — только тогда настоящая свобода, если у нас есть и полная свобода зла. А вот это и есть порочный взгляд, который распространён по всему Западу широко. Да, мы созданы Богом с полной свободой добра и зла, но это не значит, что мы должны осуществлять всю эту свободу. Мы сами должны отсечь зло и не делать его, хотя имеем свободу делать его. Так вот, я думаю, что будущее человечества зависит от того, проникнемся ли мы идеей, что мы существуем не для того, чтобы как можно шире свободу осуществлять, а для того, чтобы самих себя жёстко ограничивать, самих себя.

Теперь — что касается опасности коммунизма. Я должен сказать, что эта опасность как раз как будто наиболее видна, трудно не заметить, как коммунизм шагает по земле. Но Запад умудряется этого как будто не замечать, Запад верит любой игрушке, которую ему покажут, чтобы отвлечь. Запад верит любой иллюзии. Куба сказала, что, *может быть,* уберёт войска из Анголы, — и уже сразу крупные заголовки: «Куба скоро уйдёт из Анголы.» Польский министр иностранных дел заявил сейчас на сессии ООН: «*вообще* мы отменим военное положение», — и уже радостные голоса: «скоро Польша отменит военное положение». А они вместо этого взяли и запретили «Солидарность». Я бы сказал, что происходит вообще страшный процесс на Западе: общее падение мужского начала, падение духа к сопротивлению, к борьбе, падение воли. Нынешнее молодое поколение Запада, да, наверно, и Японии, больше всего боится жертв и горя. И настроение на Западе такое: уступить хоть три четвёртых, хоть четыре пятых мира, понимаете, только пока самим как-нибудь ещё потрепыхаться, ещё пожить. Отсюда и вера в эту самую ложную «разрядку», которой никогда не было, ни одного дня. Поразительно, уже пятнадцать народов вместе говорят одно и то же, страдающие народы рассказывают об ужасах коммунизма: из Советского Союза, из Восточной Европы, и из Восточной Азии, из Вьетнама, из Камбоджи, из

Лаоса, — все одно и то же говорят. Западу говорят. Но западные интеллектуалы не хотят этого слышать, они считают себя умнее. Коммунизм сам по себе очень силён, но он особенно силён из-за упадка духа Запада. И моя речь 9-го числа в Японии была — призвать к тому, чтоб у вас не произошёл этот упадок духа. Так и о главной опасности я должен сказать, что стоит всё на качающихся весах, и даже перевешивает в худшую сторону. Тем не менее, хотя дела даже ещё хуже, — я на угрозу коммунизма смотрю более оптимистично, чем на угрозу общего разложения. Мне кажется, что коммунизм доходит до какой-то черты, до какого-то мирового объёма, за которым он уже сам себя не будет держать. Но коммунизм может быть свален только взаимным сочетанием двух условий — сопротивлением угнетённых коммунизмом народов, которое, хотя и редко, выходит взрывами наружу, и сопротивление всё время нарастает, во всех странах; и стойкостью остального свободного мира. По крайней мере, свободный мир должен уметь защитить сам себя, чтобы коммунизм перестал расширяться, и тогда в коммунизме проявятся внутренние процессы развала. Семь лет назад в Вашингтоне я, обращаясь к американцам, говорил: вы нас не спасайте, мы сами себя спасём, но вы только, пожалуйста, перестаньте давать землеройные машины нашим палачам, чтобы они нас закапывали в землю. К сожалению, и Европа, и Америка, и Япония — все продолжают наперебой подавать «землеройные машины» и всякую помощь, чтобы коммунисты крепче сидели. Всякие экономические сношения — торговля, займы, концессии — помощь, вот как Япония хочет помогать с добычей нефти на Сахалине, — всё это укрепляет коммунизм. А Китаю — Китаю Япония готова помогать ещё шире. Ну, себе, как говорится, на голову.

Моримото. Спасибо за ваше выступление, за ваши мысли. Теперь сделает замечания господин Ясуока.

Ясуока. Конечно, в нашем мире существует противостояние коммунистического и свободного режима. Вы сравнивали кризис в нынешнем мире, а именно разложение цивилизованного общества, с болезнью —

раком. И в «Раковом корпусе» вы писали о процессе ракового разложения. Но как вы считаете, что такое жизнь вообще?

Солженицын. Я так понимаю вопрос господина Ясуока: он не спрашивает меня, что такое биологическая жизнь, а в чём смысл жизни человека, так? для чего человек живёт?

Ясуока. О самой жизни нашей. Я именно задал такой вопрос, исходя из того, что восточные народы не так различают жизнь физическую от жизни духовной. И, может быть, вы согласны с таким мнением?

Солженицын. Мой взгляд, несомненно, можно назвать скорее восточным, чем западным. На Западе слишком многое сводится к материально-биологической стороне жизни организма. Я наблюдением многих лет и собственным испытанием в раке убедился, что по-настоящему наш организм ведётся не физико-химическими процессами в клетках, а нашим духом. И если говорить о смысле нашей жизни, то тут опять существуют полярные взгляды, западный и восточный. Западный взгляд состоит в том, что человек создан для счастья, цель его земной жизни — испытать как можно больше счастья. Я считаю это опасным заблуждением, и, когда оно кладётся в основу государственного устройства, как на Западе, оно и ведёт к сегодняшнему разложению. Цель жизни человека не в счастьи, а в том, чтобы за долгий жизненный путь духовно подняться, стать к смерти существом духовно более высоким, чем родился.

Кацуда. Вы отметили, что и у Запада и у России имеется общее основание в том смысле, что там существует гуманизм без Бога.

Солженицын. Не у России, а у Советского Союза.

Кацуда. И в этом отношении я бы хотел спросить о будущем. Считаете ли вы возможным в России возрождение гуманизма с Богом?

Солженицын. Видите, такого понятия — «гума-

низм с Богом», — по-моему, не существует. Гуманизм если не начнёт, так кончит тем, что подставит вместо Бога — человека. А существует христианство. И в смысле христианства — да, не только я думаю, что возрождение произойдёт, но оно уже сейчас значительно происходит.

Кацуда. Именно в каком виде, где?

Солженицын. Это происходит в разных формах, вот подобно тому, как река бывает снаружи замёрзшая, а внизу течёт вода и рыба живёт. Подобно этому религиозная жизнь в Советском Союзе снаружи так задавлена, и официальная Церковь настолько придавлена государством, что не смеют себя заявить. Но происходит возврат самого народа к Богу. Вот я жил, например, в Рязанской области и могу сказать, что в Рязанской области крестят 70% младенцев, хотя это всячески преследуется властями. А в мою молодость, в 30-е годы, молодёжь вся была захвачена марксизмом и верила в мировую революцию, тогда молодёжь в церкви нельзя было увидеть, а сейчас зайдите в церковь православную в России — и вы увидите значительное число молодёжи, причём и из самых интеллигентных слоёв. То есть происходит поворот интереса молодёжи. Если в середине XIX века молодёжь бросалась в революцию, в нигилизм, то сейчас она, наоборот, тянется к религии. И не случайно, что коммунизм смертельно боится именно религии. Посмотрите, как арестовывают в России православных, в Литве католиков, повсюду баптистов, пятидесятников. Жестоким срокам подвергаются молодые люди, которые создали и вели христианский семинар, — Огородников, Пореш. В тюрьме известный священник Глеб Якунин. Сейчас арестовали в Москве Зою Крахмальникову за то, что она в самиздате издавала только сборники христианского чтения, больше ничего там не было. Конечно, процесс излечения очень долгий.

Симидзу. За последнее время мне несколько раз встречались сведения о новых проявлениях русского самосознания. Существует ли связь между новым национализмом и возрождением христианства в России? И имеет ли какое-нибудь сравнение сегодняшняя си-

туация с западничеством XIX века и славянофильством? Существует ли сегодня в СССР подобное противостояние?

Солженицын. Сейчас стало модно среди западных наблюдателей и критиков: сводить внутренние течения в нынешней стране, в СССР, к наследству прошлого, к западникам и славянофилам. Я должен сказать, что прямого наследства, во всяком случае от славянофильства, я не вижу и сам не испытываю. Конечно, в России, в стране, которая лежит между Западом и Востоком, должны всегда быть колебания более восточного или более западного понимания. Сахаров считает, что надо в будущей России максимально копировать западную систему. Я считаю, что нужно развивать традиционные русские формы, которые не совпадают с западными. Среди таких форм, например, отсутствие партий. Или: наше прежнее представительство, так называемый земский собор, совещательно искало *единое* решение, которое было формально необязательно для царя, но морально он не мог не выполнить его. Далее, Сахаров верит до сегодняшнего дня в идею конвергенции, то есть что западные и восточные системы постепенно превращаются друг в друга, и это, мол, хорошо. Сахаров верит во всесторонность и непрерывность общечеловеческого прогресса, он верит, что действительно идёт всё время общечеловеческий прогресс. А мне, наоборот, гораздо виднее плоды нравственного регресса, а прогресс технический — это ещё мало радости. Далее Сахаров считает, что экономика не должна быть в компетенции нации, но только межнациональная, и должно быть мировое правительство. Я считаю, что если в малых странах то и дело открываются коррупция и бесчувственность правителей к делам маленьких людей, то мировое правительство — оно вообще ничего не будет знать и понимать, где что делается. Сахаров считает, что нация сама не должна ведать своей экономикой, экономика должна быть сквозной по земле, единой, а раз так, то кто будет ею управлять? — мировое правительство? А я считаю, что это будет только бестолочь, вообще уже концов не найдёшь, потому что не дозовёшься до этого всемирного

правительства, не объяснишь своих национальных бед и потребностей. Какое может быть мировое правительство, если Объединённые Нации — балаган, просто балаган, где справедливости не дождёшься. В соответствии со своими взглядами Сахаров считает, что наши проблемы, внутри Советского Союза, должны быть решены давлением иностранных правительств, парламентов и обществ. И считает, что мы уже столько понесли жертв внутри страны, что нельзя призывать к жертвам наше население. А я считаю, что с Запада довольно, если он спасёт сам себя. А мы — да, мы тоже должны сами себя спасти, и, да, без добровольных жертв не спастись. В частности, наш спор также пришел к вопросу об эмиграции. Сахаров считает, что эмиграция является важнейшим правом человека. А я считаю, что это 35-е право человека. Мы лишены у себя в стране чистого воздуха, чистой воды, питательной пищи, возможности рожать детей — у нас падение рождаемости, нет возможности обрабатывать землю, и могу насчитать таких 34 права, а 35-е будет право эмиграции. Совершенно дикая была бы мысль предложить Японии от своей тесноты уйти тем, что уехать с этих островов совсем. Но на Западе, в Америке особенно, эту эмиграцию действительно переставили вперёд как самую главную проблему Советского Союза и человечества, понимаете? Можно было бы продолжить список этих расхождений, но я хочу только сказать, что вот эти основные разности взглядов нельзя считать прямым наследием западничества и славянофильства. Это лишь следствие того, что Россия стоит между Западом и Востоком.

Симидзу. Я вполне согласен с вашим мнением, особенно в той части, которая имеет философский характер. В молодости на меня произвели глубокое впечатление произведения Достоевского и Бердяева. Во-первых, относительно вопроса о свободе. Я так считаю: нельзя допустить свободу, которая губит Свободу. На Западе разрешается такая свобода, которая подстрекает к насилию. Я не знаю, поместят ли это газеты или нет, но, в общем, у нас в Японии тоже пользуются такой разрушительной свободой в отношении из-

даний, свободы слова и так далее. И в результате получается, что мы поддерживаем такие свободы, которые могут погубить Свободу. Во-вторых, что касается кризиса на Западе, то, конечно, есть опасность от стремления коммунизма расширять свои области влияния. Но, мне кажется, главная опасность для Запада находится в самом Западе, то есть там постепенно наблюдается деградация духовной силы, и тем самым падает и мораль. Как вы знаете, в Китае был такой известный философ Лао-цзы, он говорил так: если оглядываешься на себя и находишь себя правым, то иди даже на тысячу!

Солженицын. Хорошо, хорошо!

Симидзу. В этом отношении у Запада больше всего не хватает духовной силы. На Западе люди думают только о своей жизни и не думают о своей смерти. Жизнь без мыслей о смерти является очень узкой жизнью, и при этом тоже теряется духовная сила. А иной до того предан удобству своей земной жизни, что даже готов не считаться со своей семьёй, с женой и детьми, готов даже покинуть их, и даже свою родину. Неспособность жертвовать — основа западного пацифизма. Из-за такого положения на Западе он постепенно и завоёвывается коммунизмом. Поэтому, я считаю, в диагнозе болезни Запада мы согласны с вами.

Кимура. Но относительно понимания русской литературы в Японии у меня довольно пессимистическое мнение. Хотя у нас русскую литературу хорошо читают, довольно много, Толстой, Достоевский, — но то, что в основе русской литературы лежит христианская идея или христианское мышление, японцы не сознают. Когда появился ваш первый рассказ «Иван Денисович», я немножко написал о том, что всё-таки появился писатель, который пишет о Боге, наконец-то через 60 лет после революции. Но тогда очень мало заметили это. Конечно, за последнее время говорят, что вы довольно много пишете о Боге, о религиозной стороне.

Моримото. А что возражает господин Кацуда?

Кацуда. Я говорю, что не совсем согласен с таким мнением. Поскольку в самой Японии не так-то много

верующих христиан, поэтому, может быть, японцы не сознают столь отчётливо вопроса о Боге. Однако многие люди чувствуют, что человек является очень маленьким существом, хотя, может быть, не сознают Бога.

Солженицын. И интересно: как приходит такое понимание? Ведь, кажется, если не иметь сознания Бога, то какая мерка может быть для человека? Почему человек маленькое существо?

Ясуока. Конечно, нет у нас, у японского народа, такого отчётливого Бога, как у вас. Но тем не менее смутно японцы чувствуют, что что-то есть сверх нашего существования.

Симидзу. Большинство ваших произведений касается русской революции. Вот говорили, что вы сейчас пишете новое произведение под названием «Красное Колесо». Я очень интересуюсь: как ваше произведение будет оценивать русскую революцию? Если у нас в Японии ещё имеется какое-то согласие среди людей относительно марксизма и так далее, то нет его о революции в России. Даже среди людей, которые критикуют сталинизм, есть такое понимание, что русская революция — это отдельное дело. Такое мнение существует, что русская революция — это самое большое событие в XX веке, открывшее новый мир, и событие очень прогрессивное. Но сейчас, через 65 лет после русской революции, в отношении Февральской революции 1917 года можно дать такую оценку, что она имела какой-то смысл в освобождении от диктата. Однако в отношении Октябрьской революции у меня лично такое мнение, что это был переворот и тем самым, наоборот, уничтожены новые побеги Февральской революции. Каково ваше мнение?

Солженицын. Могу сказать. Конечно, нельзя предварять роман объяснением, но я скажу два-три слова. Я сорок пять лет занимаюсь этой самой темой и сорок пять лет изучаю историю революции 17-го года. Действительно, революция 17-го года отпечаталась на XX веке так, как Французская революция на XIX. Но я должен сказать, что под словами «революция 17-го года» я понимаю некий единый процесс, который за-

нял по меньшей мере тринадцать лет. То есть от Февральской революции до коллективизации 30-го года. Собственно, только коллективизация и была уже настоящей революцией, потому что она совершенно преобразила лицо страны. Так вот, я за эти сорок пять лет установил, что процесс совершенно единый, из Февральской революции не мог не вытечь октябрьский переворот, он должен был выйти из неё. Вот, перещупывая день за днём революции, я убедился, что уже в марте 1917 октябрьский переворот был решён. Что есть единая линия: Февральская революция — Октябрьская революция — Ленин — Сталин — Брежнев. Так же, в общем, и во Французской революции, во Французской революции тоже каждое последующее вытекало из предыдущего. Революция никогда не бывает сотрясением двух-трех дней, это неправильно называют революцией. Революция — это когда успевают изменить лицо страны.

Симидзу. Процесс этот, вы считаете, продолжается и сейчас?

Солженицын. Нет, я сейчас назвал Брежнева в том смысле, что он продолжатель предыдущего. Нет, процесс давно уже пошёл другой. Уже лет двадцать идёт обратный процесс у нас, но этого ещё пока не видно, — как тает под снегом вода.

Симидзу. Когда этот процесс выйдет наверх, какую вы могли бы предполагать систему и строй?

Солженицын. Как я уже сказал, об этом у нас нет единого мнения в стране, есть ряд течений. Но если вы спросите меня, чего хотел бы я, то я бы хотел, чтобы мера была прежде всего нравственная, то есть чтобы социальные учреждения, социальная структура государства не считалась первичной, а первичным было бы воспитание человека. Моё убеждение, что всё дело в людях, а социальная структура вторична. Вот почему в Японии устойчивая традиция даёт большую надежду: потому что она внутри людей. Это гораздо важней того, какая у вас конституция и какой у вас парламент.

Кацуда. Я считаю очень поучительным ваше вы-

сказывание о трагичности свободы. Я хотел бы сказать, что свобода сознаётся весьма ограниченным слоем людей, которые имеют высокое знание или самосознание, то есть свобода озаряет прежде всего вершину горы, только, а потом середину, и лишь в конечном счёте озаряет подножье горы. И на это потребуется, может быть, 50 и 100 лет ещё, мне кажется.

Моримото. Спасибо большое за участие в сегодняшней беседе, мы очень благодарны и признательны за ваши высказывания по разным вопросам.

Солженицын. И я благодарен всем собеседникам. Мне пришлось за восемь лет на Западе участвовать во многих интервью и дискуссиях, но мне ни разу не было так интересно, как сегодня.

СВОБОДНОМУ КИТАЮ

Речь в Тайбэе, 23 октября 1982

Уже тридцать три года остров Тайвань приковывает к себе, я думаю, внимание многих в мире — своею особенной судьбой. Сам я испытываю это чувство давно и устойчиво. Уже три десятка стран в мире пало, подпало под власть коммунизма — и почти ни одной из них не удалось сохранить клочка независимой национальной территории, где могло бы продолжиться сломленное государственное развитие, и соревновательно показать себя миру по сравнению с коммунистическим развалом. У нас в России таким кусочком, может быть, мог бы сколько-то подержаться врангелевский Крым, но не получил ничьей внешней поддержки и, покинутый неверными европейскими союзниками, был вскоре раздавлен коммунистами. А в Китае, благодаря широкому морскому проливу, таким обломком прежнего государства остался Тайвань, и вот уже треть века показывает миру, на каком высоком уровне развития мог бы быть и весь Китай, если б он не подпал под коммунизм. Сегодняшняя Республика Китай на Тайване отличается своими строительными и индустриальными успехами, благосостоянием населения и показывает, как разумно могут быть направлены силы нации, когда они не во враждебных руках.

И казалось бы — население нашей планеты могло бы ясно видеть это поучительное сравнение, могло бы иметь глаза открытыми: кáк процветает народ, избежавший коммунизма, и как миллионами погибает он под коммунизмом. История коммунистических уничтожений в Советском Союзе, Польше, Камбодже теперь уже открыта всем; история миллионных уничтожений в Китае, Вьетнаме или в Северной Корее ещё откроется когда-то в подробностях, а по многим признакам можно судить о ней и сегодня.

Но нет! Именно Свободному Китаю довелось испытать наибольшую несправедливость и неблагородство от других стран. Организация Объединённых Наций, давно превратившаяся в безответственный балаган, покрыла себя позором, исключая из себя 18-миллионный Свободный Китай. Большинство государств нашей планеты предательски вытолкнуло вашу страну из состава ООН, и ещё при этом делегаты свистели, шикали и кричали. Большинство государств Третьего мира поступили тут, как в безумии, показывая, что не знают цены свободе, но ждут и на себя сапога.

А западный мир уже много столетий прекрасно знает цену свободе, но с годами, от благополучия, он всё менее расположен платить за неё. Западные люди ценят свой государственный строй, но всё менее склонны защищать его собственными телами. Это предательство страны за страной, лишь бы самим уцелеть, началось ещё до Второй мировой войны, а после неё не пожалели отдать всю Восточную Европу, только бы продлить своё благополучие. Как легко предали правительство Миколайчика, так легко отказались и от поддержки своего союзника Чан Кай-ши. И скоро мы ещё будем свидетелями, как одна западная страна будет предавать другую, чтобы только самой уцелеть чуть подольше. Удивляться ли, что большинство запуганных западных стран боится даже продавать вам оружие, чтобы не разгневать Пекин, — столького стоит их стремление и сочувствие к свободе. Между тем угрожаемая Европа могла бы лучше понимать ваше положение. Да так же трусят признать Китайскую республику и страны Азии, сами угрожаемые. А недавний японский премьер-министр заявил, что вооружение Свободного Китая вносит дестабилизацию на Дальний Восток! Дальше не скажешь.

Всеми ими владеет поиск: как бы защититься от опасности, кого бы подставить вместо себя. И так появился соблазнительный миф, что есть коммунизмы плохие, а есть «хорошие». И по такому настроению утвердилось мнимое изображение коммунистического Китая как добродушного миротворца! И что удивляться, если в Южной Корее, которая сама пережила коммунистическое нашествие, тоже есть миф, что Совет-

ский Союз не прямо враждебен им, не «такой» враг, не то что Северная Корея.

Нет, не по близорукости, не по глухости поддаются этим мифам, а по отчаянию, от потери духа.

В особенном отношении к вам находятся Соединённые Штаты Америки. До сегодняшнего дня Соединённые Штаты — единственная внешняя гарантия, удерживающая коммунистов от нападения на ваш остров. Но сегодня с каким трудом даётся Соединённым Штатам верность Тайваню! — сколько уже потеряно на этом пути! Так же и Соединённые Штаты поддались общему в мире течению покинуть республику Свободного Китая в беде, оставить её на произвол судьбы. Америка пошла на разрыв дипломатических отношений с Китайской республикой — за что? в чём она провинилась? — следуя общей западной тщетной мечте найти союзника в коммунистическом Китае. Америка ограничила связи с вами, снизила военную поддержку, уже не даёт вам всего необходимого.

Какие давления оказываются на американских президентов в сторону сдачи Тайваня! — и не все они выдерживали. Вот один из бывших президентов только что приезжал в Китай и льстил, что «сильный (коммунистический) Китай — гарантия мира», что Америка будто бы заинтересована в сильном красном Китае. И такие люди в иные годы управляли Соединёнными Штатами! — и нет гарантии, что подобный человек не наследует президенту Рейгану. Соединённые Штаты сильно разнородны, в них много течений, и очень сильны течения капитулянтские. Мощные влиятельные круги клонят к тому, чтобы предать свободную страну и дружить с тоталитарной. Они так и подхватили лицемерное предложение коммунистического Китая о «мирном объединении». Многие американские журналисты трубят, что теперь Пекин «связан обещанием» произвести воссоединение мирно. Они хотят забыть и потому успешно забыли, сколько раз коммунисты уже обманывали. Опыт правительств, «совместных с коммунистами», в послевоенной Восточной Европе — никого ничему не научил. (И сейчас в Камбодже повторяют этот безнадежный опыт.) Да так же и по киссинджеровскому договору Северный Вьетнам был «связан

перемирием» — пока сам не назначил день захвата Южного Вьетнама... И даже до такой глупости доходят видные американские газетчики, пишут, что никакой ошибки Соединённые Штаты не делают: если, де, красный Китай «нарушит слово» и захватит Тайвань силой — вот тогда! — тогда и Америка будет «свободна от обязательств» и может снова посылать оружие... — кому тогда??..

Так влиятельные круги в Соединённых Штатах хотят принудить Тайвань к капитулянтским переговорам, добровольно отдать свою свободу и силу.

Чего же хочет от вас коммунистический Китай? Конечно, он жаден захватить вашу цветущую экономику, ограбить и сожрать — и после всех событий XX века только близорукие простаки могут верить обещанию Пекина, что он сохранит в целости вашу экономическую и социальную систему и даже вооружённые силы, оставит вам хоть какие-то элементы свободы.

Но главное для них даже — не только отнять ваше достояние, не только присвоить плоды вашего тяжёлого труда. Главное то, что коммунистическая система не терпит ни малейших отклонений нигде ни в чём. Даже не столько нужен им богатый остров, сколько подавить отклонение от их системы. Коммунистический Китай не терпит вас за ваше экономическое и социальное превосходство: нельзя, чтобы остальные китайцы знали, что можно лучше жить без коммунизма. Коммунистическая идеология не терпит никаких островков свободы. И вот они всеми силами добиваются пресечь продажу вам даже оборонительного оружия, ослабить вашу боеспособность, нарушить баланс сил в проливе — и так приблизить дату вторжения на остров.

И чтобы добиться безучастности Соединённых Штатов — красный Китай будет спекулировать перед ними на начавшемся советско-китайском сближении. А сближение это — совсем не показное, оно очень перспективное: у обоих правительств общие корни с давних пор, о чём теперь все уже забыли: еще в 1923 году советский агент Грузенберг, под кличкой Бородин, готовил в Китае коммунистический переворот, и это имен-

но он выдвинул на первые высокие посты в партии Мао Цзэ-дуна и Чжоу Энь-лая.

Всё то, что я здесь говорю, всю силу смертельной угрозы, нависшей над вами, — на вашем острове понимают лучше всего, и многие, хотя ещё не все. У вас эту угрозу понимают, очевидно, лучше, чем в Южной Корее, где молодое поколение, студенты, совсем не помнят короткого коммунистического нашествия, не ощущают этого ужаса — и им всё кажется мало свободы. Но они ещё вспомнят и оценят сегодняшнюю «несвободу», когда им скомандуют «руки назад» и под конвоем погонят в коммунистические концентрационные лагеря.

Это — любимая западная мода, поветрие: ото всех, кто стоит на переднем крае обороны, под пулемётным огнём, — требовать широкой демократии, да даже не просто демократии, а вплоть до распущенности, до государственной измены, до права свободно разрушать своё государство, как западные страны допускают у себя. Такой цены требует Запад от каждой угрожаемой страны, в том числе и от вас. Но, кажется, на вашем острове знают разумные пределы — так, чтобы устоять в борьбе.

Однако, ещё другая опасность подстерегает вас. Ваши экономические успехи, ваше жизненное благополучие имеет двойственный характер. Оно — и светлая надежда всего китайского народа. Оно может проявиться и вашей слабостью: все благополучные люди склонны терять сознание опасности, слишком любить сегодняшнюю жизнь — и от этого терять волю к сопротивлению. Я надеюсь, и я призываю вас: избежать этого расслабления. В ваших материальных успехах не дайте расслабиться своей молодежи так, чтобы она предпочитала борьбе — плен и рабство. Из того, что вы тридцать три года живёте нетронутыми, — не вытекает, что на вас не нападут в следующие три. Вы — не беззаботный остров, вы — армия, и постоянно под угрозой.

Вас — 18 миллионов, примерно столько же, сколько на Земле евреев. Еврейская проблема привлекает к себе внимание всех государств, стала одной из центральных проблем современности. Уникальность вашего

положения, на мой взгляд, должна привлечь к судьбе Тайваня не меньшее мировое внимание.

Но в нынешнем мире царит предательство слабости, и по-настоящему вы можете рассчитывать только на свои собственные силы. Однако есть ещё одна — бóльшая и большáя надежда: на народы порабощённых стран, которые не будут терпеть бесконечно, но грозно выступят в час, роковой для своих коммунистических властителей.

В ваших книгах пишут, что ваш остров — «бастион национального восстановления». Так будьте им! Не одна оборона, не одно самоспасение должны быть вашей целью — но помощь, но освобождение своего измученного на континенте народа, — а прежде всего свободными и смелыми радиопередачами. У вас как будто нет, сразу не назовёшь, твердых государственных союзников (они будут становиться союзниками лишь тогда, когда гибель будет подходить к самому их горлу) — но у вас самый многочисленный в мире союзник: миллиардный китайский народ. Сочувствие сотен миллионов из континентального Китая — ваша душевная опора. Перелетевший на днях китайский военный летчик подаёт вам ободрительный сигнал, проявляет истинные чувства китайцев. Я часто с болью думаю об анонимных узниках китайского ГУЛАГа, которые сумеют рассказать о себе, может быть, только в XXI веке.

Все угнетённые народы, в том числе народы Советского Союза, не могут рассчитывать ни на какую внешнюю помощь, а только на собственные силы. Весь мир смотрел бы в лучшем случае равнодушно, а то и с большим облегчением, если бы безумные правители Китая и СССР развязали бы между нашими народами войну. Я надеюсь — этого не случится. Но на всякий случай давайте засвидетельствуем здесь взаимное дружелюбие и доверие китайского и русского народов, между которыми нет противоречий. И даже — союз наших исстрадавшихся народов против обоих коммунистических правительств! Что бы ни произошло между этими корыстными, противонародными правительствами — сохраним взаимное понимание, взаимное сочувствие и дружбу, не дадим залепить нам глаза и уши бесплодной национальной ненавистью.

Неизвестно, как долго ещё продержится на Земле коммунистическая зараза. Кто бы сказал 135 лет назад ведущим деятелям тогдашних великих держав, что появившаяся в Европе кучка утопистов-коммунистов завоюет их всех железом и кровью, поставит на колени их могущество и гордость? Они бы даже улыбкой не удостоили такое пророчество, таких не видно было сил. А сила коммунистов оказалась в их напоре и жестокости, а слабость Запада — в отсутствии воли к борьбе.

Мы не знаем, какими причудливыми зигзагами ещё пойдёт человеческая история. Я высказывал уже предположение, что, может быть, мировой коммунизм переживёт и советский и китайский коммунистические режимы, сползёт на другие страны, где много желающих испытать коммунизм, — а в наших двух странах возьмёт верх национальное благоразумие.

Во всяком случае оба наших народа уже так много перестрадали, так много потеряли — что продвинулись же по пути к освобождению и излечению!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИ ОТЪЕЗДЕ С ТАЙВАНЯ

25 октября 1982

Я приношу тёплую благодарность за гостеприимство, оказанное мне всеми, кого я встречал в республике Свободного Китая, — вашим властям, администраторам разных ступеней, пригласившему меня Фонду поощрения искусств, многим встреченным простым людям в разных местах страны — и даже! — даже многолюдию журналистов, так настойчиво сопровождавших меня, что нередко мешали мне наблюдать непосредственную жизнь. Я благодарю и их за дружественное отношение и за желание распространить мои слова пошире.

За эти короткие дни я полюбил ваш остров. Я хочу надеяться, что мир очнётся, не будет так презрительно равнодушен, но поймёт, что Тайвань — одно из решающих мест, где проверяется стойкость всего свободного мира, и послан ему как ещё одно испытание. Я надеюсь: и в Соединённых Штатах, и в Юго-Восточной Азии, и даже в Европе научатся слышать, что происходит, как думают и чувствуют в Свободном Китае. А если не научатся — тем хуже будет для всех.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛОНДОНЕ

11 мая 1983

Александр Солженицын. Господа, я хочу начать нашу пресс-конференцию с небольшого заявления. Событие, о котором я сейчас скажу, собирает само в себе суть того, что есть коммунистическая власть в Советском Союзе. На Западе всё ещё не привыкнут, а у нас в Советском Союзе давно привыкли, что человеку могут предъявить обвинение не в суде, не на следствии, но в газете, и притом не только до суда, а даже до ареста. Так произошло с Сергеем Ходоровичем. В течение многих лет Сергей Ходорович руководил распределением средств Русского Общественного Фонда помощи семьям заключённых. Этот Фонд основан мною девять лет назад, я отдал в него все права и все мировые гонорары книги «Архипелаг ГУЛаг».

Все эти девять лет, с самого основания, Фонд работает в невероятно тяжёлых условиях. Как это у нас принято, всё делается на добровольных движениях души. Никто не имеет там штатной должности, никому не оплачивается его труд, каждый работает за счёт свободного времени своего. В течение этих лет Фонд регулярно помогал более чем 700 семьям заключённых и репрессированных. Как легко понять, подопечных детей за это время было, соответственно, много более тысячи. Семьи арестованных попадают в особенно тяжёлое положение потому, что в Советском Союзе даже двое работающих родителей еле-еле кормят семью. А если остаётся одна жена, да ещё часто и её вытесняют с работы, то кормить детей, собственно, нечем совсем. И вот нам, к счастью, удавалось девять лет вести эту помощь. Советская власть не может такого терпеть и всегда работу Фонда преследовала. Предыдущих, до Ходоровича, распорядителей Фонда всячески притесняли, и арестовывали, и высылали из Союза, — но

никогда ещё не прозвучала такая нота, как в «Литературной газете» от 23 марта этого года. Вы знаете, есть у нас такая «Литературная газета», которая занимается всем, чем угодно, кроме настоящей литературы. Советские власти спускают её с поводка, когда надо гавкнуть. И вот она была спущена и объявила, что деятельность Сергея Ходоровича и тех, кто с ним работает, подпадает ни много ни мало под понятие «измены родине». Вот суть советской системы: помощь, милосердная помощь — есть государственная измена. И действительно, через две недели после газетного залпа Ходорович был арестован, и теперь над ним висит опасность такого обвинения. Это обвинение, эта 64-я статья предусматривает наказание вплоть до расстрела.

Я хотел бы в связи с этим делом ещё сделать два замечания. Время от времени, когда создаётся тяжёлая атмосфера международная, советские власти вдруг, например, выпускают одного человека в эмиграцию — и крупные западные советологи пишут: это знак! это начало разрядки, начало улучшения отношений. Я очень бы просил вас предупредить ваших читателей, что, если в скором времени кого-нибудь вот так выпустят, они бы помнили, что распорядитель Фонда помощи по-прежнему сидит в тюрьме, и сотни семей и тысячи детей лишены хлеба. И второй чрезвычайно характерный штрих: это не является почерком только советским: такой же точно шаг сделан на днях в Польше. Там кардинал Глемп организовал нечто вроде нашего Фонда, очень родственную организацию. При костёле св. Мартина в Варшаве был склад медикаментов и одежды, которые раздавались семьям заключённых. Так вот, молодчики из польского ГБ в штатском, а некоторые даже открыто с рациями через плечо, ворвались в это помещение, побили шкафы, потоптали лекарства, избили находящихся там людей, включая и женщин. Эти одинаковые действия по отношению к Русскому Общественному Фонду помощи и к Фонду в Польше показывают, что коммунистические власти уже не останавливаются ни перед чем, уже ведут безжалостное наступление на жён, на детей, на нищих и голодных. Моё заявление окончено.

«Таймс». Как могут помочь западные правительства?

Не столько, прежде всего, западные правительства, сколько западная общественность и западная пресса. Надо, чтобы они понимали и помнили: вот, каждый день эти несколько сот семей лишены помощи; каждый день они не знают, как накормить детей. И что в Советском Союзе милосердная помощь является изменой родине, государственной изменой.

«Таймс». Заключённые, которым вы помогаете, — как попали в заключение, почему они под судом?

Это обычно узники совести, которых посадили за их убеждения, за их взгляды, за религиозную веру, за распространение свободной литературы. Наш Фонд не делает никаких различий ни в направлении убеждений, ни в религии, ни в национальности. Каждый, о ком становится известно, что он пострадал за свои убеждения, поддерживается нашим Фондом.

Польская служба Би-Би-Си. Можете ли вы прокомментировать нынешнюю ситуацию в Польше? Видите ли вы какую-либо надежду для народа в противостоянии правительству в Польше?

Я уже публично дважды, даже трижды, говорил о польских событиях. Моя горячая поддержка движению «Солидарности», я думаю, достаточно известна. Когда Леху Валенсе отказали в Нобелевской премии мира, я пережил это как личное горе и как глубокий стыд за Нобелевский комитет мира. Они предпочли вот именно в этот момент дать премию двум людям, которые всю жизнь говорили против ядерного оружия, но не разоружили ни одной бомбы. А то, что делал Лех Валенса, меняло историю — не Польши, и не Европы, а всего XX века. В моей статье в «Экспрессе» о введении военного положения в Польше я показывал, что, вот, в любой стране Европы можно найти достаточно людей, готовых поддерживать палаческий режим. Это произошло и с внутренними силами в Польше. Я не

настолько информирован о положении и настроении разных польских кругов, чтобы дать вам сейчас точный прогноз, в какую сторону пойдут события, как повлияет визит Папы в июне, какую позицию займёт польская Церковь — более строгую или менее строгую. Но я хотел бы сказать, что польские события по своему значению выходят далеко за пределы Польши. Польские события показывают нам, до какого размаха может дойти самоосвобождение народа. А в том исключительном интересе и волнении, с каким Запад воспринимает польские события, видно не только глубокое сочувствие к польской «Солидарности», но и успокаивающая надежда, что как-нибудь обойдётся без усилий Запада, как-нибудь Восток освободит сам себя, а тем освободит и Запад от угрозы.

ЮПИ. Вчера в Темплтоновской речи вы говорили очень сильно об атеизме в России. Можете ли вы сказать, какие события в вашей собственной жизни обратили вас от атеизма к православию?

Я был воспитан в христианской православной вере. Первое, действительно первое воспоминание в моей жизни, какое только есть: меня взрослые подняли на руки в церкви, во время службы, чтобы я видел, как через церковь, полную людей, проходят несколько чекистов, вот в таких остроконечных шапках, конечно не снимая их, как в церкви полагается, с топотом идут в алтарь и начинают отнимать там священные предметы. Это моё первое воспоминание, я с ним начал жизнь. В юности я испытал большие преследования в связи с верой в Бога. Когда мама вела меня в церковь, школьники, которых направляли комсомольцы, следили за нами, а потом устраивали собрания-судилища, меня судили за это. А был случай, когда силой сорвали с моей шеи нательный крест. Я жил примерно до пятнадцати лет убеждённым православным и полным врагом атеизма и коммунизма. Но затем, в ходе образования в советской школе, главным образом под влиянием философских трудов, которые нам давали, я испытал постепенное охлаждение к церкви. Храмы были закрыты, и казалось — навсегда. И было несколько

студенческих лет, когда я считал себя марксистом. Однако в глубине всегда была жива привязанность к церкви, усвоенная с детства. Я был взволнован во время войны, когда вдруг допустили церковь в какой-то мере возродиться, когда священников показывали в фильмах не карикатурно, как это делали, скажем, Ильф и Петров в своих книгах, но как патриотов. Позже мы узнали, что всё это была комедия и Сталин возвращал православную веру только для того, чтобы лучше мобилизовать народ на защиту страны. С войны я попал в лагерь, восемь лет в лагере направили меня к большим размышлениям, ко встречам с верующими людьми, к разным дискуссиям. Затем я пережил смертельную болезнь в лагере, и перед её лицом во мне снова и полностью восстановилась православная вера. К счастью, в школе после лагеря я преподавал математику, что избавляло меня от необходимости занимать публичную позицию по религиозным вопросам, иначе я не мог бы преподавать в школе. Я знал людей православных, которые раньше были преподавателями литературы и никогда не смогли вернуться к этому, потому что нужно было лгать на каждом шагу против религии. Это моё возвращение я описал в «Архипелаге ГУЛаге», в 4-й части.

> Ассошиэйтед пресс. Я слышал, что вы были жертвой Юрия Андропова, когда он возглавлял КГБ. Теперь, когда он взял верховную власть, какова ваша личная реакция на это назначение? и считаете ли вы, что от этого как-то изменится советская политика?

Вы знаете, я никогда не считал себя личной жертвой Андропова. Как у меня описано в «Архипелаге ГУЛаге», Рюмин, например, или Берия сами били дубинками подследственных, — вот те люди уже личные их жертвы. Я всегда понимал, что речь идёт об объединённом Политбюро. И даже в связи с Политбюро и всем тем, что они надо мной вытворяли, я тоже не считаю себя жертвой. Я сознательно вступил с ними в борьбу, в борьбе всегда возможны встречные удары.

Что касается смены руководства в Советском Союзе. Советское руководство, в общем, не менялось от

1918 года. В 1919 году был создан Коминтерн, и Ленин провозгласил смертный приговор западному миру, и этот смертный приговор никогда не отменялся. Была такая парадоксальная фигура, как Хрущёв. По каким-то психологическим особенностям он минутами как бы освобождался от давления марксистской догмы, тогда он делал некоторые раскрепощающие шаги, из которых самый крупный — это массовое освобождение из сталинских лагерей. Но характерно: когда он в 1964 году имел, быть может, серьёзные намерения начать разоружение, — в несколько месяцев его убрали. Не может быть отклонения от коммунистической системы. И более того: именно этот освободитель Хрущёв развернул самые жестокие преследования религии, какие только были после Ленина. Изменения в советском руководстве могут произойти, только если к власти придут люди, свободные от коммунистической догмы, а при аппаратных перемещениях в Политбюро я советую вам не терять времени на анализ.

Рейтер. Со времени прихода Андропова к власти было очень много публичных аргументов и обмена мнений насчёт гонки вооружений обеих сторон, и в последние год-два сильно возросли движения за разоружение. Что бы вы сказали по вопросу ядерного разоружения — молодёжи и женщинам Великобритании?

Эта проблема — сложная и имеет несколько аспектов. Отвращение к ядерному оружию естественно для всякого человека. Сам я считаю, что после химических газов и бактериологического оружия не было на земле большей мерзости, чем оружие ядерное. Но мы должны помнить и историю его появления. Его впервые изобрели на Западе, и пустила его в ход богатая страна, которая побеждала и без того. Чтобы не терять десятки тысяч своих солдат на окончание японской войны — убили около ста пятидесяти тысяч гражданского населения. Сам по себе этот выбор уже был ужасен. По-моему, отвращение к ядерному оружию, и даже более бурное, чем оно имеет место сегодня, — должно было появиться в общественном мнении и у молодых людей Запада, имеющих свободу слова, за 40 лет до

сегодняшнего дня. А тогдашнее общественное мнение, напротив, схватилось за идею ядерного зонтика, и молодёжь — того времени молодёжь, сегодня это уже старики, — считала себя комфортабельно защищённой под ядерным зонтиком. Вот эта идея 40-х годов, что допустимо применить ядерное оружие, была аморальна. И было близоруко, глупо предположить, что так и будет всегда, что ядерное оружие будет только у Запада. В 40-х годах никто бы не поверил, что наступят времена, когда Советский Союз будет иметь более сильное ядерное оружие. Вот первый аспект.

Второй. Нынешнее движение за одностороннее ядерное разоружение Запада есть всего лишь частный случай общего смятения умов на Западе. При полнейшей свободе информации, при полной свободе выражения мнений, создалась, однако, такая завеса лжи — не на Востоке, на Востоке это само собой понятно, но завеса лжи на Западе, — что большинство западного населения катастрофически не понимает, не знает истинного положения вещей в мире. И это сказывается совсем не только в антиядерном движении, это сказывается на каждом шагу. Мы, на Востоке, живём с завязанными глазами, понятно, мы не видим, что делается. Но Запад, которому всё открыто, — живёт тоже с завязанными глазами. Я не знаю, есть ли в Англии такая игра, а у нас в России есть: двум людям завязывают глаза и заставляют друг друга ловить. Ослепление, конечно, больше всего сказывается на молодёжи, у которой жизненный опыт заменяется нахватанными идеями. Они, однако, воспитаны вашей свободной школой, они читают вашу свободную прессу, отчего же они такие невежественные, чьё это поколение? Как их воспитали — у них нет критериев для различения, что в мире есть определённое добро и определённое зло, их всё время учили, что это даже неприличные слова, что нельзя говорить «зло» или «добро». Западная молодёжь совершенно не понимает, что такое коммунизм. Ей заморочили сознание. Они даже не задумаются над таким самым простым вопросом: а почему голоса из СССР протестуют только против западного оружия, а не против советского? Они же видят, что все голоса из Советского Союза, которым разрешают прозвучать, —

все против западного оружия. Да спросить: а почему ж вы против собственного не протестуете? Но самое главное — спросите ваших молодых людей, только чтоб искренне они вам ответили, совершенно искренне: вы протестуете против ядерного оружия, хорошо, — а неядерным оружием вы согласны защищать свою родину? Ответят: нет, тоже не согласны. Они вообще не согласны бороться, они вообще хотят сдаться. Они поверили Бертрану Расселу, он их убедил, что лучше быть красным, чем мёртвым. Но, я должен сказать, Бертран Рассел увидел альтернативу там, где её нет. Такой альтернативы — «красный или мёртвый» — не существует, потому что быть красным — это и значит становиться постепенно мёртвым. Вот как раков бросают в воду и они постепенно краснеют, так и под коммунизмом одни умирают сразу, другие постепенно. Тут альтернативы нет.

Третий аспект. Участвуют ли советские власти и деньги в организации этих западных демонстраций? Всю жизнь посвятив изучению коммунизма в Советском Союзе, я скажу: лично я даже в доказательствах не нуждаюсь. В Дании раскрыли какого-то журналиста, который за советские деньги посылал людей на эти демонстрации, — мне не надо и этого случая. Когда Ленин появился в России в апреле 1917, то сразу же к нему притекали хитрыми разными путями, теперь известными, немецкие деньги, — и весь переход от Февральской революции к Октябрьской был сделан коммунистами на большие деньги. Ни одна социалистическая партия не могла издавать и приблизительно такие тиражи газет, как коммунисты. У меня есть достоверные свидетельства, личные свидетельства, как Ленин и Троцкий организовывали плату в Петрограде за участие в большевицких демонстрациях. В 17-м году собирали демонстрацию так: на заводах, в разных кварталах говорили: вот если ты сегодня с нами сходишь и будешь кричать, получишь в конце дня пять рублей или там десять рублей. И такое же «движение за мир» Сталин очень крутил на Западе в 1948-49 годах, пока у него ещё настоящего ядерного оружия не было. И такие же деньги или очень хорошие условия создавали тем, кто ездил на «конгрессы мира». Я не хочу ска-

зать, что все эти участники — бессовестные или подкупленные люди, они просто получают очень хорошие условия, чтобы выразить свои мнения.

Резюмирую. То, что вы сегодня наблюдаете как движение молодёжи и общественности на Западе за одностороннее ядерное разоружение, есть совокупные действия по крайней мере трёх названных мною условий: человеческой природы, которая естественно протестует против всякого ядерного оружия вообще; западной слабости, которая не сумела воспитать ни общество, ни молодёжь в понимании исторической ситуации; и великолепной советской организации.

> «Таймс». На вопрос, чем могут помочь западные правительства, было отвечено, что правительства не могут, пусть пресса пишет и просвещает общественное мнение. Западное общество или часть западного общества спросит: хорошо, мы готовы понять, но что мы можем практически конкретно сделать? Мы знаем, что люди готовы отвечать реальной помощью, когда они убеждены в том, что эта помощь необходима и что она доходит до тех, кому послана. Что может нам Александр Исаевич сказать по этому поводу?

Я сперва скажу два слова, а потом, с вашего разрешения, попрошу ответить мою жену, поскольку она прямо этим делом руководит. Дай Бог, чтобы я ошибся, когда я так пессимистически выразился о возможностях западных правительств. Но трудно оценить иначе, видя, как реально поступают западные руководители. Вот польское коммунистическое правительство, давящее «Солидарность», просрочило уплату долгов; казалось бы, ну объявить его банкротом? нет, прощают. Ну прекратите взаймы давать коммунистам, — никто не прекращает. А общественные шаги могут быть весьма действенны. Я только напомню, что один раз такая широкая кампания, которую возглавила моя жена, удалась. Нам удалось вырвать из лагеря Александра Гинзбурга, первого распорядителя нашего Фонда в СССР, арестованного в 1977 году и получившего, после тяжёлого 17-месячного следствия, жестокий срок. Те-

перь я попрошу мою жену объяснить, какую можно было бы программу представить для общественного участия.

Наталья Солженицына. Я не буду увязать в деталях, чтобы не отнимать время у Александра Исаевича. Больше всего от Запада мы ждём, ценнее всего была бы именно широкая манифестация в поддержку Фонда и самой идеи, что нужно и можно эффективно защищать невинно арестованных. Письма, статьи в газетах, обсуждения в университетах. Существует несомненная обратно пропорциональная связь между широтой огласки на Западе и жестокостью приговора в СССР. Если же, говоря о практической конкретной помощи, вы имеете в виду помощь материальную, то мы, наш Фонд, не имели и не имеем намерения такую западную помощь организовывать и о ней Запад просить. К счастью, гонорары за «Архипелаг ГУЛаг» дают нам возможность самим помогать нашим соотечественникам. Конечно, мы всегда благодарны и тронуты любым конкретным проявлением заботы, когда кто-то что-то посылает или везёт в Советский Союз. Но в том-то и трудность, и в вашем вопросе были такие слова, что западные люди готовы откликаться и помогать, если будут уверены, что их помощь доходит. Вы, может быть, не вполне понимаете нашу ситуацию. Ни мы, и никто не может гарантировать, что усилия не пропадут зря: на их пути столько препятствий! Наши попытки, наша борьба — есть борьба в положении безнадёжном. Но отступиться мы не можем. Уничтожают самых добрых, самых лучших и стойких из нашего народа. Мы будем продолжать. Вероятно, и это понятно, на Западе не много охотников бороться в положении безнадёжном, или хотя бы работать без гарантий успеха. Я рада, если я ошибаюсь.

Александр Солженицын. Чуть добавлю. Повлияют всякие виды комитетов помощи, публикации, распространение листовок, фотографий Ходоровича, объяснение этой невероятной, нечеловеческой истории, когда преследуют только за милосердную помощь, больше ни за что. Это всё может смягчить судьбу Ходоро-

вича и, может быть, создаст для Русского Общественного Фонда возможность ещё продолжать работу. Речь идёт не только о личной судьбе Ходоровича, но о сотнях трагических семей. Всякие петиции в советские посольства, всякие хотя бы маленькие демонстрации около посольств будут действовать, напоминать, что западный мир не прощает того, что милосердие карается как государственная измена. Я уверен, что это поможет.

> Что сейчас происходит с Фондом и имеются ли у власти планы устроить показательный процесс над Ходоровичем?

Наталья Солженицына. Мы практически не знаем, что происходит в данный момент с Фондом, поскольку прошло лишь несколько дней с ареста Сергея Ходоровича. Вы, конечно, понимаете, что и семья Ходоровича и все близкие друзья сейчас полностью блокированы, не могут ничего нам передать. Вести наверняка придут, но позже.

Показательные процессы? — полностью зависят от того, как ведёт себя арестованный на следствии. Следствие в советской тюрьме чрезвычайно длительное и тяжёлое. Бывает, что человек не выдерживает и готов идти на какой-то вид сотрудничества. В таком и только в таком случае может быть устроен показательный процесс. Мы верим, что с Ходоровичем этого не случится. Это спокойный, скромный и сильный человек. Он не пойдет ни на какое сотрудничество, и потому, скорее всего, над ним будет не «показательный», а — тайный, тёмный и жестокий процесс. Однако от огласки на Западе в большой степени зависит суровость приговора. Вот пример из недавнего времени. В августе прошлого года была арестована в Москве 53-летняя Зоя Крахмальникова, редактор самиздатских сборников христианского чтения. Ей была предъявлена 70-я статья, высший срок по которой — семь лет тюрьмы и пять ссылки. Кое-что нам удалось сделать в Соединённых Штатах в её защиту. В частности, заинтересовать её судьбой американскую миссию в Объединённых Нациях. Миссия проявила свою озабоченность публично. В результате Крахмальникова получила один год

тюрьмы и пять лет ссылки. Разумеется, она ни дня наказания не должна была получить, она вообще не должна была быть арестована. Но проклятая советская жизнь такова, что мы все здесь на Западе звонили друг другу: «Ты слышал, какая радость? — ей *всего* год дали и пять ссылки!» Это очень мягко. В эти же самые дни, по той же статье, в Киеве была осуждена поэтесса Ирина Ратушинская — на 7 лет лагеря и 5 ссылки. Не женщина — девочка, 21 год. За что этой девочке переломали жизнь — и вовсе понять нельзя, непонятно, в чём её обвиняют; однако, вот, на Западе никто о ней не знал, не писал, — и она сидит. В эти же дни в Ленинграде было два очень жестоких приговора, дела тех осуждённых тоже не имели вовремя достаточной огласки. Вы журналисты, у каждого из вас есть шанс помочь сегодня, завтра реальной человеческой судьбе.

Русская служба Би-Би-Си. Александр Исаевич, при рассмотрении кандидатур на соискание премии Темплтона внимание жюри привлекла сочинённая вами молитва «Как легко мне жить с Тобой...». При каких обстоятельствах была написана эта молитва, вы не могли бы нам рассказать?

Александр Солженицын. Я написал её через год после опубликования «Ивана Денисовича». В тот момент моё имя уже было известно по всему миру, а в Советском Союзе усилялась травля и давление на меня. И, во весь этот период чувствуя всегда, молясь и чувствуя духовную поддержку, выше чем от наших человеческих сил, я написал эту молитву, оценивая разные варианты, что может теперь со мной произойти. Может быть, вот это и конец; может быть, вот это и всё. Я никогда не рассматривал эту молитву как литературное произведение и никогда не пускал в самиздат, но одна женщина, у которой был этот текст, по собственной инициативе, меня не спрося, дала нескольким знакомым. Так молитва и разошлась.

Радиостанция «Свобода». Чем Запад может содействовать тому духовному возрождению

в России, о котором вы вчера говорили в вашей Темплтоновской речи, или он, может быть, ему чем-то противодействует?

Позиция сильных американских газетных и журнальных изданий и многих советологов, университетов, к сожалению, направлена против морального возрождения русского народа. Восемь лет назад, выступая в Вашингтоне, я просил, я говорил: нам не надо вашей помощи, только, пожалуйста, не закапывайте нас, не посылайте землеройных машин нашим могильщикам. Но именно эту ошибку Соединённые Штаты Америки и многие страны Европы продолжают делать. Я говорю не об экономической помощи, а о моральной поддержке. Коммунистическое руководство Советского Союза знает, что оно утеряло контакт со своим населением, население в него не верит. Ему надо каким-то образом, искусственно получить поддержку своей власти. И именно в этом помогают ему влиятельные органы американской и европейской прессы. Почти все семь лет, что я живу в Соединённых Штатах, по американским газетам бродит ведущая, повторяющаяся идея: что коммунизм — не опасность, с коммунизмом можно сговориться, коммунистическая идеология умерла, там в Кремле есть и хорошие люди, вот они скоро придут к власти; а самая большая опасность — это русское возрождение, религиозное и национальное. Вот если возродятся духовные, моральные и национальные силы русского народа, вот, мол, тогда будет смертельная опасность для Запада. Пока Брежнев и Андропов усеивают свою территорию ракетами и могут уничтожить в 10 минут весь западный мир — это не опасность, но, если придут в России к власти здоровые силы, которые будут лечить свой народ, которые будут разоружаться, убирать ракеты, убирать свои войска из всех стран мира, — вот это опасность для Запада. Звучит как глупый анекдот — но этим полны ведущие американские газеты. В каком-то просто безумии они ведут эту линию. И когда, например, сидит национальный деятель Огурцов — 15 лет лагерей и потом 5 лет ссылки, чуть не до смерти, — это не вызывает почти никакой реакции, ну в Америке во всяком случае, и во

многих странах. Есть исключения, во Франции вот комитет в его защиту. На самом деле, западная поддержка исключительно избирательна, западная помощь выбирает — это «наш» или «не наш». Если «наш», то будут ему помогать во всём, вот соединиться мужу и жене, об этом будут говорить в парламенте, и председатель правительства, этим займётся вся западная пресса. Но вот сейчас сидит Леонид Бородин, он скоро второй срок получит, но поскольку он национального направления — о нём не будет статей, помощи ему не будет, никакой кампании не будет, хоть он там умри. Ведущая западная общественность настроена десятилетиями враждебно к русскому — я всё время подчёркиваю: не национализму, не империализму, что было бы естественно, а — патриотизму. Кто-то внушил эту глупую мысль, и все переняли не критически, не сознательно. И западные корреспонденты, которые едут работать в Москву, уже знают: если продолжать в том же направлении, то будешь печатать большие статьи; а если начать говорить что-нибудь в защиту русского самосознания, то не будут тебя печатать. Это одно из тех заблуждений Запада, которые ведут к общей потере выхода. Я думаю, простое соображение безопасности должно было бы внушить западной прессе, западному обществу и правительству глубже всматриваться в восточную тьму. Но Запад как будто потерял защитную реакцию, то, чем награждён каждый человек от природы: если горячо, то руку отдёрнуть, знать, где тебя опасность ждёт. Запад это потерял. На весь мир гремит «Эмнести Интернейшнл». Она настаивает, что совершенно объективна и равномерна ко всему миру. Ничего подобного. Она пользуется данными оттуда, откуда их легко получить. Из Чили можно получить — о Чили будет писать много. А если о Северной Корее ничего неизвестно — то ничего и не будет в её отчётах. То же относится к Китаю. Недавно из Стэнфордского университета один аспирант-антрополог поехал в порядке обмена в Китай, там два года жил. Вернулся в Стэнфорд и стал рассказывать, какой ужас творится в Китае, ему удалось наблюдать жизнь китайской деревни. Его изгнали из университета по требованию китайского правительства! Никто не должен знать правды о

Китае. А вот сейчас, посмотрите, весь мир узнал, что в Китае топят новорожденных девочек, — только благодаря тому, что об этом напечатала какая-то провинциальная китайская газета. Так это сами китайцы напечатали, а Запад бы этого не знал, и всякого свидетеля бы изгонял.

«Ньюсуик». В какой мере марксизм и христианство сражаются в идеологической борьбе? Какую роль в этой борьбе займёт визит Папы в Польшу в июне? И повлияет ли это на Советский Союз?

Моя вчерашняя речь в Гилдхолле и была посвящена главным образом противостоянию христианства и марксизма. Я не вижу в мире другой силы, которая ещё сегодня так крепко стояла бы против марксизма, как христианство. Даже если коммунизму удастся захватить физически весь мир, то ему не удастся победить христианство никогда. Это вы видите на опыте нашей России, где за 65 лет коммунизм не смог христианство преодолеть, хотя уничтожали русскую Церковь безжалостно все 65 лет. Польская Церковь под коммунизмом была пока лишь 35 лет, и, кроме того, по ряду дипломатических соображений, долгое время её не притесняли слишком сильно, не уничтожали напрочь. И не случайно, что в Польше главной духовной силой сопротивления оказалась именно Церковь. Западные социалисты многие пытались приписать «Солидарность» себе, что вот это наше социалистическое рабочее движение. На самом деле ничего подобного. «Солидарность» — не социалистична, «Солидарность» основана на христианстве. За последнее столетие было много приёмов, когда социалисты и коммунисты пытались изобразить свои движения как вариант христианства. На самом деле христианство и социализм несовместимы, реально противоположны, христианство строит всё на любви, социализм — на принуждении. Наш русский философ Семён Франк ещё в начале XX века посвятил этому работу, я с ним совершенно согласен.

Касаясь визита Папы: независимо от того, как будет обставлен этот визит с точки зрения правитель-

ственных ограничений, я не сомневаюсь, что это будет великий душевный праздник для польского народа, даже для тех, кому не удастся увидеть Папу. Ну а прямого влияния этого визита на Советский Союз, я думаю, не может быть, хотя бы потому, что у нас в основном не католическая страна. И если даже в самой Польше ожидают, что Папу будут всячески ограничивать в телевизионных передачах, речах, передвижениях, то на далёких пространствах Советского Союза и вовсе ничего слышно не будет.

«Голос Америки». Что, вы считаете, западные радиостанции могли бы сделать, чтобы усилить свои передачи на Восточную Европу и Советский Союз?

Сменить исходные принципиальные установки, которые решаются, правда, не на самих радиостанциях, а в учреждениях, руководящих вами. Это вопрос чрезвычайно высокого общего значения. Сегодня все западные радиостанции, вещающие по-русски и на языках народов СССР и Восточной Европы, — все закованы в представления своих правительств, что надо иметь как можно лучшие отношения не с народами тех стран, куда направлено вещание, а с их правительствами.

Угрожаемый Запад имеет сильнейших союзников, которыми он не пользуется, — это народы Советского Союза и Китая. И надо вести радиовещание, и всю политику, и все линии действия так, чтобы протянуть руку тем угнетённым народам и сказать: мы понимаем, вы — наши союзники, а мы ваши союзники. И пренебрегать, как при этом будут ругаться Арбатов или там посол Добрынин. И если эту смелость и эту мудрость Запад в себе найдёт, он поможет сам себе и угнетённым народам даст понять, что Запад им не враг, а друг.

ИНТЕРВЬЮ ЛОНДОНСКОЙ ГАЗЕТЕ «ТАЙМС»

(Интервью ведёт Бернард Левин)

Лондон, 16 мая 1983

В вашей Темплтоновской речи вы назвали трагедией современного мира, что человек забыл Бога. Где и когда этот процесс начался?

Этот процесс уже тянется очень долго. На Западе он идёт по крайней мере три века. В России он позже начался, но тоже ещё до революции. Наши образованные классы стали участвовать в этом процессе уже два века назад, наши необразованные — несколько десятилетий перед революцией. Конечно, на Западе этот процесс имел предшествие уже в религиозных войнах, которые подрывали веру. Это было и в Возрождении уже. Это многовековый период. И даже в начале Просвещения он ещё не так ясно обозначился. Но всё время шло неуклонно к этому, и особенно быстро в XX веке.

По-видимому, в центре этого лежит понятие, убеждение, что человек — самоцель, что он сам — мера всех вещей и самодостаточен. Как же это началось?

Создалось это вначале как реакция на жёсткую строгость Средних Веков, однако процесс, раз начавшись, всё время углублялся и расширялся. Сегодня моё убеждение, — что цель человека не в счастьи во что бы то ни стало, а в духовном повышении, — уже выглядит для многих каким-то чудачеством, странностью. Хотя ещё 150 лет назад это звучало очень естественно.

Не оттого ли это, что наш век — первый век, где народная масса уже более не бедна. И не имеет ли эта народная масса право пользоваться тем материальным достатком, который раньше был доступен только немногим?

Мы должны различать понятия «материальный достаток» — на что каждый имеет право — и «жадное изобилие». Материальный достаток был у подавляющей части европейского населения уже много веков. Возможно, у нас, у тех, кто прошёл Архипелаг ГУЛАГ, другая мерка жизненного уровня. Но произошёл моральный поворот в человечестве, переоценка значения материальных ценностей. И в наше время человек, который строго держит рамки самоограничения, может быть окружён любым изобилием и комфортом — и быть к нему равнодушным. Потому что вовсе не материальное начало — первичное начало нашей жизни. Ужас не в том, что на Западе массовое изобилие и оно привело к упадку нравов. Но упадок нравов привёл к тому, что стали слишком наслаждаться изобилием.

Но возможно ли в демократическом обществе поставить преграды чрезмерному увлечению материальными благами?

Демократическое общество на протяжении последних хотя бы двух столетий прошло существенное развитие. То, что называлось демократическим обществом двести лет тому назад, и сегодняшние демократии — это совершенно разные общества. Когда двести лет назад создавались демократии в нескольких странах, ещё было ясное представление о Боге. И сама идея равенства была основана, была заимствована из религии — что все люди равны, как дети Бога. Никто не стал бы тогда доказывать, что морковь — всё равно что яблоко: конечно, все люди совершенно разные по своим способностям, возможностям, но — они равны, Божьи дети. Поэтому и демократия имеет полный настоящий смысл лишь до тех пор, пока не забыт Бог. Поскольку мы за эти двести лет оторвались от Бога — демократия потеряла высший центр. Предполагалась удерживающая сила именно моральная, а не государственные учреждения. Спасение демократии, конечно, не во введении строгих институций по ограничению. Спасение в том, чтобы люди, имея так много, имея почти всё, — сами бы начали отказываться от лишнего.

Даже в века, когда преобладала вера, — теперь уже, конечно, не преобладает, — всё-таки были войны, была распря, были убийства. Присутствует ли в сердце человека что-то тёмное, тёмное начало, которое нельзя изъять, будь это в век веры или в век безверия?

Безусловно присутствует. Но путь человечества — длинный путь. Мне кажется, что прожитая нами известная историческая часть — не столь большая доля всего человеческого пути. Да, мы проходили через соблазны религиозных войн, и в них были недостойны, а теперь мы проходим через соблазн изобилия и всемогущества, и снова недостойны. Наша история и состоит в том, чтобы, проходя через все соблазны, мы вырастали. Почти в самом начале евангельской истории Христу предлагаются одно за другим искушения, и Он одно за другим отвергает их. Человечество не может сделать это так быстро и решительно, но Божий замысел, мне кажется, в том, что через многовековое развитие мы сумеем начать сами отказываться от соблазнов.

Современный человек, отвергающий Бога, может указать на пример Северной Ирландии, где христианин ненавидит христианина и убивает его. Что бы вы на это ответили?

Это всё ещё наследие тех прежних религиозных войн, которые мы в своё время пережили, но в Северной Ирландии конкретно — нет сомнения, что работают и силы анонимные, которые прячутся под религией, используя эту форму для политической борьбы сегодняшнего дня. И мы все виноваты, что дали им это наследство.

Высоко ли вы ставите теперешнего Папу римского и его труд?

Да, я очень высоко ставлю его личность, его дух, который он внёс в католическую церковь, и широкий неослабленный интерес ко всем мировым проблемам. В знаменитой энциклике одного из предыдущих пап

говорилось: *Vox temporis vox Dei est* (голос времени есть голос Бога). Так вот, нынешний Папа римский не согласен с этим и с этим борется. Голос времени — как раз может быть ложным голосом. Мы должны не услуживать ему, а проверять его и исправлять.

Но сейчас некоторые священники католической Церкви, которые работают среди угнетённых народов, особенно в диктаторствах Южной Америки, считают своим долгом поддерживать революционные движения, восстания. Что вы скажете?

Когда я радуюсь активной деятельности Папы в современном мире, я имею в виду, что он соотносит её с божественным измерением. То есть — вмешиваться в современный мир, но всё время имея в виду измерения высшие. А те священники Южной и Центральной Америки, о которых вы говорите, попались в одну из ловушек социализма. Социализм, который в корне противоположен христианству, любит притворяться, что он заимствовал нечто от христианства, только сделал его более реальным. Смешно сказать, что этот довод использует даже атеистическая литература в Советском Союзе, говорят, что их программа по сути из христианства.

Многие из священников сказали бы, что именно участие в социальной борьбе есть исполнение учения Иисуса Христа.

Вот это — большое заблуждение. Действительно, Церковь должна участвовать в общественной жизни, но не таким образом, чтобы свергать одни и ставить вместо них другие власти. Да в случае Южной Америки новые власти скорее всего будут ещё хуже. Участвовать в общественной борьбе надо за душу каждого человека и душу каждого движения. Если мы увлечёмся борьбой только за материальные права, это не будет иметь ничего общего с христианством.

Видите ли вы какие-нибудь признаки возрастания такого сознания в молодых людях на Западе, или они двинулись не дальше старших?

Я нахожу эти признаки в появлении отдельных людей и малых групп людей в разных странах. Я не сомневаюсь, что их гораздо больше, чем мне становится известно. Инициативные меньшинства и всегда толкали историю. Так что они могут иметь за собой будущее, но я должен сказать, что время наше столь динамично и быстро, что мы можем не успеть со всеми нашими положительными движениями. Ведь это маленькие вкраплённые точки. А что касается массы — нет, не продвинулась. Мне вот вчера в Эдинбурге пришлось быть свидетелем, как по главной улице вдруг понеслась толпа в несколько сот молодых людей, с совершенно дикими криками, с дракой, их даже не мог охладить проливной дождь. Это, кажется, было связано с футбольным матчем, я не знаю, — во всяком случае, с каким-то совершенно ничтожным событием. Никакое серьёзное событие сегодняшнего мира не вызывает и тысячной доли таких эмоций.

> Вы привлекли внимание к тому факту, что на Востоке в угнетённых странах растёт духовное возрождение. Являются ли гнёт и страдания необходимыми для обращения к духовному?

Я бы разделил страдания и гнёт. Страдание часто действительно необходимо для нашего духовного усовершенствования. Но страдания вообще посланы всему человечеству и каждому живому существу в достаточном количестве, чтобы — если суметь — обратить их к духовному росту. Если человек не делает из них выводов, а озлобляется, так, значит, он совершает очень плохой выбор, сам себя губит. Если же говорить о давлении, о гнёте, то я скажу так: такое страшное давление, какое развито в коммунистических странах, в СССР, оно часто превосходит человеческие возможности. Этот опыт уже далеко за пределами простых страданий. Поэтому миллионы просто раздавливаются физически и духовно, просто раздавливаются, перестают существовать. Зато те, которые ещё и гнёт перенесут, они оказываются настолько возросшими и крепкими духовно, что вот они, собственно, являются сегодня нашей надеждой. И даже больше скажу. Я за 9 лет на Западе стал пессимистом. Я раньше, с Востока глядя,

гораздо больше придавал Западу силы, устойчивости, а сегодня я уже не поручусь, что Запад сумеет устоять и не быть завоёванным коммунизмом, извне или изнутри. И у меня сейчас наибольшая надежда на тех, кто уже перенёс десятилетия страшного тоталитарного гнёта и уже выдержал, уже не сломился. Очень может быть, что коммунизм начнёт переходить на другие страны, а с первых своих жертв сходить. Хотя у меня нет никакого сомнения в глобальном поражении коммунизма, но, может быть, сейчас он ещё будет пробовать расширяться.

Страшный парадокс в нашем мире: те, у кого нет свободы, — жаждут её, те, у кого есть свобода, — её не берегут. Почему?

Я раньше думал, что можно передать опыт от одной нации к другой, хотя бы с помощью литературы. Теперь я начинаю думать, что большинство людей не может перенять чужого опыта, пока не пройдёт его само. Надо иметь очень сострадающее сердце и очень чуткую душу, чтобы воспринять чужие страдания.

Возможно ли что-то ещё худшее: что есть люди, которые просто не могут вынести свободы и мечтают стать рабами?

Таких людей полно в сегодняшней Европе.

Почему? Что создаёт такие условия?

Свобода требует мужества и ответственности. Но большинство предпочитает не беспокоиться ни о чём, кроме своих прав. Да не имея сознания, связанного с Богом, люди не имеют и достаточно ясного представления о действительности. Потрясающе, что Запад переполнен информацией, кажется, можно всё понимать, что в сегодняшнем мире происходит, — нет! Отчасти Запад засорён информацией очень невысокого качества, а связь с божественным источником постепенно ослабла и отвалилась.

Возможно ли в нашем сегодняшнем мире — для современного развитого общества — жить духовными и религиозными правилами?

Для общества, сильно развитого экономически, это труднее всего. Но другого выхода просто нет.

> Значит, чем больше мы развиваемся технически, экономически, — эта конечная цель как бы всё дальше и дальше уходит от нас?

Нет, только растёт опасность потерять эту цель. Конечно, все пути человечества таковы, что, как только мы теряем самоконтроль, мы всё более загоняемся в тупик. Я думаю, ещё мы не в тупике, но пора очнуться. Вообще, мы непрерывно слышим о правах, о правах, но очень мало слышим об обязанностях, всё меньше.

> Как вы объясняете тот факт, что годами, десятилетиями целый ряд выдающихся учёных, профессоров, художников были — а некоторые всё ещё — пленены и убеждены советским коммунизмом?

Как раз те, у которых интеллект перевесил духовность и сердце, вот как раз те и поддаются на хитросплетённую паутину марксистской диалектики. Если б сегодня жил Ньютон, я уверен, что его никакой бы марксизм не запутал.

> Я лично всегда был убеждён, что не интеллектуальные вожди нас спасут, а простой человек. Вы согласны?

Это не такая простая дилемма. Я думаю, что совокупность тех людей, которые смогут повернуть общество или человечество, расположена по всей вертикали. Конечно, их внизу может быть численно больше, потому что низов больше, но вершина при этом тоже не будет обойдена. Вся история показывает нам, что каждому крупному общественному или национальному повороту всегда предшествуют какие-то одно, два, три имени, которые опережают ход событий чуть не на столетие, на полстолетия. Совсем без них не обойдётся. Но, конечно, не те мнимые лидеры, которые поплелись за марксизмом, будут задавать направление. Они себя обнаружат в смешном и унизительном положении, и многие из них раскаются, поздно раскаются.

Предположим, не будет войны. Каким вы видите будущее Запада?

Я отказываюсь рассматривать эту перспективу, потому что я считаю войну — правда, не ядерную — неизбежной. Включая сюда все так называемые национально-освободительные войны, все взрывы изнутри. Я думаю, что и некоторые страны Европы очень близки к такому вот перевороту. Иногда к этому ведут и вожди, сами вожди этих государств. Совсем недавно на социалистическом конгрессе в Португалии Майкл Фут сказал, что у вождей сверхдержав недостаточно интеллектуальных способностей, поэтому, мол, мы, вожди социалистического интернационала, должны применить свои способности. Но как раз способности вождей социалистического интернационала вполне могут завести их страны в пропасть. Мы видели, как ослабил Западную Германию Брандт, как Пальме подкреплял Северный Вьетнам, что делает сейчас Папандреу с Грецией. И ещё примеры и примеры. Не обязательно война приходит в виде вторжения. Она приходит и изнутри, и тоже не обязательно в виде восстания. Она приходит в виде ослепления политических деятелей. Поэтому, к сожалению, совершенно нереально рассматривать, что было бы при «статусе-кво» в мире. «Статуса-кво» не будет более.

Думаете ли вы, что со временем социализм неизбежно дегенерирует в коммунизм?

Я придерживаюсь абсолютно того же мнения, что наш замечательный учёный Юрий Орлов. Он сидит уже много лет в лагере, а незадолго перед своим арестом напечатал статью, в которой доказывает, что всякий социализм, самый мягкий, самый в кавычках демократический, если только он будет достаточно последователен, если он не будет отступать, изменять, а только двигаться согласно своей внутренней логике, он неизбежно придёт к коммунизму. И это мы видим всюду, во многих странах, социалисты всегда робеют перед коммунистами, ничего не могут сделать. Они не устаивают перед коммунистами. Они только тогда могут устоять, когда начинают пятиться и отступать от самого социализма.

Кампания одностороннего ядерного разоружения в Англии приобрела сейчас большую силу и влияние. Как вы считаете, что это означает?

Запад несёт на себе моральную ответственность, что 40 лет назад он вообще решился изготовлять и применять ядерное оружие. Сама идея «ядерного зонтика» была безнравственна. Надо было понимать, что крепость Запада нужно растить в сердцах и обязанностях молодёжи. Тогда, если б и создалась ядерная гонка, Запад был бы силён и без неё. Сегодня Запад без ядерного оружия не имеет вообще ничего, то есть вся ставка Запада — на ядерное оружие.

Второй аспект — это частный случай поразительного ослепления молодёжи и общества. Я никогда не взялся бы осудить ни одного человека, кто выступает против ядерного вооружения. Но происходит иная беда, возникает удивительное неравновесие в этих движениях отвращения. Попробуйте западной молодёжи сказать: а почему же нет такого же точно движения за ядерное разоружение в Советском Союзе? Их это не беспокоит. Они скажут: ну вот мы разоружимся, односторонне, а тогда, конечно, и коммунисты разоружатся. И здесь не столько дезинформация, не столько смятение умов, здесь падение воли этой молодёжи.

Некоторые сторонники ядерного разоружения в этой стране говорят, что раз они ничего не могут сделать против советского ядерного вооружения, то единственный путь — протестовать против нашего ядерного вооружения, по крайней мере хоть с нашего конца начать.

Ну да, я всё время настаиваю, что это у них анонимное действие. Это беспроигрышно — протестовать против ядерного оружия, которое безусловно отвратительно; но они скрывают за этим неготовность обратиться к защите своей родины. Советские вожди при такой ситуации вообще могут легко обойтись без ядерного оружия, они просто возьмут вас обычным оружием, и притом без всякого сопротивления. И вот этим самым молодым людям, которые так смело сегодня демонстрируют, которые берутся за руки на тридцать

километров по длине, — им скажут: «по три человека на улице не стоять!» — в Лондоне! — и они будут это выполнять.

Есть люди, которые говорят, что раз термоядерная война была бы катастрофой для всей нашей планеты, то сдаться, даже для тех, кто ненавидит коммунизм, желательнее ядерной войны. Что вы скажете?

Поразительно то, что Запад не слышит прямого смертного приговора, который ему произнесен. В 1919 году был создан Коминтерн, и его вожди Ленин и Троцкий, ещё не имея никакого ядерного оружия, даже не имея в достатке простых винтовок и патронов, объявили смертный приговор западному миру. На Западе это вызвало только смех. 60 лет назад, после революции, сюда хлынула вся образованная Россия, все сливки русских умов, и все говорили: коммунизм — это что-то необыкновенное, он ни на что не похож, — Запад не обратил никакого внимания. 50 лет назад к вам привозили из Архангельска брёвна с надписями от заключённых — эта история стала известна, но никто не обратил внимания. 40 лет назад, после Второй мировой войны, хлынули миллионы советских людей, которые рассказывали, что коммунизм — это что-то ужасное. Их не только не слушали, но сотнями тысяч выдавали на уничтожение обратно в Советский Союз. 30 лет назад Кравченко на известном процессе в Париже показал, что такое Советский Союз, — и на него не обратили внимания. История не прощает столь долгих ошибок.

Некоторые сказали бы: что ж, нас приговорили к смерти 65 лет тому назад, а мы всё ещё живы. Почему нам так не продолжать?

Потому что невозможно сравнить то положение, когда Кремль ещё не имел армии, вооружённой хотя бы винтовками, и когда сегодня он имеет лучшие ракеты на Кубе, в Никарагуа, лучшие морские базы в Анголе, Мозамбике, в Южном Йемене, и когда перед вами вырос огромный коммунистический Китай. Мы видим, что этот процесс не только идёт постоянно, но идёт с ужасающей быстротой.

Считаете ли вы, что возникновение «Солидарности» является признаком истинной надежды, или тот факт, что «Солидарность» разбили, является признаком того, что надежды нет?

Во всём этом явлении гораздо больше надежды, чем разочарования. Это движение даёт нам надежду и своим масштабом, и своим духовным направлением, основанным не на социализме, а на христианстве. Польша смогла его проявить благодаря силе своей Церкви. Но безусловно это сигнал того, что может происходить и в других коммунистических странах. Об отдельных вспышках Запад часто и не знает. Много случаев крупного сопротивления в Советском Союзе, крупных забастовок остались неизвестны или узнавались с опозданием в 20 лет. А что происходит сегодня в Китае или в Корее — никто не знает, и даже не хотят знать. «Солидарность» — да, это надежда. То, что она потерпела временное или длительное поражение, показывает серьёзную силу коммунизма, которая всегда имеет во всяком народе опору на беспринципную часть. Такая беспринципная часть есть и у вас в каждой западной стране, и она не меньше. Но по отношению к Польше Запад отчасти... ну, как на спектакль смотрел. И тут есть сходство с тем, как Запад смотрит на Афганистан. Ведь Запад всё время надеется, что на Востоке произойдёт какое-то чудо, которое избавит вас от необходимости защищать самих себя. Может быть — что вместо Брежнева придёт хороший либерал Андропов или ещё какой-нибудь «голубь». Может быть — польская «Солидарность» перевернёт Польшу, а за ней и Литву, а за ней и Советский Союз. Но не надо смотреть на эти события как на спектакль, смотрите — как на призыв напрягать силы Запада. Ещё с тех пор как при Рузвельте стали посылать целые заводы в Советский Союз устанавливать, с тех пор всё время Запад укреплял именно коммунистические правительства, против их народов.

Ну посмотрим Афганистан, вот идёт уже три года война. За это время Запад, кроме самого общего сочувствия, ничего реального не сделал для этой страны. Вот если бы Запад имел совершенно ясное представле-

ние, что все коммунистические правительства мира — его смертельные враги, и никакие разрядки, никакие улыбки не смягчат этого положения, а, наоборот, все подневольные народы — его союзники. Но, во-первых, все западные правительства, включая американское, боятся гнева Кремля, а во-вторых, в конце Второй мировой войны Запад подорвал доверие наших народов. Мы верили, что Запад наш союзник, — а Запад предавал тех, кто воевал против коммунизма, предавал на уничтожение. Ту прежнюю историю надо не скрывать, а, наоборот, напомнить её и обещать, что Запад не повторит этой ошибки. Однако это всё мечты, на самом деле Запад только наблюдает, не произойдёт ли на Востоке чуда.

Если западные правительства ничего не сделают, как могут делу помочь отдельные лица на Западе?

Отдельные лица и помогают. Вот сейчас многие врачи поехали помогать афганским раненым. Но когда позиции правительств трусливы, индивидуальная помощь имеет границы. И сейчас я со страхом слежу: швейцарское правительство не выдаст ли на уничтожение советских военнопленных, спасшихся.

Предположим, что Ярузельский мог бы помочь улучшить условия для поляков в такой же мере, как Кадар это сделал для венгров. Вы бы это приветствовали? Или вы бы считали, что положение должно ухудшиться для того, чтобы улучшиться?

Нет, вот так я бы не сказал. Я, конечно, приветствовал бы всякое улучшение реального положения поляков. Но я не склонен преувеличивать, как много сделал Кадар для венгров. И когда нужно было вторгаться в Чехословакию, то прекрасно Кадар вторгся в Чехословакию. Надо сказать, что у каждого коммунистического вождя есть свои пределы, в которых он может сделать что-то хоть немножко положительное. Если Ярузельский вдруг оказался бы патриотом и старался делать хорошее для Польши, то завтра бы его опрокинули там, внутри политбюро. И был бы кто-нибудь другой.

Здесь вообще парадокс. Советские вожди видят, что их система не работает, они не могут кормить народ, они должны всё время поддерживать гигантскую систему гнёта, они знают, что миллионы их ненавидят, — почему они продолжают?

Они видят, что их система отлично работает. Она имеет такие геополитические успехи, каких не имел никогда ни один завоеватель в истории. Они видят, да, хозяйство у них разваливается, но они знают — в тяжёлые минуты капиталисты им всегда помогут, а везде, где коммунисты толкнут, капиталисты отступят. А о том, как живёт народ, они не беспокоятся. Это такое правительство, которое совершенно не думает о том, как живёт народ. Он сейчас вымирает у нас, народ, — ну и пусть вымирает. Они перейдут владычествовать над другими народами.

Такое общество, основанное на лжи, не может вечно существовать, это дом, построенный на песке. Согласны вы с этим? И если согласны, то как вы себе представляете начало конца?

Конечно, это не может существовать вечно. Конечно, будущие историки скажут: коммунизм на земле существовал от такого-то и до такого-то года. Но благодаря тому, что Запад в течение двух третей века делает ошибки и поддерживает коммунистические правительства, коммунизм имеет ещё шансы распространяться по земле, я теперь пришёл к этому пессимистическому выводу. И возможно, это будет походить на солнечное затмение, когда тень на Землю находит, а потом сходит. Вот она нашла, тень, на Россию, на Китай, а потом постепенно с них сойдёт, перейдёт на другие места, и в конце концов покинет Землю.

Можете ли вы указать предположительно начало этого процесса?

Ни форма, ни сроки не достижимы человеческому разуму. От самого момента, как коммунизм утвердился в России, умнейшие русские люди говорили — ну пять лет, десять лет, пятнадцать лет... это не может

держаться, это настолько нелепо, что не может держаться. А Запад казался твердыней. И вдруг оказалось, что эта нелепость держится, а Запад слабеет и слабеет. Я отказываюсь предсказывать сроки и формы, но я абсолютно уверен в том, что марксизм уйдёт с земли, как затмение. Даже на примере нашей страны, которая 65 лет под коммунизмом, мы видим, что коммунизм со всем своим оружием не мог победить христианство. Сам я почти уверен, что ещё при своей жизни вернусь на родину.

Вожди венгерской революции в 1956 и чешской весны в 1968 — все вышли изнутри коммунистической партии. Думаете ли вы, что есть такие люди в Советском Союзе, которые ждут момента, а пока продвигаются по иерархии?

Во-первых, я хотел бы разделить эти два примера: чешский и венгерский. Чешский вариант я считаю вообще бесперспективным. Это попытка людей, которые считают себя до конца коммунистами, придать коммунизму так называемое человеческое лицо. Это совершенно невозможно. Если бы даже не было вторжения стран Варшавского пакта в Чехословакию — или бы вся компания Дубчека сошла бы постепенно на нет, свела бы ни к чему, или события начали бы принимать более грозный характер и тогда был бы венгерский вариант.

Венгерский вариант чрезвычайно ободряющий, потому что в венгерском варианте пробудилось и действовало чувство национальной самозащиты. (Кстати скажу, что в моей жизни вот это венгерское восстание и безучастность Запада были потрясением. Я увидел — вот, начинается, я ждал от часа к часу, но Запад остался безучастен. Я потерял веру в Запад.) Да, венгерский вариант показывает, что даже в коммунистической системе и даже через её руководителей может пробиться чувство национального самосохранения. Так, как организм больного человека вдруг сам находит, чем себя спасти в последнюю минуту. Но надо сказать, что в Венгрии к этому моменту всего-навсего было 8 лет коммунистического господства. Венгрию ещё не успели коммунисты испортить и перекалечить, да и в са-

мих коммунистических кадрах ещё встречались люди непорченые.

У нас эта система стоит 65 лет, за это время сменилось уже два-три поколения. И в коммунистической иерархии происходит всё время отбор, как только попадается честный и принципиальный человек, система его выбрасывает: или он сам из неё уходит, или погибает. Сегодня наша система такова: вся верхушка совершенно гнилая, коммунистический вождь хороший не найдётся. Когда Хрущёв проявил толику кое-каких человеческих качеств — система его выбросила. Однако я верю, что наша нация, как организм, ещё не умерла, и поэтому живые ростки всё равно пробиваются в разных неожиданных местах. Это инстинкт, через который народ спасает сам себя. И я сам ощущаю у себя на родине массу людей, которых бы я назвал своими единомышленниками или сочувствующими. Кого-то из нашего народа я представляю, — если бы я никого не представлял, то меня бы и власти не боялись.

В 30-х годах Запад очнулся, только когда началась война. Мы должны очнуться теперь, очнуться до начала войны. Что может нас разбудить?

Я бы не хотел, чтобы вы проснулись, когда потолок уже обрушится на вашу голову. Я бы хотел, чтобы громкие голоса выдающихся людей, писателей, публицистов, политических деятелей осмелели бы сказать, что потолок уже треснул и скоро упадёт, не боясь, что им ответят: ах, это смешно; ах, это слишком крайне. Я всё-таки верю, что громкий искренний голос может подействовать на людей.

Это внутри. А извне? Что должны были бы сделать коммунистические вожди, чтобы вызвать наше противостояние?

Пока не видно... пока что мы не видим ни единой страны, из-за какой Запад стал бы биться. Возможно, Соединённые Штаты готовы биться за Израиль. Не знаю, будет ли биться Европа за нефть. Не степень опасности вас вразумит — вас укрепит, когда наступит воодушевление внутреннее. Что может быть разительней того, как уничтожали красные кхмеры свой

народ? Что может быть разительней того, как вьетнамцы плывут на лодках и тонут? Откройте ваши газеты — много вы там найдёте взволнованности от этого? А ведь это уже край, это уже последний край.

Если бы вы были советником президента Рейгана, что бы вы ему сказали?

Я должен сказать, что президент Рейган вообще не нуждается в моих рекомендациях и советах. Он сам ясно видит ситуацию. Напротив, он то и дело получает публичные советы от американских публицистов, — советы такого качества, что, по-моему, ослиные уши и то бы должны упасть. Я думаю, что президент Рейган не испытывает недостатка в понимании проблем, но он всё время должен бороться с ослеплённой, близорукой общественностью. Он даже не может доказать ей, что сейчас в Центральной Америке создаётся реальный фронт против Соединённых Штатов. Когда Рейган сказал, что он находится в резкой конфронтации с коммунизмом, то на него зашикали, что он испортил всю разрядку. А на самом деле он сделал лишь малый шаг из того, что он, вероятно, намерен был бы сделать. Но американская общественность настроена так, я приведу пример из мореплавания: когда вы слышите сигналы SOS, вы должны спросить: «Кто вы такие, у вас демократия или нет?» Если демократия — спасать. Если это коммунистическое судно — тем более спасать, потому что так... избежим неприятностей. А если у вас иной, недемократический режим — идите ко дну, тоните. Это совершенное безумие. В Сальвадоре провели выборы под пулемётами, повстанцы действительно расстреливали избирателей. Американский конгресс и американская общественность кричат: «недостаточно демократии! ведите переговоры с бандитами, давайте новые и новые выборы под пулемётами». Простите, но вот такие случаи заставляют меня считать Запад иногда сумасшедшим домом.

Что бы вы сказали, если бы у вас была возможность обращаться по радио к русскому народу?

Видите, публицистика вообще... я ею занимаюсь поневоле. Если бы я имел возможность обращаться к

соотечественникам по радио — я бы читал свои книги. Ибо в моей публицистике и в моих интервью я не могу выразить и одной сотой части того, что есть в моих книгах.

Есть ли что-то особое, что Британия, в отличие от остальной части западного мира, может сделать?

Возможно, Британия могла бы сделать нечто из того, что я здесь уже упоминал. Но главное: британская история демонстрировала не раз удивительную способность мобилизоваться в опасности. Если бы в Британии началась моральная мобилизация сейчас, до того как обрушится потолок, то даже отдельное стояние одной Британии произвело бы на коммунистических вождей сильнейшее впечатление. Коммунисты, при своей жадности захватывать мир, на самом деле всё время разборчиво хватают те куски, которые ухватить легче. А где они встречают твёрдую волю — они отступают. Даже от своих узников, собственных узников, которые тверды волей.

Каково ваше заключительное слово читателям этого интервью?

Я мог бы только призвать британцев очнуться самим, пока не поздно. Пришло время ограничивать самих себя в потребностях, учиться жертвовать собою для спасения своей родины и своего общества.

Большое спасибо.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ С МАЛКОЛМОМ МАГЭРИДЖЕМ ДЛЯ БИ-БИ-СИ

Лондон, 16 мая 1983

> Когда были опубликованы ваши три книги о ГУЛАГе, они произвели огромное впечатление на общественность. Но мне кажется, большинство людей считает, что ГУЛАГ отошёл в прошлое, кончено с этим. По-моему — вовсе не кончено, и то, что происходило раньше, происходит и сейчас. В конце концов, глава Госбезопасности даже стал теперь главой вашего государства.

У нас в Советском Союзе книга об Архипелаге ГУЛАГе воспринимается как книга о сегодняшнем дне. Был момент в нашей истории, когда казалось, что Архипелаг ГУЛАГ начнёт исчезать. И то — момент этот был очень короткий и обманчивый. Архипелаг ГУЛАГ существует в сегодняшнем Советском Союзе. В смысле жестокости он не изменился. Нашёл другие формы жестокости. А вот в смысле объёма — Архипелаг всё же уменьшился. Если раньше население Архипелага доходило до 15 миллионов одновременно, то сейчас, например по оценкам Государственного Департамента Соединённых Штатов, он составляет 4 миллиона, а по данным эмигрантских организаций, которые рассчитывают количество лагерных пунктов, — между 5 и 6 миллионами. Что дало возможность снизить число жителей Архипелага? Не добросердечие руководителей СССР, но то, что Сталин в своё время взял огромный запас ужаса, так что теперь достаточно небольшого давления, которое сразу даёт значительный эффект в людском ощущении. Ещё некоторое время инерция эта будет продолжаться.

> Верно ли, что та неоплачиваемая рабочая сила, которую используют советские власти в ГУЛАГе, является для них необходимой?

Она всегда была необходима и сегодня такова, но особенно в таких местах и на таких работах, на которые почти невозможно нанять никого. Ну например, всякие работы с радиоактивными веществами, где не применяют никакой защиты организма. Во многих местах и добыча радиоактивных веществ, и очистка, например, радиоактивных частей подводных лодок проводится с помощью труда заключённых, которые умирают за несколько месяцев. В таких случаях организовано так, что охрана, привезя заключённых на работу, уходит за защитные бетонные стены или отъезжает на расстояние.

Можно ли себе представить, что эта страшная вещь, это гулаговское насилие, были бы изъяты из советской жизни?

Видите, не один ГУЛАГ выражает всю насильственную природу коммунистического тоталитаризма. Это только крайняя степень его насилия. Но существует целая градация насилий. Ваш вопрос следует так понять: возможен ли коммунистический тоталитаризм без насилия? Ни одного дня.

Я старый журналист, я уже больше пятидесяти лет работаю журналистом. И ко мне часто обращаются с вопросом: какое событие является самым значительным в наше время? И я отвечаю, что самое значительное, что произошло за те пятьдесят лет, что я пишу, — это возрождение христианской веры, и именно в том месте, где можно было считать её угасшей. Можно ли сказать, что усилия коммунистической власти раздавить, уничтожить всякую веру — фактически потерпели крах?

За прошедшие пять-шесть десятилетий мы видим во многих направлениях и во многих местах Земли — только победы и победы коммунизма. Правда, победы никогда не в пользу людей, не оздоровляющие, не экономические, а победы чисто военного характера. Сигнал к наступлению на христианство дали Ленин и Троцкий, в самом начале своего господства. С тех пор прошло шестьдесят лет. Брошены были все силы чекист-

ского аппарата, политической тайной полиции, уничтожались миллионы крестьян, носителей религии. Истрачены миллионы часов пропаганды на то, чтобы выжечь религию из сознания, не допустить к ней детей. И тем не менее мы видим сегодня, что в нашей стране коммунизм не победил христианства. Христианство потерпело большой упадок, но сейчас действительно стало усиляться и укрепляться. И это самый обнадёживающий знак, который относится не только к нашей стране, но ко всему миру.

> Я вспоминаю сейчас, как два-три года назад я был в Советском Союзе, по поводу столетия со дня смерти Достоевского. И в связи с этим я перечитал его Пушкинскую речь. И вот я оказался на московской улице, и цитировал слова, по-английски конечно, из Пушкинской речи Достоевского — о том, что Дух Христов восторжествует против всех врагов Его именно в России.

Поразительно, что Достоевский это видел за сто лет вперёд.

> И не только это. Именно Достоевский почуял, что всё произойдёт из беса либерализма.

Мы с вами можем видеть то, что уже стало зримым во многих местах Земли. Но как он увидел то, что ещё только зарождалось и чего ещё не было нигде на Земле? Наблюдая современность, мы то и дело возвращаемся к Достоевскому и поражаемся его предвидениям.

> Я не могу не согласиться. А ведь все знают, что Достоевский в СССР был в опале, его нельзя было читать.

О, ещё как! Его в моё время совершенно не было в школе. Среди писателей такого имени не было.

> Но теперь они его снова восстановили, и меня поражает эта совершенно феноменальная идеологическая акробатика. Теперь нас стараются уверить, что Достоевский каким-то таинственным образом продолжает идеологию Маркса; и будто бы Ленин его хвалил.

Нет пределов акробатике марксизма. Не только Достоевского они записали уже в свои единомышленники, но, уничтожая христианство, они готовы и Иисуса Христа записать себе. В СССР совершенно серьёзно доказывается в атеистической и политической литературе, что именно лучшее, что есть в христианстве, — христианство осуществить не может, а наследует и практикует марксизм.

В Восточной Германии праздновали 500-летие Лютера. И при этом утверждали, что именно Лютер начал дело Ленина.

Но я больше вам скажу: дело не ограничивается только коммунистическими странами. Этот фокус, это мошенничество распространяется на весь мир, потому что социалисты то и дело приписывают себе христианские доблести. Христианство основано только на доброй воле, а социализм только на насилии, хотя бы и мягком.

Я хочу задать личный вопрос: вы надеетесь когда-нибудь вернуться в Россию?

Знаете, странным образом, я не только надеюсь, я внутренне в этом убеждён. Я просто живу в этом ощущении: что обязательно я вернусь при жизни. При этом я имею в виду возвращение живым человеком, а не книгами, книги-то, конечно, вернутся. Это противоречит всяким разумным рассуждениям, я не могу сказать: по каким таким объективным причинам это может быть, раз я уже не молодой человек. Но ведь и часто история идёт до такой степени неожиданно, что мы самых простых вещей не можем предвидеть.

Ото всей души надеюсь, что это исполнится. Меня уже скоро не будет, но, если я смогу откуда-то наблюдать, я буду радоваться без конца. Дорогой господин Солженицын, в основном я вполне согласен с вашей оценкой положения в мире. Вы уже давно живёте на Западе, скажите, считаете ли вы, что Западу суждено быть захваченным военной силой коммунизма? Или поддаться полному разложению христианской цивилизации?

И та и другая угрозы сейчас очень высоки. Прямое нашествие коммунизма на Запад весьма возможно. А может быть, Западу будет дано развиваться в себе ещё какое-то количество десятилетий. Но если Запад не найдёт в себе духовных сил, не возвысится духовно, — да, христианская цивилизация развалится. Последние два-три столетия всё идёт в этом направлении. Мы теми же самыми именами называем европейские страны — Англия, Франция, Германия, мы так же называем общественный строй — демократия. На самом деле за эти два-три столетия неузнаваемо переменились и Англия, Франция, Германия, и демократии Англии, Франции, Соединённых Штатов. Демократия, как она создавалась, была — перед лицом Бога. И всё основание равенства было — равенство перед Богом. Но люди стали образ Бога отодвигать, и смысл той самой демократии стал странным. Требуется равенство от совсем неравных, и даже наоборот: с большой выгодой для самых посредственных. Ответственность перед Богом теперь исчезла, осталась только ответственность перед законом. Но, лишившись высшей ответственности, мы стали свободно разрушать сами себя и общественную жизнь.

Вы об этом уже говорили в вашей замечательной Темплтоновской речи, на прошлой неделе. Считаете ли вы, что положение безнадёжно?

Положение, Божьей волей, никогда не безнадёжно для нас. Мы, в СССР, кажется, потеряли уже всё — и то наше положение не безнадёжно. Я совсем не думаю, что человеческая история при конце. Масштабы, которыми мы пользуемся, очень коротки. Вся эта эпоха — ослабления христианской цивилизации, и коммунизма, пришедшего в мир, и ушедшего из него, — всё это будет измеряться какими-то отрезками времени, а История будет продолжаться. Просто на тот урок, который дóлжно усвоить, мы, человечество, требуем много столетий. Мы слишком непонятливы.

Вы делаете столь многое, что мне так интересно. Но самой важной мне кажется ваша попытка «вернуть России её историю», то, что вы говорите от имени и за тех, которые умерли в ГУЛАГе.

Я как писатель действительно поставлен в положение говорить за умерших, но не только в лагерях, а за умерших в российской революции. Я 47 лет работаю над книгой о революции, но в ходе работы над ней обнаружил, что русский 1917 год был стремительным, как бы сжатым, очерком мировой истории XX века. То есть буквально: восемь месяцев, которые прошли от февраля до октября 1917 в России, тогда бешено прокрученные, — затем медленно повторяются всем миром в течении всего столетия. И хотя я не ставил себе целью послужить миру для объяснения Двадцатого века, моя задача была только вернуть России её память, — в последние годы, когда я уже кончил несколько томов, я с удивлением вижу, что я каким-то косвенным образом писал также и историю Двадцатого века.

Замечательно. Я впервые попал в Россию молодым журналистом, в 32-м, 33-м году. Это было сталинское время, и слово, сказанное против Сталина, было смертельно. Все поклонялись ему, совершенно одинаково, включая и многих выдающихся западных писателей, которые говорили: «Какой замечательный человек!!» Потом пришла речь Хрущёва на XX съезде, и все памятники были сняты. Как вы думаете, его когда-нибудь восстановят?

Думаю, им нет такой необходимости. Например, Андропов сейчас делает шаги, в общем, слабо повторяя сталинские шаги. Но им достаточны для образца такие манекены, такие постоянные куклы, каких они имеют в лице Ленина и Маркса. Если будет слишком много вождей в промежутке, тогда падает роль очередного вождя. Хватит им Ленина.

Но если взять простой русский народ, вот было понятие Сталина как великого вождя, и потом вдруг в один прекрасный день он больше — не великий человек, не великий вождь. Какая может быть реакция? Подрывает ли это доверие? Если великий человек — больше не великий человек, так же можно поступить и с его наследником?

Я должен сказать, что здесь история для Запада представлена неверно. В «Архипелаге ГУЛаге» я рассказываю несколько случаев, а знаю их десятки, когда простые люди относились к Сталину с насмешкой и полным непочтением, именно в 30-е годы. Это было именно в деревне, самые неграмотные, и вообще низшие слои общества. И для них развенчание Сталина не было никаким потрясением. Они спокойно выбросили из красного уголка, из официального места, портрет Сталина и повесили Маленкова. Потрясением это было для коммунистической элиты, для верхов советской интеллигенции и для западного передового общества, которое верило в Сталина. Откуда и родилось то представление, что XX съезд «открыл глаза». Он открыл глаза только тем, кто до этого хотел быть обманутым. У нас в лагерях шапки бросали вверх, когда услышали, что Сталин умер. А кто плакал? — плакали комсомолки по 14, 15 лет.

Меня всегда очень интересовал самиздат. Ваши книги ходят в самиздате?

Тут есть различие. Самиздатом мы называем то, что перепечатывают или переписывают вручную и распространяют люди, живущие в Советском Союзе. Всякого рода общественные заявления и сегодня появляются в самиздате, и расходятся. И более серьёзные исследовательские работы, особенно религиозного и философского характера. Художественные произведения в 60-е годы тоже распространялись довольно живо, например мои два романа, «В круге первом» и «Раковый корпус», ходили по рукам широко. Но когда, скажем, меня стали издавать на Западе, по-русски, и делают специально такие маленькие книжечки для России, то люди стали предпочитать каким-нибудь образом достать почитать типографскую книжечку. Это уже — не самиздат. К счастью, мои книги туда проникают. Каждая книжка находит себе много читателей, из рук в руки переходит. Когда у кого-нибудь обыск — мои книги отбирают. Для нас с женой — это наша главная цель: чтобы мои книги попадали в Россию, и чтоб читали именно там, — мы больше всего к этому стремимся.

Хорошо это знать. Последний вопрос: вы живёте в Америке, реализовалась ли у вас «американская мечта»?

У меня никогда не было её, «американской мечты». Но что удалось мне в Америке осуществить, это впервые такой образ жизни, когда вся жизнь есть работа. В Советском Союзе я никогда не мог, во-первых, заниматься только литературой, я должен был всё время зарабатывать себе на жизнь, чем-нибудь другим. Во-вторых, я никогда не мог держать всё своё написанное у себя дома, потому что каждую ночь или день можно было ожидать налёта КГБ. И я держал у себя так мало рукописей, что, когда мне нужно было сверить одну часть «Архипелага» с другой, я не мог этого сделать. И, в-третьих, у меня почти не было доступа ни в одну библиотеку. Сперва я было имел такую возможность, членом Союза советских писателей, а потом меня выгнали из Союза писателей. Поэтому доставать книги мне было чрезвычайно трудно, а уж эмигрантские издания для нас там вовсе закрыты. А вот теперь у меня пять, даже шесть столов, на которых лежат все мои рукописи, лежат десятки раскрытых книг, и моя жизнь проходит с утра до позднего вечера в работе. Нет никаких исключений, отвлечений, отдыхов, поездок, — в этом смысле я действительно делаю то, для чего я был рождён. Но всё это освещается только тем солнцем, что я надеюсь ещё увидеть Россию, освободившуюся от коммунизма.

Замечательно. Вы — для всех нас урок и поучение.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ИТОНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Виндзор, 17 мая 1983

Мои молодые друзья! Когда в учебное заведение приглашают постороннего гостя, как сейчас меня, от него естественно ожидают, что он призовёт воспитанников к наибольшему усердию в науках — что принесёт им в дальнейшем и мудрость, и успехи в жизни. Не я буду тот гость, который нарушит эту традицию. Я сам в вашем возрасте имел большую страсть к учению, так что даже учился одновременно на математическом и литературном факультетах. Но я полагаю, что многие из вас понимают: одно образование ещё не даёт человеку всего необходимого. Образование ваше будет плохо использовано, если вы не сумеете выработать в себе собственного духовного зрения, духовной позиции. И ваше образование останется втуне, без настоящего применения, если у вас не выработается характер и воля к действию. Это довольно общее место, которое вам всем, вероятно, понятно. Но я хотел бы подчеркнуть, что в наше время эти качества, духовное зрение и воля к действию, необходимы как никогда. Парадоксально, что именно в Двадцатом веке, когда все науки получили необыкновенное, бурное, блистательное развитие, сказалась недостаточность как точных наук, так и социальных. Точные науки и техника привели к умопомрачительным, потрясающим изменениям, так что, например, на протяжении моей жизни — просто нельзя узнать лица планеты. Но тем не менее развитие точных наук не сделало людей более добрыми и не повысило их духовный уровень. И даже, что уже совсем странно, это бурное развитие, принесшее столько комфорта, — кажется, не увеличило и счастья людей сравнительно с предыдущими веками. Что же сказать о науках социальных? Они тоже растут, они множатся сотнями и тысячами книг, но се-

годня они не указывают нам выхода из того катастрофического положения, в котором находится наша планета. Не все осознают остроту этой катастрофы: что она не только приближается, но уже наступила. Знаменательно то, что мир сегодня состоит из как будто бы совершенно непохожих друг на друга частей. С одной стороны — коммунистический Восток, с другой — Запад. Но, как ни различаются эти миры, они оба пришли к тупику. Пути были разные, причины разные, а катастрофа — общая, одна.

Я понимаю, что среди вас растут возражения: на Западе этот тупик ещё не так виден. Но он — есть. Вы вступаете в жизнь в роковую эпоху. Вам не предстоит жизнь благополучная, ровная, без крупных событий. Этот смерч исторический захватит вас — некоторых ещё на выпуске из учебного заведения, некоторых на первых жизненных шагах. Даже внутренние проблемы Запада чрезвычайно трудны для разрешения сегодня. Но на это накладывается каждодневная опасность коммунистического нападения. Я не имею в виду обязательно открытое нападение армии. Эта агрессия длится уже десятки лет, она обладает способностью взрывать государства изнутри. И в каждом государстве находится достаточное число людей, готовых служить коммунистической тирании. Даже в такой стране, как Польша, объединённой крепким национальным духом и религией, даже в ней нашлось достаточное количество палачей и их помощников. Я боюсь, что ни одна страна Западной Европы не может обещать лучших результатов, чем Польша. Везде коммунизм находит тех, кто ему служит.

Вы вступаете в жизнь в период, когда окончилась долгая эра человеческого существования, три или четыре столетия. Мы стоим перед большим поворотом, не только физическим, но и духовным. А если мы этого духовного поворота не совершим, то мы просто все погибли.

Перед лицом угрожающей реальности XX века английские руководители, как и все руководители западно-европейских стран, делали почти одни ошибки. С начала Первой мировой войны, и во всяком случае с Версаля. Эти ошибки ваших мыслителей, ваших по-

литических деятелей объяснялись иногда тем, что они следовали ошибочным теориям, иногда тем, что они недостаточно вдумывались в события на востоке Европы, но чаще всего, увы, они объяснялись простой человеческой слабостью. Люди так устроены, что, пока потолок ещё не обвалился, мы продолжаем под ним беспечно ходить. Казалось — для простого самосохранения Западной Европе надо было уже с 1919 года внимательно следить, какая угроза растёт с Востока. Но ваши руководители беспечно декларировали, что никогда ещё Англия не жила так хорошо, как теперь. За слепоту дедов и отцов придётся расплачиваться нынешнему поколению на Земле. После конца Второй мировой войны ваши руководители совершили ужасающую вещь, то, что я назвал бы самым тяжёлым моментом отношений между англичанами и русскими за четыреста лет. Они выдали, против воли, сотни тысяч людей, отдали их на уничтожение в коммунистических лагерях. Многие из них кончали самоубийством на глазах английских офицеров и администраторов. Но администраторы не дрогнули. Великая демократия отдала сотни тысяч людей тоталитаризму на уничтожение. Как это могло произойти? Здесь не столько замышленное злодейство, сколько ужасная ошибка. Ошибка эта состоит в том, что Запад смешивает представление о коммунистических правительствах — и народах, угнетённых коммунизмом. На Западе считают, что эти народы как бы принадлежат своим правительствам, как добровольно избранным. Эта ошибка продолжается до сегодняшнего дня, она в вашем обычном употреблении, она в системе вашего мышления. Сегодня эта ошибка становится роковой, вот почему. Западный мир, хотите вы или не хотите это признать, потерял за последние семьдесят лет так много, уступил так много, укреплял коммунистические правительства так много, — что сегодня Запад, даже если бы собрался с волей, а воля его не собрана, — уже не может один устоять против соединённого коммунизма. Сегодня Запад может устоять только в союзе с угнетёнными народами. И те из вас, кто хотят действовать безошибочно, должны всё время, на каждом шагу, в каждом решении, в каждом действии делать

различие между правительствами СССР, коммунистического Китая, Кореи, Вьетнама, Кубы, Никарагуа — и народами этих стран. Если вы это различение сделаете, и если те из вас, кому суждено направлять общественные действия, будут смело идти в этом направлении, — вы получите могучих союзников, в союзе с которыми сможете победить коммунизм. Если вы будете продолжать спокойно плыть по течению, и будете бояться оскорбить какое-то из коммунистических правительств, и будете бояться протянуть руку угнетённому народу, то вас просто толкнут по пути Гитлера. Гитлер ополчился не против коммунизма, а против русского народа. И таким образом дал Сталину козырь. Сталин мог призвать свой народ: «смотрите, Гитлер хочет уничтожить вас, не нас, а вас», — и у народов СССР не осталось выбора, как, защищая себя, спасти и коммунистическое правительство. Объединяя народ с враждебной ему властью, вы загоняете его в отчаянный тупик, опасный и для Запада.

Я хочу настоятельно призвать вас не поддаваться беспечности, не ожидать для себя благополучной, счастливой жизни. Не доводите до нашего положения, под коммунизмом. Мы продолжаем борьбу, но уже как рабы, на коленях. В Советском Союзе две трети века, а в Китае — треть века. Борьба человечества с коммунизмом не прекратится никогда. Рано или поздно коммунизм уйдёт с Земли. Но лучше бороться с ним, пока вы ещё стоите на нескованных ногах и руки ваши свободны. Защищайте свободу, пока она у вас есть.

> Сэр, если в России так мало людей, которые поддерживают коммунизм и хотели бы атаковать Запад, — то в чём мы должны видеть угрозу?

Это напоминает мне почти анекдотическое удивление европейцев сорок лет назад. Когда я был в советских войсках на территории Германии, мы разговаривали с европейцами и рассказывали, какой ужас там у нас творится. А европейцы разводили руками: «Если вы все недовольны Сталиным, почему вы его не переизберёте?»

Для того чтобы судить о коммунизме — отбросьте ваши привычные мерки. Если вы чем-нибудь недоволь-

ны — вы собираетесь, сто, тысяча человек, и идёте на улицу, а мы у себя дома — собираемся по два человека и боимся говорить под потолками. Мы пишем друг другу на бумажке, показываем и уничтожаем. И так — во всех коммунистических странах. Уже давно никто не принимает коммунизм душою. Даже коммунистические вожди сегодня думают только о своем благополучии, а вовсе не о коммунизме. Коммунизм должен быть живым только в тот момент, когда он прыгает на спину, и во времена Ленина он был таким. Он схватил страну, — а дальше он может держать своей хваткой, даже будучи мёртвым. Это метафизическое существование. Вожди коммунизма не нуждаются лично в том, чтобы захватывать Анголу, Никарагуа или Южный Йемен. Но они действуют под влиянием этой страшной силы, и если нужно — они нажмут кнопки ракет, и если нужно — пошлют танки, и солдаты пойдут, — не потому что они за коммунизм, а потому что у них нет выхода. Вы просто не понимаете природы коммунизма. Во время венгерского восстания в Будапеште были случаи, когда советские солдаты отказывались стрелять в народ, стрелять в венгров, — и были тут же расстреляны своим начальством. Они отдали жизнь, а сегодняшние молодые американцы, которых призвали — не в армию, нет, только записываться, регистрироваться, на случай, если когда-нибудь их позовут, — они во множестве не идут. Сравните, сравните, пожалуйста, два уровня души.

Считаете ли вы, что русский народ жаждет религии и духовного знания больше, чем западные народы?

Я посвятил этому свою речь в Гилдхолле несколько дней назад. Поэтому я не буду сейчас отвечать подробно. Но смысл в том, что, когда всё открыто, всё свободно и не нужно никакого душевного усилия для того, чтобы отстаивать свою веру, — она, по человеческой природе, начинает поддаваться эрозии. У нас в стране 65 лет коммунизм не имел другой более важной цели, чем уничтожить религию. Страшным давлением он раздавил миллионы людей, вместе с их верой и с их

жизнью. Но у тех, кто выдержал это нечеловеческое давление, — у тех развилось острое влечение к вере, такое, какого на Западе сегодня действительно нет.

В истории всегда бывали очень сильные вожди и агрессивно настроенные государства, которые долгими периодами держали под своей властью много народов, подобно нынешнему Советскому Союзу. Что такого особенно угрожающего вы находите в коммунистической власти?

Вы знаете евангельское изречение: отдай кесарю кесарево, а Богу Богово. Все предыдущие тирании, существовавшие до коммунизма, требовали только кесарево, — коммунизм впервые требует отдать ему не только кесарево, но и Божье. Коммунизму недостаточно, чтобы человек работал на него всю жизнь и умер, он должен прежде всего отдать душу, он должен как попугай повторять пропаганду коммунистическую, до тех пор, пока у него не останется ни собственных мыслей, ни собственных чувств. Такова цель коммунизма. Если вы будете искать для него каких-нибудь аналогий в прошлом — вы ошибётесь. Коммунизм — это начало большой эры в жизни человечества. Очень может быть, что коммунизм ещё настолько распространится по земле, что захватит и Англию. Тогда вы легко поймёте на собственном опыте. Но я не желаю вам этого. Как ни трудно для человека, но надо стараться понимать и учиться на чужом опыте.

Сэр, разве недавнее внушительное голосование за политику канцлера Коля в Западной Германии и решимость его самого поставить ракеты в Европе — не показывают нового осознания коммунистической угрозы Западной Европой?

Конечно, постепенно, за эти 65 лет у какого-то числа общественных и политических деятелей проясняется сознание остроты опасности. Конечно, канцлера Коля не сравнишь с канцлером Брандтом. Канцлер Брандт просто развалил всю позицию Западной Германии и как только мог укрепил Восточную Германию. Но одного сознания у отдельных политических деятелей мало для поворота Запада. Только тогда будет Запад как

целое являть собой силу, когда сознание опасности, и воля, и решимость жертвовать, — если нужно, жертвовать и жизнью, — овладеют обществом. А что сегодня мы видим в той же Западной Германии или Англии? Вот эти недавние демонстрации антивоенные, якобы антиядерные. Конечно, каждый разумный человек ненавидит атомное оружие. Но если заглянуть вглубь, если бы участники этих демонстраций ответили честно — они должны были бы признать, что они демонстрируют против всякой борьбы. Они вообще не хотят сопротивляться, никак.

> Итак, что нам на Западе делать — сражаться с Советским Союзом ядерным оружием, которое уничтожает, или словами, которых советские не слышат?

Если бы, если бы Запад мог сражаться словами! Советский Союз при любой разрядке продолжает идеологическую войну, так и объявляет вслух. Ни одной минуты, никогда советские руководители не отказывались от идеологической войны. Все их ложные идеи имеют обманные одежды, и они проталкивают их все 65 лет с нечеловеческой настойчивостью. На Западе часто говорят: «Мы нисколько не боимся идеологической войны, наши идеи выше, и мы победим!» Но вы не умеете мобилизовать ваших идей. Вы не умеете настаивать на истине, никогда ни в чём не уверены. Вы должны постоянно услуживать плюрализму. Вы должны представить «фифти-фифти» по каждому вопросу. Невозможность признать, что существует в мире определённое Добро и определённое Зло, даже стыдливость произносить эти слова, — делает Запад не способным противопоставить словесную войну Востоку. Ярлык «холодная война» приклеили коммунисты. Никогда никакой холодной войны Запад не вёл, потому что он не в состоянии. Потому что каждый, кто выразит идею слишком ясно, слишком прямо, слишком отчётливо, — сейчас же будет одёрнут со всех сторон: «уберитесь! замолчите! это испортит отношения». И потом не забывайте, что защищать демократию словесно — гораздо легче было двести лет назад. Тогда демократия стояла на высоком уровне личной ответ-

ственности. Всё держалось на том, что люди знали себе границы, знали свою ответственность перед Богом. А теперь Бог затмился, мы от него отвернулись. О своих обязанностях мы забыли. Только повсюду слышно: «мои права», «наши права». Один американский журнал напечатал подробную инструкцию, как изготовлять ядерную бомбу. Его пыталось остановить государство, — нет, «по конституции я имею право». Изобретают отвратительные фильмы об Иисусе Христе, — это не запрещается, и у людей, которые производят и демонстрируют эту мерзость, нет границ, чтобы самим остановиться. И когда вы говорите Востоку, что у вас свобода, — вам отвечают: да! свобода порнографии, свобода распущенности, свобода для богатых. Что вы можете на это ответить? Вы потеряли сердце демократии, вот почему у вас нет ясного словесного ответа коммунизму. А коммунизм лжёт блестяще, он толкает на вас легионы лжи. Таково положение в словесной войне.

> В Гилдхолле, и вот сейчас, — вы сказали, что причина мировых проблем в том, что человек забыл Бога. Но разве не правда, что в прошлом организованная религия, с её указанием на вину и грех, — была такой же силой для гонения, как коммунизм сейчас?

Такой же, как коммунизм, — нет, никогда. Но что Церкви делали ужасающие ошибки — несомненно. Однако посмотрите и на свою собственную жизнь. Может быть, вы ещё молоды, чтобы заметить многие свои ошибки. Когда вы доживёте до пятидесяти, шестидесяти лет, вы возьмётесь за голову: сколько вы наделали ошибок. Почти вся жизнь состоит из ошибок. То же самое относится к человечеству. Человечество ещё не исчерпало свой исторический путь. Мы должны были ударяться то в одну стенку, то в другую, то в инквизицию, то в полную свободу Возрождения и Просвещения. Вы сейчас попрекаете все Церкви справедливо — за расколы, за войны, за ненависть. А что, за двести лет после Просвещения — сделано ошибок меньше на Земле? А разве колонизация произошла не после Просвещения? Каким же

образом просвещённые люди взялись покорять другие народы, владеть ими для своего обогащения? А потом бросить их в такой поспешности, что они не могут на ноги встать?

Да, вера в Бога — это самое, может быть, трудное и высокое, что есть перед человеком и перед человечеством. И надо пройти очень тяжёлый путь, пока наконец вы почувствуете, что этот источник есть свет и помощь. Там, под тоталитаризмом, на самом дне Архипелага ГУЛАГа, который мне вам трудно передать вне пределов моей книги, — там самыми стойкими, свободными людьми были те, кто сохраняли веру в Бога. Она проверена при тысячекратных напряжениях и нагрузках. Конечно, человечество ещё будет ошибаться, потому что задача, поставленная перед нами, — на пределе наших душевных и умственных сил.

Думаете ли вы, что Великобритания или другие страны Западной Европы могут играть какую-то роль в борьбе против коммунизма или должны только помогать Соединённым Штатам Америки? Разве это не потеря свободы самой в себе?

У коммунизма, при всей невероятной силе, есть духовная слабость. Коммунизм отступает перед несокрушимой волей даже одного человека. Когда человек решает стоять до конца, не дорожа более своей жизнью, коммунизм ничего не может с ним сделать, потому что убить его — не значит победить. И когда сейчас православный священник отец Глеб Якунин сидит полгода в каменной коробке, без постели, без печки, стены покрыты инеем, не получает горячего, а вот такой кусочек очень плохого хлеба в день, и говорит: «отдайте мне Евангелие», — перед таким человеком коммунизм отступает. История коммунизма показывает ряд таких примеров. Надо только действительно решить, что вы становитесь не в позу, вы становитесь на жертву.

Перенося это на Британию, я бы сказал, что не только без Соединённых Штатов, но даже без всей Европы Британия сама может устрашить коммунизм, если она действительно сольётся в желании стоять насмерть.

И даже было бы очень вредно для вас слишком полагаться на американскую помощь. Америка имеет десятки обязательств по всему миру. У неё нет большой армии. Её может не хватить на все места. Если вы будете ждать, что Америка придёт вас спасать, вы можете жестоко просчитаться. Не потому что она не захочет, а потому что у неё сил не хватит. Сопротивление злу должно расти в каждом сердце, в каждом человеке, в отдельной маленькой группе людей, и в такой стране, как Британия.

Можно ли эффективно использовать религию и искусство против коммунизма? Разве нет более сильных средств, чем политика и оружие уничтожения?

Сам коммунизм отвечает на это ясно. Религию он считает своим главным врагом. Если вы когда-нибудь познакомитесь более внимательно с Марксом или Лениным, на что, впрочем, я вам не советую тратить время, — вы увидите, что главный винт Маркса и Ленина — это ненависть к Богу. А что касается искусства — коммунизм никогда не выпускает его из-под своих рук и неусыпного наблюдения. Можно даже поразиться, сколько сил, сколько средств коммунизм тратит для того, чтобы запрячь искусство в свою упряжку. Я сам присутствовал на двух встречах, когда в Кремль собирали по 300, по 400 ведущих деятелей искусства. Сидел весь состав Политбюро, 10 человек, сидели главные министры, Косыгин скучал, просто клевал носом, не знал, как оттуда выбраться. Но так это было для партии важно, так это было важно, что они нас держали полных три дня в непрерывном втолакивании, какое должно быть искусство. Не удержусь рассказать вам один смешной случай. Хрущёв громил живопись, не такая живопись. Позади подиума за ними была дверь, и будущему великому Брежневу Хрущёв приказал: «А ну, принеси картину». И этот грузный Брежнев, ещё никто не знал, что он станет такой великий, побежал вот так на цыпочках за картиной и принёс, поставил перед нами.

Религии и искусства коммунизм чрезвычайно опасается. Но лишь до тех пор, пока искусство, литература

выражают человеческое страдание и духовный поиск. Если же художник воображает богом самого себя, если искусство совершается как свободная забава художника, или даже выход его раздражению и ненависти, — такое искусство, на Востоке или на Западе, опасно для его потребителей, а не для коммунизма.

ЯКУНИНСКИМ СЛУШАНИЯМ В ВАНКУВЕРЕ

18 июля 1983

Страдальческая жизнь отца Глеба Якунина показывает, какова в СССР судьба священника, не мирящегося с коммунистическим произволом. За открытое письмо об угнетённом положении православной Церкви в СССР, и ни за что другое, — он был лишён права отправлять богослужения. Потом арестован, прошёл пристрастное следствие с коварными приёмами, на котором не дрогнул, — за это получил тяжёлый лагерный срок со строгим режимом, обезображен от священнического облика ножницами охраны, лишён Евангелия — и вынес несколько месяцев тюремной голодовки, чтобы его вернуть.

Я надеюсь, ваши Слушáния выразят лицемерному советскому правительству своё негодование — тем, как оно пытает и мучает честного священнослужителя за исповедание христианской веры; что вы видите, какова цена лжи о «свободе религии в СССР».

Я надеюсь, вы не забудете при этом и горящий пример другого мученика за христианскую веру — о. Альфонсаса Сваринскаса, литовского священника, который после шестнадцати лет отбытых лагерей — вот, два месяца назад, получил свой третий тюремный срок — ещё двенадцать лет.

ФИЛЬМ О РУБЛЁВЕ

Слава этого фильма — и в Советском Союзе и за границей — надолго опережала его показ: потому что он был запрещён советской цензурой. Законченный в 1966, он появился сперва за границей в 1969, затем малыми дозами просочился на советские экраны — либо избранные, закрытые, либо вовсе уж глухо-провинциальные, где не опасались власти вредного для них истолкования. Так случайно я увидел этот фильм в Тамбове в 1972. (При малом фонарике, в тёмном зале, на коленях делал записи, а тамбовцы смеялись и протестовали, что мешаю, и кричали: «Да тут шпион! Взять его!» По советским обстоятельствам отчего б и не взять серьёзно?) С первого раза, да при звуке плохом, многого совсем нельзя было понять, и я искал увидеть фильм второй раз. И представился такой случай только в Вермонте в 1983, среди публики исключительно американской. И это последнее обстоятельство ещё яснее выразило несчастную судьбу фильма: направленный к недоступным соотечественникам, переброшенный валютной и пропагандной жаждой Советов на заграничные экраны, заранее прославленный западной прессой, — вот он протягивался три часа перед растерянной иностранной публикой (в перерывах друг другу: «вы что-нибудь понимаете?») как дальняя экзотика, тем более непонятная, что живой язык его, и даже с умеренным владимирским оканьем (а отчасти — и с советской резкостью диалогов), заменён скудными, неточными и несовременными, чужеродно-невыразительными английскими титрами. Публика смотрела в изрядном недоумении. И что одно только с несомненностью посильно ей было вывести: какая же дикая, жестокая страна эта извечная Россия, и как низменны её инстинкты.

Да и в Советской России удостоенные первые зрители этим выводом и обогащались: «ну да, в России и всегда так было».

Но этот вывод авторы сценария (Тарковский и Кончаловский) и режиссёр Тарковский обязаны были предвидеть, когда затевали свою, не ими первыми придуманную, и не одними ими использованную, подцензурную попытку: излить негодование советской действительностью косвенно, в одеждах русской давней истории или символах из неё.

За два последних десятилетия это уже целое течение в советском искусстве: осмелиться на критику режима не прямо, а дальним-предальним крюком, через глубину русской истории, или самовольной интерпретацией русской классической литературы: подать её тенденциозно, с акцентами, перераспределением пропорций, даже прямым искажением, но тем самым более выпукло намекнуть на сегодняшнюю действительность. Такой приём не только нельзя назвать достойным, уважительным к предшествующей истории и предшествующей литературе. Такой приём порочен и по внутреннему смыслу искусства.

Обращение к истории — и право наше, и обязанность, это и есть утверженье нашей спасительной памяти. А допустимо ли обращаться к истории не со специальной целью изучения того периода, а для поиска аналогии, ключа, для ожидаемого подкрепления своей мысли, для сегодняшней своей цели? Надо думать: не недопустимо. Но при условии: относиться к историческому материалу как к заповедному — не вытаптывать его, не искажать ни духа его (даже если он нам чужд, неприятен), ни внутренних пропорций, ни ткани. (И — да не поступят с нами так же потом.) Но мы и истории повредим, и ничему не научимся у неё, если будем просто вгонять её в колодку сегодняшней задачи. А в применении к русской истории, и без того прошедшей полуторавековую радикальную революционно-демократическую, затем и большевицкую мясорубку, этот приём ведёт только к дальнейшему искажению нашего прошлого, непониманию его даже соотечественниками, а уж тем более иностранцами.

И — сходное условие к использованию литературной классики.

Выбирая персонажем двухсерийного трёхчасового фильма иконописца Рублёва, православного и монаха, авторы должны были понимать ещё до составления сценария: что ни собственно православия, ни смысла иконописи выше простой живописи (как сейчас и допущено в СССР) и ни, прежде всего, духа Христа и смысла христианства — им не дадут выразить. Что за все эти три часа ни одному православному не разрешат даже перекреститься полностью и истово, четырьмя касаниями. Ни во время грозного осаждённого богослужения (из лучших мест фильма), ни во время скудного молебна при освящении колокола, лишь скоморох один раз полностью крестится — но луковкой, закусывая, тем как бы плюя в крестное знаменье. И ещё есть в первой серии один почти полный крест — и тоже иронический. И князь-предатель, уж с таким мордоворотом, целует распятие, как не мог бы в присутствии митрополита, при всей своей черноте. (На всё это легко и естественно шёл Эйзенштейн в «Александре Невском», где ни перед битвой, ни даже при начале торжественного храмового звона не крестится новгородский народ, ни князь, — но ведь тот грубо выполнял социальный заказ режима.) И монашества тоже нельзя будет показать ни в каком высоком проявлении — ни в обете «отложить житейского обычая шатания», «терпети всякую скорбь и тесноту», ни в отказе от стяжания, от честолюбия, и вообще никак, — а только: за жеванием, в шумном скандале, да один раз неумело кладут поленницу, да встречены пошлой шуткой скомороха, да сделан один монах доносчиком. Итак, авторы сами выбрали путь: обронить собственно духовный стержень своего персонажа и времени, взамен натянуть ущербный ряд внешних признаков, — ради чего эта жертва?

Если не ради колкого намёка на современность — то это и есть их истинное мнение о сути русского прошлого? Может быть и так. Похоже, что и так. Под Советами мы заброшены в такой бездненный колодец, что можно карабкаться годами по скользким отвесам, и самому себе и другим это кажется освобождением, —

а мы всё ещё почти на той же глубине, в пропасти того же качества.

Приняв такие жёсткие ограничения, сдачу наперёд, Тарковский обрёк себя не подняться до купола духовной жизни избранного им персонажа и XV века, — и ту высоту духовного зрения, христианской умиротворённости, светлого созерцательного миростояния, которою обладал Рублёв, — подменять самодельными слепотычными (на современный манер) поисками простейших, и даже банальных, моральных истин, зато понятных ущербно-интеллигентному зрителю советской эпохи. Или плоских (но намекающих) сентенций: Русь-Русь, «всё она, родная, терпит, всё вытерпит... Долго ли так будет?» — «Вечно».

Подменена и вся атмосфера уже четыреста лет народно-настоянного в Руси христианства, — та атмосфера благой доброжелательности, покойной мудрости жизненного опыта, которую воспитывала в людях христианская вера сквозь череду невыносимых бедствий — набегов, сплошных пожогов, разорений, голода, налётов чумы, — заостряя чувство бренности земного, но утверживая реальность жизни в ином мире. (Даже дыхания *той* жизни в фильме нет нигде и ни на ком, ни даже на Рублёве, ни даже в сцене с умершим Феофаном Греком.) Вместо того протянута цепь уродливых жестокостей. Если искать общую характеристику фильма в одном слове, то будет, пожалуй: несердечность.

Браться показывать главным персонажем великого художника — на́до же этого художника в фильме проявить, — и проявить на вершинах его мироощущения и в напряжённые моменты творчества? Но Рублёв в фильме — это переодетый сегодняшний «творческий интеллигент», отделённый от дикой толпы и разочарованный ею. Мировоззрение Рублёва оплощено до современных гуманистических интенций: «я для них, для людей, делал», — а они, неблагодарные, не поняли. Здесь фальшь, потому что сокровенный иконописец «делает» в главном и высшем — для Бога, икона — свидетельство веры, и людское неприятие не сразило бы Рублёва. (А неприятия и не было: он был высоко оценен и понят и церковными иерархами, и молитвен-

ной паствой, ещё при жизни вошёл в легенду и в ореол праведности.)

Весь творческий стержень иконописной работы Рублёва обойден, чем и снижаемся мы от заголовка фильма. Художник-режиссёр именно этой сутью своего художника-персонажа не занялся. Конечно, мы не можем требовать, чтобы в фильме обсуждалось само мастерство и наука его, — но хотя бы нам почувствовать, что у Рублёва поиски идут на немыслимых высотах, когда иконописцу удаётся создать с немалых художественных высот русского XV века — ещё выше: произведение вечности. Создать в неожидаемых радостных колоритах — безмятежную ласковость, чувство вселенского покоя, свет доброты и любви, даже уделить нам свет Фаворский, и через икону таинственно нас соединить с миром, которого мы не видели. Не передав из этого ничего — режиссёр как бы обезглавливает своего героя. Правда, часть икон, уже в готовом виде, по-музейному показана под финал, и с медленной подробностью. Лишь единожды мы слышим разговор о проблеме изображения: как писать Страшный Суд? (При надуманной зачем-то ситуации, что многонедельная нерешённость западной стены не даёт вести росписи и нигде во храме. Кстати, владимирский Успенский собор показан вовсе не расписанным, тогда как живопись его лишь частью поновлялась Андреем и Даниилом.)

А Феофан Грек в фильме — лишь, скажем, житейски-симпатичный. Очень плотский. И, в уровень со всем потоком фильма, мысли его тоже плоски (о предательстве апостолов, например).

Фильм о Руси XV века невозможен бы был без чтения Священного Писания. И оно — читается несколько раз. Никогда — в церковной службе, в молитве; обычно — среди действия, чтение — за кадром, а в кадре какая-нибудь оживляющая картинка, — например, «Экклезиаст» идёт под жевание огурца. Тексты выбраны не в духовном внутреннем родстве с повествованием, с состоянием героя или всей Руси, и не места духовных высот и красот, а в тяжёлый (впрочем — издуманным эпизодом) момент Рублёва «наугад» открыт текст из послания к коринфянам и — именно внешние церков-

ные регламентации, которые для современного зрителя звучат и вообще мелко-формально, а особенно неуместно в тот миг (цель режиссёра — снизить, высмеять также и весь текст?), а затем, чуть пролистнув апостола Павла, из того же послания взять мысли о любви — но уже приписать их Рублёву в свободном гуманистическом изложении и как бы в споре с апостолом.

Но полно, XV ли именно это век? Это — ни из чего не следует. Нам показана «вообще древняя Русь», извечная тёмная Русь — нечто *до* Петра I, и только, а по буйному празднованию Ивана Купалы — так поближе и к X веку. Трактовка «вообще древней Руси» и наиболее доступна современному советскому образованскому зрителю, в его радикальной традиции, а тем более западному зрителю понаслышке, — и получается не реальная древняя Русь, а ложно-русский «стиль», наиболее податливый и для разговорных спекуляций, смесь эпох, полная вампука. Но это — нечувственно к нашей истории. Как и у всех народов и племён, каждое десятилетие в нашем тысячелетии да чем-то же отличалось, а при близком рассмотрении — так порой и разительно. А эпоху, в которую живёт избранный нами персонаж, мы обязаны рассматривать близко и конкретно. Взятые десятилетия идут после Куликовской победы. Время жизни Рублёва, начиная с его возмужания (ему было к битве 20—25 лет), — это особенное время внутреннего (который всегда идёт *до* внешнего) роста народа к единству, к кульминации, в том числе и в культуре, это «цветущее время», напряжённое время национального подъёма, — и где же в фильме хотя бы отсветы и признаки того? Ни в едином штрихе. Тягучая полоса безрадостной, беспросветной унылой жизни, сгущаемая к расправам и жестокостям, к которым автор проявляет интерес натурального показа, втесняя в экран чему вовсе бы там не место. Тут жестокости, могущие быть во время неприятельского набега, и жестокости, произвольно и без надобности притянутые автором, из какого-то смака. Мало ему показать избиения, пытки, прижигания, заливку расплавленного металла в рот, волок лошадью, дыбу, — ещё надо изобразить и выкалывание глаз художникам:

бродячий всемирный сюжет, не собственно русский, нигде на Руси не засвидетельствованный летописно. Напротив, должен бы автор знать, что дружины художников, и того же Феофана, и того же Рублёва, по окончании дела свободно переходили из одного храма в другой, от храмовой работы к княжеской или к украшению книг, — и никто им при этих переходах не выкалывал глаз. Если бы так уж глаза кололи — кто бы по Руси настроил и расписал столько храмов? Зачем же это вколочено сюда? Чтобы сгустить обречённую гибельность и отвратность Руси? Или (то верней) намекнуть на сегодняшнюю расправу с художниками в СССР? Вот *так*-то топтать историю и нельзя.

Авторы сценария были почти не связаны реальными фактами малоизвестной жизни Рублёва — и это давало им большой простор выбора тем, сюжетов, положений. Но большой простор выбора — и бремя для художника, и многократно усиливает обязанности его вкуса и совести. Вернее было бы — стеснить себя самим, при скудости биографического материала — сузить этот простор вдвое, сосредоточиться на несомненной духовной истории Рублёва, прежде всего на бескорыстном выборе иноческой жизни («ничто держати, ниже своим звати» по уставу Спасо-Андроникова монастыря) как проявлении его духовной жажды и углублении иконописного внятия, «святого ремесла». Разумеется — право автора ничего этого не коснуться. Однако в поиске объяснить обет молчальничества приводится мотивировка совсем не христианская: обида на грешную действительность, на несовершенных людей — «с людьми мне больше не о чем разговаривать», эта обида на действительность скашивает фильменного Рублёва. Режиссёр делает шаг, но не по линии духовного гребня, а — подставить произвольную, очень уж смелую, и притом грубо-материальную, придумку: поместить Рублёва в набег 1410 года на Владимир, где он не был (ну пусть мог попасть в Андрониковом), заставить его там убить человека и в этом найти толчок к молчальничеству. Вымысел — слишком сторонний, противоречащий кроткому, тихому, незлобивому характеру Рублёва, как он донесен до нас преданием. Как можно изобретать такой небылой эпизод — и возложить на него

главное духовное решение? (Противоречие и в том, что убийца не мог бы оставаться иконником.)

Долгое молчальничество Рублёва (из немногих точно известных о нём фактов) — не единично на Руси XIV—XV веков. Это был — из высших подвигов для очищения и возвышения души, «ум и мысль возносить к невещественному», гармонично замкнуть телесное состояние с душевным, создать в себе «внутреннюю тишину», подняться над средними впечатлениями окружающего бытия. Это был подвиг — непрестанной молитвы. Этой традиции был близок и Сергий Радонежский, и его заместник Никон, и основатели Андроникова монастыря, — всё окружение, откуда вышел Рублёв. Молчальником же стал и Даниил, учитель и пожизненный друг Андрея. И молчальничество Рублёва не было отшатом от иконописи, как это понимается по фильму, но — наивысшей сосредоточенностью к искомому Свету, стержнем творческого процесса. Лишь в современном образованском восприятии это молчальничество кажется непостижимо незаурядным, и Тарковский приписывает неприязненное к тому отношение окружающих, — а соотечественникам-христианам обет был совершенно понятен. (И так же легковольно автор в конце фильма освобождает Рублёва от обета, тоже вымысел.)

Да был ли Рублёв для режиссёра действительно центром внимания, целью раскрытия? — или только назвать собою эпоху и время, предлогом протянуть вереницу картин о мрачности вневременной России — такой, как она представляется современной образованщине? И автор создаёт непомерно длинный фильм, начинённый побочными, не к делу, эпизодами (половину киновремени они и забирают). Даниил Чёрный — никак не развит, почти не обозначен. Зато изобретен жгучий завистник Кирилл, и на большом протяжении ленты — мотив, настолько истасканный в мировом искусстве, зачем он здесь? и как грубо подан: за почёт «как собака буду *тебе* служить» (это ли дух иконописных дружин?), и тогда, мол, и платы за работу не возьмёт, — да какую такую плату авторы предполагают у средневекового монаха-иконописца? — они писали иконы в виде послушания, а заработанное на стороне всё отдавали своей

обители. Кирилл обзывает свой монастырь «вертепом разбойников», произносит филиппики против монастырской жизни, таская стрелы из стандартного антиклерикального колчана, — и никто из братии не находится ему возразить, за ним — последнее слово. (И когда через много лет он вернётся в монастырь, то с покаянием поддельным, — лишь «дожить спокойно».)

Скоморох. Вся сцена — только для украшения, для забавы. Вызывает большое сомнение, что их выступления преследовались уголовно, — скоморошество проходит по всему русскому фольклору как бытовая реальность. И ещё это — повод для истерической сцены скоромоха в конце: «я *десять лет* сидел» из-за этого, мол, гада. Такие реплики (ещё: «*упекут на север* иконки подправлять») составляют поверхностную оппозиционную игру фильма — но разрушают его по сути.

Ночь под Ивана Купалу. Может быть, погоня за выгодной натурой, просто картинки? филейные кусочки? Может быть, лишний повод показать невылазную дикость Руси. (И невероятно, чтоб в оживлённом месте Московско-Суздальской Руси такое сохранялось до XV века. У Даля, где много помянуто древних обычаев, под Купалу — кладоискание, разрыв-трава, — да.) И во всяком случае — опять длинный уводящий эпизод (не без очередной пошлой шутки о распятии и воскресении). А когда таких эпизодов много — то это оглушает бессвязностью, потерей собственно стержня в фильме.

Ещё длинней, ещё более затянута и так же притянута сбоку отливка колокола. И этот кусок — его уже эпизодом не назовёшь — сильно сбит на советский судорожный лад. Сперва — неубедительно запущенные поиски глины («до августа», в предыдущем эпизоде «июнь», — так и не говорили-то на Руси, языковая фальшь: все отсчёты времени и сроки назывались по постам, по праздникам, по дням святых), потом такая же неубедительная находка глины, потом типично-советская спешка и аврал — не укреплять формы! каково! — и старые литейщики покорно подслуживают в этой халтуре самозванному мальчишке — и звенит надрывный крик, совсем как на советской

стройке, — и в чём тут мораль и замысел авторов? что, для серьёзного дела и знать ничего не надо? лишь бы нахальство — и всё получится? и вот на такой основе происходит возрождение Руси? Затем, разумеется, обрезан молебен, обрезано и само освящение: что освящается колокол сей «благодатью Пресвятаго Духа», — этого, разумеется, нет, а покропили водичкой, и халтурный колокол загудел. И Рублёв, этот ещё при жизни «чюдный добродетельный старец», «всех превосходящий в мудрости», находит своё излечение и вдохновение у груди истерически рыдающего пацана-обманщика.

И какое ж во всём том проникновение в старую Русь?

А — никакого. Автору нужен лишь символ. Ему нужно превратить фильм в напряжённую вереницу символов и символов, уже удручающую своим нагромождением: как будто ничего нам не кажут в простоте, а непременно с подгонкой под символ.

Да, так главный же символ, пережатый до предела: юродивая дурочка-Русь за кусок конины добровольно надела татарскую шапку, ускакала татарину в жены — а на татарской почве, разумеется, излечилась от русской дури. Никак не скажешь, что эта дурочка родилась из неразгаданной биографии Рублёва. Так что ж — присочинена как зрительно выгодный аксессуар? Или как лучшее истолкование русского поведения в те века? и в наш век?

И ещё же символ: символический пролог, с воздушным шаром. (Да не поймёшь сразу, что это — пролог, хотя бы отделили ясно. При первом прогляде я всё искал связь, не нашёл: о чём это было, к чему? кто летел? куда торопились? какие ещё татары на них бежали?) А оказывается, это — символам символ: от христианства мы видим — ободранную (по-советски, и креста на ней не видно) колокольню, и то в качестве парашютной вышки. И шар-то могли сляпать только по халтурке (как и колокол). И удел наших взлётов — тотчас брякнуться о землю, этому народу не судьба взлететь.

И ещё же символ — дожды! дожди! да какие: все предпотопные, невероятные, впору сколачивать Ноев ковчег. Этим дождём — и жизнь побита, и те бессло-

весные кони залиты, и те рублёвские фрески смыты, — ничего не осталось....

Октябрь 1983

ДОБАВЛЕНИЕ

(май 1985)

С тех пор А. Тарковский неоднократно отрицал, что в фильме «Андрей Рублёв» он хотел критиковать советскую действительность эзоповым языком. «Я отметаю совершенно это объяснение моей картины» («Форум», 1985, № 10, с. 231). Но такое объяснение было сделано мною в *наилучшем* предположении для Тарковского: что он — фрондёр, который, однако, в приёме аналогии, неосторожно обращается с русской историей. Если же, как говорит Тарковский (там же): «Я никогда не стремился быть актуальным, говорить о каких-то вещах, которые вокруг меня происходят», — то, стало быть, он и всерьёз пошёл по этому общему, проторенному, безопасному пути высмеивания и унижения русской истории, — и как назвать такой нравственный выбор? Да он тут же, рядом, и пишет: «Художник имеет право обращаться с материалом, даже историческим, как ему вздумается, на мой взгляд. Нужна концепция, которую он высказывает.» Что ж, если так — художники останутся при своём праве, а мы все — без отечественной истории.

О ПРИСУЖДЕНИИ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ЛЕХУ ВАЛЕНСЕ

5 октября 1983

Присуждение Нобелевской премии мира Леху Валенсе — высокодостойное решение Комитета. В прошлой деятельности Комитета, увы, были случаи, когда за деятельность мира принималась капитуляция перед агрессором. Сегодня этой премией награждён безоружный человек высокого духа, самый выдающийся борец не только за права народных масс, но и за будущность всего мира, на самом горячем участке борьбы и в самые мрачные месяцы Польши.

ПИСЬМО В «ВЕСТНИК РХД»

(Ответ Е. Янкелевичу)

Глубокоуважаемый Никита Алексеевич!

Мой ответ в «Йомиури» я не «посвятил критике взглядов» Андрея Дмитриевича (Янкелевич) — там лишь бегло сопоставлены наши взгляды, в чём-то наследственные тем, о которых меня спросили. На мой более существенный разбор («Континент», № 2, 1974) А. Д. ответил («О стране и мире», 1975, с. 34), что сегодня он не видит поводов для продолжения начатой им со мной дискуссии («О письме вождям», 1974), — а может быть, прервал её по обстановке, и он прав. Нынешнее письмо Е. Янкелевича, о котором я сожалею, даёт ненужное публичное развитие темы, и обвинением в недобросовестности вынуждает меня к ответу. Я слишком уважаю Андрея Дмитриевича, чтобы не отнестись бережно к сути его взглядов или не упоминать их вовсе, и в то же время не могу продолжать спор при его нынешнем трагическом положении.

В 1969 подробную критику статьи Сахарова «Размышления о прогрессе» я представил ему, и только лично ему, — без всякого оглашения и без самиздата (« На возврате дыхания и сознания», напечатана лишь через пять лет). Он пишет («О стране и мире», с. 6): «Я и сейчас в главном не отошел от сформулированной тогда позиции.» Его взгляды проходят последовательными стержнями через статьи и интервью разных лет и друг другу не противоречат. Среди них и пункты, сейчас оспариваемые Е. Янкелевичем (но скорее подтверждаемые его письмом).

1. Все предложения Сахарова для будущего нашей страны всегда состояли в следовании западному образцу — и мы не найдём ни одного места, где было бы высказано предложение или даже слабое предположе-

ние о допустимости своеродного пути для нашей страны, гигантской, как континент. И когда он говорит в самом общем виде: «Я считаю единственно благоприятным для любой страны демократический путь развития» («О письме вождям») — то есть и для любой африканской, то, чтобы быть конкретным, он в прямой стык с этой фразой продолжает: «Существовавший в России веками рабский, холопский дух...» — и т. д., увы, известный набор.

2. «В главном не отошёл» — а конвергенция и несла конструкцию «Размышлений». (Изобретенная на Западе наивная и странная идея: Запад наполовину осоциалистичить, это, впрочем, достижимо, а тоталитарный режим сделать наполовину демократией?) Тут возражение Янкелевича, видимо, произошло от грамматического недоразумения: я сказал, что Сахаров верит в идею конвергенции, а дальше поясняю, чтó значит конвергенция. Не сказано: Сахаров верит, что она реально происходит, это и все в мире видят, что не происходит.

3. О прогрессе — Янкелевич не возразил.

4. Также писал Сахаров: «научное и демократическое *общемировое* регулирование экономики *и всей общественной жизни*» (например, «О письме вождям», курсив мой). Так что речь идёт не только об экономике. В «Размышлениях» читаем мы, что и искусство должно регулироваться научно, — это ли не опасная мысль? Такие мероприятия и невозможны без единого управляющего центра, и Сахаров в ряду с другими крупнейшими физиками нисколько не уклоняется от термина «мировое правительство», которое он и выводил из «социалистической конвергенции» («Размышления», цитата, приводимая Янкелевичем). Какой бы характер носило это правительство — Янкелевич тоже цитирует нам: «очень интеллигентное... общемировое руководство», — с чем же он тут спорит? «Управление экономикой» совсем не значит социализм, сейчас на Западе управление экономикой — реальный феномен (и через правительства, и особенно через банковские объединения, и через монопольные концерны). Но управление экономикой страны *извне* до сих пор называлось колониализмом, и невозможно признать его бла-

гом, даже если оно осуществляется несоциалистическими межнациональными корпорациями. И одобряемый Сахаровым приток иностранных капиталов (ищущих, конечно, только своей выгоды) я считаю спорным благом. XX век показывает нам, что силы национального самосохранения повсюду усилились, хотим мы этого или нет, — и нельзя не учитывать их, оставаясь вне утопии.

5. Е. Янкелевич неаккуратно приписывает мне такое представление о мысли Сахарова: «что *одно* только внешнее давление способно... разрешить *все* проблемы советского общества». «Одно» и «все» — таких слов у меня нет, Янкелевич поддался движению усилить выразительность своих доводов. Но об «экономическом и политическом давлении извне» Сахаров говорил не раз, и не раз же по конкретным поводам призывал к такому давлению то общественные западные силы (куда, по контексту, войдут и финансовые круги, «кредитная приманка»), то парламенты, а то и правительства. Да строже того: когда я обратился к внутренним силам нашей страны не с революционным, а всего лишь с моральным призывом «жить не по лжи» как способу изменить внутреннюю обстановку, А. Д. осудил меня: «Нельзя призывать наших людей, нашу молодёжь к жертвам; люди в нашей стране тотально зависимы от государства, и оно проглотит каждого» («О стране и мире», с. 34). Но, запрещая даже такой умеренный способ внутреннего противодействия, — Сахаров и исключает всякие внутренние пути освобождения.

6. О праве же на эмиграцию А. Д. высказывался чаще и настойчивей, чем о чём-либо другом. И называл его не только важнейшим из прав человека, имеющим «первостепенное международное значение» («О стране и мире», с. 39), и писал о нём четырежды в Конгресс США (там же), но называл «ключевой проблемой» («О стране и мире», с. 75) — то есть, значит, *решающей* (вопреки трактовке Янкелевича) другие проблемы (чего мы никак не видим по множеству стран, где свобода выезда не ограничена). И даже при построении этой программной книги Сахаров поставил раздел «О свободе выбора страны проживания» — раньше «Проблем разоружения», которым А. Д. посвятил труд-

нейшую и достойнейшую часть своей деятельности, и за которую пострадал и сейчас страдает больше всего, — так высоко он ставит право на эмиграцию. Да вот и Янкелевич при разборе моего ответа перенёс этот пункт с последнего места на первое.

А. Солженицын

11 октября 1983

ИНТЕРВЬЮ С БЕРНАРОМ ПИВО ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Кавендиш, 31 октября 1983

По-французски только что вышла ваша большая работа «Август Четырнадцатого». Помимо этого названия на обложке присутствуют слова «Красное Колесо» и «Узел первый». Вы можете объяснить нам, что это значит?

«Красное Колесо» — это повествование о революции в России. Как бы движение России в революционном вихре. Это очень большой материал, а если ещё учесть, что он растягивается на годы — ибо приходится начать повествование с 1914 года, а вести его, в общем, до 1922, то невозможно было бы описать так много действий и так много лиц на таком большом протяжении времени. Поэтому я избрал метод узловых точек, или Узлов. Я выбираю малые отрезки времени, по две недели, по три, где — или происходят самые яркие действия, или закладываются решающие причины событий. И я описываю подробно только вот эти маленькие отрезки. Это и есть Узлы. Так, по узловым точкам, я как бы всю форму движения, всю форму этой сложной кривой передаю. «Август Четырнадцатого» — первый из таких Узлов.

Красное Колесо — это метафора?

Я нашёл, что это наиболее точно выражает закон всех революций, в том числе и вашей французской. Когда раскручивается грандиозное, почти космическое колесо, оно захватывает в себя целый народ, и целые народы, и своих инициаторов захватывает, как ничтожные песчинки, так что те, кто начинали революцию, потом крутятся в этом вихре беспомощными и чаще всего погибают.

Верно ли, что эта огромная работа — замысел вашей молодости и что вы начали её писать ещё до войны?

Первый толчок к тому, чтобы написать крупное произведение, я получил десяти лет от роду: я прочёл «Войну и мир» Толстого и сразу почувствовал какое-то особое тяготение к большому охвату, и в тот же год я прочёл изданные у нас в Советском Союзе, по недосмотру советской цензуры, воспоминания члена Государственной Думы Шульгина, написанные отнюдь не в пользу большевиков. Очень эмоционально написанные. Я захвачен был этой книжкой. Однако, по раннему возрасту, эти два впечатления не соединились во мне, и тогда ещё замысел не возник. Прошло затем восемь лет. Я окончил советскую школу, мне было восемнадцать лет, я отчётливо помню тот день, в ноябре 36-го года, когда вдруг этот замысел меня схватил. Это было почти пятьдесят лет назад. Тогда я решил писать вот такую крупную эпопею о нашей революции. Но за это время советское воспитание уже повернуло мои мозги, и я думал, что главная моя задача — описать октябрьский переворот. Мне казалось, что здесь корень события, главный центр его. Потом я стал отступать, потому что нельзя начинать сразу с октябрьского переворота, надо немного раньше, надо показать ход Семнадцатого года, надо показать Четырнадцатый год, войну. А несколько лет назад я понял, что всё ещё недостаточно готов к описанию революции, что только из войны революцию понять невозможно, надо дать читателю ход революционных идей и событий, нарастание революционного террора и революционного движения в России за более длительный период. И тогда я стал отступать от 1914 года, сперва к 1911 году, к убийству Столыпина. Потом, оказалось, нужно отступить к 1905, к началу века.

Сохранились ли какие-нибудь следы вашей довоенной работы над «Августом Четырнадцатого»?

Да, видите — просто чудесным стечением обстоятельств, несмотря на войну, на пожар в том доме, где я жил до войны, несмотря на мою тюрьму и лагеря, —

мои самые первые наброски 36-го и 37-го года сохранились. Они у меня и здесь хранятся, эти тетрадки.

Они выглядят как тетради школьника.

Да, первые попытки написаны ещё совершенно детским почерком, это вот начало моё, приезд Воротынцева к Самсонову. Надо сказать, что композиционно эти несколько глав, приезд Воротынцева в штаб армии, первые события с Самсоновым, — так и сохранились. Изменилась фактура, само написание, язык, но композиция осталась прежней.

Если я правильно понимаю, вы работаете над «Красным Колесом» одновременно как историк и романист?

Да, это работа и историка, и романиста. Моя задача — передать истинную историю, и я нашёл даже недостойным слишком плотно заселить повествование персонажами вымышленными. Главная часть персонажей у меня — реальные исторические фигуры, крупные исторические, или мелкие, но о которых у меня есть достоверные свидетельства. Часть документов, самые выразительные, в малой дозе я даю прямо как документы, а бóльшую часть перерабатываю в художественную ткань повествования, и рельеф документа поднимаю зримо, плотно для читателя; и вместе с тем сильно уплотняю действие.

В начале «Августа Четырнадцатого» встречаются лица, которые не делают историю. Верно ли, что эти персонажи — члены вашей семьи?

Да, там в самом начале я дал, действительно, членов моей семьи, отца своего, мать, тогда ещё не знакомых, и кусочек жизни семьи матери. Они не играют существенной роли во всём дальнейшем, я это дал скорей как картинку прежней России перед войной — довольно экзотическая южная жизнь, которая в русской литературе не описана, и которая уже не будет повторена никогда, потому что ход войны и ход революции всё это размечет. Это не существенные детали картины, это как при панорамном снимке — перекрывают предыдущий кадр следующим. Чтобы предста-

вить жизнь прежде. Существенно потом участвует только мой отец.

> Вы, Александр Исаевич, воевали против нацистов в 1941—1945 годах. Вы начали простым солдатом, дошли до капитана, получили два ордена. И когда я читал ваше описание войны 1914 года, я говорил себе: автор зачарован его собственной войной, войной с её бесчеловечной и одновременно человечной сторонами...

У меня ещё совпало удивительно — я задумал эту эпопею до войны, избрал Восточную Пруссию, избрал самсоновскую катастрофу, — и вдруг, волею судьбы, я в эту, свою войну пошёл точно по тем местам: как шла самсоновская армия, так и я прошел в 1945 году. Какая-то сила меня связала с этим событием, я как бы снова его увидел, в тех же местах был, спустя тридцать с лишним лет. Но, конечно, это не всё. Для того чтобы написать такую вещь, пришлось сильно войти в стратегические планы. Я читал очень много описаний вместе с картами, работ генерального штаба... Гораздо больше прочёл, чем смог отобразить.

> Вы прекрасно показываете, что для революционеров той эпохи война между Германией и Россией была неслыханным шансом. Для них важно было не «чья вина?», а — как лучше всего извлечь пользу из войны. Важно только то, что поможет подорвать царский режим. Подлинный шанс этой войны заключался для них в том, чтобы рабочее движение одним махом очистило и смело всю «мерзость», накопившуюся за мирные времена.

Да, это с самого начала поняла ленинская группа, те, кто потом составили Циммервальд, — что эту войну можно использовать для того, чтобы свалить государственный строй в России. Но для этого надо было всячески нивелировать, чтобы не была Германия одна виновата, надо сделать так, будто нет зачинщиков этой войны, все виноваты равно. Ленин с самого начала замыслил себя в союзники германскому императору, и, собственно, он был временным его союзником. И

так у нас в Советском Союзе десятилетиями было вдолблено в головы — что никто этой войны не начинал, а только мировая буржуазия, что Германия ничуть не больше виновата, чем Антанта.

Вторая часть «Августа Четырнадцатого» — посвящена почти вся убийству премьер-министра Столыпина революционером Богровым. Вы любуетесь Столыпиным, описываете его умным человеком, сильной личностью, настойчивым, твёрдым во взглядах. И даже говорите, что, в сущности, Столыпин был последним шансом царя. Так ли это исторически?

Да, я глубоко уверен, что это было именно так. Столыпин (кстати, вон висит у меня портрет Столыпина, как раз за день до убийства) — выдающийся государственный деятель вообще, и по масштабам разных столетий России. А в Двадцатом веке более крупного государственного деятеля у нас не было. В своей ретроспекции я ведь отступил до начала царствования Николая II, и мне пришлось невольно показать, что за первые одиннадцать лет его царствования, к 1905 году, практически так уже было много потеряно, что Россия была накануне гибели. И Столыпин сумел вытянуть Россию из этой бездны и поставить её на прочный путь развития. Если бы Столыпин не был убит, ещё несколько лет этого развития, решительно менявшего всю структуру, социальную структуру государства, не только её экономику, — и Россию нельзя было бы свалить так легко. Я глубоко убеждён, что убийство Столыпина, выстрел этот, решил судьбу развития России, потому что сразу руководство попало в слабые и неумелые руки, которые не могли Россию вести правильно.

О двух выстрелах, убивших Столыпина, вы сказали, что для русской истории они нисколько не были новы, но так много обещали для всего XX века. Можно ли считать, что это были первые пули в саму царскую династию?

Да, я недаром назвал их первыми из екатеринбургских. Это был выстрел — в Россию. Во всю нашу судьбу.

Но вы сурово относитесь к облику Николая Второго. Вы его изображаете слабым, несмелым, неблагодарным к Столыпину.

Одно могу уверенно сказать, что я не сочиняю его портрет, а очищаю от всевозможных искажений то, что было. Бывший император — довольно необычный был для меня персонаж. Я людей такого психологического склада ещё не изображал. Я был вынужден проследить почти всю его жизнь, я сделал это исключительно бережно, ни одного резкого штриха, ни одного от меня резкого упрёка, нельзя сравнить этот портрет с тем, как его изображала вся радикальная общественность России, которая поносила̀ его последними словами. Я от этого всего его очистил, дал таким, каким он был, дал течение его жизни. Он был человек высоких духовных качеств, исключительно чистый человек. И он был последовательный христианин. Но — да, он не мог держать штурвал России в такие бурные времена, когда швыряет корабль.

Но всё же, Александр Исаевич, царь даже не спускается к Столыпину, когда тот ранен. Не идёт к его изголовью, когда он умирает. Значит, всё-таки, — не человек с великим сердцем.

Нет, не так. Он не потому не идёт, что у него недоброе сердце. У него нет силы сломать огромное народное торжество, в котором участвуют сотни тысяч людей. Существует распорядок — и он как-то считает невозможным не поехать в Чернигов, не поехать в Овруч, — а как же те сотни тысяч людей, они останутся без посещения царя? Он приходит к умирающему один раз, но как раз Столыпин без сознания. А в другой раз он не приходит, потому что по распорядку не получается. Нет, не так дело просто, что царь бессердечен. Но, конечно, он не понимает всего значения совершающегося, он не понимает, что́ мы теряем в этот момент в Столыпине.

Ваше описание терроризма делает «Август Четырнадцатого» очень актуальным для современного читателя. Вы посвящаете много страниц убийце Столыпина Богрову. Мне Богров кажет-

ся очень похожим на сегодняшних террористов, в частности тем, что он подвержен экзальтации и что им манипулируют.

Да, одна из причин актуальности «Августа», 2-го тома, — в том, что это история русского революционного террора. Не только Богров... я, если помните, там даю сперва целую вереницу террористов, и так как невозможно охватить всех террористов России, то я беру только террористок-женщин. И то уже получается страшная картина.

Да, у вас целая глава о женщинах. Но я хочу выделить одну, она потрясающая. Это Евлалия Рогозинникова. Она запрятала 13 фунтов динамита себе в лифчик, чтобы броситься и взорвать собой крупных персон. Это мне напоминает не только японских камикадзе во время войны, но и нынешних террористов на Ближнем Востоке, которые за рулём грузовика с динамитом жертвуют при взрыве и своей собственной жизнью.

Вот мы здесь и видим, насколько революционный террор в России имел все характерные черты сегодняшнего террора. В некотором отношении Россия прошла современный путь мира раньше на несколько десятилетий, даже на полвека. Да, дело не в одном Богрове, я хотел этой галереей террористок показать всю силу террора, его движущие идеи, его приёмы, методы... И я думаю, что на этих женщинах показал. Они все были частью своей организации, их всех направляла подпольная организация и посылала на эту смерть, но сначала на убийство. А Богров — совсем особенное явление. Всех остальных террористов направляла организованная сила: иди и убей! и неважно, что будет с тобой. А Богров — его никто не направляет. Его направляет, страшно сказать, общественное мнение. Вокруг него существует как бы Поле, идеологическое поле. И в этом идеологическом поле — государственный строй России считается достойным уничтожения. Столыпин считается ненавистной фигурой — за то, что он Россию оздоровляет и тем спасает. Никто не говорит Богрову: пойди убей! Он не связан практи-

чески ни с каким подпольем. Ему 24 года, и он в 24 года решает, что он, пожалуй, убьёт Столыпина и повернёт направление России. Это более сложный, структурно более тонкий способ манипуляции — не простого подполья, а идеологического поля, общего настроения. Но это ещё страшнее, потому что, как видите, само идеологическое настроение общества может создать террор.

> Я поражён, Александр Исаевич, необычайным богатством художественной техники, которую вы применяете в «Августе Четырнадцатого». Конечно, присутствуют классический толстовский рассказ и диалог, но также — внутренний монолог, переход от третьего к первому лицу и обратно к третьему, иногда в том же абзаце, затем коллаж, газетный монтаж, мгновенные фотоснимки и проплывающая лента прошлого. Вы придаёте особое значение разнообразию жанров?

Нет, я ничего специально не придумывал, никаких новых форм, я соразмерялся только с тем, как наиболее плотно и эффективно передать материал, лежащий передо мною. Ну и, конечно, зная, что размеры повествования будут велики, я думал о читателе, читатель не должен соскучиться. У меня много повествовательных глав. Но сплошным повествованием можно утомить читателя, а кроме того — не всё можно плотно передать. Поэтому кроме повествовательных глав есть у меня целый ряд других. Есть главы обзорные, где даётся только сгусток события, в чистом виде, и только там я иногда разрешаю себе дать своё прямое отношение, а в повествовательных этого нет, там всё занято персонажами. Затем есть киноэкранные главы, экран иногда необыкновенно нужен. Если нужно сфокусироваться, показать какую-то маленькую сценку в подробностях — то киноэкран незаменим. Но если им пользоваться много, он будет неэффективен, слишком рыхл. Газетные обзоры. Они совсем особенную роль играют. С одной стороны они, иногда очень сжато, описывают многие мелкие события. А с другой стороны — очень важно, каким языком, в каких фразах и понятиях современники понимали события. Так можно передать

концентрированно отношение общества к тому, что происходит.

В «Августе» главы сравнительно длинные, а вот в «Марте», когда начинается революция и события идут по часам, по минутам, — там у меня главы коротенькие, маленькие, и вся работа в стыке глав. Глава — следующая её сбивает — следующая эту сбивает, вот так, моментально. И стык глав сам по себе работает, это как бы четвёртое измерение, это ещё новое восприятие. Позже ещё будет встречаться Календарь Революции. Это очень короткое перечисление некоторых событий между Узлами. Но сам выбор этих событий и как они сформулированы — могут помочь услышать, как бьют большие часы истории. Маятник революции.

Меня не удивляет, что вы произнесли слова «кино» и «экран». Нельзя не поразиться кинематографической технике, которую вы используете в ткани вашей прозы. Я думаю прежде всего об убийстве Столыпина в киевском театре. Вы описываете это убийство так, точно 5—6 кинокамер стоят в разных местах театра — и мы каждый раз получаем картину, несколько отличную от предыдущей.

У меня, действительно, к кинематографу, к киноискусству есть пристрастие. Я написал два сценария для кино — «Знают истину танки» и «Тунеядец». В Узлах я применяю экран, но мне этого мало. Действительно, сцену каждую я стараюсь видеть в движении, в расположении, в подробностях предметов и одежды, и что-то из этого видения сказывается в повествовательной главе, само попадает.

Вы хотели бы сами быть кинорежиссером, постановщиком ваших работ?

Теперь об этом поздно говорить, у меня жизненных задач до смерти и больше... мне уже не оторваться от этого повествования. Но мои произведения в самом деле подходят для того, чтобы перерабатывать их в фильмы, показывать на экране.

Вы часто ездите в кино?

С тех пор как переехал в Вермонт, очень редко. В Советском Союзе видел больше, но даже и в Швейцарии видел мало, некогда ходить, а тут далеко очень ездить. Нет, сейчас я почти ничего не вижу. Просто кинематограф живет во мне.

Критики, конечно, не интересуются глубиной ваших книг, но достаточно ли, по-вашему, интересуются формой?

Знаете, такая несчастная судьба: из-за моих публицистических выступлений, которые я веду совсем не по личному пристрастию, а просто потому, что уничтожено столько русских людей и не осталось почти никого рассказывать о том, как на самом деле было, а на Западе много небылиц наворочено, — из-за этих моих публицистических выступлений почти все критики рассматривают меня как своего рода политического деятеля, и почти всё, что я читал из критики, была оценка моей политической позиции и всё, больше ничего. Меня это огорчает, и, чем я старше, тем больше, потому что получается, что известна не главная моя деятельность, не главная сторона. Я почти не знаю критических работ по моим произведениям. Вот Жорж Нива написал обо мне литературно-критическую книгу. Во Франции всё же есть, больше чем где бы то ни было. А, например, в Америке — просто совсем ничего. Как о политическом деятеле пишут.

Это правда, что ваша известность как свидетеля ГУЛАГа, как заклятого врага коммунизма, как изгнанника заставляет иногда забывать, что вы — более всего и прежде всего писатель. Хочется поговорить именно о вашей писательской работе. Сразу же бросается в глаза ваш страстный интерес к слову как таковому.

Слово — это постоянное дыхание писателя. Я занимаюсь русским языком ежедневно в течение уже 35 лет. И всё лагерное время занимался. Собственно говоря, всем другим было опасно заниматься, не мог я держать в руках книгу по истории революции. А словарь — это как будто безобидно. И вот я занимался обработкой русских словарей, и особенно словаря Даля,

знаменитого. Смысл вот какой: я считаю, что русский язык, как и всякий современный язык, слишком быстро сужается в своем объёме. Он приобретает много технических терминов, но это не обогащение языка. А свой рельеф и объём, живой объём, все современные языки уменьшают. Однако вокруг того, что являет собой сегодняшний язык, есть ещё не отмерший слой. Если этот слой сохранить, то можно язык расширить. Моя работа — именно в этом слое. Я хочу сохранить для языка то, что ещё можно сохранить. И я веду реестр этому, делаю экстракты, выписки тех слов, которые можно сохранить для живого употребления в языке. Могу вам показать мою работу прошлого... вот эти блокнотики, которые я начал писать в заключении. Белой бумаги не было, вот я писал на такой толстой цветной бумаге.

Но это так мелко, что невозможно читать! Это написано в лагере?

Да, это в лагере и на шарашке. Это был первый экстракт, первые слова-кандидаты в тот отбор. Потом, позже, я начал из первого отбора составлять второй отбор. Вот это — уже второй экстракт, начатый в лагере, продолженный в ссылке.

Почему, освободившись, вы пишете так же мелко, как писали в лагере?

Я до самой высылки из Советского Союза всё писал мелко, чтобы легче было прятать, и у меня привычка создалась мелко писать. Все рукописи мои так написаны. А сейчас я стал писать уже крупнее. Это вот — третий отбор, это сегодня я уже делаю, и из этого третьего отбора мой младший сын печатает теперь на машинке заготовки, уже для типографии. Я мечтаю к концу жизни составить примерно 40—50 тысяч слов, словарь такой. Слов, которые крайне полезны, нужны в употреблении, и их еще легко вернуть, они еще не умерли. Это вот одна из моих работ.

Как проходит ваш рабочий день?

От раннего утра всё время работаю. С утра пишу, а к вечеру, к позднему вечеру — заготовки на следую-

щий день. То есть готовлю материал, без которого нельзя завтра писать. И должен сказать, что у меня эта работа обычно не поспевает, я быстрее успеваю написать, нежели подготовить всё необходимое, так что меня поздно вечером душит материал, еще неготовый к утру. Я работаю просто все дни, сколько себя помню. Со школьного времени... с тех пор, как я задумал этот роман, у меня не было никаких отдыхов, я просто всегда работаю, ежедневно, без перерывов, без свободных дней.

Почти одновременно с «Августом Четырнадцатого» вы опубликовали в Париже небольшую книжечку под названием «Наши плюралисты». Кто эти плюралисты и в чём ваш упрек им?

Это как раз пример вынужденной деятельности. Видите, среди нашей новой эмиграции, которая насчитывает несколько сот тысяч человек, есть группа, которая, легко или не легко, но добровольно рассталась с родиной, а приехав сюда, взяла на себя авторитет истолкования её. И не только истолкования последних десятилетий, но всей многовековой истории России. И они рекомендуют себя Западу как самые авторитетные, самые знающие, объективные комментаторы. Я б мечтал ими не заниматься. И я шесть лет от приезда в Америку просто не читал ни одной их статьи. Они выпускали целые сборники, они выступали с журнальными, газетными статьями, давали интервью, ездили в турне, — я всё время работал над своим «Красным Колесом». А весной прошлого года я впервые взял и прочёл их сразу всех, просто всех читал подряд, месяц читал. И ужаснулся. Я пришёл в ужас, что они обманывают Запад, дают неверную перспективу, неверные советы, и делают это безответственно. Я их не обвиняю в злой воле. Это какая-то странная самоуверенность, что они единственные могут указать, как надо Западу обращаться к России, и как надо понимать русскую историю. Самоуверенность, основанная на недостаточно полном знании. Они не занимались всерьёз русской историей, но очень легко, поверхностно судят о ней. Более того, некоторые из них принадлежали к советской элите, были соучастниками той лжи, которая обрушивалась на нас в Советском Союзе водопадами.

Теперь приезжают сюда, и здесь о них говорят: «О, так это же специалист! Он специалист — как журналист, или радиожурналист, или политический комментатор, так надо его использовать». И выходит, что люди, которые плели ложь в Советском Союзе, получают наибольший авторитет и у западных руководителей. И служат теперь здесь, но насколько можно поверить их искренности и насколько можно считать это специальностью? Ну вот, после всего этого, я вынужден был сесть и написать свою статью, тридцать страниц, в ответ на сотни и сотни их страниц, на деятельность их в течение шести-семи лет.

В конце этой статьи вы отвечаете тем, кто клевещет на вас, кто уверяет, что вы здесь, в Вермонте, воссоздали ГУЛАГ (полный абсурд, я этому свидетель), и хотите выстроить новый ГУЛАГ для ваших врагов. Почему эти люди так стараются вас оклеветать? Вы опасный человек?

Во-первых, поразительно, поразительно, что создаётся такое общественное мнение, и в том числе *писателями*, что если писатель заперся и сидит пишет — то это ненормально, это почти сумасшествие. Теперь считается, что писатель должен непрерывно ездить на конференции и выступать. Вот если он всё время выступает — это нормальное общественное поведение писателя. Да я впервые за всю свою жизнь, за 65 лет, сумел получить вот два-три письменных стола и разложить бумаги так, чтоб не прятать, не опасаться, что вот сейчас зайдёт КГБ. Я сижу и работаю. Считается, что, значит, я тронулся. Это ненормально: не может писатель сидеть и все время работать. Забавно, что даже естественную форму жизни писателя мне ставят в вину.

Ну, а чем руководствуются при этом? Я им мешаю. Я среди тех, кого не успели уничтожить. Когда-то Ахматова мне сказала: «Эх, Александр Исаич, вас и меня не успел Сталин убить». Так вот, я среди тех немногих, кого Сталин не сумел додушить. И я говорю о России, что́ есть и как было, я посвятил этому жизнь. Поэтому я ненавистная фигура, я мешаю им выступать единственными авторитетами перед Западом. Ну, значит, надо меня травить... вплоть до такой глупос-

ти: сижу годами, пишу — это психический сдвиг, это ГУЛАГ.

Почитают ли вас американские интеллектуалы?

Нет, никак. Комплекс моих представлений о современном мире, о Западе, неприемлем для задающей тон части американской интеллигенции. Я им ни по душе, ни по нраву не подхожу. Им хотелось бы, чтобы всё было не так. И потому им легче всего стать на ту же самую точку зрения, что и «наши плюралисты», то есть осуждать меня лично. Мне приписывают невероятное, ну просто полную ложь. Например, у американской интеллигенции существует абсолютно твердое убеждение, что я восхваляю царя Николая II (вот вы только что говорили, что я описываю его не с лучшей стороны), и что я хочу для России теократии, владычества священства. Я никогда, нигде не говорил, что Россией или какой-либо страной должны руководить священники, и никогда, никто не привёл ни одной цитаты — но сотни интеллектуалов хором повторяют: «он монархист, он заядлый царист, он проповедует теократию!» Вот так добросовестно они меня истолковывают.

Скоро исполнится десять лет с тех пор, как советские власти выслали вас из СССР. После некоторого времени в Цюрихе вы обосновались в США. Считаете ли вы, что сделали правильный выбор?

Я выбрал место, где смог создать наилучшие условия для работы. Во-первых, достаточный простор, и удалённый. Во-вторых, отличная связь с библиотеками, ибо нигде за пределами СССР нет такого количества русской литературы и русских архивов, как в Соединённых Штатах. И, в-третьих, я не мог жить в центре Европы, потому что каждый день, каждый день приходило не меньше десяти посетителей. Просто непрерывно стучат, звонят, стучат, звонят, и каждый хочет меня видеть только полчаса, только полчаса, он на большее не претендует! Не только мне жизни нет, но и семье жизни нет. Я должен был поставить себя в такую географическую точку, что ко мне трудно до-

браться. Вот вы видели, вам не так легко было до меня доехать. Только этим я могу обезопасить покой для своей работы. Так что — да, я выбрал правильно, и эти годы в Соединённых Штатах я работаю отлично. Я имею все условия, какие мне нужны. Кроме родины...

Если трое ваших сыновей, которые все родились ещё в России, стали бы по культуре, по образу жизни настоящими американцами, это было бы вам досадно?

Конечно, мы с женой принимаем все меры к тому, чтобы они совершенно свободно владели русским языком, — пока что это удалось; чтобы они были в духе русской культуры, — на сегодняшний день это ёще удалось. Мы рады, что они учатся иностранным языкам, что они усваивают западную культуру, и не за счёт русской. До сих пор это русские мальчики, они сердцем связаны с Россией и с русской культурой, знают русскую поэзию, русскую историю, до сих пор так. И, конечно, нам было бы больно их упустить, отдать их, чтоб они стали полностью западными людьми.

Но есть ли риск, что ваши три сына — позже, когда станут мужчинами, — потеряют стремление и охоту вернуться на русскую землю?

Есть риск, конечно, что я буду похоронен вот в этой земле, хотя мне этого не хочется. Есть риск, что мы все здесь умрём, никогда не увидим Россию. Но мы живём надеждой. Надеждой на возврат, и сегодня я еще твердо уверен, что эти мальчики вернутся в Россию охотно, и очень будут России нужны и полезны.

А вы сами по-прежнему, в глубине души, имеете то же страстное желание вернуться в Россию?

Мало сказать — желание. Желание не покидает ни на минуту, но меня не покидает даже какая-то и уверенность. Я не знаю откуда: мировая ситуация и положение в Советском Союзе почти не подают радостных признаков. Тем не менее есть у меня внутреннее чувство, что я еще живым вернусь на родину, хотя уже я, как видите, немолод.

Это внутреннее убеждение?

Да, вы знаете, существует какое-то внутреннее убеждение. Вот когда я начинал самсоновскую катастрофу, я не мог предполагать, что попаду в Восточную Пруссию в такой же обстановке. Но что-то тянуло меня к этой истории, я какое-то почувствовал в себе родство, какое-то предугадание. И действительно, так и оказалось. У меня в жизни было несколько случаев, когда я почти реально предчувствовал какой-то физический факт, и этот физический факт со мной потом случался. Это не мне одному свойственно. Каждый человек, кто не душит своей интуиции, кто верит ей, встречается потом в жизни с исполнением этого — нельзя сказать желания, нельзя сказать предвидения, — какого-то предчувствия. Мы устроены гораздо тоньше, чем материалистически о себе думаем.

Вы как-то сказали, что коммунистический режим будет побеждён не извне, а изнутри. Вы всё ещё придерживаетесь этого мнения?

Да, конечно. И не только это всё ещё моё мнение, но с каждым десятилетием это мнение крепнет. Когда мы сидели в лагерях, в 40-х годах, нам ещё казалось, что мощная Америка может прийти к нам на помощь, — например, десанты сбрасывать к нашим лагерям, даст нам оружие, — и мы освободимся. Но потом мы увидели, что Западу и Америке, как говорится по-русски, не до жиру, быть бы живу. Лишь бы самим-то устоять. Куда им менять нашу ситуацию? Куда вам, Западу, спасать нас? Вы только себя сберегите. Вы только сами не сдайтесь. Пожалуйста, только не спешите стать на колени, как сегодня становятся ваши демонстранты в Западной Европе. Лишь бы Запад как-нибудь удержался, устоял. Но Запад хуже делает: он свои позиции сдаёт, а угнетателям нашим помогает — всё, что нужно, даёт, открыто продаёт или даёт украсть. Укрепляет наших угнетателей. Да, освобождение России не может прийти никак иначе, как изнутри.

Но разве в Польше Лех Валенса не потерпел неудачу изнутри?

Нет. У него не неудача! У него удача, которая вам ещё не зрима, вы не на тех отрезках времени следите. Вот как раз движение «Солидарности» и Леха Валенсы это и есть одно из проявлений, как может Восток освободиться сам. Обратите внимание, это движение не имеет ничего общего с социализмом. И никогда уже восточное освободительное движение не будет социалистическим. А что сделали Западная Европа и мир на помощь «Солидарности»? В общем-то, ничего. В общем-то, больше щадили польское правительство. Никакой реальной поддержки не было. Но нисколько движение Валенсы не потерпело поражения! Поляки сейчас как раз показывают духовную победу, сплочение на христианстве и против социализма и коммунизма. Нет, я не вижу там неудачи.

Со времени вашей известной Гарвардской речи стал ли Запад, по-вашему, менее боязливым?

Нет, нисколько не менее. Он так же слаб и так же уязвим. Общая картина духовной слабости не изменилась. Вот сейчас американское правительство сделало разумный, естественный шаг в Гренаде, то, что должен был Кеннеди сделать, ещё когда на Кубе рвался к власти Кастро. И какая же реакция всех правительств мира, почти всех? Осуждение: ах, зачем вы сделали твёрдый шаг! ах, зачем вы остановили бандитов! ах, зачем вы произвели оккупацию! Туда, где оккупация уже была. Когда Куба захватила Гренаду, никто её не упрекал, и это не была оккупация. И они там убивали кого угодно, и держали заложником британского губернатора. И это никого не удивляло. Это совершенно нормально. Они строили там военную базу, делали склады оружия, — это было совершенно нормально и никого не оскорбляло в мире. Но когда Америка в последний момент послала войско, чтоб от этого освободить, то все страны мира, все правительства, все общественные деятели закричали: «Какой ужас! Что вы делаете?! Не дай Бог из этого что-нибудь получится! Пусть бандиты идут дальше! Откройте дорогу бандитам!»

Ну а что вы скажете в этой связи о праве народов решать свою судьбу?

Так гренадцев лишили этого права раньше того. Если губернатора посадили под арест, если убивают и держат в тюрьме всех активных людей, какое же право у народа Гренады решать свою судьбу?! Он лишился этого права несколько лет назад. И весь мир был доволен. Весь мир был спокоен. Когда в Никарагуа шла гражданская война — это было на ладони, что идут коммунисты! — и весь мир помогал коммунистам, и Картер помогал коммунистам. Все помогали коммунистам, и никто не спрашивал, будет ли у народа право решать свою судьбу. А теперь, когда Америка действительно протянула руку помощи гренадцам, чтобы они могли решать свою судьбу, вот теперь все закричали: не трогайте! не трогайте! пусть Куба додушит их! — и тогда всё будет нормально.

Я не вижу противоречия. Наоборот! Запад в течение 35—40 лет не даёт народам решать свою судьбу, а всегда отдаёт её коммунистам. Разве Южному Вьетнаму дали решать свою судьбу? Переговоры Киссинджера предали Южный Вьетнам под чужую судьбу. Не дали решать. И все успокоились. И «Нью-Йорк Таймс» дала большую фотографию, сидит вьетнамец и отдыхает: тишина, наконец тишина. То есть их задушили, они вынуждены плыть на лодках по морю и тонуть, попадать в пасти акул, и это хорошо! Это вот «право народа решать свою судьбу»!

Что вы думаете об идее, что «Бог всегда на стороне крупных батальонов»?

Я такой идеи даже не знаю, ни с какой стороны. А откуда такая идея у вас?

Во Франции обыкновенно говорят, что Бог всегда на стороне сильной армии, ведь она раздавливает слабую. Значит, «Бог всегда на стороне крупных батальонов», — это такая французская пословица.

Не знаю. Мой личный опыт этого не подтверждает. И наблюдения из человеческой истории этого тоже не подтверждают. Просто рисунок истории гораздо сложнее, чем мы можем постичь головой. Когда нам кажется, что история развивается безнадёжно, это мы толь-

ко проходим через испытания, в которых мы можем вырасти. Я многие годы страдал: ну за что такая несчастная судьба у России! Ну почему Россия попала в руки бандитов, которые делают с ней что хотят? Но прошли десятилетия, я смотрю — весь мир повторяет эту картину. И я понял: значит, вот это и есть узкие, страшно тяжкие ворота, через которые мир должен пройти. Просто Россия прошла первая. Мы все должны протиснуться через этот ужас. Это не значит, что Бог нас покинул! Бог дал нам свободу воли, и мы вправе делать так или делать иначе. И если человечество — одно поколение за другим, одна нация за другой, одно правительство за другим — делает ошибки, то это не Бог с нами ошибается, это мы ошибаемся.

Но дело в том, что и цель человеческого развития мы чаще видим не там. Люди, от индивидуальных своих ощущений до исторического сознания наций и обществ, чаще всего принимают материальное благополучие за ту цель, к которой мы идём, — а мы не к этой цели идём! Наоборот, в этот страшный Двадцатый век нам открыт путь большого духовного возвышения. А в Девятнадцатый благополучный век — на самом деле подготавливалось падение человечества, всё падение человечества созревало в Девятнадцатом веке. И в 1914 году разразилась эта катастрофа, которая не кончилась и сегодня. Не знаю, как у вас во Франции, но я так за всю Европу чувствую, что после войны 1914 года Европа никогда больше не была прежней, никогда уже не смогла восстановиться. Так тяжел этот шрам Первой мировой войны.

> Вы много говорите о Боге. Есть ли у вас ощущение, может быть даже физическое, что вы пишете как бы под взглядом Бога?

Я думаю, что это ощущение доступно каждому человеку. Если он не даёт себя замотать суетой ежедневной жизни. Сегодня физика, самая материалистическая из наук, постучалась в ту перегородку, которая отделяет нас, мир этот, от мира того. Самые большие физики сделали самые идеалистические выводы. Наша жизнь не есть функционирование только нашего организма. Мы невидимо, самим ходом времени, получаем

духовную поддержку. Каждый из нас получает духовную поддержку ежедневно, и тот, кто чувствителен к этому, эту поддержку слышит. Доступно каждому её слышать. У всех у нас эта поддержка есть.

В самом начале «Августа» вы рассказываете о том, как молодой человек Саня Лаженицын (кстати, Сане столько же лет, сколько Богрову) посетил Толстого. Толстой в это время гулял, Саня смущенно обратился к нему: «Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю? — какая жизненная цель человека на земле?» — Ответ Толстого: «Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле». — «Так, я понимаю! — волновался Саня. — Но скажите: служить чем? Любовью? Непременно — любовью?» — «Конечно. Только любовью». А что, Александр Исаевич, об этом думаете вы?

Между прочим, мой отец после гимназии действительно ездил к Толстому, так что этот визит у меня не придуман. Но поскольку я отца своего никогда не видел, то и о чем он говорил с Толстым — не знаю. Я весь разговор пытаюсь воссоздать, своему отцу вкладываю своё мнение.

Что любовь всё спасёт — это христианская точка зрения, и абсолютно правильная. И Толстой говорит в соответствии с нею. Но возражение моё состоит в том, что в наш Двадцатый век мы провалились в такие глубины бытия, в такие бездны, что дать это условие: «любовь всё спасёт» — это значит: вот сразу прыгай аж туда, сразу поднимись на весь уровень. Мне кажется, что это практически невозможно. Я думаю, что надо дать промежуточные ступеньки, по которым можно как-то дойти до высоты. Сегодняшнему человечеству сказать: «любите друг друга» — ничего не выйдет, не полюбят. Не спасут любовью. Надо обратиться с какими-то промежуточными, более умеренными призывами. Один из таких призывов Саня Лаженицын высказывает: хотя бы не действовать против справедливос-

ти. Вот как ты понимаешь справедливость, хотя бы её не нарушай. Не то что — люби каждого, но хотя бы не делай другому того, чего не хочешь, чтоб сделали тебе. Не делай такого, что нарушает твою совесть. Это уже будет ступенька на пути к любви. А сразу мы прыгнуть не можем. Мы слишком упали.

Значит, патетические призывы к любви Папы Иоанна Павла II — ни к чему не приведут?

Христианство не может отказаться от своей максимы, христианство правомерно призывает к любви. И Папа римский верно призывает к любви. Но Папа римский стоит на высоте иерархической лестницы. Он выражает мысль как бы по поручению Христа. Да, христианство так и будет говорить, и верно будет говорить. Но когда мы спускаемся в бытовые области, то в ежедневном разговоре, в бытовом решении — призывать к любви сейчас, сегодня, это значит — не быть эффективным. Призывать к любви можно, но раньше того надо призывать хотя бы к справедливости. Хотя бы не нарушайте собственной совести, уж не любите, ладно, но не делайте против совести. Это первый шаг.

Александр Исаевич, вот мой последний вопрос. 11 декабря вам исполнится 65 лет, что пожелать вам к этому дню?

Ну, не к этому дню пожелать, конечно, а на будущие годы... Я бы был благодарен, если бы вы мне пожелали успеть закончить «Красное Колесо», и ещё живым, а не только в виде книг, вернуться в Россию.

ИНТЕРВЬЮ С ДАНИЭЛЕМ РОНДО ДЛЯ ПАРИЖСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЛИБЕРАСЬОН»

Кавендиш, 1 ноября 1983

Как объяснить весь ход «Красного Колеса»? Каковы прошлое и будущее вашей эпопеи?

Это развёрнутое повествование о революции в России, которое захватывает сотни действительных исторических лиц, от высокопоставленных, на виду у истории, до совершенно никому не известных, но давших мне свидетельские показания. Оно захватывает десятки мест в России, захватывает многие годы. Такую грандиозную вещь невозможно написать «в лоб» — это был бы бесчисленный ряд томов. Уже давно, лет пятнадцать назад, я пришёл к выводу, что надо писать эту эпопею методом Узлов. В математике есть такое понятие узловых точек: для того чтобы вычерчивать кривую, не надо обязательно все точки её находить, надо найти только особые точки изломов, поворотов и повторов, где кривая сама себя снова пересекает, — вот это и есть узловые точки. И когда эти точки поставлены, то вид кривой уже ясен. И вот я сосредоточился на Узлах, на коротких промежутках, никогда не больше трёх недель, иногда — две недели, десять дней. Вот «Август», например, — это одиннадцать дней всего. А в промежутке между Узлами ничего не даю. Я получаю только точки, которые в восприятии читателя соединятся потом в кривую. «Август Четырнадцатого» — как раз такая первая точка, первый Узел.

До какого года доходит эта эпопея?

Должна бы она дойти до 1922 года, когда все последствия революции уже закованы в железные колеи, когда социальная динамика кончилась и начинается уже качение по этим жестоким рельсам. Но боюсь, что мне жизни не хватит довести до конца. Дело в том, что

я всю жизнь должен был отвлекаться на другие работы. Мой собственный жизненный опыт, особенно тюрьма и лагерь, уводили меня, во-первых, на эпопею о ГУЛАГе, во-вторых, на собственные, но немаловажные жизненные события, как умирание от рака, которое меня постигло... — и я писал «Раковый корпус». Пребывание на шарашке дало «Круг первый». Потом положение совершенно скрытого писателя не давало мне возможности вести и внешне жизнь писателя, я должен был делать что-то другое, я преподавал математику, физику. Если сюда добавить еще все приёмы вынужденной конспирации... Всё это съело у меня огромное количество времени, мешало мне прорваться. «Красное Колесо» я начал в 1936 году, но долгое время можно было только обдумывать, читать случайные книги, и лишь с 1969 года я мог полностью отдаться этой работе. Вот я работаю четырнадцать лет. И годы идут. Мне уже нужно было бы быть в середине пути хотя бы, а я ещё далеко не дошёл. Поэтому я думаю, что эпопею всю не окончу, но по крайней мере хочу как можно дальше продвинуться, чтобы выяснить ход... Вот здесь вокруг нас разложены заготовки «Апреля Семнадцатого». Это четвёртый Узел. Надо сказать, что Семнадцатый год в России необыкновенно динамичен, каждый месяц — это новая эпоха, буквально, даже от марта к апрелю вся ситуация меняется. Собственно, и всё то, что победило в Февральской революции, — прожило всего восемь месяцев и само упало, отозрело, кончило свою жизнь.

В «Телёнке» вы говорите, что уже очень давно, тридцать лет, носили в себе этот замысел. Как же это может быть, что восемнадцатилетний человек загорается таким грандиозным замыслом и никогда не оставляет желания его реализовать?

Я родился под сенью революции, в Восемнадцатом году, и детство моё было полно воспоминаниями и разговорами взрослых, для которых революция была — ну только-только, вот сейчас кончилась, пять-шесть лет прошло. Это была сень надо мною — революция. Не мудрено, что этой революцией я должен был заняться. А как именно произошло? В девять лет я, по-

нятия не имею почему, решил, что буду писателем. В десять лет я прочёл «Войну и мир» Толстого. Книга меня совершенно потрясла, именно вот этот охват исторический, понимаете? И уже тогда я читал захватывающие воспоминания о революции, совсем не большевицкого толка, они вдруг неожиданно были напечатаны в СССР. Оставалось соединиться этим двум частям — и был бы замысел раньше восемнадцати лет. Но я ещё был слишком мал. А в восемнадцать лет я точно помню день и обстоятельства, когда вдруг мною овладел этот замысел. Это пришло буквально вот в какие-то пять минут. Я знаю точно место и точно время, когда это произошло.

Можете ли вы немного об этом рассказать?

Могу и рассказать. Это было 18 ноября 1936 года. Тогда в Советском Союзе не было воскресений, а был свободный день каждое число, которое на шесть делится. Это был свободный от учения день, и стояла погода приблизительно такая вот, может быть чуть-чуть теплее, вот такая солнечная, с низким солнцем. Я пошел один, в каком-то смутном состоянии, какое-то тяготение во мне, пошёл по ростовскому Пушкинскому бульвару, и в одном месте этого бульвара, под уже оголёнными ветвями, вдруг как будто меня прямо настигло: надо такой роман написать. Я кончил уже к этому времени советскую школу, это было в первые месяцы студенчества на физмате, и я тогда считал, обработанный советской пропагандой, что главное — Октябрьская революция. Но, конечно, нельзя начинать прямо с неё, надо как-то отступить, начать раньше. Я понимал, что нужно будет описать Семнадцатый год, понимал, что нужно будет описать и Четырнадцатый год, потому что без Первой мировой войны нельзя никак объяснить нашу революцию, она бы не произошла. Но тогда я ещё это всё понимал как прелюдии, отступление для прелюдий. Вот тогда же я и решил, что мне надо начинать с Первой мировой войны, — мне сама война, я думал, не была нужна, а только что-то из неё показать перед революцией. Ну, я засел за книжки по Первой мировой войне. Обратил внимание сразу на самсоновскую катастрофу. Самсоновская ка-

тастрофа поразительна во многих отношениях, типична, характерна, репрезентативна для этой войны. Я решил так: описывать всю войну, конечно, не буду, а только одну битву, но эту битву буду описывать очень подробно. И занялся детальной разработкой самсоновской катастрофы. Поразительное дело, я, конечно, тогда не представлял, изучая карты военные, что мне самому придётся повторить весь путь армии Самсонова. Во время Второй мировой войны я точно по этим местам прошёл. Точно в эти самые места попал. Итак, я начал писать в 1937, и так как у меня довольно острое чувство композиции, то надо сказать, что композиционно я многое решил из самсоновской катастрофы уже тогда, то есть как последовательно идут главы, и из чего состоят. И хотя текст, конечно, я переписал весь заново теперь, но построение глав, почти десятка военных глав, взято прежнее, из 37-го года. Ну а потом, после студенчества, я пошёл на войну, потом в тюрьму, и много десятилетий не мог работать, а мог только думать, расспрашивать, с кем сидел в тюрьме, об этих временах, иногда читать редкие книги, но я не мог вести конспектов в заключении, я сразу бы был схвачен. Так что держал всё это в голове. Ну а потом я занялся лагерной темой, и только в 1969 пробился к своему главному замыслу. А вот недавно, всего-навсего лет шесть-семь назад, я вдруг понял, что мои отступления для прелюдий оказались недостаточными, потому что и с войны ещё нельзя начинать, надо начать раньше, надо начать с истории революционного движения и особенно революционного террора в России. Итак, я должен был в уже написанный «Август» вставить еще один том, ретроспекцию на террор и то, что произошло задолго до войны. Но, когда я это сделал, я обнаружил для себя необыкновенную актуальность «Августа», актуальность для сегодняшнего Запада, а не только для России. Для нашей страны это история, для нашей страны надо это знать, чтобы понять, как у нас всё получилось, и о будущем думать, а для Запада в «Августе» есть одна уже прямая актуальность — течение революционного террора. Я, конечно, не мог подробно писать историю террора, я проследил только по «женской линии». Чтобы из большой массы выделить

сколько-нибудь. Но даже по этой женской линии можно увидеть черты совершенно сегодняшнего террора на Западе. А дальше, это уже относится не к «Августу», а к «Марту Семнадцатого» и позже, — удивительно актуально для Запада и дальше. Должен сказать, что этот наш путь, от Февральской революции до Октябрьской, восемь месяцев, это как бы сжатый конспект, который потом Европа будет прокручивать несколько десятилетий. Каким-то образом нам было послано вот так, в восемь месяцев это сжать. Вообще, конечно, история Запада тоже сломалась в Четырнадцатом году. Я испытываю к Первой мировой войне чувство современника. Вот такая судьба: я воевал на этой войне, на Второй мировой, но из-за моей работы я больше обращён к Первой войне. И я невольно, изучая материалы, почувствовал и всю Европу в то время, почувствовал, как Европа погубила сама себя — войною, вступивши в войну.

А до войны — не искала ли она своей гибели?

Совершенно правильный вопрос. Я скажу так. Весь XIX век, считая его — есть такой счёт XIX века — от Французской революции до Первой мировой войны, — весь XIX век Европа шла к этому. Шла к этому утерей высших мерок жизни и, так сказать, отдаваясь благам и материальному процветанию. Да, она подготавливала весь XIX век эту войну. А так как всегда внутреннее развитие опережает внешнее, то в начале XX века Европа, будучи на вершине материального могущества и процветания, уже катилась в бездну, которая её ждала, внутренне. И внутренне все руководители Европы в Четырнадцатом году оказались не на уровне своём, все не понимали того, что́ за эпоха наступила и как надо себя вести. Мне безумно жалко Европу, что она влезла в этот Четырнадцатый год. Хотя у нас это сразу сказалось революцией, моментально. А Европа с тех пор всё время медленно сползает, вот уже семьдесят лет... И внешний технический прогресс ничего не изменяет в этом отношении.

Если цивилизации вообще смертны, думаете ли вы, что Европа уже мертва? Всё кончено?

Нет, я в этом не уверен. Жизнь устроена так, что всё в наших руках. Я только хочу сказать: сегодняшнее внешнее течение, которое можно наблюдать, идёт вниз. Сегодня Запад идёт действительно к падению, к сдаче. Но это совсем не значит, что погибла вообще цивилизация, не частная цивилизация, а цивилизация в широком смысле. Я нисколько не смотрю пессимистически. Нельзя придумать уж ниже положения, чем сегодня мой народ испытывает, на самом дне, и то я считаю, что у нас есть выход. Наша революция была частным проявлением мирового процесса, так же как и Французская революция. Французская революция конца XVIII века была первый сигнал человечеству. Русская революция XX века — второй сигнал. А сейчас мы идём к решению этих конфликтов. Под коммунизмом погибли миллионы людей, — скажем, моя страна потеряла треть своего населения, причем не просто статистическую треть, а лучшую треть, избранную треть, всё, что выделялось, что было выше. Но тем не менее мы проходим через эти испытания чем-то обогащённые. Именно потому, что внутреннее развитие обгоняет внешнее, я считаю, что народы под коммунизмом сейчас уже начали внутреннее восхождение, а народы, которые не испытали коммунизма, продолжают сползать вниз. Но это не значит, что они погибнут, они, может быть, пройдут этот путь и тоже пойдут вверх. Очевидно, мы должны были, вследствие духовных потерь XVIII и XIX века, пройти через ад XX века. Может быть, судьба каждой страны — нырнуть в это, а потом вынырнуть. Я думаю, что испытания XX века есть путь к новым духовным находкам: пересмотреть жизненные ценности.

А Россия принадлежит Европе или, как считал Достоевский, она повёрнута к Азии?

Я думаю, что у нас двойственная роль, двойственное место — всегда было и всегда будет. Собственно говоря, мы — материк, и как материк имеем право на своё собственное развитие. Но мы касаемся и восточного образа жизни и западного — естественно, что мы их как-то усвоили и в ходе нашей истории, и в системе наших представлений, так что всегда будет взаимодей-

ствие этих элементов у нас. Неправильно относить нас ни к Западу, ни к Востоку.

Когда вы говорите о том, как народы под коммунистическим игом начинают вновь подниматься из глубины падения, что вы имеете в виду? Думаете ли вы о таких явлениях, как «Солидарность» в Польше?

Эти изменения более глубокие, чем внешние политические события. И то, что происходит в Польше, следует понимать именно с этой глубокой точки зрения. Не то важно, что «Солидарность» вот создалась, а её разогнали, а то важно, что собирается одноструйное движение народа против коммунизма, основанное на христианстве. «Солидарность» — одно из первых внешних проявлений того внутреннего изменения, которое накопляется в коммунистических странах, и оно будет прорываться в разных странах в разное время.

Существенна ли для вас разница между православием и католичеством, является ли эта разница как бы границей, которая разделяет Европу?

Нет... Одна из великих трагедий человечества, ещё раньше той трагедии XVIII века, о которой мы сейчас говорили, — это разделение христианства. Мы, человечество, оказались не способны донести единое христианство, и это привело к известным всем событиям религиозных войн и расколов. А сейчас — я считаю, что не только все христиане, но все верующие на земле противостоят воинствующему атеизму. Поэтому вот с линией Папы римского, на сегодняшний день, у нас противоречий нет. Конечно, соединение церквей теперь очень трудно, но по крайней мере какой-то союз должен быть.

Что означало в вашей жизни решение стать писателем? В «Телёнке» упомянуто вскользь, что с момента, как человек решает стать писателем, его судьба становится совершенно особой. У вас есть определённый исторический замысел. А есть ли у вас замысел моральный?

Там, где я это говорю в «Телёнке», я имею в виду

совершенно служебную сторону жизни: стать писателем в советских условиях — значит прежде всего начать прятать, стать конспиратором, подпольщиком. А что касается связи литературно-художественной стороны и моральной, то она настолько традиционна для прежней русской литературы, что я здесь никакого нового соединения не представляю. Вот наша новейшая литература, самая новейшая и не подсоветская, она разорвала эту связь. А я вообще в смысле проведения художественной линии считаю себя традиционалистом. И поэтому для меня никогда эти две стороны не разделялись.

Структура и форма «Августа Четырнадцатого» представляются довольно классическими. Сохранятся ли они до конца во всех Узлах или будут меняться? Я хотел бы знать, что вы думаете о литературном авангардизме XX столетия? За последние шесть месяцев мне пришлось разговаривать с писателями, которых я высоко ценю, такими, как Милан Кундера, Чеслав Милош, Энтони Бёрджес. Все они считают и говорят, что роль авангардизма была весьма отрицательной. Все они осмеливаются прямо это говорить. По их мнению, авангардизм нанёс большой вред литературе; а вот писательница Симона Вейль считала, что, например, сюрреализм в какой-то степени содействовал возникновению терроризма. По её мнению, во всех этих движениях — в авангардизме, в сюрреализме и прочих — присутствует отцеубийство.

Когда я говорю, что я традиционалист в литературе, я хочу выразить только, что я верен общему смыслу творчества, пониманию его места и роли. Это никак не относится к формам, жанрам. Я позволю себе с вами не согласиться, что в «Августе» традиционные формы. Дело в том, что никогда нельзя ставить себе задачи: стану-ка я в авангард и буду авангардистом, придумаю-ка я что-нибудь такое, чего ещё никто не придумал. Я не ставил себе никогда задачи придумать что-нибудь новое, чего нет ни у кого. Но от XIX века изменился темп нашей жизни, значит и темп чтения, темп

восприятия, темп мысли, поэтому невозможно писать так разреженно, как в XIX веке. И я вынужден был в своей эпопее применить до восьми разнообразных жанров, но ни одного из них я не придумывал для того, чтобы поразить новизной. Я только каждый раз ищу, каким инструментом наиболее ярко и наиболее плотно передать. Каждый раз я ищу, каким способом вот этот кусок жизни лучше всего выразить. И мне, честно говоря, слово «авангардизм», которое я услышал ещё в юности, всегда казалось бессмыслицей, просто бессмыслицей: нельзя «быть авангардистом»! Нужно иметь что-то более основательное в сердце и в душе. Если человек не что иное, как авангардист, он вообще ничто. Изобретения новых, каких-нибудь поражающих форм, если они не предварены духовным открытием, — да, они в лучшем случае пустая забава, а в худшем — они ускоряют разрушение. Разрушение умственности и нравственности Запада.

Это как раз то, что я думаю, но мало людей, думающих так. И совсем новое явление, что писатели смеют это говорить на Западе. А ведь история XX века искривлена из-за этих поисков.

Безусловно. Не так история, как нравственность и интеллектуальность. Не прямо история, не то что от этого Тэтчер или Миттеран принимают другие решения, не так, — но разрушается структура, та высокая структура, которая была в Европе. Надо сказать, что Европа выходила из Средневековья с высочайшей духовной структурой. И вот эта структура в течении столетий разрушается по разным причинам, заменяется интеллектуальной акробатикой. И эту духовную структуру Запада разрушает и авангардизм.

Могли бы вы рассказать нам о методах вашей работы? Как вы достаёте нужную вам документацию, в какой мере используете архивы и библиотеки?

Я должен сказать, что сейчас у меня самые превосходные условия для работы. Практически у меня есть 98% тех материалов, которые мне нужны. А 2% я получаю через библиотеки. В течение многих лет я соби-

рал свидетельства стариков. У меня более трёхсот личных показаний людей, которые теперь большей частью умерли. Я успел их собрать, частично в Советском Союзе, а больше всего за границей, это уникальная библиотека. Затем у меня много книг, вот эти вот растрёпанные книги, я даже их не успел начать искать, мне стали эмигранты присылать со всех сторон. И когда я огляделся — так у меня почти всё есть. Потом я имею из американских библиотек, из Гувера, набор газет того времени. О русских газетах 17-го года можно отдельно поговорить, та́к это интересно. Затем у меня много документов, напечатанных в Советском Союзе, касающихся Февраля. Начиная с Октября они уже скрывались, не печатались или искажались, а до Октября — очень обильны, и у меня всё это есть. Моя работа упирается лишь в то, сколько мне времени отпущено.

Газеты Семнадцатого года — необычайно интересны. У меня до пятнадцати разных газет, и ни одна не повторяет другую. Это был момент такого взрыва, когда все говорили и писали. Эти газеты живут. И вот: как эту жизнь выловить? Можно: брать из газет фрагменты самих событий. Можно: разрабатывать настроение и мысли, которые там поданы как публицистика, а я даю своим персонажам, иногда тому самому, который пишет статью, я могу перевести газетную статью в диалог, в разговор. Но иногда бывает неповторимо привести цитату из газеты так, как она есть. И из этого у меня рождаются газетные монтажи. Первую идею газетных монтажей я получил от Дос Пассоса, на Лубянке, в тюрьме, я впервые читал его книгу там. Мне очень понравилась эта идея. Но Дос Пассос и я используем её прямо противоположно. Дос Пассос берёт набор бессмысленной газетной болтовни как не имеющей отношения к жизни, а я использую газетный текст как реальные кирпичи, из которых завтра... сегодня и завтра растут события. Ибо газеты Семнадцатого года были сигналом к действию, особенно у социалистического крыла. Потом в «Правде» это стало просто приказом к расстрелу. Поэтому мой монтаж имеет совсем другой смысл: сгущенного действия и предупреждения.

Документы приходится использовать двояко. У меня, среди других, есть форма прямого документа, но её надо применять очень осторожно. Нельзя давать документ длиннее нескольких фраз, и нельзя давать много документов, — потому что бóльшая часть их написана языком не плотным, избыточным, не ярким, с повторениями, это засушит читателя. Но когда я эти документы прорабатываю для себя, я восстанавливаю психологический рельеф человека, который его писал, и рельеф события. Например, по Февральской революции — гора документов. Я их использую в «Марте» в повествовательных главах; описывая, как этот документ рождался, я не выхожу за пределы документа, но даю психологическое обоснование: что могло толкнуть человека к такому решению, к таким фразам. И потом, с другой стороны: когда этот документ, телеграмма или письмо куда-то пришли — как они воспринимаются адресатом? что там будят?

Потом у меня есть форма обзорных глав. Хотя я и в обычных повествовательных главах стараюсь не удаляться от действительности, даже бóльшая часть их — это совершенно точные события, но всё-таки это главы, где я даю больше личного от персонажей. А некоторые периоды или некоторые линии надо проследить с большей исторической высоты, и тогда я пишу петитом обзорную главу. В первом томе «Августа» такие главы довольно простенькие, это маленькие обзоры военных действий, чтобы человек не потерялся. Но уже во втором томе приходится дать всю жизнь и деятельность Столыпина обзорной главой. В следующих томах мне приходится таким петитом давать историю некоторых партий и некоторые события, но тем самым я их, собственно говоря, не навязываю читателю. Я их выделяю так, чтобы более нетерпеливый читатель мог через них перескочить.

В работе над «Красным Колесом» я столкнулся с очень важным вопросом: какова должна быть пропорция исторических личностей, конкретно существовавших, не обязательно на вершинах, — и тех, что придуманы мною. Я бы считал пустой забавой дать бóльшую пропорцию придуманных персонажей, как будто я с историческими событиями бы играл и нарочно подстав-

лял туда персонажа, чтоб он там наблюдал. Нет, я главное внимание уделяю персонажам, реально существовавшим, и я занят только истолкованием их психологии и поступков. Но тогда возникает обратный вопрос: может быть, вообще выбросить вымышленных персонажей? — нет, нет, художественное произведение нуждается в них. Они — как бы смазка или соединительная ткань, и они дают маленькие оазисы совсем простой жизни, совсем простого воздуха, как-то даже забыть об истории. Вот, например, в «Марте Семнадцатого», в Февральской революции, я бы грубо определил, что сочинённые персонажи сведены до минимума, до 10 процентов, по числу страниц. 10 процентов — это в «Марте». А вот, скажем, перед этим будет «Октябрь Шестнадцатого», который не содержит такого напряжения исторических событий, там вымышленных персонажей гораздо больше, больше личного.

От темпа исторических событий зависит, например, длина глав. В «Августе» у меня довольно длинные главы, и даже есть очень длинные, как о царе Николае Втором. В «Октябре» они ещё тоже длинные, потому что медленные события. В «Марте» начинается такая динамика, я стараюсь успеть за событиями... Изобразить революцию — это, между прочим, совершенно особая задача для литературы. Это не то что изобразить войну или отдельные политические события. Революция имеет такой бешеный темп, столько сотен участников! Мне приходится главы стягивать до крошечного объёма, но делать их много. Главы следуют с бешеной быстротой друг за другом, все в хронологической последовательности, не только дни за днями, а часы за часами, минуты за минутами. Я слежу, стараюсь давать главу так, чтобы если событие на пятнадцать минут раньше, так и её дать раньше. Совершенно строго этого выдержать нельзя, потому что, когда главы короткие и много их, тогда сильно работает стык, очень важно, что́ после чего идёт, что с чем рядом стоит. Я ничего не говорю при переходе от главы к главе. Но стык глав работает, понимаете? Или контраст, или продолжение.

Но и этого недостаточно. Динамизация требует не только маленьких глав, а время от времени вводить

чисто фрагментные главы. Это так: вся глава состоит из коротких фрагментов. Это — фрагменты реальных событий, никакой отдельно не составил бы главы, но вместе они дают мелькание, и тоже у них свои сокосновения, они усиливают динамику ещё.

Иногда нужно применить киноэкран для ещё большей динамизации. Этот прием у меня есть в «Августе», но он бывает ещё нужнее в момент революционный. Массовая сцена, матросы убивают адмирала, или солдаты штурмуют гостиницу, — это написано так, чтоб можно было увидеть, как на экране, читая книгу, без съёмки. Ну и потом ещё есть несколько других жанров в Узлах... И наконец, есть отдельно стоящие пословицы. Я не имею в виду те, которые употребляют персонажи, а: отдельно стоящая пословица между главами. Обычно так можно понять: какой-то дед как бы слушает мой рассказ и вдруг дает реплику. Он предыдущую главу как-то комментирует, под каким-то новым углом, что даёт ещё новый объём восприятия.

И наконец, между Узлами... я сказал, что между Узлами ничего нет, но это — пока не началась революция. А вот уже после «Марта» между Узлами вставляется Календарь Революции. Это может быть одна страничка между Узлами, где перечислен десяток событий. Я выбираю из множества событий того времени те, которые мне кажутся наиболее знаменательными, и огромное историческое событие, всем известное, может стоять рядом с маленьким, ничтожным, которого никто не знает. Но, когда они выстраиваются в ряд, они дают тонкую соединительную веточку-ниточку между двумя Узлами.

> Среди персонажей «Августа» есть офицер, отказывающийся ехать в поезде: он обязательно хочет ехать верхом, только так он может живо почувствовать народ, страну. Считаете ли вы возможным продолжать писать российскую эпопею, не будучи в России?

У нас такие чудовищные условия в Советском Союзе, что по-настоящему мне сейчас тут легче писать, чем было бы там. Если мне нужно было совершить поездку куда-нибудь, например в Тамбовскую область

или на Дон, то я должен был с величайшими мерами конспирации ехать, и общаться с Россией я должен был так, что нигде почти ничего записывать нельзя. Всеобщая подозрительность. И держать рукопись книги я не рискнул бы в таком объёме — в одну минуту отнимут. Да видите, меня выслали всё-таки в 55 лет, у меня жизненная встреча с Россией была достаточна для того, чтобы теперь до конца жизни писать здесь. И мои эти персонажи, 300 человек, которые дали мне свидетельства, — это совершенно живое общение с современниками революционных событий. Когда я читаю их, то у меня ощущение, что не только я в Россию вернулся, а прямо в Семнадцатом году там кручусь.

Считаете ли вы, что только литература может подвести итоги эпохи, что она делает это лучше и точнее, чем, скажем, инженеры или вообще люди, изучающие конкретные факты?

Нет, я не думаю так, но я думаю, что у литературы есть свои неповторимые возможности. Не только у литературы, а у искусства. Интуицию я считаю вообще более высоким способом познания, нежели прямое техническое изучение предмета. Только интуицию, ведомую жизненным опытом и большим духовным сосредоточением. Интуицию традиционный учёный даже не имеет права применить. Он должен интуицию прятать, потому что ему скажут: «Это ещё откуда? Где доказательства?» Интуиция иногда может давать совершенно поразительные результаты. Вот вы сейчас вспомнили, как поехал Воротынцев на лошади. А там дальше сразу он встретился с генералом Крымовым. Я когда писал о Крымове, ещё в России, я имел только чуть-чуть о нём сведений исторических, самых общих. Я не знал о нём тогда ничего личного, ни наружности, ни привычек, однако решился его поставить в личной сцене, ну просто подал, как его чувствовал, в главе с Воротынцевым. Прошло много лет, и я здесь уже, на Западе, получил свидетельства людей, которые хорошо знали Крымова. Так у меня стали волосы дыбом: то есть просто одну черту за другой я абсолютно точно угадал. Я судил по крупным внешним событиям и через них интуитивно нащупал — свойства его

характера, свойство шутить, как он именно отвечает, как он судит о людях, как он ворчит немного, — всё оказалось абсолютно точным! И у меня несколько таких случаев, несколько, когда материал более поздний подтверждал мою интуицию. Но для этого интуиция должна быть очень сосредоточена, надо много думать о человеке, думать, стараться увидеть.

> Публикуя свои книги, вы следовали почти военной стратегии, вы действовали как стратег. И ещё поражаешься, что большие романы часто истекали из войны. Вы когда-нибудь думали о связи, которая существует между войной и литературой?

О стратегии — ну да, я не случайно в «Телёнке» это сформулировал. У меня там много раз военные сравнения, потому что действительно я себя против советской власти чувствовал как полководец. Это да, это есть.

Ну а война, поскольку война есть проявление сильных чувств в массовых масштабах, — конечно, она просится в литературу. Но революция есть ещё большее проявление сильных чувств, в ещё более массовых масштабах, и поэтому революция ещё жарче просится в литературу, чем война. Но вообще в мировой литературе революции отображены, по-моему, непропорционально меньше, чем войны. Это более трудная задача.

> Всё ваше время, очевидно, уходит на то, чтобы писать. Остаётся ли у вас время для чтения? Читать романы, беллетристику?

Вы знаете, большую часть жизни, середину жизни, не было времени. В детстве и юности я очень много читал. А в середине жизни был у меня лагерь, и потом конспиративная жизнь, я должен был преподавать математику в школе, сидеть проверять ученические тетради, читать свои материалы для романа, писать роман и прятать его, и вести вот ту борьбу с советской властью, которую я описывал. Поэтому у меня там был большой провал, от момента первого ареста и до изгнания из СССР я мало читал не относящегося к моей работе, разве в тюрьмах. Сейчас я начинаю выигры-

вать для чтения время, но всё ещё с трудом, очень много времени забирают эти материалы. Я каждый вечер не могу лечь спать, пока не приготовил материалы на завтрашнее утро. Однако сейчас уже появился у меня просвет. Если мне суждено ещё пожить, то очевидно этот просвет будет расширяться. У меня очень большая жажда уйти в литературное чтение, прочесть то, чего я не читал, но я всю жизнь как бы в марафонском беге.

Ещё два маленьких вопроса. Во-первых, о борьбе между добром и злом. Может быть, это то же самое, что борьба между красотой и уродством? Если учесть, как уродливо то, что исходит из Советского Союза, то это представляется правдоподобным... Во-вторых: думаете ли вы, надеетесь ли вы, даже если эта надежда кажется безумной, что когда-нибудь вы сможете жить как свободный человек и свободный писатель — среди русского народа?

Да, я думаю, что красота и добро связаны органически, а зло использует красоту лишь для маскировки, иногда ловко. И это бывает в искусстве. Зло является в красивом виде. Но это всегда маскировка. На самом деле зло с красотой не имеет родства. А добро и красота, как они перечисляются, Истина, Добро, Красота, через запятые, они на самом деле родственны друг другу... А насчет моего возвращения... Конечно, никто не знает часа своей смерти, и мы не можем рассчитывать даже на год вперёд никогда, ни один человек. Но если мне суждено какое-то время ещё пожить, у меня, — да, вопреки всяким логическим доводам, вопреки тому реальному ужасному положению в Советском Союзе и в мире, какое сегодня есть, — у меня какая-то убеждённость, что я ещё вернусь туда, не только книги мои вернутся, а я живым туда вернусь. Почему-то мне кажется, что я умру у себя на родине.

ПО ДОНСКОМУ РАЗБОРУ

Такие книги, как «Поднятая целина», оскомившие нам зубы в советском долбёжном учении, достойны ли вообще серьёзного разбора? Не знаю, я наткнулся случайно, просто перебирая книги о Доне. Первую часть я, конечно, как и все, *проходил*; вторую, задержанную от первой на 27 лет, я, конечно же, не читал — ни в правдинских отрывках, ни в 1959 по выходе, ни с тех пор четверть века. Из хрущевского времени помню слухи, что в конце книги должны были вести Давыдова арестованным по хутору, а Нагульнов — кончал самоубийством, хорошая бы ему дорога, и обоим вполне назидательный конец, в духе 1937, но будто бы сам Хрущёв просил переменить, ведь мы же сами творцы своего прошлого и будущего, и было сменено к нынешнему, и вострубили славу еще одному роману соцреализма.

Теперь продрался через обе кряду. Так долго вторая часть рожалась — и спуста рождена, никому её и не посоветуешь читать. Мало похожа на первую. Какие проблемы поставлены — то в первой части; где есть сгустки, картины, образы — то всё в первой. Но если и первую читаешь нехотя, устаёшь от двадцати страниц, всякий раз как за работу берёшься, — то вторая изводительно скучна, объём её внаброску заполнен случайными главами, друг с другом не связанными, случайными надуманными эпизодами, так и видишь их рассчитанными лишь на отдельный правдинский подвал, а между ними — прорухи неумелости. Любая подвижка к повествованию сбивается, размазняется вставными никудышными рассказами и монологами, да всё больше часовыми пустобрешествами одного Щукаря. И этим набором несмешных анекдотов заменён — чтоб не проговориться, что́ на самом

деле происходит в станице? — заявленный колхозный сюжет: ни покоса, ни уборки (ни тем более хлебосдачи) уже нет, ни колхозной колотьбы (да в первое полугодие существования колхоза!), ни даже неуладок и небрежений, которые и советскому же автору дозволено показывать «критико-созидательно», — нет, колхоз сразу пошёл уверенным ходом, колхозники поразительно легко справились со всеми новизнами и трудностями, как будто и вовсе не меняли жизни в этом году, и даже, к концу лета, жизнь на хуторе «идёт неспешной поступью», — это в 1930-м, разломном, разгромном!

Но тогда чем же скрепить вторую часть, да и всю книгу, чтобы как-то держалась? А, конечно, смертельной угрозой от классового врага, наглядно материализованного. Это уже было насовано и в первую часть: опереточный «злодейский заговор» Половцева, ожидание заграничной вооружённой помощи, затаившиеся враги в горенке Островнова, с бесплотно снующими через хутора вестниками и связными, нигде никем не виденными, не перехваченными (и сам Половцев для разминки выезжает ночью в степь), десятки и десятки подготовленных повстанцев — да с отдачей личных подписей для надёжности, всё в четвёртом измерении, не совпадающем с тремя жизненными, — но ткань первой части ещё во многом реальна, и по реальности 30-х годов трудно счесть автора настолько глупым, чтоб он этому сюжету предполагал дать ход, скорей это временная угрожающая декорация, дабы оправдать большевицкие жестокости раскулачивания (вот — выселили кулаков, и восстание не удаётся), это только ядовитый политический приём: представить крестьянство агрессивным (в случае казачества это легче), чтоб оправдать необходимость удара по нему. Вот — речь Сталина о головокружении, и заговорщики соседнего хутора прозрели и отшатываются: «Мы со своей властью сами помиримся, а сор из куреня нечего таскать» (хутор — соседний, потому что в Гремячем Логу не набрать эти десятки фамилий, уже разобраны на честных колхозников). Да Половцев так и саморазоблачается: «Не ГПУ вам надо бояться, а нас!», соединение «рубить, рубить беспощадно!» — и молитв, и слёз, и

Лятьевский тоже популярно объясняет: «нам некуда деваться, у моего отца было пять тысяч десятин, я дворянин, а ты хамлет» (кстати — верное слово тех лет). Для большего саморазоблачения офицеры выбраниваются и капризничают, как это между ними невозможно, а Островнов для той же цели умаривает родную мать без воды и еды. Но после отслужки этой декорации автор отодвинет её, забудет, — уже не нужна? Как бы не так. Во второй части, после полной колхозной победы, она ему нужна взамен внутреннего недостижимого сюжета, для стяжки рыхлости своего месива, — и вот ведётся охота за Тимофеем Рваным, будто бы убежавшим из Котласа, будто бы кулацким сыном (знаем: кто и бежал, то не злодействовать в родном селе, а дыхание своё спасти), и вытягивается «тонкий» детектив с ботиночными подковками Островнова (хотя тут же по всему хутору идёт бабий трёп об офицерах, сидящих в горенке, но это — в четвёртом измерении и не должно сработать). И когда совсем уже завядает «роман» в бессилии и распаде — нам дух омирают приехавшие гепеушники-богатыри, что тут — «звено в большой цепи» (да Лятьевский, оказывается, легко подпольничал на Кубани все 20-е годы, без труда уходя и из краснодарской внутрянки, без труда и ездил пять раз в Париж, пять раз виделся с самим Кутеповым), — но даже этих милых гепеушников автор не жалеет, укладывает мёртвыми на дороге, чтобы под конец выкатил на сцену замаскированный полковник и дал приказ маршировать на Миллерово, на Ростов, — «А там придут на помощь наши силы с Кубани и Терека, а там — помощь союзников, и мы уже властвуем на Юге, а там — аппетит приходит во время еды...», — но всё портит «железный», то и дело плачущий есаул Половцев, и, убив всё время смеющегося Давыдова, — он закладывает в ГПУ и всю грандиозную организацию с центром и генералами в большевицкой Москве, и вот готово оправдание, почему «широкой волною прокатились по Азово-Черноморскому краю аресты» и более 600 человек осуждены — но всего лишь почему-то Особым Совещанием (не наскребли улик). И под этот грандиозный рокот разляпистая книга заканчивается картонным как бы утёсом.

И вообще в «классовой» дисциплине автор достаточно приметлив, памятлив, натаскан и соответственно тому безошибочно подаёт нам проблемы и эпизоды, большие и малые. В книге описывается Верхне-Донской округ, где было и известное массовое восстание 1919 года, — и ещё более массовые, но менее известные геноцидные свердловские расстрелы, когда укладывали сплошь мужское население, чтобы вовсе извести казачье семя с этой земли, — и автор, органически связанный с Доном и для украшения биографий часто вспоминающий гражданскую войну, — ни словом, ни теньюшкой не наводит на это восстание (да разве не этим автором описанное в «Тихом Доне»?..) и на эти расстрелы: знает границы. Таково его первичное поле. Напротив, нынешние партийцы (Размётнов) непременно жутко пострадали в гражданскую, и, значит, оправдана их ненависть к «кулаку». Автор не жалеет чёрных красок-придумок для описания неправедного кулацкого нажива (по его толкованию разбогатеть праведно и нельзя). Все «кýлаки» лютые, воинственные, злобные, склонные к зверским убийствам. Титок Бородин? — «был партизан — честь ему, кулаком стал — раздавить» (не смущаясь противоречием: за что ж хлеборобы и могли тогда воевать, если не ради зажиточности?). По такому грунту автор и рисует нам не обойдимые в феврале 1930 сцены «раскулачивания». Кто этого не видел, не причастен, — только через 30 лет стали догадываться, какое же страшное то было действо. А автор — был там, он присутствовал, это ясно, — но на страницах его при раскулачивании только грохочет смех остальной толпы. С весёлой лёгкостью у него описывают конфискованные вещи, с умилительной радостью одеваются в отобранную одежду (уж такие бедняки-голяки, каких Дон и не знавал), весело вышвыривают в феврале семьи с младенцами из обжитых домов, и автор не упоминает лишних подробностей: куда? каким способом? где конвой, этап? «Для того и выселяем, чтоб не мешали нам строить жизнь. Ведь не подохнут же они.» «Вы своё отъели.» Бодро: «попов кулачат, церкви закрывают» (только неясно, где же ближайшая, этого не взялся описать), «этого добра хватает» (богомольцев). Чего не ждите от сего

автора — нравственного взгляда, ни на одной из 700 страниц двух частей вы не поймаете его ни на единой нравственной нотке.

Зато вы можете поразиться, до чего ж он сметлив в выполнении агитационной задачи, постороннему даже трудно изощриться так угадать все требования, он точно знает партийный заказ, и расчётливо подаёт по нему — и «разворот классовой борьбы», и её «потаённо скрытые формы», и классовый гнев обездоленных бедняков — «Жилы кулаку перережьте!.. Отдайте нам его быков!.. Кулаков громить ведите!», и прямое наглядное «вредительство» Островнова, — всю эту чернуху автор охотно нам выдувает. Вот и *насилие* — православных над коммунистами! — где-то кто-то хотел на коммуниста крест надеть. И грубо сляпанная (как образец «умелой») агитация комсомольца Найдёнова — «смешной» случай в церкви и пытка румынского комсомольца, а значит надо отдать семенной хлеб. И, конечно, «коммунисты не мстят», но и «не сдаются», и чуткое ГПУ (анонимно помогает Лушке), и все другие мифы по распорядку. И так же закономерно всё колхозное движение — «с чего б ему быть врагом колхоза, раз он не богатый был?», и как колхозники в меру колеблются, в меру одолевают свой собственнический инстинкт. Скрывается давление «Плана» окружкома и райкома, а все жертвы выдаются за внутреннюю необходимость самого колхоза, всё в интересах колхозников (ни строчки о том, что государство сколько-то отымает или отымет). Если вначале секретарь райкома несимпатичный — так он и снят, а вместо него идеальный демократический работяга в перезалатанных брюках, конечно «озорноватые искорки», как у всех положительных персонажей, чистит картошку в помощь стряпухе, а с председателем колхоза знакомится через сеанс французской борьбы на пашне. (И вот Давыдов «размышлял о задачах, поставленных перед ним секретарём райкома».) Без труда находит молодой колхоз транспорт и средства для гуманных нужд, без труда берётся содержать неработающие сиротские семейства. Затем лучшие колхозники по лучшим канонам соцреализма (созданным в те 27 лет между первой и второй частью «Целины») вдруг сами решают вступать

в партию, и мучительно происпытывают свою зрелость и готовность, и весь колхоз спохватывается к их приёму как к великому празднику (но не изыскал для него автор лучшего украшения, чем очередное словоблудие Щукаря), — так что всю грубую работу становится уже стыдно читать, слабоумие социалистического реализма, агитационно роман безупречен, вариант блокнота агитатора в диалогах. Из самых безобразных памятников самой постыдной эпохи. Каким же надо быть бессовестным клеветником, чтоб изобразить советскую коллективизацию таким весёлым балаганом!

Так ясно любому разумному читателю, и что ж? — захлопнуть сию книгу, зряшно этот очерк и затеян? Не так просто. Потому что на бесстыдно-пропагандном дерьмовом рядне «Поднятой целины» мы в первой части видим и заплаты правды, а порой и немалого художественного достоинства. Зарвавшись в агитации, автор иногда и сам это замечает (или имеет всё же внутреннее желание слегка уравновесить заказную брехню?) — и выходит из ляпов реальными, и даже рельефными ходами. Даже и в этом искривлённом изображении, но миллионно-публичном в СССР! — видно злобное насилие над крестьянством, как его загоняют в колхоз, а уходящим из колхоза после речи Сталина уже не только не выделяют назад прежней земли, но не возвращают ни скота, ни инвентаря, — «вернём осенью», а пока сей на чём хочешь — да и *чем* хочешь: не возвращают и отобранных семян. Гиблей того: «засыпка семфонда» насильственно собирается и от оставшихся непреклонными единоличников (и автор пишет об этом как о разумной, естественной мере) — и только после бунта отчаяния им возвращают их собственные семена, а не взбунтовались бы — и подыхайте. Так приоткрывается местами в книге закрытое и запрещённое в Союзе: то дельные возражения крестьян против колхозов на загонном собрании, то меткая отповедь Устина Рыкалина в глаза Давыдову (а тот находится всего лишь обругать его контриком, подкулачником, прихвостнем), то услышим, хоть от заклятого заговорщика, что сталинская «статья — гнусный обман, маневр», то от колхозника: « проявились у советской власти два крыла: правая и левая. Когда же

она сыметсяи улетит от нас к ядрёне-фене?» — и до идиотической картинки, как порезали всем лошадям хвосты.

Да даже с первых страниц ощущаешь, и потом уже не дают тебе потерять, что автор — не чужой Дону человек, что он там много жил, и ещё живёт, и, видно, не парубок был к 1930 году, видно, отлично знает казачий быт и язык, с его крутостью, уверенностью, подробностями, этого много в книге, этим неделанным языком с его несмягчённой грубостью говорят в книге казаки. И типаж казаков у него есть, это не посторонний наезжий списывал, он многих реальных имеет в виду, когда пишет, успевает показать и второстепенных персонажей в броских чертах, как живого кучерявого Дымка, соблазнителя и драчуна (но неправдоподобно гонит его самоарестоваться, будто от потерянности, куда себя деть на воле, — и тут же бежать на ту же волю).

Но гораздо пространнее этих удачных врезок распялена по книге художественная неумелость (во второй части уже удушающая). Все мысленные монологи закавычены, шаблон литературного ученичества. Лишние пояснительности, где и без них понятно. В повествовании — вдруг беспомощная и неоправданная, почти малограмотная смена настоящего и прошедшего времени. Ошибки в речи персонажей, словечки передаются от одного к другому, как давыдовский «факт». Совсем неправдоподобно, когда образ мировой революции вселяется уже и в Кондрата Майданникова, только портится Нагульнов. Повышенная слюнявость вокруг приезда агитколонны, бездельных лбов во главе с бывшим чекистом. Психология лишь самых примитивных ситуаций, нет человеческих неожиданностей, а уж глубины характеров и не спрашивай. Обоснований нет: то вот бригада Любишкина выручала правление как самый боевой отряд — то вдруг уклоняется пахать. Лирические сцены — на школьном уровне, в описании Вари сентиментальный пафос прямо от автора: «О чём ты плачешь, милая девушка?.. Её чистая любовь наткнулась на равнодушие.» Так и выписывает: «наступающая любовная развязка», «прожить в относительном спокойствии». Нескладыы внутри одной

сцены: бригада Дубцова кончала в поле полдник, когда медленная телега появилась на дальнем степном горизонте, а когда телега доехала — то бригада ещё не кончила каши. И сам Дубцов: негодует на приезжего — а лицо *искренне* радуется. В тёмной комнате свет лишь узкой полоской по полу, но подробно описывается выражение глаз. Лень пера.

И ещё всё это можно было бы перенести, если б не изнурительные, удручающие, многодесятистраничные потуги автора на юмор: и откуда впало ему несчастно, что он юморист? Чуть только завяжется на три страницы серьёзное повествование — сейчас же тискай сюда на пять страниц некместную псевдокомическую интермедию! — шутки, часто пошло-эротичные, нестерпимо безвкусно-грубые (как разыгрывание стряпухи Куприяновны), — и все «давятся от смеха», покинув всякое иное дело. Но и их ещё все можно было бы перенести, если бы не дед Щукарь со своим дежурным комикованием — в непомерных, неестественных количествах на целые главы, по десять страниц, нарушая реальность всякой обстановки, динамику действия, и никогда нимало не смешно, — и все «трясутся от смеха» и слушают «с неослабным вниманием», а частейший слушатель его, председатель колхоза, то «давится от смеха», то «еле сдерживается от смеха», когда читателю уже впору выть от тоски. Такого отсутствия вкуса, чувства меры — кажется ещё никогда не являла русская литература. (Вот уж, и отдалённо подобного безвкусия мы не встретим в «Тихом Доне».)

Но опять же не так просто. А вот сцена семенного бунта (первая часть) — ярка, удалась. А Нагульнов? «человек нервного расстройства», с его припадками бешенства, — крупная удача, хороший памятник типу, кто его потом восстановил бы? Целен — и «чтоб до мировой революции коммунисты не имели баб», Лушку отпустил, а кружевной платочек хранит, и не придумана беспомощная страсть к английскому, и пометка, что «в конце революции они шипения делают, злобствуют» (революшн); и «кулак у меня при случае на любую дискуссию гожий», «я агитирую так, как моя партизанская кровь подсказывает», избиение Банника, запер троих колхозников в пустой комнате, Луш-

ку с тёткой в чулане (и автор любуется его разбоем); никогда не боязнь чужих страданий, а только бы самому не потерять партбилет; «я попа, волосатого жеребца, при народе овечьими ножницами остригу», — и острижёт; и способен подстеречь, убить без суда, — но и самому в бой идти. И только под конец, спохватясь о блокноте агитатора, неумело клеит ему автор «детски трогательную улыбку» или мысль, что «все чистые, кроме нас, людей».

С двумя другими хуторскими вождями вышло несравненно слабей. Размётнов остаётся в двоящемся наброске: якобы четырнадцатилетняя сосущая память погубленной любви, жалостность к окружающим иногда, — а матери даже воды не принесет, живёт дома как квартирант, и вообще ленив, и вдруг из крайней доброты к голубям (символ мира?) развязно стреляет по хутору там и сям, уничтожая кошек. (И никто на хуторе не удивляется праву большевицкого вожака палить из револьвера в мирный день.)

С Давыдовым — ещё видней неудача. Да звонкобронзовым обязан был получиться в агитке этот балтийский матрос, питерский рабочий и двадцатипятитысячник. Но не вылепливается даже наружность, кроме щербинки в зубах. То «железный аршин-складень», то «необычайно мягкий голос», и бескрайняя доброта ко всем окружающим и на каждом шагу, и умиление автора от его доброты, и вовсе слащавая сцена в школе, и заботлив о роженицах, о многодетных, что б ещё прилепить, услужлив к подчинённым, в самую горячую торопливость всё останавливает, часами слушая глупости Щукаря, и помогает ему тянуть козла из колодца (а чуть возражают не по нему — переходит на классовые угрозы, и где-то там банного соседа едва не убил шайкой по голове за смех), — налеплено, налеплено, и на питерском заводе перестраивал мотор, и знает крестьянские пословицы, и берётся учить казаков сельскому хозяйству, — а нет, не сложился ни тот матрос, ни тот пролетарий, ни тот идеальный председатель. Потому что скрепить такое вместе — никак невозможно.

А ещё может быть и потому, что вовсе чужд автору-донцу? Ведь вот казачий же язык — подлинный? А пей-

зажи? Да на первой же странице забирает пейзаж. Да немало мелко-рассыпанного: воробушки в золе, голуби вокруг лужи, лиса мышкует, конь без всадника, могильный курган в разные времена года, ночной концерт петухов, «месяц золотой насечкой на сизо-стальной кольчуге неба», да даже и настрявшее нам ночное красное знамя над Кремлём в прожекторах — совсем неплохо? «Расщепы морщин»? «Взломные ручьи»? «Бражно пахло от земли»?

А несколько пейзажей — февральский мороз (ч. 1, гл. 14), картина таянья (ч. 1, гл. 26), мирный июньский дождь (ч. 2, гл. 4) — такое не часто и во всей русской литературе найдёшь? Они написаны пером другого уровня, чем весь текст этой книги. Вот, например (ч. 1, гл. 36):

> Степь, задымленная тучевой тенью, молчаливо, покорно ждала дождя. Ветер кружил на шляху сизый столб пыли. Ветер уже дышал духовитой дождевой влагой. А через минуту, скупой и редкий, пошёл дождь. Ядрёные холодные капли вонзались в дорожную пыль, сворачивались в крохотные комочки грязи. Тревожно засвистали суслики, отчётливей зазвучал перепелиный бой, умолк накалённый страстью призывный крик стрепета. По просяной стерне хлынул низовой ветер, и стерня ощетинилась, зашуршала. Степь наполнилась сухим ропотом прошлогодних бурьянов. Под самой тучевой подошвой, кренясь, ловя распростёртыми крылами воздушную струю, плыл на восток ворон. Бело вспыхнула молния, и ворон, уронив горловой баритонистый клёкот, вдруг стремительно ринулся вниз. На секунду — весь осиянный солнечным лучом — он сверкнул, как охваченный полымем смоляной факел; слышно было, как сквозь оперенье его крыл со свистом и буреподобным гулом рвётся воздух, но, не долетев до земли саженей полсотни, ворон круто выпрямился, замахал крыльями, и тотчас же с оглушительным, сухим треском ударил гром.

Впрочем, с этими пейзажами — такая странность. Замечаешь: а почему ж эта великолепная туча никак не связана ни с настроением главы? ни с окружающими событиями? как будто она и не намочила никого, и работам тут не помешала? Её можно перенести на несколько глав раньше или позже — и так же будет стоять? Ба, ба, да ведь и те прошлые пейзажи, мороз или таянье, тоже свободно переставляемы, не связаны с окружающим текстом, только бы попали по сезону, а описание степного кургана — так и вовсе ничем не связано, там и все четыре сезона.

Э-э-э, да их так можно переносить и из одной донской книги в другую? Или — из каких инаких, и даже чужих заготовок?..

Вот куда идут наши косточки. Как в шлюз Беломорканала.

Но от этих великолепных — вставных — пейзажей, и от крепости донского языка, и от верных черт казачьего быта — тем правдоподобней и отравней воспримется вся агитпропская ложь, которой эта книга служит: оклеветать и казачество, и всероссийское крестьянство, и оправдать свирепую расправу над ним.

И — ловились...

И нас хотят убедить, что этим же самым пером воздвигнут и «Тихий Дон»?

Вот так, прочтя изнехотя «Поднятую целину» (читатель, может быть, заметил, что я ни разу отначала не употребил фамилию автора), — невольно опять возвращаешься мыслями к «Тихому Дону».

Если в «Тихом Доне» идеологические вставки были всё же малочисленны, крайне бестолковы, неуместны и сразу резали глаз, то в «Поднятой целине» они уже составляют главную ткань, а художественные удачи, как пёстрые латки, удивляют нас своей неожиданностью. Но тот непрошеный соавтор, чья рука могла лепить пропагандные заплаты на добротную ткань «Тихого Дона», — тот отчего не мог бы и выткать рядно «Поднятой целины»?

Автор «Дона»: был сердечно предан Дону, страстно любил казачество и имел собственные мысли о судьбе края. Он ни в чём не проявил бесчестия, не выказывал безнравствия, а как художник был превосходно высок. Автор «Целины»: хотя и зная Дон, не проявляет любви к его жителям, а мысли содержит на уровне советского агитпропа. Народное бедствие он описывает бесчестно, лживо, глумливо, а как художник провально ниже уровнем.

Тут стоит напомнить хронологию. Первые три тома «Тихого Дона» появились в течении трёх смежных лет: 1927—1929. По пятам был готов и четвертый, хотя пропущен в печать не сразу. В 1932 был готов и первый том «Целины». Затем последовал, для номинального автора, перерыв в 27 лет (отрывки «Сражались за

родину» трудно отнести к художественной литературе, а ложь «Судьбы человека» я разобрал в «Архипелаге»). В 1959 появился второй том «Целины» — позорный по уровню даже в сравнении с первым. Затем наступило 25 лет уже полного молчания. (Пусть поправит меня любой писатель, а я чувствую так: если не занялся бабочками, палеонтологией или иностранными переводами — невозможно зрелому писателю промолчать 25 лет. Впрочем, Твардовский передавал мне сцену о вёшенском аборигене, как тот сердечно признался почитателю, что не только ничего не пишет, но даже и не читает давно ничего.)

А знающие донцы называют рядом Петра Громославского, бывшего станичного атамана, баловавшего до революции и литературой, побывавшего и в белом Новочеркасске с Крюковым. Разумеется, бывшему атаману печататься при Советах не светило. Однако в 20-е годы он выдал дочь за Шолохова и был всё безопасней по мере утвержденья последнего. Умер в престарелости в 50-х годах. И с тех-то пор — 25-летнее полнейшее молчание зятя.

Но вот подарок: этот очерк уже был у меня готов к отсылке в «Вестник», как получаю по почте книгу из Осло от неизвестного мне Геира Хетсо — «Авторство Тихого Дона», компьютерное исследование. Ну правда же, ну конечно же! Если мы, русские, не можем сами — по нашей страстности или нашему недоумию — разобраться в собственной истории, то это сделать за нас просто обязаны *объективные* западные учёные. (И уже сколько раз они в этом веке разобрались, да всё что-то неудачно.) Так и решить нам загадку «Тихого Дона» берутся объективные вычислители — в данном случае четверо скандинавов (то ли более задетых историей Нобелевской премии 1965 года): *Geir Kjetsaa, Sven Gustavsson, Bengt Beckman, Steinar Gil.* The Authorship of the Quiet Don. Oslo: Solum Forlag; New Jersey: Humanities Press, 1984.

Однако ведущий среди них, Хетсо, не сразу срезает нас вычислительным приговором, но сперва пускается в долгий перебор всех слухов и словесное оспаривание обвинений в плагиате. (И — зачем же мараться обо все

предварительные дискуссии, когда главная научность у четвёрки в руках?) Сам Хетсо не пожалел лет, сил и средств на изучение вопроса, ездил и в Советский Союз, встречался и с Шолоховым, и с его ближайшими истолкователями, потом переписывался с ними, — и наивно-откровенно выражает полное им доверие. И когда нужно установить какой-либо спорный факт, он так всерьёз и ссылается: «письмо ко мне» такого-то советского литературоведа, или «высказано Шолоховым в беседе со мною». С большинством советских мнений Хетсо согласен, а когда вдруг не согласен — то радостно находит поддержку в самом Шолохове: «по-моему, более убедительно объяснить слухи о плагиате Шолохова завистью его коллег-писателей... *Интересно* (курсив мой. — *А. С.*), что в ходе нашей беседы Шолохов, кажется, полностью был согласен с таким объяснением, говоря об „организованной зависти“». Аргумент — наповал.

Оживлённо опровергая книгу Д* «Стремя „Тихого Дона“», Хетсо, однако, выставляет аргументы лишь местами. Так и из моего предисловия, где представлена дюжина доводов, совсем остаются не отвечены: у 23-летнего дебютанта откуда такая вжитость в быт и психологию дореволюционного донского общества? И то же — в мировую войну, в которой (и ни в какой вообще) он не участвовал? (Мне возвращают, что и я не участвовал, а описал же. Но я воевал во второй войне, а первую много лет изучал, не юношей напечатался.) И откуда такой богатый запас жизненных наблюдений у молодого человека? И общее развитие при скудном образовании? И почему у «иногороднего» пафос против иногородности? И почему такое разноречие в качестве и смысле кусков романа? эти пропагандистские вставки? И как мог автор с годами легко уступать — стирать и рубить свой первоначальный яркий язык до серятины? И только на один аргумент отвечено с весомостью: черновики и заготовки к «Тихому Дону»? — слушайте, слушайте! — они, оказывается, не погибли во время войны, как нам объясняли до сих пор, они целы, да!!! — сам Хетсо их не видел, однако советский специалист по Шолохову сказал, что они хранятся в ИМЛИ! (Но, видимо, настолько секрет-

ны или драгоценны, что даже вот в пылу десятилетних доказательств их нельзя было ни показать посторонним специалистам, ни выставить для обзора публике.)

И ещё такая крохотная некорректность, но ложащаяся скалой подо всю книгу: Хетсо как не замечает, что Д* во всей книге не утверждает, что автор «Тихого Дона» — Крюков, а я, хоть и склоняюсь к такой версии, но пишу («Стремя», с. 192): «Не могу абсолютно уверенно исключить, что — был, жил, никогда публично не проявленный, оставшийся всем неизвестен, в Гражданскую войну расцветший и вослед за ней погибший ещё один донской литературный гений: 1920-22 годы были годами сплошного уничтожения воевавших по ту сторону.»

А почему для Хетсо необходимо не заметить этого, видно из остальной части книги четырёх вычислителей. Их инфантильная постановка: если автор *не* Крюков, то и нет оснований сомневаться в Шолохове! И не такие жалкие гуманитаристские доводы их волнуют, как размеры художественного таланта автора «Тихого Дона», сила образов, независимость мышления или высота души, — всё это факты *субъективные* и не поддаются программированию для высшего судьи XX века — электронной машины. Ну, сейчас мы испытаем на себе силу подлинной научной объективности! Будут сравниваться решающие элементы литературного творчества: средняя длина фразы; распределение фраз по числу слов (безотносительно к тому, выражают ли они мудрость или глупость, целомудрие или похабство); распределение частей речи по началам и концам фраз; густота запятых. И ещё в этом роде.

Так. И кого же будем сравнивать? Естественно бы: сравнить «автора» и «соавтора» «Тихого Дона», слишком разнородные (по мысли и качеству), взаимоисключающие куски его? Но это было бы ловушкой или гибелью обещающего метода: если будет доказана разность двух потоков, то будет опорочен Шолохов; а если эта разность (очевидная читателю на глаз, на слух, на вкус) не будет обнаружена, то это можно отнести к нечувствительности метода?

Тогда, похуже, сравнить «Дон» со 2-й частью «Це-

лины», на чье авторство ещё не заявлено публичных посяганий? Попробовали. Опять конфуз: электронная машина обнаружила «существенное различие стиля и языка» между 1-й и 2-й частью «Целины». *Поэтому* — вот наука! — трое из четверых исследователей вовсе откинули 2-ю часть! А будем сравнивать «Тихий Дон» как однородное целое с 1-й частью «Целины» и с этим фальшивомонетчиком Крюковым — и докажем, что «не он — отец ребёнка», вот и всё.

А дальше — самая-то научность: выбрасывать из анализа всю прямую речь, выбрасывать все вопросительные предложения, выбирать страницы из книг с помощью таблицы случайных чисел, — и вся команда добывает в поте лица свои графики, диаграммы, таблицы, — и теперь всё как надо: Крюков на сколько-то сотых уклоняется. Ура! Отныне установлено с несомненностью, что честный и могучий автор «Тихого Дона» и угодник-халтурщик «Поднятой целины» — одно и то же лицо.

Вот это — научное доказательство! Значит, если карандаш и хлебальная ложка примерно одной длины, то они и суть одно и то же.

Господи, откуда ещё нанеслось на искусство это электронно-счётное злополучие?

Январь 1984

АНГЛИЙСКОМУ СВЯЩЕННИКУ МАЙКЛУ БУРДО

4 марта 1984
Кавендиш, Вермонт

Дорогой друг!

Сердечно поздравляю Вас с присуждённой Вам Темплтоновской премией!

Все, кто знают Вашу христианскую настойчивость делания добра, самоотверженность и скромность, — тоже радуются сейчас этому решению Международного жюри Темплтоновской премии.

Эта награда ещё и выделяет рельефно — жесточайшие преследования религии в подкоммунистических странах, с чем связано направление Вашей деятельности. Ещё один повод миру задуматься об этой бесчеловечной угрозе ему самому.

И большая доля в Вашем высоком служении — защита и помощь русским христианам, первым, на кого обрушились безбожные гонения в XX веке. Поклон Вам от нас.

От души желаю Вам долгой жизни и многих сил на поле Веры!

Ваш

А. Солженицын

...КОЛЕБЛЕТ ТВОЙ ТРЕНОЖНИК

Бессчастный наш Пушкин! Сколько ему доставалось при жизни, но сколько и после жизни. За пятнадцать десятилетий сколько поименованных и безымянных пошляков упражнялись на нём, как на самой заметной мишени. Надо ли было засушенным рационалистам и первым нигилистам кого-то «свергать» — начинали, конечно, с Пушкина. Тянуло ли сочинять плоские анекдоты для городской черни — о ком же, как не о Пушкине? Зудело ли оголтелым ранне-советским оптимистам кого-то «сбрасывать с корабля современности», — разумеется, первого Пушкина.

Но даже в самые жуткие годы, к ранней пятилетке, уже стали «революционные идеалисты» очунаться. И даже в печалославной советской «Литературной энциклопедии» (наше поколение учили черпать мудрость из её столбцов, затая дыхание получать в читальнях), хотя и прокатывали Пушкина через разрыв с феодальной литературой, связь с капиталистическим развитием, тревогу за будущее своего класса, боязнь демократических низов, то прогрессивный романтизм, то романтизм реакционный, — но всё ж выводили «включение поэта в нашу эпоху и ценность его для социалистической культуры».

Увы, даже от такого кислого приятия (но, увы же, не от драгоценных классовых ухваток к царю и декабристам) отшагнули литературные оценщики из сегодняшней образованщины. Вот эмигрантский журнал («Синтаксис», 1982, № 10) печатает на редкость сердитую статью из СССР «Пушкин без конца» (в смысле: когда же ему будет конец?). Ведь кажется так уже ясно: «вряд ли можно найти что-нибудь более чуждое современному человеку, чем лирика этого поэта», «Пушкин попросту не нужен», — но изумляет жёлчного автора

«неожиданная необычайная популярность поэта» и даже «возникший у нас культ личности Пушкина». Впрочем, берётся объяснить, — «надо только отделаться от пиетета перед его гением». Методика будет такая: «светлая сторона личности Пушкина не будет нас здесь интересовать», «незачем касаться того, в чём он был чист и глубок» (ведь не это же нам объяснит, почему его так любят в России через 150 лет), также и — «нас интересует здесь не поэтический дар... Александра Сергеевича», достаточно мерки классово-политической. А вот путь исследования: «Никто не станет теперь отделять психическую жизнь человека от её физиологической основы» (прямо от писаревских нигилистов). В свой поиск о личности поэта не упустить глумно включить его собственные признания (удобно, пригодится):

И, с отвращением читая жизнь мою...

Бегло накидать уже сильно потрёпанный предшественниками очерк декабристской эпохи, дворянства, общества, да нации, да всей страны («извечное русское холопство», «редкий в этой стране здравый смысл») — и разной грязи об её истории. И вот наконец ответ о сегодняшней популярности Пушкина: он потому близок и понятен нашему обществу, что он *такой же* предатель! — вот открытие. Пушкин «предал свои убеждения под угрозой тюрьмы и покорился власти, от которой зависело его общественное положение и материальное благополучие. Пушкин был политическим ренегатом». В духе стандартной дореволюционной «освобожденческой» непримиримости нам указывается: Пушкину «не пришла в голову мысль, что откровенность с царём постыдна, потому что царь — политический враг». (Ископаемое из слоя тех десятилетий.) И только, де, потому никого не заложил, что его не посадили в каземат. Но Пушкину «надо было образумиться срочно... в одну ночь, примириться с действительностью... или идти в тюрьму».

Не расхлёбывать нам сейчас тут заново неразмесную кашу декабризма. Бойкий оценщик не удосужился даже соотнестись получше с датами. И царствование Александра I совсем не было к Пушкину «снисходительным», как он его называет. И тем не менее уже

в его сроки Пушкин испытывает поворот мировоззрения. Можно бы заметить, «Андре Шенье» — написан *до* декабрьского восстания, Пушкин уже тогда разгадал цену революциям. И «Годунов» со всей его исторической глубиной — создан *до*. С. Л. Франк писал: уже к 1825 году в Пушкине выработалась «совершенно исключительная нравственная и государственная зрелость, беспартийно-человеческий, исторический, „шекспировский“ взгляд», «глубоко-государственное, изумительно мудрое и трезвое сознание, сочетающее принципиальный консерватизм с принципами уважения к свободе личности». И даже та прожжённая советская литэнциклопедия худших начётнических времён отмечала поворот во взглядах Пушкина с 1823, а пушкинское неодобрение декабрьского восстания объясняла хоть «боязнью крестьянской революции», но не лично шкурными же интересами. Далеко же шагнули образованские критики в своих понятиях.

Да это ещё не всё, главный смак нам оставлен на последние странички. Оказывается: женский светский аристократический Петербург составлял личный гарем царя. (Да какие ж у нашего проницательного исследователя источники? — ну, уже догадались: «послушаем, что рассказывает об этом [проезжий] маркиз де Кюстин», со слов «одной из своих знакомых, как поступила бы она, если бы царь проявил к ней интерес».) Итак, установлено: «царь не встречал отказа, таких случаев просто не знали». Значит, и Пушкин: «продал царю своё перо, а теперь должен служить ему и своей женой... Известный своей гордостью поэт... должен был теперь нести постельную повинность, подобно всем».

Однако не амурный поворот статьи, нет, политико-социальный, и Пушкин тут всего лишь как матерчатая мартышка, главные же громы — к ничтожным современникам, злость и высокомерие автора к ним уже в области забавности, но поскольку он не открыл нам себя, то лишает возможности оценить, насколько сам своею жизнью вознёсся над описываемым стадом. И оттого отскакивают к нему рикошетом его же формулировки: «Культура утрачена до такой степени, что самая утрата её уже не осознается», «человеку свой-

ственна глубокая потребность в самоутверждении... поэтому так интересно рыться в грязном белье так называемых великих людей.»

Ах, как предчувствовал Пушкин, написал: «Уважение к именам, освящённым славою... первый признак ума просвещённого.»

Но появись эта статья в отроге вольной социалистической публицистики, она и была бы отрыжкой всё тех же классовых аналитиков. А нет, пикантность в том, что её приючает в ограниченном объёме своего «Синтаксиса» Синявский. Что же тут могло привлечь разборчивого литературного критика?

Это заставляет задуматься: с каким же ведущим чувством были написаны и «Прогулки с Пушкиным»? Берём их в руки. Ещё обложка предупреждает нас, в чём будут состоять прогулки: франтоватость беспечного Пушкина (у него же не было горей) — и основательная огруженность лагерника Синявского, вероятно прямо с лесоповала: в валенках, стёганой ватной одёжке, рукавицах, и всё это внутри двойного обмыка колючей проволоки: вот, дескать, сейчас мы тебя распатроним перед нашим лагерным опытом.

Задачи своей критик не скрывает от самого начала: спешит выразить её глубину юмористическим эпиграфом из «Ревизора», а на первой же странице уже включает и в текст как устоявшееся бы суждение о Пушкине: «так как-то всё». Мучительно переборов свою «любовь к Пушкину, граничащую с поклонением», критик, однако, не сразу переходит к разбору «священных стихов поэта». Начинает он... да с того же самого вопроса, который мы только что слышали: «нам както затруднительно выразить, в чём его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе», «чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес»? И затем — да, с тех самых анекдотов о Пушкине, затрёпанных, пошлых, они служат как бы научным входом. Вот так трассируется:

— Ходячие анекдоты о Пушкине — Небрежность стиха, расхлябанность работы — Пушкин при дамах, кружение влюбчивости...

Эта череда ходов и не претендует на стройность, и

даже избегает её, это — продуманный танец вокруг Пушкина, не проникающий в его ядро, и часть па — меткого подражания, существенных примет, а часть и пустой припляс.

...— Пушкин пародиен и развивался вбок — Пристрастие Пушкина к анекдоту — Пушкин умер как мальчишка в согласии с программой своей жизни — Смирение — Универсализм от легкомыслия вальсирующего взгляда...

И как же стыкается ход с ходом? По ассоциациям, часто искусственным, хотя искусным, перескоки с сюжета на сюжет.

...— Содержимое Пушкина — пустота — Пушкин — вурдалак — Беспутный Певец чумного пира...

Ещё более удивишься этому сооружению: не постройка, а как бы прогрызен Пушкин норами, и всё больше по нижнему уровню, и система нор так запутана, что к концу мы вместе с эссеистом уже вряд ли помним своё начало и весь путь.

...— Мелочная регистрация жизни вместо её описания — «Евгений Онегин» — роман ни о чём, растительное дыхание жизни — Болтовня как осознанный стилистический принцип Пушкина — Пушкин — родоначальник невыносимого реализма русской литературы...

Тут танцор захрамывает и даже падает на колени:

...— Неуничтожимое чувство истории — Неопровержимое ощущение гармоничности бытия — И оттого — скульптурность, удержание образа — «Магический кристалл», всплытие невоплощённого блаженства... —

и это лучшее место, мы к этому вернёмся. Но затем движение снова уклокочивается —

...— Первая частная персона в фокусе исторического внимания — Фамильярность и экстравагантное позирование. ... — Преимущества негритянского происхождения — Пушкин равняется на Петра I — Пушкин равняется на Аполлона — Дионисийский восторг «Медного всадника» — Пушкин отрясает свой ничтожный прах в Онегина — Пушкин — это Хлестаков!

Странное... скажем, эссе, я назвал бы его «червогрыз», наиболее точно к его ходам. У него нет смысло-

вой конструкции, оно именно так и строится: начав со сладкого места, прогрызать и дальше лабиринт по сладкой мякоти, а где твёрдые косточки, что не идёт в жвало — миновать. Ни там индуктивного, ни там дедуктивного метода критик нам не предлагает, но ведёт по замышленно запутанным извивам. Противоречия между ходами не смущают эссеиста: вурдалак (с большой экспрессией и пониманием нам передан процесс вурдалачества и его ощущения) — и смирение. У беспутного — полнота гармонии. В пустоте — напряжённое чувство истории. Отрешённый царь поэзии, Аполлон, или земной царь Петр, «спиной к человеку», раздавливая его, — и Хлестаков... Эссеист увидел в Пушкине и что действительно можно увидеть — и чего уж никак невозможно. Но начальное скольжение идёт у критика легко, обаятельно и быстро приводит нас к заслуженно ничтожной смерти поэта. Однако танец, на всём пути умело оркестрованный стихами Пушкина, продолжен: цитаты если не всегда к месту по мысли, то к месту по музыке — музыка заимствуется у жертвы, — и, при ограниченном объёме произведения, эссеист возвращается, — не от запутанности своих ходов, но от страсти — второй раз отбить чечётку над дуэлью и смертью Пушкина, один раз ему кажется недостаточным. «Как ему ещё прикажете подыхать?»

В подробном лабиринте всего прогрыза чего только мы не услышим, черезо что только не вынуждены будем переползать. Безответственность без-трудолюбие, беззаботность Пушкина. Пушкин «органично воспринял вкусы балагана». И эти дешёвые вкусы не могли же не определить и собственного поведения пушкинского ничтожества: «Площадная драма, разыгранная им под занавес... в своей балаганной форме... правильно отвечает нашим общим представлениям о Пушкине-художнике... в крупном лубочном вкусе преподносит достаточно близкий и сочный его портрет» — и, через двоеточие, объяснение портрета: пугачёвская притча, что лучше раз напиться живой кровью, чем триста лет питаться падалью, — любимая притча Сталина, много преподанная в советской школе, — вот её и прилепить Пушкину, приём! «Вольно пересекаемое пространство», по которому «скользит, вальсируя, снисходи-

тельный взгляд поэта», — «вот его творчество в общих контурах». Наш аналитик вообще любит так — «в общих контурах» (а то — «грубо говоря», или — «продолжая, быть может, немного дальше, чем [оппонент] намеревался сказать», — многообещающая метода), представить предмет не в его пропорциональности, а в карикатуре, тогда его легче препарировать. «В общих контурах» мы и получаем, что «в облегчённых условиях творчества» юноша Пушкин «шаляй-валяй, что-то там такое пописывал, не утомляя себя излишним умственным напряжением».

Подкрепим эссеиста примерами: в 16 лет — «Наполеон на Эльбе», «На возвращение Государя императора из Парижа»; в 17 лет — «Принцу Оранскому», «Боже! царя храни!..»; в 20 — «Деревня» («Приветствую тебя, пустынный уголок...»).

«Лёгкость в отношении к жизни была основой миросозерцания Пушкина.» Подкрепим и тут: «Безверие» (1817). 18-летний юноша так разветвлённо описывает отроги неверия, этих мук, когда

Ум ищет Божества, а сердце не находит...
Во храм Всевышнего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей, —

а между тем

Завесу вечности колеблет смертный час,

приводя к открытию, что

Лишь вера в тишине отрадою своей
Живит унылый дух и сердца ожиданье.

В наше время не каждому и в 60 лет доступно такое ви́дение.

«В произведениях [Пушкина] свирепствует подмена, дёргающая авторитетные тексты вкривь и вкось». И где ж это «дёрганье»? Мы не ткнуты. (Тут бы и вспомнить критику, если б стояло у сердца: например, гениальное переложение в стихи «Отче наш» и молитвы Ефрема Сирина — вот уж не «вкривь», и вот ещё на что шла лёгкость пушкинских стихов, — кто из поэтов делал что-нибудь подобное?) Совмещал «вселенский замах», «генеральные масштабы» со вниманием к «расположенной под боком букашке», «крохоборчес-

кое искусство детализации», «карикатурно мелочен» — в упрёк. (А это — высшая похвала: что художник с равным успехом пользуется и легко меняет дальний и ближний объективы. Такая гибкость послана редко кому.) От Пушкина «повёлся на Руси обычай *изображать действительность*» (раздражённый курсив Синявского). И чем же плох обычай? «Болтливость Пушкина сочли большим реализмом.» И такой ещё находится Пушкину упрёк: «первобытная радость простого называния вещи», «поимённая регистрация мира», впрочем, «небрежная эскизность и мелькание по верхам» сближали сочинения Пушкина с «адрес-календарём». Особенно допекают критика многословные перечисления в «антиромане» «Онегине»: мол, «взамен описания жизни он учинял ей поголовную перепись», чтó может дать простой реестр?

Отчего же? Вот, например, простой реестр издёвок, которые успевает нашвырять критик поэту на тесном пространстве своего упражнения (для лёгкости чтения даю абзац без кавычек):

Егозливые прыжки и ужимки. Проворнее оттараторить. В амплуа ловеласа... прибыльное циркулирование стихов. Жестикуляция по-обезьяньи. При даме он вроде как при деле. С барышнями... вибрировать всеми членами. На тоненьких эротических ножках вбежал в большую поэзию. Сплошное популярное пятно с бакенбардами. Поэтический стриптиз. [Для дам] незаменимый, как болонка, такая шустрая, в кудряшках. Паркетный шаркун. Сколотивший на женщинах состояние. [Хлестаков] — человеческое alter ego поэта. Небесный выходец, скорее бес...

Скорее бес...

А то просто трунит: «плакать хочется — до того Пушкин хорош», «мы слизываем языком слёзы со щек». Впрочем, «возбуждал иногда у чутких целомудренных натур необъяснимую гадливость». И это при том, что Синявский то и дело восхищается Пушкиным, излагая это талантливо, увлечённо, местами ярко, однако эпитеты выдержаны так, чтоб и похвальная форма грязнила бы поэта. Нам предложено такое условие игры: сквозная двусмысленность, повсюду искать порчинку или даже искусственно её создавать.

Теперь о пушкинском творчестве:

Лефовское «искусство в производстве». Сам не заметил, как стал писателем, сосватанный дядюшкой под пьяную лавочку. Расхлябанность и мгновенное решение темы. Слабость к тому, что близко лежит. Его понесло. Ошалевший автор. Мчался давить мух. Порожняя тара. Пушкинская лужа (наплаканная станционным смотрителем). [Его] болтовня исключала сколько-нибудь серьёзное и длительное знакомство с действительностью. Работал, как фокусник... если правая [рука] писала стихи, то левая ковыряла в носу. Подсовывает читателю заваляший товар. У него было правило не отказываться от дешёвых подачек. Строфа его... достаточно ординарна и вертится бесом, не брезгуя... ни примелькавшимся плагиатом, ни падкими... рифмами. Его бессмысленно звонкие строфы. Кто ещё эдаким дуриком входил в литературу?

Или в литературную критику?

И это тянется черезо всё вертлявое сочинение, хлещет на каждой странице, таков — фон исследования. Зачем эта цепь кривляний, как она идёт к делу? Ею ничто не решится.

Постепенно мы начинаем понимать, что́ это и к чему. Критик увидел надёжный пятачок, на котором чем громче тарелки бить, тем и сам слышней. Пушкин для него не столько предмет, сколько средство самопоказа — своих прыжков, ужимок и замираний. Но при этом непоправимо отказывает эссеисту чувство меры. «Поражает, как часто его гениальность пробавлялась готовыми штампами», — зато Синявский тщится только бы не стривиальничать. Он — в своём излюбленном жанре анекдота и скандала. Он предлагает читателю «отбросить тяжеловесную сальность» «простодушного плебейского похабства» — но с тем, чтобы пуститься в похабство интеллигентское.

Да, так о дуэли же ещё (опять без кавычек):

Жил, шутя и играя... умер, заигравшись чересчур далеко. Колорит анекдота был выдержан до конца. Сплетню первым пустил поэт... Дуэль, раздутая сонмом биографов и... обещаний клятвенно отомстить за него [шпилька Лермонтову]... — была итогом его трудов... И будет распускать позорный слух о Пушкине по всей

планете всяк сущий в ней язык... И будет спрашивать всё слышавшее о нём человечество... [что же именно спрашивать?]... «с кем, когда, где»? [а может быть, намёк непонятен? кто не понял, тому в прямую пропечатку: ......? вопрос по-уличному, не повторяем], — самый острый, самый существенный вопрос для эстета-литературоведа. И теряя последнее чувство меры — ещё раз в мякоть, отдельной строчкой-жалом:

«Ну а всё-таки?»

Да не к этой ли самой мякотке он и точил весь свой грызовой ход? С такою сальностью глумиться над несчастной колотьбенной замученной жизнью поэта в его послеженитьбенные годы, когда уже и осень в Михайловском не давала ему покоя и вдохновения, а только заботы существования и горечь от жизни. А наивная-то Ахматова, полагая славу Пушкина утверждённой уже навек, недавно взялась перебирать изболевшие листки, отслоенные от исстрадавшейся души: «Тема семейной трагедии Пушкина не должна обсуждаться», но берётся она «уничтожить неправду» — из-за «змеиного шипения Полетики, маразматического бреда Трубецкого, сюсюканья Араповой». Вот никак не догадывалась Анна Андреевна, что тут же, под рукой, подрастает ещё один славный язвеист, а там потянется и целая приплясывающая вереница.

Неизлечимое амплуа Синявского — вторичность, переработка уже готовой литературы, чужого вдохновения, с добавкою специй. А ещё у него есть несчастное представление, что он творит новый литературный стиль языковыми разухабствами. Даёт он им волю и здесь. Не в лад, не в уровень к предмету рассмотрения, ни к задуманной высоте открытий напихать в текст грубых выражений, не слыша фальши собственного голоса (и это надо каждый раз понимать как художественный приём):

валандаются герои... шанс выйти в люди... встать на попа... жить на фуфу... по боку... на арапа... даёшь Варшаву!.. 15-летний пацан... смолоду ударил по географии... навяливается со своей биографией... ворошить злосчастные бебехи... к нашим баранам... сменив пластинку... скача на пуантах фатума [особая гордость стилиста, ибо: «по плитам международного форума»,

и не слышит безвкусицы]... закидоны донны Анны... карманник Германн.

Последнее подводит нас к лагерному опыту эссеиста, и, конечно же, он не упускает украситься и тамошним жаргоном:

насобачившийся хилять в рифму [Пушкин]... *статья* Пушкина [то есть уголовная, в смысле жизненного жребия]... тянет резину... кейфуя... подначки... для понта, на слабо́...

Так трудится Синявский, чтобы сделать своё сочинение памятной гримасой нашего литературоведения. Изворачивает взвешенное правило французского вкуса: у меня маленький бокал... а я хочу пить из большого. Поражаясь пушкинской широте и глубине восприятия существующего, Синявский изощряется объяснить их «сердечной неполноценностью», пустотой или «почти механической реакцией», «расфасовкой страстей и намерений по полочкам». «Много ль надо [вложить], коли нечего вкладывать», когда «не хватает своей начинки». В бессилии уловить тайну пушкинского приятия мира, критик нетерпеливо толкает поэта — в пустоту.

Для пустоты Пушкина он находит и такое веское доказательство: под его пером мы «успе[ваем] подружиться с обеими враждующими сторонами», Пушкин «наслаждается потехой» столкновений, «подыгрывает нашим и вашим», «будто науськивает их». Норовит придраться: «Бог помочь вам, друзья мои»? В этот стих щедро включено по крайней мере девять сфер жизни, — критик выхватывает оттуда одну «царскую службу»: ка-ак, и это наряду с декабристами?!?.. Тут у Синявского вызвучивает революционно-демократическая погудка, хотя уж так она не подходит к абстрактному эстетизму, настроение и мысли совпадают с приюченным разоблачителем «Пушкина без конца». «Царская служба»? — кроме жандармской, никогда не воображали ревдемократы других служб, создающих и крепящих Россию.

И вот куда дальше разыгрывается «пустота» Пушкина: «Для него уподобления суть образ жизни.» Как будто критику такого ранга невдомёк, что уподобления, способность без остатка воплотиться в персона-

же, и есть высшая форма писателя и артиста, а что вне этого — то будет Салтыков-Щедрин. Пушкин настолько «пуст», чтобы по-писательски уметь отобразить собой весь мир, а не только само-само-самовыражаться. Для того нужна не пустота, а бездонная глубина. Да, кто слишком занят собой, этого свойства понять нельзя. Всякий раз, воплощается ли Пушкин в Пугачёва, самозванца, Петра, Татьяну, Онегина, — всякий раз Синявский торжествует, что тут-то он и поймал Пушкина на какой-то собственной мерзкой черте! И, переплясав, он выдувает пустой пузырь... Пушкина-вурдалака! Ему мнится: «в столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое», — а иначе критик не может объяснить: это «переливание крови жертв в порожнюю тару того [Пушкина!], кто в сущности никем не является». Феноменальное открытие! Содрогнулась история мировой литературной критики. Надо подмазать, обосновать. А вот. Будто: у Пушкина в произведениях слишком много места отводится непогребённым телам, и даже «мёртвое тело смещается к центру произведения». Да где же это? А вот — убиенный царевич в «Годунове». Но позвольте, он повторно выплывает и выплывает как сюжет совести, а вовсе не в натуральном непогребённом виде, и вовсе не как страсть поэта-вурдалака. Сколько существует пушкинский «Годунов» — никто тут не видел до Синявского наслаждения кровососанием. Другие доказательства: прямые упоминания мертвецов, утопленников и даже вурдалака в стихах Пушкина. Но это потому, что они не так редки в фольклоре (ба! пропущенная тема: «народ-вурдалак»), — и Пушкин с чуткостью следует за фольклором. (А Синявский, увы, демонстрирует чувствительность скорее к блатному жаргону.) Но к чему поставлено у Пушкина? Утопленник? — мораль перед мёртвым; вурдалак сведен к шутке, из чего нам надувают? «Покойник у Пушкина служит... катализатором, в соседстве с которым [действие] стремительно набирает силу и скорость». Ну что за натяжка? Кто, оглядывая в целом всё читанное у Пушкина, уловил это некрофилическое возбуждение? Синявский натягивает примеры из «Дон-Жуана», из Вильсона (сюжеты бродячие), а из «Онегина» даже антипример (от смер-

ти Ленского действие прервалось надолго), — всё сгодится. Но на том и лопнул вурдалачный пузырь.

Как же это всё понять? В разборе есть столько талантливого — зачем же его губить? Неужели Синявский не видит высших уровней Пушкина? О, отлично видит (из-за того и всё выламывание на пушкинской площади), и от поры до поры даёт им прорисоваться на своих страницах. «Эротическая стихия у Пушкина вольна рассеиваться, истончаться, достигая трепетным эхом отдалённых вершин духа.» (Или, менее удачным слогом: «впечатление перекрыто положительным результатом».) «Всем на удивление — нов, свеж, современен и интересен.» «Загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашённых.» Да и «растительное дыхание жизни» — пожалуй, тоже оборачивается похвалой? «Роман утекает у нас сквозь пальцы», «неуловим, как воздух». Пушкину «всегда удавалось попасть в такт», «он, и безумствуя, знает меру, именуемую вкусом» (урок его критикам). «Вещи выглядят у Пушкина как золотое яблочко на серебряном блюдечке.» «Пушкин чаще всего любит то, о чём пишет... [и вот чего лишена наша новейшая литература, увы] ...а так как он писал обо всём, не найти в мире более доброжелательного писателя.» «В своих сочинениях [Пушкин] ничего другого не делал, кроме как пересказывал ритмичность миропорядка.» Это проворчано в сниженном ряду «обеда и ужина, зимы и лета», — а есть ли у художника более высокая задача, чем делать слышным ритм миропорядка? Чувство всеобщей гармонии, царствующее в Пушкине, дразнит критика — и он схемно, коридорно объясняет его фатализмом, «сознанием собственной беспомощности». Сень божественного Провидения у Пушкина критик подменяет с маленькой буквы «судьбой, распределяющей награды и штрафы». «Ленивый гений Пушкина — Моцарта потому (!) и не способен к злодейству», что не берётся «самовольно исправить судьбу». Во всех извилистых ходах тяготеет над Синявским это недоумение от разности мироощущений. (По поговорке — «болен чужим здоровьем».) По художественному чутью он не может этого не воспринимать на каждом извиве. «Пушкин — золотое сечение русской литературы.» «Фигура кру-

га... наиболее отвечает духу Пушкина», «самый круглый в русской литературе писатель». Где-то в середине Синявский и вовсе прекращает свой танец, на короткое время перестаёт суетиться с нагромождением парадоксальностей, но в озадаченности всё поднимается. Тут он делает своё замечательное наблюдение, что изобилие «отрывков» у Пушкина, — «Пушкин по преимуществу мыслит отрывками, это его стиль», — вовсе не порок, а тоже признак совершенства: «Утраты не портят их, а, кажется, придают настоящую законченность образу... Фрагментарность тут, можно догадываться, вызвана прежде всего пронзительным сознанием целого, не нуждающегося в полном объёме и заключённого в едином куске.» Эти все наблюдения до чего же верны. Это тут критик зорко судит о природе скульптурности у Пушкина как способе удержания образа, тут со вдохновением истолковывает и необминуемый «магический кристалл» и, в «виденьях первоначальных, чистых дней», всплытие блаженства. И даже, в последней крайности, пронзённый, один раз присоединяет и свой голос к голосу поэта: «Отче, открой нам, что мы Твои дети.»

Мы всё более недоумеваем. Понимая *такое* — на что же тратить свой талант? как же можно столько изгаляться, наметать столько блатного мусора? Какое же чувство может двигать критиком, столько раз декларировавшим свою преданность русской культуре? Может быть, и для него самого это загадка. Вдруг встречаем в его новейшем эссе («Синтаксис», 1984, № 12):

> Где только не испражняется русский человек! На улице, в подворотне, в сквере, в телефонной будке, в подъезде. Есть какая-то запятая в причудливой нашей натуре, толкающая пренебрегать удобствами цивилизации и непринуждённо, весело справлять свои нужды, невзирая на страх быть застигнутым с поличным... Однако ничто у нас на Руси так не загажено, как «памятники народного зодчества»... Пустынное место, что ли, располагает к интимности? Что же ещё делать в пустоте одинокому человеку? Скинет штаны, почувствует себя на минуту Вольтером и — бежать. И не просто дурь или дикость. Напротив. Чувствуется упорная воля... И сколько тут смелой выдумки, неистощимой изобретательности! В соборе XIII столетия мне посчастливилось обнаружить кокетливый след одного правдоискателя, оставившего аккуратную кучку под самым куполом...

Вернее — видимо, не объяснить. Не система взглядов и оценок ведёт критика, а вот этот синдром. Очевидно, «есть какая-то запятая в натуре» всякого ниспровергателя (о, далеко не единственного) искать для такой нужды если не святое место, то просто притягивающее человеческую любовь, тепло, — и туда... «И сколько тут смелой выдумки, неистощимой изобретательности», — перелистывайте сегодняшнюю печатную продукцию, обретшую свободу.

А чтобы такой творческий акт, особой формы, произвести над гением — удобнее совершить над ним вивисекцию: рассечь на гения и человека , «светлую часть рассматривать не будем», выпустим, так и быть, гения из храма через купол, а в оставшемся пустом храме — нагадим. Эту вивисекцию, пигмейскую уловку, охотно употребляла дореволюционная ревдемократическая критика, затем и советская, теперь и новоэмигрантская. И Синявский много страниц сжатого изложения не жалеет на изощрённые спекуляции о разъятии, совмещении, замещении Поэта и человека. «Пушкинский Поэт... нечто настолько дикое и необъяснимое, что людям с ним делать нечего... Он либо стоит столбом, ни на кого не обращая внимания, либо носится, как сумасшедший.» Смешивать в живом лице человека и поэта — «тонкий соблазн». Пушкин «единого человека рассёк пополам на Поэта и человека» (вовсе нет, приписывает свой метод), — «фокусник». Столько фиоритур на темы крови («негр — это нет, негр — это небо») — и ничего о духовной укоренённости Пушкина. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» — «странная тирада»? Всё это не ново, малозначительно, пустые упражнения. Как во всяком человеке, всё едино, органично и в гении: его жизненное поведение, светлые и тёмные стороны, краски и тени личности, его мысли и взгляды, его художественные достижения и провалы, — и притом во всякую минуту естественное пребывание самим собою. Гениальность — не влитая отдельная жидкость. Судить по разъятым частям — обречь себя не понять сути. Но, конечно, понять явление целостно — несравнимо трудней.

Синявский приносит и навязывает Пушкину, что для его «модели мироздания... необходимо в середине

земли предусмотреть... гроб... неиссякающего мертвеца, конденсированную смерть». Так — для многих (чаще неверующих) людей, завороженных неизбежностью нашей смерти, тоскующих «в той норе, во тьме печальной». Но у светлого Пушкина мы нигде не встречаем страха смерти, для него смерть — на надлежащем, отнюдь не стержневом месте, на истинном уравновешенном её месте в строю вселенной, Пушкин и в этом проявляет предельное духовное здоровье. Когда он говорит о божестве и божественном — это никогда не пустые слова, не мимоходный эпитет. Поэт не сомневается в бессмертии души, сумел выразить его в двух поразительных эпитафиях младенцам. Говорил: «Я много думаю о смерти и уже в первой молодости много думал о ней», — но относился к смерти примирённо, спокойно, с возвышением мысли. После дуэли потребовал от Данзаса не мстить за свою смерть. Причащавший его старый священник сказал: «Для самого себя желаю такого конца, какой он имел.»

Однако заиграть Пушкина в пустоту — ещё будет мало. Как и предшественник их Писарев, новые критики заботятся создать впечатление, что Пушкин был глуповатый человек без существенных мыслей, лишь несомый необузданным даром. Тот тугоухий рационалист писал:

> В так называемом великом поэте я показал моим читателям легкомысленного версификатора, погружённого в созерцание мелких личных ощущений и совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века.

В «Пушкине без конца»: «С лёгкой руки Достоевского принято считать [Пушкина] мудрецом». И у Синявского так прямо и написано: «по совести говоря, ну какой он мыслитель!», и подробней: «Отсутствие строгой системы, ясного мировоззрения, умственной дисциплины, всеядность и безответственность [Пушкина] в отношении бытовавших в то время фундаментальных доктрин».

Что имеют оценщики в виду? Какие такие фундаментальные доктрины? Они-то знают, но читателю не спешат разъяснить. Пушкин осмеливался высказываться так: «Нам уже слишком известна французская фи-

лософия XVIII столетия», «соблазнительные *исповеди*», и «ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал своё имя». А посему все нежелательные — острые, меткие, глубокие — замечания выдающегося интеллекта в его публицистике, критике и письмах должны быть замолчаны, не напоминать, авось не заглянут, состроить временный желаемый шалашик без них.

Мы постепенно вступаем в объём, не изъеденный ходами критиков. Мы оглядели, что́ они в Пушкине изрыли, — но ещё остаётся: от чего уклонились, а без этого и картины нет.

С какой уверенностью и знанием возражает Пушкин Чаадаеву:

> Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться [следует беглый обзор событий]. ...Разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России?.. ...Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал.

Или в очерке о Радищеве:

> Умствования оного пошлы и не оживлены слогом. <...> Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма. <...> ...Думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал. <...> ...Истинный представитель полупросвещения.

И о «Путешествии» его, этих святцах российской ревдемократии:

> ...Сатирическое воззвание к возмущению... Варварский слог... Бранчивые и напыщенные выражения... с примесью пошлого и преступного пустословия... жёлчью напитанное перо... Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственною книгою...

изданной ради политического взрыва в такое время, когда

> ...правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но ещё требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения...

Но и шире:

...Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви.

Да невыносимо образованским литераторам цитировать Пушкина, где он и в виду внешней цензуры не упускает внутреннюю ответственность:

...он злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы, а с другой — чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной?

И даже еще куда невыносимей: что «аристократия пишущих талантов» —

самая мощная, самая опасная... На целые поколения, на целые столетия налагает свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки... Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. <...> Самое глупое ругательство и неосновательное суждение получают вес от волшебного влияния типографии.

Да, может быть, в таких-то взглядах Пушкина (помимо его общего раздражающего душевного здоровья, равновесия, неизъеденности ржавчиной) и залегает одна из причин нынешнего гнева. Две цитаты всё же пропирают кольями бок изнутри, и Синявский не утаивает их:

Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим... Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне... [и, продолжим критика:] частные, поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему... —

да ведь это на полтора века вперёд о сегодняшнем полупросвещении и претензиях его глашатаев. А ещё ж о Соединённых Штатах, 150 лет назад:

С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству.

И это неприятное: «Что нужно Лондону, то рано для Москвы.»

А ещё же бывали перéчные свидетельства поэта, вроде:

> Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлёности и говорить нечего. Переимчивость его известна... Никогда не встретите вы в нашем народе невежественного презрения к чужому.

А ещё ж недосягаемая способность Пушкина «соединить в себе непримиримые сознания интеллигенции и империи» (Бердяев), «синтез империи и свободы, неосуществимый после него... Как только Пушкин закрыл глаза — разрыв империи и свободы совершился бесповоротно... Свободу мятежную он судит во имя высшей свободы... Ничто не позволяет назвать его демократом... С возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию... его консервативное сознание» (Федотов), «свободный консерватизм» (Вяземский). Пушкин договаривался до того, что «устойчивость — первое условие общественного блага».

Да, при таких взглядах — Пушкина удобнее всего, разумеется, перевести в дурачки.

Гершензон так и статью назвал «Мудрость Пушкина». А Франк: «великий русский мудрец». Он указывает, что Пушкин оставался в русском общественном сознании недооцененным в течение всего XIX века — потому что политическая мысль до самого 1917 года пошла (и пришла...) не пушкинскими путями. Используя все письменные высказывания поэта и достоверно дошедшие до нас устные, Франк оценивает политическое мировоззрение Пушкина как «изумительное историческое явление русской мысли», настаивает, что «величайший русский поэт был также совершенно оригинальным и, можно смело сказать, величайшим русским политическим мыслителем XIX века», «Пушкин представляет в истории русской политической мысли совершенный уникум среди независимых и оппозиционно настроенных русских писателей XIX века».

А пушкинский жадный интерес к истории и напряжённое чувство её? — много ли равного мы потом разыщем в нашей литературе? С каким настоянием, рискуя вызвать высочайшее раздражение, он держится за право доступа в исторические архивы. Как забот-

ливо ищет бумаги по частным хранителям. Несколько начатых крупных исторических замыслов, история от Петра I до Петра III. Уж литературоведу надо бы уметь видеть писателя в тех контурах, к которым он рос и тянулся, а не только в тех, которые, по нескладности жизни, он успел занять. И каково толкование текста «Слова о полку Игореве», в оспор набежавших поспешных специалистов! Яркая память всей глубины истории русской, с которою Пушкин ощущает свою органическую слитость, всех веков, а особенно последних царствований, а особенно Отечественной войны в пору своего отрочества, и трагических фигур этой войны. Постоянная забота «о славе и о бедствиях отечества» — и вперемешку с этим пристальное внимание ко всеобщей истории, и Запада и Востока, «всечеловеческий захват при сохранении национальной полноты» (П. Струве), и не остывающий интерес к Европе (Вейдле: «метко застреленный европейцем, но плохо переведенный на европейские языки») и недавней тогда Французской революции, верное суждение о духе её:

О брате сожалеть не смеет ныне брат...
...Убийцу с палачами
Избрали мы в цари... —

братское чувство к казнимому Андре Шенье.

Но мало того что пушкинское чувство истории было напряжённым — оно было и удивительно взвешенным: он мог одновременно негодовать от внутренних пороков в современной ему России (письмо Чаадаеву, 1836) и не упускать места России в мировой истории. И каким уроком последующим десятилетиям звучит его предостережение:

> ...не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества.

Мы вовсе не призываем стать такими беспредельными поклонниками Пушкина, как те, которые в ответ на критику всех зол петербургского периода России отвечают: «А зато он дал нам Пушкина!» Однако удивляться надо тому, сколько пушкинского мы переносим с собою в XXI век. Что даже частные письма его

мы сегодня читаем с упоительным интересом. (И как они умны!) Ведь Пушкин застал нашу прозу «так ещё мало обработанной, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для объяснения понятий самых обыкновенных». Чтение его случайнейших отрывков, заметок передает нам ощущение полёта всегда свободной мысли. Ещё не имев и достаточно лет на мужанье и сотворенье, он стал верное начало наше. А мы не так-то много, не так-то во многом за ним и пошли, скорее сказать: русская литература до сих пор недостаточно усвоила Пушкина — и предложенную им широту (столько уклонясь,· за Радищевым? к мортирным сатирам на социальные язвы), и его легкосхватчивый попутный скользящий беззлобный юмор, отозвавшийся заметнее всех в Булгакове. Ещё и с рождением народной трагедии — сочетание свойств, о котором не скажешь, что оно потом легко повторялось в нашей или в другой какой литературе. Пушкину у нас оказались верны не столько имена первого ряда.

Пушкин уверенно вывел из наблюдений: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». Так вот Пушкин — принадлежал русскому, хотя удивительно были ему открыты и Древняя Греция и Древний Рим, Египет, Библия, мусульманский мир, Испания, Франция, Англия.

Пушкин пропитан русской народной образностью; в общей сродности с народной основой и его христианская вера. Она выражается в форме народного благочестия, которое он естественно перенимает из народной стихии: «Пречистая и наш божественный Спаситель». Тут и нянино венчанье — «Так, видно, Бог велел», и предсмертный земной поклон Пугачёва кремлёвским соборам, и весь колорит «Бориса Годунова», и православный подвижник Пимен, и прямая защита православия в письме к Чаадаеву. С сочувствием и пониманием комментирует наш поэт и «Словарь святых», не боясь вольтерьянского хохотка. Не сочтёшь поэтической игрой переложение двух молитв. Не сочтёшь и простым разговорным оборотом:

Веленью Божьему, о Муза, будь послушна.

Вера его высится в необходимом, и объясняющем, единстве с общим примирённым мирочувствием:

Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне.

Самое высокое достижение и наследие нам от Пушкина — не какое отдельное его произведение, ни даже лёгкость его поэзии непревзойденная, ни даже глубина его народности, так поразившая Достоевского. Но — его способность (наиболее отсутствующая в сегодняшней литературе) всё сказать, всё показываемое видеть, о с в е т л я я его. Всем событиям, лицам и чувствам, и особенно боли, скорби, сообщая и свет внутренний, и свет осеняющий, — и читатель возвышается до ощущения того, что́ глубже и выше этих событий, этих лиц, этих чувств. Ёмкость его мироощущения, гармоничная цельность, в которой уравновешены все стороны бытия: через изведанные им, живо ощущаемые толщи мирового трагизма — всплытие в слой покоя, примирённости и света. Горе и горечь осветляются высшим пониманием, печаль смягчена примирением.

За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать?

Это — не мимоходная фраза, это философия, «милость к падшим призывал». Пушкин принимает действительность именно всю и именно такою, как её создал Бог. У него нет «онтологического пессимизма, онтологической хулы на мир...», но хвала ему; и «русская литература в целом была христианской в ту меру, в какой она оставалась, на последней своей глубине, верной Пушкину» (о. А. Шмеман). «Самый гармонический дух, выдвинутый русской культурой... Воплощение меры и мерность... До конца прозрачная ясность...» (П. Струве). Все противоречия у него разрешаются в жизнеутверждающей созвучности, в светлом аккорде. Вот этим оздоровляющим жизнечувствием Пушкин и превозвысил надолго вперёд — и русскую литературу уже двух веков, и сегодняшнюю смятенную, издёрганную западную. Из-за этого чуда и «не было в России писателя, перед которым анализ оказался

бы настолько бессилен... Бедны и заносчивы все комментарии к тому» (Адамович).

Но прибегают проворные, быстро сколачивают фанерный макет, претензией больше бронзового памятника, заслоняют и малюют: «Пушкин-вурдалак», «Пушкин-Хлестаков», «Пушкин-предатель» (и ещё будет). И читателям предлагается забыть, что́ наслоилось в их душах от Пушкина, или по крайней мере усумниться. (Оба начинают с жалобы, что им мешает величие, вознесённость Пушкина, предлагают прогуляться с чёрного хода, — мол, парадный «заставлен венками и бюстами». Если принять эту мотивировку за чистую монету — нельзя не поразиться: какая ж внутренняя несвобода в общении с высокими ценностями, какое рефлективное, подростковое сознание.)

Естественно ли было нам ожидать, что новая критика, едва освободясь от невыносимого гнёта советской цензуры, — на что же первое употребит свою свободу? — на удар по Пушкину? С нашим нынешним опоздавшим опытом ответим: да, именно этого и надо было ожидать. Потому что эта критика реально продолжает эстетический нигилизм шестидесятников, хотя б и понимала себя суперавангардистской. Не случайно у того же Синявского в диссидентской исповеди читаем: «я воспитывался в лучших традициях русской революции... в традициях революционного идеализма, о чём, кстати, сейчас нисколько не сожалею» (дело хозяйское). Ревдемовскую и новейшую критику роднит революционное неуважение к классике (через которое они претендуют отличиться самобытностью мысли); новейшей, кроме того, свойственна вседозволенность сальностей и хамства.

И этот хоровод не вокруг одного Пушкина, и не только в двух названных сочинениях. В первом бегло успето и о Достоевском: «несуразное мировоззрение»; и Достоевский, мол, осудил своё вольнодумство «по той же причине» — то есть из желания угодить властям и добыть материальные преимущества. (Только о сутенёрстве пока не сказано.) В «Прогулках» достаётся тоже не одному Пушкину. Походя замечание о Гоголе такого типа: «рисова[л] всё в превратном свете

своего кривого носа». (Стиль-то! — свет носа...) Но гораздо чаще о Лермонтове (Лермонтов чем-то сильно уязвил критика, своим ли мистическим мироощущением?): много играл «на нервах» войны; «Бородино» появилось «под влиянием *дяди*» «самых честных правил» (ведь такое редкое слово «дядя», ясно виден литературный исток); ещё ж это неприличие «мстить» за Пушкина, или вызов: «Я рождён, чтоб целый мир был зритель...» Тут пока только эскизы, но, может быть, грянет и книга о Лермонтове, тем легче, что Лермонтов имел мало простора объясниться. Да вообще эта «лишённая стати... оголтелая описательность девятнадцатого столетия», «горы протоколов с тусклыми заголовками»... Беглыми рикошетами раздражение критика достаётся Гончарову, Чехову, ну и конечно же Толстому: над названьем «Война и мир» критик хихикает, иронически называет Толстого «артистом», а в другом месте и прямо объявил его «гениальной посредственностью». (И что ж вырастает за грандиозная аполлоническая фигура самого судьи, создателя «Крошки Цорес».)

Это — перспективное направление, от него можно ждать ещё разительных открытий о русской классике. Ещё придут новые боратели, доказывать: как ни в чём и никакого прошлого у России не было, так и литературного тоже. Уже целая литературная ветвь (в эмигрантском отвилке усвоив себе и новый атрибут «русскоязычная») практически «работает на снижение», развалить именно то, что в русской литературе было высоко и чисто. Распущенная и больная своей распущенностью, до ломки граней достойности, с удушающими порциями кривляний, она силится представить всеиронию, игру и вольность самодостаточным Новым Словом, — часто скрывая за ними бесплодие, вспышки несущественности, переигрывание пустоты.

Хотя не думаю, чтоб этот разгул оказался губителен для нашей литературы, с корнями в тысячелетней толще бытия народа и языка, но, несомненно, он прививает новые язвы нашему изнемогающему обществу, которому так мучительно трудно отстаивать обломки культуры в семидесятилетнем развале. Фет писал о Чернышевском: «Он кидает, например, грязью в Пуш-

кина вовсе не за то, что Пушкин талант, нет, ему приятно в лице Пушкина хватить во всякий авторитет.» В этом суть. (И дух наших «плюралистов».) Для России Пушкин — непререкаемый духовный авторитет, в нынешнем одичании так способный помочь нам уберечь наше насущное, противостоять фальшивому. В удушьи 1921 года это уже понял и выразил Блок: «Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе!»

Апрель 1984

РАДИОИНТЕРВЬЮ О «КРАСНОМ КОЛЕСЕ» ДЛЯ «ГОЛОСА АМЕРИКИ»

(Интервью ведёт Марк Помар)

Кавендиш, 31 мая 1984

Что такое «Красное Колесо»?

«Красное Колесо» — это большое повествование о судьбах России в революции. Не отдельных лиц, даже не отдельных слоёв, а всей России в целом: от крестьянина глухого угла, от рабочего петроградского завода — до царя; от Петербурга — и до дальних мест России. Февральская революция, задвинутая октябрьским переворотом и господством большевиков, вообще как бы пропала в нашей русской истории. Множество её событий неизвестно, особенно внутри страны. А это самое крупное событие нашей истории, это и есть, собственно, главная революция, вот там повернулись судьбы России, да и судьбы всего мира.

Но, когда я начал работать над книгой, я понял, что и с Февральской революции нельзя начать, потому что Февральская революция связана с Первой мировой войной, она бы не произошла, если бы не было Первой мировой войны. Стало быть, надо как-то описать и Первую мировую войну... Та война тоже, кстати, у нас потеряна, отодвинута гражданской войной. Однако оказалось, что и с этого нельзя начать, потому что все исторические персонажи, все действующие лица, они несут в себе и прошлое, последние перед тем десятилетия, и нельзя понять хода событий, если не отступить ещё назад и не объяснить, как сложились сами люди, само общественное настроение, само историческое понимание. Так я стал отступать сперва в столыпинскую эпоху...

Ваш план, значит, постепенно менялся, развивался?

Да, всё время он как бы расширялся и отступал по

времени назад. Столыпинская эпоха — это была замечательная эпоха, всего пять-шесть лет, когда после раскачанного революцией состояния, в котором Россия почти разваливалась, она снова выздоровела и вернулась к нормальному состоянию. Западные ведущие деятели удивлялись: как можно было за пять лет так приготовить страну к парламентской жизни и ввести в неё. Вот этот самый как раз отрывок я и избрал, и его наши радиослушатели услышат по вашей станции.

Ну, и не только на этом пришлось остановиться, нельзя было объяснить столыпинской эпохи без описания, хоть очень краткого, революции 1905—1906 годов. А революция пятого-шестого годов непонятна без описания очень мятежных, бурных годов 1901, 1902, 1903. Правда, все эти отступления, о которых я говорю, они не входят в главное повествование, они даются ретроспективно, взглядом назад, а главное повествование всё же начинается с 1914 года. Центральные же тома, описывающие Февральскую революцию, называются «Март Семнадцатого». Революция описывается во всех её подробностях, час за часом, минута за минутой, и каждое сколько-нибудь заметное действие. Вообще опыт описания революций в литературе мал. Описать революцию всю, так, чтоб её можно было понять во всём масштабе страны и перещупать от минуты к минуте. Я, однако, надеялся, заветно, на этом работу не кончить. Мой первоначальный, давнишний замысел был: описать и октябрьский переворот, описать и гражданскую войну и дойти до «заковки путей»: когда большевики, придя к власти, уже сразу определили железное русло для нового направления. Теперь, когда мне уже 65 лет, я вижу, что мне не кончить этой огромной работы. Я 50 лет ношу замысел, а работаю непрерывно 15. И вот за 15 лет по тому, сколько я написал, я вижу, что кончить всего плана мне не удастся, но я надеюсь ещё дать несколько томов по описанию 1917 года. Надо сказать, что 1917 год — из тех годов, о которых говорят: локомотивы истории. Буквально от месяца к месяцу меняется как бы эпоха. Проходит от месяца к месяцу не месяц, а многие годы. Так меняются люди, общественные настроения, соотношение сил, динамика движения.

«Красное Колесо» основано на очень богатом, и до сих пор не полностью проработанном, историческом материале. Не могли бы вы рассказать о том, как вы использовали архивы, документы, газеты, воспоминания. Какую роль этот материал сыграл в построении вашего романа?

Да, материал богатейший. Надо сказать, что написано вообще, особенно в эмиграции, очень много. Много было важнейших публикаций и в ранние советские годы, начиная с 1921. Но уже к 1928 это всё засушили, скрыли, спрятали. В 20-е годы советские цензоры ещё не успели понять, как надо кромсать, прятать и скрывать материал. И действительно, есть великолепные публикации, особенно в журнале «Красный архив», и во многих других. Мне удалось частью этим воспользоваться, живя в Советском Союзе, частью этих материалов, но не слишком большой долею, потому что всё теперь засекречено, всё это находится в спецотделах, или во всяком случае нужно иметь всегда специальный допуск. Короткое время, когда я был членом Союза советских писателей, мне удавалось получать направления, для того чтобы меня допускали в эти хранилища. И я кое-что успел там прочесть. Но как только меня в 1969 году исключили из Союза, так я этого был всего лишён, а как раз в 1969 году я и начал писать «Красное Колесо». Потом более поздние советские публикации десятилетиями печатались: 30, 40, 50, 60, 70-е годы. Но я должен сказать: это месиво, это вытягиванье твоих жил: если в этой навозной куче есть кое-где отдельные жемчужины, то нужно столько перекопать, что ты уже задыхаешься, не можешь столько тянуть. Я считаю, что, к сожалению, очень хорошие, может быть, исторические силы в Советском Союзе лишены возможности себя выразить. Они такими крохами подают там истину между ворохом хлама марксистской терминологии, советских глупостей, что читать эти книги невозможно, научной ценности они, в общем, не имеют.

Мне удался, пока я не был выслан из Советского Союза, ещё другого вида сбор материалов. Это — личное посещение мест. Ну, во-первых, для меня очень

важны Тамбовская губерния и Тамбов, я там бывал несколько раз, хотя тоже, как человек неофициальный, я должен был это делать скрыто. Ростов и Новочеркасск — ну, там я провёл молодость. Изучал и старую Москву. А что касается Петербурга-Петрограда, то я посвятил, к счастью, один полный месяц жизни на то, что пешком, ежедневно, ходил по городу, имея на руках объяснительные карточки на все улицы, на все дома, объяснения — что в каком доме было, что на какой улице случилось и когда. Карточки я сперва заготовлял многие месяцы, потом приехал туда и ходил по Петрограду месяц, ни разу не воспользовавшись ни троллейбусом, ни метро, никаким видом транспорта, а только пешком. Останавливался около каждого дома и рассматривал. Я даже и не представлял, насколько это мне понадобится. Теперь, когда я писал четыре тома Февральской революции, и большая часть действий происходит в Петрограде, я бы не мог этого писать ни по какой карте, если бы я это всё не видел. Но я с закрытыми глазами вижу каждый дом, каждый перекресток.

Ну, а когда я попал сюда, на Запад, то мне открылась обильнейшая литература. Во-первых, обильная эмигрантская; во-вторых, тут существует масса напечатанных и ещё большая масса ненапечатанных мемуаров. Я обратился с воззванием к старой эмиграции писать воспоминания о революции, кто ещё не писал. Нам, во Всероссийскую Мемуарную Библиотеку, удалось собрать сейчас до пятисот воспоминаний, некоторые очень толстые, большие и даже многотомные. Из них больше трёхсот — воспоминания свидетелей революции, и никем никогда не напечатаны. Это несколько напоминает, как я работал над «Архипелагом ГУЛагом». Там тоже у меня 227 свидетелей было, которые давали показания о ГУЛАГе, а здесь более трёхсот свидетелей революции. Когда читаешь их — такое впечатление, что ты живёшь в том времени, и просто разговариваешь с участниками событий, хотя некоторые из них за эти годы уже умерли. Затем здесь, в прекрасных хранилищах Соединённых Штатов, из-за чего я сюда и переехал, существуют богатейшие архивы по русской истории, особенно в Гуверовском

институте. Ну, и у себя дома, здесь, я собрал много книг, много публикаций, но, кроме всего, очень важно, — газеты. Я имею микрофильмы всех газет того времени. И петербургских и московских. Я по каждому числу, по каждой дате Февральской революции прочитываю до пятнадцати газет, а газеты все разнообразные, у каждой своё лицо, у каждой своё направление, одни подхватят одно, другие подхватят другое, и вот прочтёшь об одном и том же дне полтора десятка разных газет, газеты полны событиями, это очень свежее впечатление. Всё это даёт богатейший материал, это как вулкан дрожит под тобой.

Ну вот, все эти годы, можно сказать, я ничем другим и не занимаюсь на Западе: кроме моих коротких небольших выступлений я непрерывно, всё время сижу прорабатываю материал и пишу свои Узлы.

Если можно, ещё один вопрос. В исторических романах неизбежно возникает проблема, как определить пропорцию исторических личностей и вымышленных героев. Лев Толстой в «Войне и мире» в основном опирался на вымышленных героев, через них представлял свои философские теории, понимание русской истории. Как вы разрешили эту проблему?

Я разрешил её, так сказать, советуясь с материалом и взаимодействуя с материалом. Для того чтобы описывать так ответственно историю нашей революции, я не мог опираться на одних вымышленных лиц: это дало бы слишком большой произвол моим чувствам и моим возможностям придумывать такое, чего не было. Я давно уже, с самого начала, стал на такую точку зрения: стараюсь иметь как можно больше персонажей действительно существовавших. Вот, например, в той серии чтений, которую услышат по вашей радиостанции слушатели, нет вообще ни одного придуманного героя, просто все действительно исторические, все до единого. Конечно, в общем масштабе всего повествования это не так, но у меня вымышленных персонажей сравнительно немного. Все остальные — истинные исторические лица. Иногда самые крупные, иногда совсем незаметные, но мною точно установле-

но, что они были, на каком-то там маленьком месте они существовали. Я пошёл по линии непридумывания персонажей. Вымышленные персонажи вот для чего нужны: они дают нам личный контакт, дают нам возможность почувствовать, что, несмотря на все великие исторические события, — личная жизнь-то течёт. Всё так же происходят личные человеческие драмы, и трагедии, и радости. Но я не вставлял в каждое историческое событие какого-то случайного наблюдателя, как Пьер Безухов бродит без толку по Бородинскому полю. Не так, — я просто беру историческое лицо, которое там действовало, его беру — и пытаюсь его психологию вскрыть, на основе его языка, документов, его биографии. Не выходя из строгих фактов, даю только психологическую трактовку. Психологическую трактовку я могу в какой-то степени давать свою, потому что не все исторические лица себя и открывали: очень многие в мемуарах пишут неискренне, а я даю, как я это чувствую. Но так я поступил в очень немногих случаях, буквально их можно перечислить. А если я брал историческое лицо, но почему-то должен был немного изменить его биографию или немного изменить его обстоятельства, тогда я и не оставлял его истинное имя. Это, например, весьма знаменитый в русской истории инженер Пальчинский, расстрелянный потом в 1929 году. Это писатель Фёдор Крюков, умерший в 1920. Это генерал Свечин, расстрелянный в 1937 году в Советском Союзе. Когда я их беру и немножко меняю, то я тоже меняю им что-нибудь: или фамилию, или имя, или отчество. Это даёт мне чуть большую свободу. Но в основном, — всех главных действующих лиц, и царскую семью, и великих князей, и всех министров, всех главных деятелей Временного правительства, всех главных деятелей Совета рабочих депутатов, — я всех даю точно с их биографиями, с их подробностями, с их действиями, — так, как оно было.

ИНТЕРВЬЮ с Н. А. СТРУВЕ ОБ «ОКТЯБРЕ ШЕСТНАДЦАТОГО» ДЛЯ ЖУРНАЛА «ЭКСПРЕСС»

Кавендиш, 30 сентября 1984

«Октябрь Шестнадцатого» является чем-то необычным для читателя в вашем творчестве; в нём, в отличие от «Августа» и других романов, ничего не происходит, это срез на всю Россию, взор на Россию перед революцией. Был ли этот Узел задуман так же давно, как «Август», входил ли он с самого начала в ваше видение эпопеи русской революции?

Я начал Узлы с «Августа» потому, что нужно было показать, как повлияла война на революцию. А дальше, при моём методе узлов, надо было взять несколько проб по военному времени, чтобы показать постепенно, как сдвигается Россия к революции. И у меня было задумано два Узла: Август Пятнадцатого и Октябрь Шестнадцатого; Август Пятнадцатого — потому что там много событий...

Военных, главным образом?

И военных и гражданских, даже гражданских больше. И затем, что-то нужно было обязательно дать — последнюю съёмку страны перед революцией, перед тем, как все силы придут в действие. Значит, нужно было взять момент затхлой атмосферы, но и узкий во времени, — по методу узлов не больше двух-трёх недель. И я взял конец октября по двум соображениям, именно вот эти две-три недели, во-первых, потому, что там есть открытие Думы и речь Милюкова, которая сыграла разрушительнейшую роль, — на самом деле самое крупное событие этого Узла.

Убийственный выстрел в династию?

Да. И потом, сюда попало вот это волнение на Вы-

боргской стороне, характерное в том смысле, что оно ничем не кончилось, но ничего не стоило ему ещё немножко дальше переклониться — и была б Февральская революция тогда. Вот по этим двум соображениям я выбрал именно этот отрезок трёхнедельный. Такой замысел — дать Узел обозрения перед тем, как помчатся колёса революции. Обязательно такой Узел должен был быть.

И задуман с самого начала?

С самого начала, да.

В этом Узле вы хотели оставить для будущих поколений живой образ России в её одновременно нетронутости и уже тронутости. Россия начинает понемножку разлагаться к этому времени?

Даже не немножко, а порядочно. Да, именно для этого последнего снимка перед революцией нужно было дать как можно более глубокий вертикальный разрез, показать состояние разных слоёв, разных струй в общественном движении.

Значит, Россия в дореволюционном состоянии была здоровой страной, обладала ещё и красотой и здоровьем.

Несомненно.

И это, может быть, то, что и даёт художественную, как бы сказать, изюминку вашему сочинению, что Россия там подана амбивалентно, как ещё красивая, богатая, мощная страна?

В таком виде, как вы описываете, — это, пожалуй, в «Августе». В «Августе» отборнейшая армия, просто золотая армия — орех к ореху, и такое же сельское хозяйство показано там... Томчаки — это показана та Россия, вот как она плыла, текла, и которая никогда не вернётся. В «Октябре» уже она сильно тронута разложением и военными переживаниями, — два года с лишним сотрясли её уже сильно.

Замысел «Августа» всё-таки сильно изменился за те десять лет, что вы были в эмиграции. Сто-

лыпина вы дооткрыли тут, на Западе. Произошло ли нечто сходное с «Октябрём»? Много ли дало ваше общение с миром первой эмиграции, или с теми документами, которые первая эмиграция оставила, если сами эмигранты умерли?

Я должен вас поправить, что замысел «Августа» не испытал такого коренного изменения: вопрос об убийстве Столыпина мучил меня ещё тогда же, в 37-м году, когда я начинал самсоновскую катастрофу. И у меня даже были попытки включить вопрос о том, за что его убили. Но я тогда не имел просто совершенно никаких материалов, и в советских условиях мне это было невозможно достать. Поэтому я отказался от этой мысли. И не думал, что я буду разворачивать целый том об этом. Так что замысел не совсем изменился, просто здесь я нашёл материал. Что касается «Октября», я тоже так скажу: нет, в общем виде, вот эта идея — дать снимок последних месяцев дореволюционной России — у меня и была, в этом смысле замысел не изменился. Тут вот какое серьёзное изменение: я почувствовал, что я не могу так долго мешкать на путях подхода к революции, чтобы давать и Август Пятнадцатого и Октябрь Шестнадцатого. Самое мучительное колебание было: давать или не давать Август Пятнадцатого. И в конце концов я ограничился тем, что дал вместо него одну обзорную главу, которую вы сейчас и видите, она вставлена. А в остальном — менялись линии, связанные с отдельными персонажами. Например, позже других вступил Фёдор Ковынев, он же Крюков.

Но ещё давно, в России?

Да, это ещё давно, в России. Менялись только детали, вот личных глав, а общий замысел — нет, не менялся, так и был.

То, что он так долго разрабатывался, связано просто с необычайным богатством материалов этой книги?

Да, но и с тем, что я, бросив «Октябрь», занимался долго «Мартом», лишь потом стал «Октябрь» выпус-

кать. Есть большой перерыв между временем, когда «Октябрь» был приблизительно кончен, и моментом, когда я его выпустил.

> «Октябрь» поражает новизной формы. В этом удача всякой вещи: когда она сама собой приносит какую-то новую, необычную у автора форму. Когда у автора начинает слишком повторяться форма, то создаётся впечатление, что писатель топчется, а у вас этого нет. «Октябрь» двойственен, и в этой двойственности очень богат. С одной стороны, он отличается от «Августа» тем, что он больше роман, в обыденном смысле этого слова, просто много романических историй, линий, одна центральная любовь, но много и других любовных линий. Вместе с тем, как вы сами признаёте в пояснительном примечании, и даже как бы извиняетесь, в Узел вложено чисто исторического материала больше, чем следовало бы для художественного произведения. Я с этим не совсем согласен, мне кажется, что соблюдено равновесие между личным и историческим, тем не менее мне хотелось бы знать именно ваше мнение, ваше чувство, теперь, когда вы окончили эту вещь: делаете ли вы действительно какую-то уступку, потому что история была забыта, перекорёжена, потому что невежественны или забывчивы люди, или всё-таки художественно вы считаете такой вклад закономерным?

Я вот как считаю: доля исторического материала, касающаяся чисто этого периода, вот Октября Шестнадцатого, у меня не преувеличена, я даю столько, сколько и хотел бы, и надо бы; но невозможно объяснить, особенно современному читателю, этот материал без предыстории. И вот я, собственно, извинение там приношу, главным образом, за предысторию, за то, что я вынужден рассказать о рождении либерального движения в России, «кадетской партии», и должен Пятнадцатый год добавить сюда в Шестнадцатый, чтобы всё было более связано и понятно. Только в этом отношении я считал, что преувеличил долю исторического материала, а сам Шестнадцатый год представлен в том

равновесии исторического и личного, как я и хотел. Тут последняя возможность показать много личных судеб, как они текут, ещё ничего не зная и не предполагая о революции. В дальнейшем, когда начнёт крутиться бешено революция, так уже показать не удастся, но читатель понимает, что наверно все эти личные судьбы продолжаются.

У вас обыкновенно все книги строятся на принципе максимального уплотнения времени и места. Но, конечно, «Красное Колесо» выбивается из этой строгой уплотнённости времени и места, «Октябрь» не имеет того единства места, которое было в «Августе», и уж во всяком случае во всех предыдущих ваших вещах.

Но единство времени в «Октябре» есть...

Есть, но оно...

...три недели выдержаны, вот мы только выпадаем в этих двух исторических экскурсах, только. А так выдержаны три недели, и, если вы заметите, Ленин в Цюрихе тоже действует в эти самые дни. Там даже есть, почти незаметно для читателя, день 25 октября, то есть ровно за год до революции, когда Ленин бесконечно далёк от этой революции, я отмечаю, — как раз эта самая дата.

Но пространственно вам тут не удалось всё уплотнить и сконцентрировать.

От пространственного уплотнения в «Красном Колесе» я давно и отказался. У меня раньше была идея: свести всё повествование к нескольким географическим точкам; эту идею я счёл ложной. Невозможно! Пространственно я уплотнялся в «Круге первом», в «Раковом корпусе», это было естественно и легко. «Красное Колесо» уплотнить по местности невозможно, потому что это мировой процесс, и он растекается не только по всей России, но даже по всему миру.

Колесо — катится?

Да, катится. А метод временных узлов я и дальше буду выполнять.

С той же строгостью?

Строго, это будет строго.

Но даже в «Марте», в первом томе «Марта», всё-таки и географические будут ограничения?

Это только потому, что революционные события происходили в Петрограде, долго происходили только в Петрограде, а когда они потом начинают расширяться из Петрограда, — то и я беру другие места.

Но вот как раз эти исторические главы, как бы описательные, они поражают своей уплотнённостью, и тем самым художественностью... В частности, если взять, к примеру, большую главу «Общество, правительство и царь», вы там описываете царское правительство Пятнадцатого года, и в вашем сжатом и ярком описании это правительство предстаёт совсем не таким бездарным, каким оно нам казалось и кажется из исторических книг...

Как оно представлено в истории сегодня.

Представлено в истории, да, как уже устоявшееся мнение. Но тогда вкрадывается маленькое подозрение, нет ли здесь, благодаря вашему перу, некоторой идеализации художественной?

Нисколько. Потому что я использовал прямые документы, счастливым образом сохранённые, прямые документы их заседаний Пятнадцатого года. И я только сжимал их реплики и выступления, но ничего не добавлял от себя никогда, только убирал повторы и размазанности. Это реально было так. Просто поразительно, насколько это правительство, по своим организационным способностям и талантам, превосходило будущее Временное правительство, будущее правительство Февральской революции.

Вероятно, так. А неудачи этого правительства?

А неудачи ото всей ситуации внутри страны, от безумного смертельного раскола между обществом и властью.

А вот в думских главах, там, где вам приходится отбирать гораздо больше, потому что в Думе речи были, наверно, жутко пространные...

Очень пространные.

... не было ли у вас соблазна усилить краски, и, наоборот, представить Думу в невыгодном свете? Не было ли у вас задней мысли, сатирического уклона в сокращениях или в выборе?

Конечно, сказать, что совершенно отсутствовало мое «я» и субъективность в отборе выступлений, нельзя, потому что, конечно, я, как автор, испытываю какие-то чувства над этими прениями, и не могу эти чувства не выразить... Но я должен сказать, что вот чего я никогда не делал: я никогда не пропускал важных выступлений, а в важных выступлениях — важных мыслей. Там много очень произносилось, конечно, самые думские прения, ну, в сорок раз больше того, что я представил, — и кто их когда прочтёт?

Пожалуй, немногие.

Но я выделяю все главные речи, и все главные места в этих речах. И только уплотняю сам текст, чтоб не было пустоты, не было этой рыхлости, которая неизбежна у людей говорящих, не всегда хорошо подготовленных.

Это нас приводит к коренному вопросу о соотношении художника и историка. Вы, пожалуй, являетесь тут зачинателем. Вы одновременно действительно историк, не перестающий быть художником. Я думаю, у вас выработалось отношение к этой двойственности... Быть художником, но и не нарушать исторической правды.

Я даже думаю, что в условиях, когда так похоронено наше прошлое и затоптано, у художника больше возможностей, чем у историка, восстановить истину. Это, между прочим, не такая новая мысль, я потом найду, откуда это, кто-то выразил это замечательно... В работе над «Мартом» я использовал несколько сот книг, статей, воспоминаний, все я их перечитал. Мои Узлы

кажутся как будто бы объёмными, в «Октябре» больше тысячи страниц, но это заменяет десятки, если не сотни тысяч страниц, мною прочитанных. Было очень много частных свидетельств, и почти совершенно отсутствуют обобщающие работы. Французская революция изъезжена исследованиями вдоль и поперёк, и существуют сотни трудов самого общего характера. У нас, по российской революции, таких обобщённых трудов, особенно по Февральской, нет. Значит, я заменяю огромный исторический материал, всё главное в этом материале я скрупулёзно использую. Но события долгой гражданской войны, советского растоптания, эмигрантских бедствий привели к тому, что ещё больше свидетельств не схвачено, ещё больше не записано, и нужно открыть недостающие звенья, и, главное, открыть психологические обоснования. Это доступно только художнику.

> В «Октябре», пожалуй больше, чем в «Августе», ощущается полифоничность романа. Поражает читателя ваш огромный труд по овладению материалом, ваш охват. В «Октябре» представлены все слои населения и затронуты многие коренные вопросы исторического бытия. В какой мере «Октябрь Шестнадцатого» помогает ответить на вопрос, который всегда и сам себе задаёшь и вам задают: почему случилась революция, кто виноват? Полифоничность создаёт впечатление, что виноваты все.

Полифоничность, по мне, метод обязательный для большого повествования. Я его придерживаюсь и буду придерживаться всегда. Я не сторонник избирать, считаю это вредным, любимого героя и главным образом через него проводить свои мысли. Я считаю своей первой задачей привести разнообразие мыслей, поступков и действий самых разных слоёв вот в описываемый момент. И при этом, действительно, когда предстанут все точки зрения, то на вопрос «кто виноват?» очень расплывается ответ. Да, виноваты все, вы правильно сказали. Но, строго говоря, виноваты всегда больше правящие, чем кто бы то ни было. Конечно, виноваты все, включая простой народ, который легко поддался

на эту дешёвую заразу, на дешёвый обман, и кинулся грабить, убивать, кинулся в эту кровавую пляску. Но всё-таки более всех виноваты, конечно, правящие, потому что на них лежит историческая ответственность, они вели страну, и если они даже лично виноваты не больше других, то они виноваты, как правящие, больше других.

Да, в «Октябре» царю, да и царице, — достаётся довольно круто.

Конечно, круто. При всём том, что у них не было злых намерений. Но не было и полного сознания ответственности, не было адекватности той ответственности, которая на них лежала.

Когда вы описываете, например, Шляпникова в пространной главе, хотите ли вы показать, что, будь революционеры из народа, сама революция могла бы носить другой характер, она была бы иная, если б не была испорчена интеллигентской идеологизацией. Почему вы так выделили образ Шляпникова?

Я выделил образ Шляпникова просто потому, что в те месяцы он был единственный реальный руководитель большевицкой партии. И так как его имя потом, в разных коммунистических интригах, было замолчано и затоптано, то есть смысл восстановить истину о нем. Шляпников был среди коммунистических лидеров фигурой очень своеобразной, это был не посторонний образованный человек, пришедший возбуждать рабочих; это был действительно первоклассный токарь, который вырос на заводе, и он овеществляет собой рабочую психологию, но уже сильно тоже подтравленную большевизмом.

Чувствуется ваша симпатия к нему.

Симпатия у меня к нему личная, и отчасти симпатия из-за его судьбы, это же относится и к Гвоздеву; вот две фигуры в каком-то смысле тут параллельных, потому что оба они рабочие, оба они несчастным образом участвовали в революции, и несчастным образом потом расплачивались при советской власти, и оба по-

гибли в результате сталинского террора. Так вот, видите, Шляпников важен для того, чтоб оттенить разницу между ленинским направлением и рабочим настроением. Конечно, среди рабочих есть настроение добиваться своих прав, подтравленное вот этим эмигрантским науськиванием; но судить сейчас о Шляпникове окончательно нельзя, потому что Шляпников будет и в «Марте» и в «Апреле Семнадцатого»; и мы увидим, как меняется его роль с приездом эмигрантов. Это всё картина очень длительная, сразу и не скажешь. Но здесь был смысл выделить, потому что надо было представить боевую рабочую точку зрения, однако уже сильно искажённую коммунизмом.

А вот главы о несостоявшемся писателе Ковынёве—Крюкове, который, может быть, был... считается и вами и некоторыми исследователями вероятным автором «Тихого Дона», — каково его место в композиции романа, в этой фреске России? Что он изображает? что символизирует?

Вообще, я избегаю брать персонажем писателя, у меня писателей не было в действии и не будет. Но Фёдора Крюкова я взял вот по каким обстоятельствам: мне предстоит много описывать Дон, в дальнейшем; и нет лучшего наблюдателя Дона, нет лучшего персонажа для передачи Дона, чем он, тем более что я владею большой долей его архивов и могу восстанавливать семейные подробности и его взгляды на детали, на быт донской, он для меня очень удобен для показа Дона.

А Дон вам нужен как истоки?

Дон нужен мне просто потому, что он входит как крупная действующая сила потом в гражданскую войну.

Которая описана не будет?

Которая по краткости моей жизни описана не будет.

В разнообразие описанных исторических и других лиц всё же входит главный герой, да, пожа-

луй, герой всего «Красного Колеса», полковник Воротынцев... Можно ли считать, что его мысли больше отображают автора, чем мысли других лиц, что он как бы является тем голосом, который позволяет иметь авторский ориентир?

Вы знаете, и да и нет. Потому что, при всей полифоничности, я сочувствую каждому тому герою, которого я описываю в данной главе.

Это очень чувствуется.

Так и дальше будет. А роль Воротынцева, общественная роль его, и военная тоже, от «Августа» к «Октябрю» уже упала. А дальше, от «Октября» к «Марту», ещё упадёт, потому что это был... тот вихрь событий, в который нельзя включить придуманного героя, ему нечего там делать, придуманному талантливому герою, он тогда должен поворачивать события. И поэтому Воротынцев — всё меньше будет участвовать, до гражданской войны, я отказываюсь считать его главным героем произведения.

Но он всё-таки — что? он тогда связующее с автором звено?

Среди моих вымышленных героев он занимает видное место. Он выражает собой поиски армейского офицерства, поиски того: что же делать? как выходить из положения? И будет представлять также дальше, и в «Марте».

Так что он часть этой полифонической картины?

У меня ведущего героя вообще нет. И чем дальше, тем больше это будет выясняться.

В его политических взглядах есть некоторая умеренность, можно ли её принять за авторский взгляд? Он даже выразитель некоего центризма, о котором вы хорошо пишете, что это — одна из самых трудных линий.

Да, самых трудных. В этом я сочувствую ему. Но ещё больше мой центризм сказывается в общей поли-

фоничности, когда я сам равновешу между всеми, всеми вообще точками зрения, — всеми, которые изложены.

Вы как бы остаётесь наблюдателем, но являясь одновременно и... отчасти распорядителем?

Нет, распорядителем — нет.

Тем самым вы приходите к некоторому центризму художественному.

Да, этот центризм художественный создаётся так. Нет, я не распорядитель их, наоборот: я следую, как только могу, за всеми реальными событиями и словами всех героев; причём в «Октябре» вы ещё видите изрядное количество вымышленных лиц, а в «Марте» их всё меньше и меньше становится, а всё больше и больше действительных, исторических, и там я только следую за ними: чтó они говорили, чтó делали, то и я повторяю.

Вы отважились написать большой роман, двухтомный — тысяча двести страниц, — без происшествий, без крови, без трагических смертей, в то время как «Август» весь стоит на двух крупных выстрелах — на самоубийстве Самсонова и на убийстве Столыпина, уже не говоря о том кромешном месиве, где погибает армия. Почему вас как художника не привлекло описать тоже один из сигналов революции, почти в то же время, — а именно убийство Распутина, который был символом одновременно и призвания России, и её распада, и распада в самой сокровенной области, в области духа. И, кроме того, для художника, казалось бы, Распутин и его убийство — заманчивая тема?

По двум причинам: во-первых, убийство Распутина сильно не ложится в мою систему Узлов. Поскольку я выбрал вторую половину октября и первые числа ноября, я не могу продолжать повествование весь ноябрь, половину декабря, для того чтобы описать только убийство Распутина. Конечно, я мог бы с самого начала взять именно убийство Распутина... отрезок вокруг него. Но тут я должен сказать вам: Распутин, роль его

сильно преувеличена тем общественным возбуждением, которое вокруг него было. Распутин не играл такой роли в истории России, какая ему приписывается. А во-вторых, главное: заняться Распутиным — это значит взять нечто лежащее на поверхности, дразнящее, очень удобное как будто бы для художника, а на самом деле это значило бы проявить мелкость. Клюнуть дешёвую наживку. В «Марте» у меня отражается смерть Распутина уже ретроспективно, то есть это както вспоминается, как-то на это люди реагируют, но я обошёл самого Распутина, потому что считаю: история зиждится на основных камнях, а не на внешних таких вот приманках и наживках.

Но вот второй аспект Узла; в нём, наряду с историческим, социологическим спектром всей России, большое место, впервые в вашем творчестве, занимает любовь.

Впервые — нельзя сказать, в «Раковом корпусе»...

Да, но там вопросы болезни и смерти отодвигают любовь на второй план. А тут главная интрига состоит в том, что Воротынцев отчуждается от своей жены и подпадает под сильную прелюбодейную, чувственную страсть... и ей контрапунктом даны другие любовные линии, есть и как будто идеальный брак между Ободовским и Нусей. Или драматичный, неудавшийся союз Ковынёва и Зины, на котором вы заканчиваете, кстати, роман. У вас тут какой-то определённый замысел?

Да, я воспользовался отсутствием напряжённого исторического действия в «Октябре», воспользовался для того, чтобы потеснить историю и дать место нескольким линиям любовным... Вы правильно сказали — в контрапункте друг с другом, это совершенно верно, да, не просто так рассыпанных как попало. В жизни этого много, а в литературе этого и чрезмерно много. Я, неся свою историческую задачу, просто не имею права этим много заниматься. И в дальнейшем буду — в очень ограниченных возможностях, потому что когда начнётся бешеный бой Февральской револю-

ции, то трясёт всю Россию так, что я не имею почти времени на это отвлечься, хотя чуть-чуть кое-где это делаю. А тут я воспользовался такой возможностью. Да, я хотел просто напомнить, что личные чувства сотрясают людей никак не меньше, чем исторические события, хотя в конечном счёте исторические события всё это смывают, как мощной волной.

Да, вы завершаете «Октябрь Шестнадцатого» главой из совершенно частной жизни.

Это сознательно. Я хочу последний раз перед крупными историческими событиями возвысить значение частных судеб.

Но уж потом они, волей-неволей, конечно, в революции и гражданской войне потонут.

Будет некогда заниматься своей бедой, да. Происходит мировой катаклизм.

И всё же в «Октябре» любовь занимает большее место, чем и в «Раковом корпусе» и в «Круге первом»... Почти что исследование любовных отношений.

Ну, я на себя такой ответственности не беру, так много я не думаю о своих возможностях.

«Октябрь» представляет собой энциклопедию русской жизни, как говорил Белинский об «Евгении Онегине». Но у вас эта энциклопедия дана не выборочно, а в необычайной множественности, которая является отличительной чертой вашего романического мира. У вас сравнимая со Львом Толстым способность владеть множественностью жизненных явлений. И «Октябрь Шестнадцатого», пожалуй, одна из самых насыщенных книг, появившихся за последние десятилетия. Такой насыщенностью, таким богатством политически-общественным, социальным, затрагивая многие существенные вопросы, не преувеличили ли вы способности современного читателя? И ещё один вопрос: эта книга писалась десять лет, какое теперь ваше личное к ней отно-

шение? И какое вы ожидаете отношение к ней читателя, в частности западного?

Ну, я сам, как автор, не мог принять никакого другого решения. Для меня это органично, что «Октябрь», вот такой, как вы его описали, лёг между «Августом», прологом «Красного Колеса», и между бешеным кругом и вихрем «Марта», который ожидается. Так что я просто не мог поступить иначе. Не преувеличил ли я способности современного читателя? Что ж, я должен сказать, что во многих странах чтение книг вообще перестаёт быть занятием людей. Даже я бы сказал, из моих личных наблюдений, кроме России — только Франция и Япония, кажется, ещё две таких страны, где сравнительно много читают.

Италия, может быть.

Италия? Не знаю. Может быть... Но, конечно, я не считаю, что создаю массовое чтение. Я вовсе не создаю боевик, который будут читать просто для удовольствия и для развлечения. Нет, эта книга и рассчитана на тех людей, которые хотят серьёзно понять исторический ход, причем исторический ход, на самом деле, не только России. На самом деле, события «Красного Колеса» — это начало поворота всего мирового положения. Запад очень много мог бы понять из истории нашей революции того, что он сам переживает сегодня, переживает последние десятилетия, и, может быть, ближайшие следующие десятилетия. Эта книга, конечно, рассчитана на читателя серьёзного. Объём её на самом деле не является большим, потому что он составляет какую-нибудь сотую или двухсотую часть всех материалов, использованных при написании этой книги. На самом деле, если такой книги нет, то надо заново перелопачивать горы книг, вот тех мемуаров, свидетельств, воспоминаний, газетных статей, а я всю эту работу сделал; ведь я работаю, в общем, над собиранием этих материалов скоро пятьдесят лет; и всё время я читаю какие-то книги, относящиеся к той эпохе.

Году в тридцать седьмом вы начали это?

Да, вот с тридцать шестого года, а сегодня уже во-

семьдесят четвёртый, через два года я могу праздновать пятидесятилетие моей работы. Вот полвека я этим занимаюсь, и в основном только этим, вот отвлекался на ГУЛАГ. Да, эта книга для читателя, который хочет глубоко понять ход исторических событий, а не для того, чтобы доставить массовое развлекательное чтение.

Эта книга для серьёзного, но всё же широкого, надо надеяться, читателя, и в то же время она нужна историкам; в этом некая новизна, впервые роман обращён одновременно к читателю и к специалисту-исследователю.

Да, и к исследователям тоже. Я считаю, что всякий читатель, который предпочитает серьёзное чтение телевизионной болтовне и развлечениям, не пожалеет, если эту книгу прочтёт.

Но вот вы окончили большой труд, вы на него оглядываетесь, какое у вас чувство? Есть ли у этой книги предшественники, у меня впечатление, что такой книги ещё не было; и второе — каково ваше чувство как творца, уже отошедшего от своего произведения?

Чувство отошедшего автора: что этот роман получился такой, какой я хотел, лёг на то самое место, на которое он должен лечь, и даёт мне полные основания после этого разворачивать бешеный ход революции. А что не было такого произве́дения до меня — так... задачи такой не было,такой грандиозной задачи не стояло перед нашими отцами. Такого времени, когда столь много исторических элементов находятся в самостоятельном движении, и нужно их все описать в одном историческом процессе, просто такая задача не стояла. Задача своеобразная, ни на что не похожая, и, главное, повторяю: это фундамент для томов «Марта», для революции, которая повернула весь Двадцатый век. Российская революция, после Французской революции, — грандиозное мировое событие, которое изменило, и ещё все изменения не проявились, изменило весь ход мировой истории.

РАДИОИНТЕРВЬЮ О «МАРТЕ СЕМНАДЦАТОГО» ДЛЯ БИ-БИ-СИ

(Интервью ведёт Владимир Чугунов)

Кавендиш, 29 июня 1987

> Александр Исаевич, вашим трудом «Архипелаг ГУЛаг» вам удалось добиться громадного сдвига, поистине изменить духовный климат современности, сорвав завесу с одной из самых тёмных её сторон. А теперь, работая над «Красным Колесом», вы заняты выпрямлением исторической перспективы всего Двадцатого века. Под силу ли одному человеку дважды в жизни выполнить такой исполинский труд?

Не мне судить, но могу сказать, что у человека есть неоценимый верный помощник: это — время. И самая трудная задача, если она разложена во времени, облегчается. Покойный Николай Александрович Козырев, пулковский астроном, не слишком у нас признанный, да что там признанный — десять лет в лагерях отсидел, — выдвинул теорию, что сам ход времени рождает энергию. Мы получаем энергию в самом ходе времени. В общем, «Красное Колесо» заняло всю мою жизнь. Я его задумал восемнадцатилетним первокурсником, пятьдесят лет назад. И, собственно, все эти пятьдесят лет — даже когда я не работал — я думал о нём много... Естественно, если оно заняло так много времени, то в ходе этого времени я получал, как и все мы получаем, помощь этой энергии. Когда не удаётся какая-то задача, то, если её совмещаешь с растянутым временем, — она облегчается. В ходе времени удаётся разглядеть трудный какой-то узелок, трудное сочетание, трудную главу. Не все эти пятьдесят лет были заняты, конечно, «Колесом»; жизненные обстоятельства трепали меня достаточно: была война, фронт, тюрьма, лагеря, ссылка, тяжёлая болезнь, школьное преподавание (съело оно очень много времени). Только по-

следние восемнадцать лет я пишу «Красное Колесо» уже непрерывно, почти непрерывно. Вот над «Архипелагом» мне пришлось работать в другом стиле. Возник он у меня почти внезапно. Был у меня замысел, но я б никогда не отважился писать такой труд, если бы после напечатания «Ивана Денисовича» ко мне не было бы наплыва устных рассказов, писем и воспоминаний бывших зэков. И всё это создало для меня почти необходимость писать такую книгу. Но я её писал под большим прессом. Мне нужно было скрывать сам факт, что такая идея у меня есть, что над такой книгой я работаю. Никогда не совмещать, не держать на одном столе всех моих материалов... А чтобы работать над главными частями, я уезжал в потайное место. Поэтому «Архипелаг» написан в другом ключе и в другом временно́м темпе совершенно; он написан в уплотнённом времени.

> Кстати об уплотнённом времени: это вообще, по-моему, характернейшая особенность вашего творчества. Вот «Иван Денисович» — вся повесть за один день; «В круге первом» — весь роман меньше трёх суток; «Март Семнадцатого» — два тома по семьсот страниц — одна неделя. Это приём большой важности. В чём значение его для самого автора?

Я думаю, что когда время сильно сжато, то наиболее отчётливо выражаются характеристики действий и лиц, персонажей. И вот внутри Узлов я пишу со всей степенью полнейшей подробности, для того чтобы дать наибольшую доказательность, а не общие декларации. Вне Узлов, между Узлами — я ничего не пишу. Время же становится осью и творцом повествования. Ныне есть такая литературная мода — крошить время на куски, перемешивать их для большего эффекта; ну, в некоторых художественных произведениях это — кстати и помогает, а вообще как мода — это болезненность, я никогда этим не пользовался. В «Марте Семнадцатого» — играет роль каждый час, каждые полчаса, и именно на своём месте. Приходится с математической дисциплиной за этим следовать, потому что только так можно проследить за действием.

Вот, значит, третий Узел «Красного Колеса», отрывки из которого русская служба Би-Би-Си на днях кончила передавать, — книга «Март Семнадцатого», посвящённая событиям Февральской революции, вышла как раз вовремя, к семидесятой годовщине этой революции. Каковы планы следующих Узлов — сроки их и намеченное содержание?

Третий том «Марта» выйдет в этом году; четвёртый — в следующем. Надо сказать, что я когда-то задумал двадцать Узлов, от 1914 года до 1922. И долгие годы я с этим носился, что это всё опишу, и Гражданскую войну, и особенно меня интересовали крестьянские восстания — Тамбовское и Сибирское (уже начало 20-х годов). Но в ходе работы я увидел, что, при моей избранной подробности Узлов, каждый Узел разрастается и становится не томом, а двумя томами, а «Март Семнадцатого», собственно сама революция, вот — четырьмя. Стало ясно, что надо мне сократить, до какого рубежа будет развиваться действие. Сперва, с большой жертвой, я решил остановиться на лете 1918 года — это очень острое и очень событийное лето. Потом понял, что и этого мне не уместить и не успеть по возрасту, и решил кончать октябрьским переворотом. А сейчас я склоняюсь к тому, что придётся четвёртым Узлом и закончить — апрелем 1917 и первыми днями мая. Для такого решения три причины: одна — мой возраст: уже мне не по возрасту замахиваться на такие огромные вещи; вторая — не испытывать терпение читателя: уже получается десять томов, это в наш век очень много; а третья — и, собственно, решающая — причина оказалась та, что, когда я доработался до апреля 1917, я понял то, что теперь видно, — но современникам почти никому не было видно, — что уже от начала мая 1917 года вела совершенно ясная и неизбежная дорога к следующим событиям. Уже путь, почти неизбежный, избран. Там есть такое, например, очень критическое, трагическое событие, как заседание 3 мая центрального комитета кадетской партии. Они решают вопрос совершенно исторический: капитулировать перед социализмом или нет? Происходит

драма идей, столкновение мнений, в результате которых Милюков остаётся в меньшинстве, и в соотношении восемнадцать к десяти они решают капитулировать. То есть они не так формулируют, им не кажется, что они капитулируют, они идут только на сделку. А на самом деле они уже уступили дорогу социализму.

> Александр Исаевич, вернёмся к третьему Узлу, «Март Семнадцатого». До сих пор, как вы знаете, имелось две основных концепции Февральской революции — либо это, так сказать, прекрасная заря демократии, которая, увы, вскоре потонула в кровавых туманах октября, либо это вообще какой-то пролог, еле заметное вступление к Великой Октябрьской социалистической всенародной революции. Ваша концепция, мне кажется, сильно отличается от обоих этих взглядов. К каким выводам пришли вы, посвятив столько сил и времени изучению Февраля?

Собственно, чтó несомненно произошло: произошла российская революция, крупнейшее событие XX века, повлиявшее на жизнь не только нашей страны, но и всего мира. Событие это было растянуто в годах. Стихийным центром и главным моментом его была революция Февральская. В нашей стране она первое время ещё как-то отмечалась, ещё в моём детстве был такой день, 12 марта, — падение самодержавия. Потом его отменили, и не стало этого дня. У нас тщательно затирали, скрывали историю Февральской революции, для того чтобы выпятить Октябрьскую революцию как феерическое событие, чуть ли не предопределённое всем предыдущим развитием России. В результате такого искусственного замалчивания Февральскую революцию у нас почти совершенно не знают. Не знают не то что подробностей, но даже самых основных контуров. И я сам её для себя открывал в работе. И у меня тоже, когда я восемнадцатилетним мальчишкой задумывал этот роман, у меня тоже была идея, что всё дело в Октябрьской революции, а там немножко перед этим вот Первая мировая война, а потом дальше Гражданская война. Но в ходе работы у меня происходил сдвиг замысла: я начал пятиться и, собственно говоря,

главную силу всю и главное время я потратил именно на Февральскую революцию. Октябрьская революция, октябрьский переворот был направляемым событием — да и совсем не последним этапом в нашей российской революции. Где же кончается российская революция? Я бы сказал так: коллективизацией и первой пятилеткой. Вот это уже те последние революционные события, которые безвозвратно изменили лик страны, дух страны, социальный состав, — и революция, можно считать, окончена. То есть как сказать кончена? Вообще всякая крупная революция есть событие вековое. Её последствия тянутся век. Так было во Франции. Мне, между прочим, пришлось сделать такую работу сравнительную: черты французской революции и российской, и с интересными выводами. Во Франции последствия революции сказывались, в общем, сто лет. У нас, по особенностям нашего хода, я думаю, будут значительно дольше ста лет сказываться.

Активный участник Февраля, Фёдор Степун, философ и писатель, в своих мемуарах делает такое замечание, что потомство, может быть, вынесет более суровый приговор деятелям Февраля, чем даже участникам Октября. Что вы думаете по этому поводу?

Фёдор Августович вообще отличался самокритичностью, большой развитостью умственной, и естественно, что он проявил такую трезвость, правда с опозданием. И не он один: можно назвать нескольких деятелей Февраля, которые пришли потом к подобным выводам. Ну, самый яркий здесь, пожалуй, пример, это Василий Алексеевич Маклаков — первый умница из кадетов, самый блистательный из них. Правда, он уже и в апреле 1917, когда ещё никто, почти никто, не понимал, что́ происходит, он уже начал трезво оценивать, нащупывать смысл событий. Но в эмиграции он пришёл к поразительным выводам: он анализировал столкновения между Государственной Думой, одним из лидеров которой он был, и Столыпиным, и приходил к выводу, что в этих столкновениях часто был прав именно Столыпин. Например, о 1907 годе, когда Столыпин распустил Вторую Думу и изменил избиратель-

ный закон, чего никогда ему не могли простить как контрреволюционный переворот, — Маклаков в эмиграции сказал: «Это было спасение России. По крайней мере на десять лет революция произошла позже, а то бы — тогда». Ещё можно назвать Владимира Бенедиктовича Станкевича, трудовика, социалиста, очень видного в февральские дни, который в эмиграции тоже пришёл к весьма трезвым, весьма неожиданным выводам.

Остановимся на некоторых подробностях книги «Март Семнадцатого». Главный герой романа Воротынцев, по натуре очень деятельный, энергичный человек, на протяжении всех двух томов находится в состоянии какой-то полной беспомощности, как бы в затмении. Это может быть случайностью, может быть произволом автора, но нет ли в этом и какого-то символического значения?

Да, это никак не случайно. Февральские события характерны тем, что ведь были же в России деятельные, предприимчивые, энергичные люди! — а никто из них не проявляется. Всех их куда-то смело. В нужный момент нет никого. Значит, тут есть какая-то закономерность. Я не могу Воротынцева, вследствие только того, что он предприимчив и энергичен, вывести на сцену, придумать, чтоб он действовал, если мы знаем, что такие люди не проявились тогда. Мне остаётся предположить, что у него была какая-то личная причина. Ну, я предположил, что у него любовная история, и вот мы видим результат, он не участвует. А, впрочем, вот полковник Александр Павлович Кутепов участвовал. Это — фронтовик замечательный, который совершенно случайно оказался в Петрограде в отпуску, и, хотя он никакого поста в Петрограде не занимал, ему поручили давить мятеж. Он проявил чудеса героизма, совершил невероятные вещи. Но и всё равно — один он ничего сделать не мог.

Ещё одна интересная подробность: в мемуарной литературе упоминается, что караул царской семьи приходилось часто менять, потому что

после самого краткого времени солдаты начинали слишком хорошо относиться к своим узникам. Отношение автора к императору в третьем Узле заметно потеплело — не произошло ли с вами нечто вроде результатов общения солдат с царской семьёй?

Я даже скажу: не только к Государю это относится, не только. Тут закон искусства, который выше художника. Когда историческое лицо, или персонаж, у власти, во всей силе своего влияния, действует активно, то невольно за все его ошибки и несправедливости нельзя удержаться от упрёков или от горечи к ним. Когда он же сброшен, стиснут, предан, — напротив, нельзя удержаться от сочувствия. Я приведу ещё два примера, да не только их можно привести: Георгий Валентинович Плеханов, вождь русского социализма. Когда-то вместе с Лениным они создавали эту жестокую партию. И вот Плеханов возвращается на ту революцию, которой посвятил всю свою жизнь, после тридцати семи лет эмиграции. Там, в Исполнительном комитете Совета рабочих депутатов, — его ученики, мальчишки по сравнению с ним. Он начинал, когда они ещё даже не родились, или ещё были совсем сосунками. И вот он приезжает, и его презрительно отталкивают; не хотят с ним считаться; не впускают его в Исполнительный комитет; и он медленно умирает в самые эти революционные месяцы. Естественно, что здесь сочувствие автора поворачивается к Плеханову, и очень сильно. Или вот Павел Николаевич Милюков. Это вообще был человек весьма уверенный в себе, очень крутой. И он круто действовал — и создавая кадетскую партию, и ведя самую резчайшую полемику. И пока он властно и самоуверенно действовал, то у меня было отношение настороженное к его промахам, к его ошибкам, и это сказывалось в моём писании. Но вот в апреле наступает такая картина: на том самом историческом заседании ЦК кадетов, о котором я говорил, Милюкова предают товарищи по партии. И его совершенно незаслуженно обсвистывает 20—21 апреля большевиками натравленная улица: «Долой Милюкова! Смерть Милюкову! Убить Милюкова!» Он не может убедить своих

товарищей, что нельзя капитулировать, что надо держаться. В эти дни он проявляет и разум, и достойное величие души, полную достойность. Покинутый, преданный и теснимый... понятно, что и отношение автора к нему тоже совершенно меняется.

Александр Исаевич, перейдём к более общим вопросам. При создании такого широкого исторического полотна вам, несомненно, приходилось задумываться над тем, чтó же именно движет историю. Ведь давались самые разные ответы — экономические законы, воля личностей, страсти масс, Провидение, рок. Почему бывают моменты, когда действие какого-нибудь ничтожного Бубликова даёт громаднейший эффект, а вот вы упомянули пример Кутепова, вся стойкость такого рыцаря без страха и упрёка пропадает впустую, — и, наоборот, бывают неожиданные эпохи расцвета? Что вы об этом думаете?

Я избегаю навязывать или подсказывать читателю свои ви́дения такого общего характера. Моя задача: скрупулёзно воссоздать те события, тот воздух, — и каждый читатель пусть делает свой вывод. Могу ответить, что ни одно из названных вами явлений не осталось без внимания.

Перейдём к методам работы. Поражает при таком громадном охвате выверенность самых мелких подробностей исторических — и не только в документальных главах, но и в беллетристических. Откуда вы берёте столько источников, и как успеваете совмещать такой кропотливый исследовательский труд с выполнением творческой задачи? Ведь для «ГУЛага», скажем, вы использовали свой личный опыт и свидетельства множества участников событий. Но вот в «Красном Колесе», историческом романе, снова ощущение такой полной аутентичности времени и полифоничности. Как это достигается?

Очень ценные материалы созданы в Советском Союзе в ранние советские годы. Это прежде всего — журнал «Красный архив». Ну и в «Красной летописи» и в

«Пролетарской революции» тоже бывают перлы, хотя гораздо меньше. Но надо сказать, что мне в советских условиях это было далеко не доступно. Вот вы упомянули Степуна. Например, еще в тридцать седьмом году я, студентом-первокурсником, вижу в каталоге: Степун, «Записки прапорщика-артиллериста». Я их заказываю. Начальница отдела на выдаче говорит: «Вот я смотрю предисловие: эта книга написана матёрым белогвардейцем, врагом советской власти. Взять на себя ответственность выдать вам такую книгу, молодой человек, я не могу.» И что же мне, студенту, было делать? Я не настаивал, так и не получил.

Это в тридцать седьмом году было?

Да, в тридцать седьмом.

Позвольте заметить, я лично был знаком с Фёдором Августовичем Степуном, и как раз в это время, в тридцать седьмом, гитлеровские власти выгнали его из университета в Дрездене, где он преподавал, за «русофильство и жидопоклонство».

Ну вот видите, а там он матёрый белогвардеец.

Вот так.

Ну вот, последние годы в Советском Союзе, после изгнания из Союза писателей, я не имел доступа в серьёзные библиотеки. Кроме того, у меня не было московской прописки, — я не мог долго в Москве и жить. Так что, по иронии, лучшие советские материалы стали мне доступны на Западе. На Западе открылся также целый ряд архивов: так, гессенский архив, «Белый архив», «Русская летопись», множество мемуаров. Только работа над мемуарами затрудняется тем, что, конечно, в них встречаются противоречия, и нужно выявлять, тщательно, долго выявлять, подробности какого-нибудь часа или подробности событий. Потом совершенно исключительным источником являются газеты, газеты того времени. Я читал от двенадцати до пятнадцати ежедневных газет, московских и петроградских. Это поразительное чтение. Они обильны такими живыми фактами, но и ещё более они богаты самопониманием современников. Изумляют не столь-

ко факты, а *как* современники об этом думают — это сильней всего поражает. В Гуверовском институте, в Колумбийском университете я видел мемуары ненапечатанные. Ещё, кроме того, я успел застать последних стариков первой эмиграции. Я напечатал к ним воззвание — они прислали мне более трёхсот работ. Эти триста ненапечатанных мемуаров создают для меня воздух такой, как будто бы я жил в то время. Чрезвычайно ценно... Долгими вечерами я общался с ними, забывая, что я современник настоящего, — казалось, что я современник революции.

> Вы прошли фронт, лагеря сталинские, смертельную болезнь, теперь уже и возраст немолодой, — откуда силы для таких гигантских работ?

Вот, слава Богу, не покидают силы. Я думаю — сама задача мобилизует и движет. В ней черпаешь. Есть русская пословица: «Умирает не старый, а поспелый», — то есть тот, кто уже потерял жизненную задачу и поспел к смерти.

> В России интерес к собственной истории сейчас, конечно, по понятным причинам, огромен, ибо страна так долго была отрезана от своих корней. Но, скажите, можно ли ожидать такого же интереса читателя к этой теме и в других странах? Почему «Красное Колесо» должно быть интересно современному читателю, скажем, на Западе?

Да, я, конечно, писал, имея в виду русского читателя, Россию, особенно лишённых этого знания. И чем она более затоптана, эта история, тем с большей подробностью. Но неожиданно в ходе работы я увидел общечеловеческое значение русского опыта начала XX века: мы предварили растянутый повтор того же самого Западом. Но, конечно, это не развлекательное чтение, книга эта для серьёзного читателя. Однако вот и по отзывам в тех странах, где уже появились Узлы, — во Франции, в Германии, — я вижу, что этот замысел понят и читателя он нашёл.

> В 60-е годы шла дискуссия о том, что радио, телевидение, кино вытеснят книгу, а что создание

крупного романа принципиально невозможно. Помните вы ещё те разговоры?

Я не только разговоры помню, я помню, как меня усиленно тащили в 1963 на семинар вместе с иностранными приезжими писателями, и я должен был бы — но я уклонился — я должен был бы присутствовать там и слушать самодовольные речи о том, что роман умер, тогда когда у меня уже был написан «Круг первый», писался «Раковый корпус», и всю жизнь я работал над «Красным Колесом». Нет, никак не вижу я смерти романа. Я думаю, что паника возникла от слабости духа перед событиями XX века. Смерть искусства, в разных жанрах уже провозглашённая, — будто бы искусство должно неузнаваемо переродиться и сменить жанры, — происходит от неверия в возможности человеческого и творчества и восприятия. Я думаю, что возможности духовного роста человека отнюдь не исчерпаны. А в литературе, в литературе важен вовсе не объём, а плотность — плотность чувства, мысли и содержания. Короткий рассказ на одну-две страницы может быть рыхлым и восприниматься как длинный, и большой длинный роман может восприниматься совсем не как длинный, если он плотен.

Александр Исаевич, ваше понимание роли писателя очень возвышенное. В наше время, с одной стороны, много спекулировали на высоких материях, таким образом обесценивая их, а с другой — цинично и разнузданно отвергали всё высокое; так вот: существует ли ответственность писателя за духовную жизнь народа, за культуру, за человечество?

Сам я ощущаю себя под строжайшей ответственностью постоянно. Я не мог бы отдаться литературе, которая занимается не главными вопросами человеческой жизни... какими-нибудь необязательными посторонними пустяками, самовыражением так называемым. А наша страна испытала такое последовательное духовное разрушение — я не вижу, как писатель может уклониться и не служить общественному выздоровлению.

Бытует взгляд, что художнику слова вдали от родной почвы полагается увядать — хотя история всемирной литературы едва ли это подтверждает. Но всё же: вы живёте в Вермонте, в Америке, пишете по-русски, прежде всего для русского читателя, — каковы практические трудности и неудобства?

Я скажу так: писательские судьбы не повторяются. Кому как. Я попал в изгнание пятидесяти пяти лет отроду, с огромным жизненным опытом. И притом задачи мои ложились как раз именно в этот опыт. По характеру моей работы я совсем не испытал отрыва от почвы. Даже наоборот — нашёл здесь обилие источников, которых на родине не мог найти. И на мой возраст этого опыта хватит. Но, конечно, если попасть в вынужденную эмиграцию в двадцать пять — тридцать лет, — пожалуй, содрогнёшься.

В заключение позвольте ещё раз задать вопрос, который вам наверно задавали уже не раз: рассчитываете ли вы вернуться на родину?

Да, мне его задают с се́мьдесят четвёртого года, с первого года моего изгнания. Я всегда отвечал, что я верю в свой возврат на родину ещё при жизни. Но не могу вернуться раньше своих книг. Писатель — это, прежде всего, его книги. Когда меня высылали, был издан приказ: изъять из всех библиотек «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» — и всё сжечь. Это что уже сами они напечатали в СССР — и то всё уничтожить. И теперь всё ещё — даже невинный «Раковый корпус» и тот отвергают, не решаются печатать. А что ж тогда говорить о главных произведениях моей жизни — об «Архипелаге ГУЛаге», о «Красном Колесе»? Да ведь ещё как у нас умеют издавать: попродают книгу пятнадцать минут на Кузнецком мосту, остальное за границу, — считается, изда́ли. Нет, я имею в виду реальный массовый тираж — так, чтобы в любом городе Советского Союза книгу можно было бы свободно купить. А не так, как сейчас: за чтение моих книг ещё продолжают люди сидеть в лагерях. Нет, я не могу вернуться раньше моих книг.

ИНТЕРВЬЮ С РУДОЛЬФОМ АУГШТАЙНОМ ДЛЯ ЖУРНАЛА «ШПИГЕЛЬ»

Кавендиш, 9 октября 1987

Александр Солженицын, пришло время, что ваше имя уже можно назвать на равных правах с крупнейшими русскими романистами Толстым и Достоевским. Но, коль скоро вы придаёте большое значение тому, чтобы быть писателем, имеющим какое-то влияние на ход истории, разрешите в нашем сегодняшнем разговоре оставить немного в стороне художественные аспекты ваших трудов.

Что касается оценки масштаба и значения моих книг, то, как это всегда бывает, оценку можно вынести через двадцать, пятьдесят или сто лет после жизни, после смерти писателя. Сейчас говорить об этом преждевременно... Я действительно хочу, чтобы мои книги повлияли на ход сознания моего народа, но это нельзя оторвать от их художественности. Если бы они не имели литературной формы, то они и не могли бы иметь серьёзного влияния, ибо политическая публицистика отличается от художественного произведения тем, что автор для статьи или для речи должен принять, выбрать определённую точку зрения; он имеет тогда перед собой соответствующих оппонентов, которые тоже имеют определённую точку зрения, и его изложение тогда тоже становится однолинейным. А художественное произведение даёт всегда объёмное представление, даёт не только три измерения, но десятки направлений. По этой причине я ощущаю большое стеснение от политической публицистики. Я уже больше четырёх лет как не занимался ею.

Ещё когда вы были шестнадцатилетним молодым человеком, перед вашими глазами стоял образец графа Толстого, и прежде всего его роман «Война и мир». Я думаю, что мы не ошибёмся,

предположив, что уже тогда в вас вырабатывалась мысль написать для своего времени такой же эпос, с таким же историческим масштабом и исторической наполненностью.

Действительно, образец «Войны и мира» толкнул меня, что *можно* создавать крупномасштабные произведения. Но задача моя была совсем иная: описывать революцию, феномен редкий, необычайный, и к тому же в Двадцатом веке, а весь темп Двадцатого века требует совсем другой манеры, конструкции и изложения.

Но также нельзя не видеть и различия между вашим подходом к истории и подходом Толстого. По нашим сегодняшним представлениям, мы бы сказали, что Толстой писал как структуралист, в то время как вы ещё знаете положительного героя, который, хотя часто напрасно, пытается повернуть ход дел к лучшему. Мы это правильно поняли или нет?

Нет, это не так. У меня нет главного героя. У меня подход вот какой: для меня главный герой тот, кому посвящена данная глава, и я должен строить всю главу полностью в его психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык — не прямую речь, а свой авторский язык — строю так, чтобы он был верным фоном именно к этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в романе, сколько героев. Если Воротынцев в ходе военных операций «Августа» сыграл какую-то роль, ну, как офицер генерального штаба в нужном месте... то уже в «Октябре Шестнадцатого» он попадает, в общем, в бессильное положение и ничего политически сделать не может. Его особенность та, что он ведёт в основном среднюю линию, не принимает крайних точек зрения. А в «Марте Семнадцатого», например, он будет и вовсе бессилен перед событиями.

Я вижу здесь разницу в историческом восприятии. Если сравнить бы Воротынцева с Кутузовым, то Кутузов действует своим недействием, а вещи и события происходят благодаря существующей, присущей им закономерности, которая в

них вложена. Но у вас это не так. Мне кажется, ваш подход сильно отличается от подхода Толстого. Это явно выражается ещё и в том, что вы сами делали историю «Одним днем Ивана Денисовича» и «Архипелагом ГУЛагом», а такого намерения у графа Толстого, видимо, не было — вмешаться в историю?

Должен сказать: я не согласен с трактовкой Кутузова Толстым. На самом деле это был очень опытный полководец, выигравший много кампаний, и очень умный. Он великолепно провёл кампанию Двенадцатого года, и именно поэтому он выиграл, а не потому, что распустил всё — и иди как хочешь, пусть будет как будет.

Того же мнения и я.

Я уверен, что каждый человек, абсолютно каждый, своею волей и действиями как-то вкладывается в общий ход истории. И когда мы рассматриваем такое грандиозное явление, как российская революция, то и там играли роль и воля отдельных людей, многих, и воля толпы, которая теряет всякий самоконтроль и смысл, и поведение отдельных партий, и экономические законы. И всё это тесно переплетается и влияет друг на друга.

Тут, может быть, уместно процитировать позднего Энгельса, который свою философию выразил в следующих словах: «Каждый имеет свои интересы и намерения — и результатом будет чего никто не хотел».

Очень много векторов сил и ошеломляющая результирующая.

Мне кажется, что у вас напряжённое различие в отношении к Толстому и Достоевскому. У меня такое чувство: что-то отводит вас вдаль от Толстого и притягивает к Достоевскому. Есть такая связь?

Отдельными чертами мне ближе Толстой, отдельными Достоевский. Это трудно взвесить на весах. Со многими положениями философии Толстого я совер-

шенно не согласен. Но я прошу, чтобы вы всё время имели в виду: что после Толстого и Достоевского вырыта в русской истории бездна. Мы пришли в Двадцатый век — в условия жизни как бы другой планеты. Сознание нашего народа сотрясено до такой степени, что всякие линии связи с Девятнадцатым веком и параллели с Девятнадцатым веком становятся трудными, их очень осторожно надо проводить.

И литература изменилась до самой основы?

Литература как явление высококультурное имеет свою традицию, идущую как бы в воздухе. Я очень предан традиции русской литературы XIX века. Однако в обстановке этого нового мира и мы должны иначе себя вести и иначе писать.

Это ясно. Но я всё-таки вижу связи ваши с Достоевским. Хотя бы в оценке чистоты и величия русского крестьянина, мужика, сравнительно с рабочими.

Вообще никак нельзя сказать, чтобы рабочие были бездушны. У них своя многообразная жизнь. Достоевский несколько преувеличил миф о святом русском простом человеке. Мне пришлось в третьем Узле — в «Марте Семнадцатого», который вы ещё не читали, — затем и в «Апреле Семнадцатого», рассматривая картины революции, увидеть противоположное. Сплошное безумие охватывает массу, все начинают грабить, бить, ломать и убивать так, как это бывает именно в революцию. И этого святого «богоносца», каким его видел Достоевский, как будто вообще не стало. Это не значит, что нет таких отдельных людей, они есть, но они залиты красной волной революции.

Разрешите вернуться к Толстому. Правильно ли я понял, что вы всё-таки сердитесь на Толстого, что он может себе представить понимание Бога без креста. И как раз крест Христа вернул вас, бывшего марксиста и атеиста или, может быть, агностика (я не знаю, какой из этих терминов вы предпочли бы), — вернул вас не в последнюю очередь и к Достоевскому.

Я не стал бы говорить, что я сержусь на Толстого или упрекаю его. В «Октябре Шестнадцатого» священник просто констатирует факт отхода Толстого от основных положений православной веры. Видите ли, говорить публично о собственном отношении к вере бывает сложно. Однако я могу сказать, что в моём детстве православие в самой простонародной форме мне было внушено и усвоено мною. Мой дедушка и моя бабушка были простые люди. Эта народная набожность подвергалась резкому преследованию в советской школе, подавлялась. Мне очень трудно было устаивать против этого давления. Я подчёркиваю: в моём детстве моя вера была именно в той форме, как верит простой народ. А затем, в ходе советской жизни, действительно, я испытал сильное воздействие того марксистского учения, которое нам внушали в университете, и отошёл от веры. В тюрьме я был в самом деле некоторое время агностиком, это отражено в «Круге первом», — но к концу лагеря, и особенно когда я заболел раком и выздоровел, я возвратился к прежней вере.

Верующий христианин или агностик... Не кажется ли вам вероятным, что тот факт, что вы выросли на Юге России, в классически мятежной области, содействовал вашему личному развитию в направлении некоторой жёсткости?

Моё южное происхождение, именно то, что я жил в районе Ростова и Новочеркасска, сыграло очень большую роль в выборе темы, в замысле писать гражданскую войну, то есть, по сути, в выборе темы «Красного Колеса». Но советское воспитание было стандартизовано по всем областям СССР, и уже неважно было, в какой части СССР испытать советское влияние.

Но в любой стране Юг — это нечто другое, чем Север.

Я должен сказать, что как раз на меня Юг произвёл отрицательное воздействие, именно: там нет хорошего русского языка. Только когда я уже поднялся на Север, пожил на Севере, я понял, чтó я потерял.

Нам бросается в глаза, что вы всё время возвра-

щаетесь к одной основной мысли: что христианский мир за последние четыреста лет отвернулся от Бога. Доказательства этого вашего мнения вы, конечно, могли бы привести довольно легко. Но мы хотели бы осмелиться возразить, что христианский мир — по существу марксист и только по видимости обращён к Богу.

То есть вы хотите сказать, что христианский мир в основе своей никогда и не был христианским? Не только в последние четыре столетия, но и вообще никогда?

Да, именно таково моё возражение.

Моё суждение, естественно, более основано на моей собственной стране, которую я знаю лучше. Русский народ принял православие до такой степени глубоко и без остатка, как трудно даже передать. Русские называли себя «крестьяне» — то есть те, кто носят крест. Ещё: наш народ никогда не знал официального календаря, я имею в виду низы народные. В государстве, конечно, был календарь, но для крестьян каждый день был день какого-либо святого, и весь жизненный ритм, и все сельскохозяйственные работы и расчёты велись только по святым. Крестьяне добровольно выдерживали христианские посты, которые требовали меньше питания, даже и в периоды тяжёлой работы. Так же строго выдерживали они и воскресный отдых, хотя бы теряли на этом благоприятную погоду для работы.

Я в Загорске видел старых бабушек, которые десятки и больше километров пешком проходили только для того, чтобы быть близко к предмету их веры.

И ещё добавлю, что в Загорске их не пускают в гостиницу ночевать. Так вот, у нас православие вошло в систему мышления и в систему чувств. И когда писал Достоевский — это ещё всё сохранялось в огромной степени, но с конца XIX века, с девяностых годов XIX века, и начала XX века вера стала выветриваться даже в деревнях. И это подготовило нашу революцию.

Падение христианской веры?

Да. Православие было воспринято русским народом исключительно глубоко, однако оно стало выветриваться за двадцать-тридцать лет до революции. Причём эта эрозия шла сверху, прежде стал безрелигиозным, атеистическим, средний класс образованный, а потом это постепенно спускалось вниз. Но и насколько же крепка эта вера, если вот её шестьдесят-семьдесят лет прокатывали огненным катком, прокатывали, а она даже сейчас жива. Вот вы сами наблюдали этих старушек — после всего этого уничтожения. А ведь эти старушки — они выросли уже в советское время.

Есть и молодые.

Да, сегодня в нашей стране и многие молодые приходят к религии.

Верит ли человек в Бога или нет — это, может быть, слишком тонкий, может быть даже схоластический, вопрос. Взялись бы вы определить веру в Бога? Не могу себе представить человека, который верит в Бога и не стремится по меньшей мере быть набожным. Безусловно, и до Христа уже были люди, которые верили в Бога. И сейчас есть серьёзные люди, которые не видят большого различия в поведении людей до Христа и после Христа, до распятия и после него. Вы принимаете такое возражение всерьёз?

Жизнь человечества чрезвычайно многообразна. Во все века мы видим разные уровни духовного развития. Я думаю, что история человеческих обществ и мысли демонстрирует нам разные пути веры в Бога и сближения с Ним. Одни живут лишь с убеждением, что существует Высший Разум, Высшая сила во Вселенной. Другие конкретно принадлежат к какой-то религии и представляют себе своего Бога именно так, как говорит, как учит *эта* религия. Христиане — верят в Христа. Люди меньшего развития испытывают как бы тёплое общение с Богом и больше всего ценят в церкви обряды. А есть люди целиком предан-

ные богословию и изучению богословских истин, обоснованию вопроса во всей сложности. Опять же, говоря о своей стране, скажу, что она, приняв христианство и отвернувшись от язычества, духовно преобразилась, стала другой страной. Но если говорить, скажем, о Европе, вообще о Западе, то, осмелюсь сказать, у меня создаётся такое убеждение, что в течение последних трёх веков общий уровень нравственности непрерывно понижался, и сегодня мы пришли вместо мечтаемого великого прогресса к таким смертельным неожиданным опасностям со всех сторон и к такому нравственному падению, которое ещё в XIX веке нельзя было бы представить. Если вас заинтересует, я могу привести высказывание Игоря Сикорского, крупнейшего авиационного конструктора. В Первую мировую войну он в России создал самолёт, самый крупный в ту войну, «Илья Муромец». После революции он эмигрировал в Америку и там создал несколько основных самолётов и вертолётов Соединённых Штатов, ко Второй мировой войне. Но не только. Как человек широкого интеллекта он много занимался вопросами биологических видов, философией жизни на Земле в общем виде. В одной из своих лекций, а затем и в книге, изданной в Америке, он сформулировал закон, который я бы назвал законом Сикорского. Каждое живое существо в той или иной степени имеет развитие интеллектуальное и развитие нравственное. Но если в биологическом виде нравственное развитие идёт менее чем пропорционально интеллектуальному прогрессу, то есть отстаёт от него, то такой биологический вид обречён на вырождение или вымирание. И, я думаю, человечество, возможно, вступило на этот путь.

Для марксиста — дело ясное: где бы материальные интересы ни столкнулись с идеальными — материальные интересы возьмут верх. Экономика господствует надо всем ходом событий. И это во многом правильно, даже если Марксова утопия нигде не была осуществлена, а возможно — никогда и не будет. Но мы знаем из прошлого такие события, которые не поддаются одному ма-

териальному или экономическому объяснению, хотя в них тоже всегда присутствовали материальные интересы.

Конечно.

Но возвратимся снова к вашей стране. Возьмём русскую историю. Нам представляется, что вы усматриваете отклонение от нормального развития вашей страны уже до Петра Великого, когда из-за сравнительно незначительных различий одна часть русского христианства безжалостно преследовала другую, так называемых староверов. И споры, которые тогда шли, очень сходны с теми, которые мы знаем в западном христианстве, где как бы искали раздора во что бы то ни стало, споря, как надо выражаться: «это есть» или «это означает». Речь шла о вещах, которым современный человек уже не может придать большого значения: креститься двумя ли пальцами или тремя, допустить единогласие или многогласие в литургическом пении, — а тогда все эти вопросы были важнейшими, первого ранга.

Да, я считаю раскол самой большой трагедией нашего народа за минувшее тысячелетие, я имею в виду до большевицкого переворота. Да, действительно, противники религии всегда упрекают её за фанатизм в религиозных столкновениях. Но это потому, что в религиозных спорах дело касается самого дорогого для человека. Вы совершенно правы, что тогда, при русском церковном расколе XVII века, дело касалось, в общем, довольно незначительных исправлений, которых можно было и не проводить или можно было их проводить постепенно, убеждением и согласием спорящих. А их провели крутым образом — преследованием несогласных, сожжением священных книг, а потом и людей. Я об этом как раз и пишу в одном из своих Узлов. Вы совершенно правы: проблема возникла прежде Петра. Пётр только продолжил разрыв, раскол в русском народе, раскол между общественными слоями.

И включил всё православие в свою правительственную систему?

Да. Но слои, которые создались при Петре, дальше уже никогда не соединились до самого 1917 года. И, собственно, главная причина российской Февральской революции была в полном разрыве этих слоёв, во взаимной враждебности их и взаимном непонимании.

И поэтому произошло восстание?

Да, это главная причина революции.

Тем самым вы уже вперёд ответили на один вопрос. Но вы говорите об особенностях, которые отличают русский народ от других, прежде всего — о его высокой морали. Как это сочетать с вашим выводом, что никогда ещё на Земле не существовал более жестокий, кровожадный, более дьявольский режим, чем в Советском Союзе.

Этим вопросом перепрыгиваем мы всю российскую революцию. А надо последовательно, шаг за шагом, рассматривать, как одно переходило в другое. Мои Узлы и служат этой цели. Но я охотно готов сейчас на некоторых пунктах остановиться, чтобы связать один конец с другим. Не буду повторять, что Россия уже из XIX века выходила с глубоким расколом между слоями образованными и необразованными. Крестьянство составляло восемьдесят два процента населения. Оно, после освобождения от крепостного права в 1861 году, насильственно держалось властью в так называемой крестьянской общине. Это сделано было властью для того, чтобы легче контролировать крестьянство, а в случае каких-то нарушений спрашивать со всех, — это называлось «круговая порука». Таким способом собирались и налоги. Так вот, никакой крестьянин не мог удержать определённого участка земли на долгое время. Одна земля получше, другая похуже, третья ещё похуже, их нарезают полосками, и крестьянин получает одну полосочку здесь, одну полосочку вот здесь, а одну вон там. И полоска такой ширины, что вы не можете посеять не то самое, что сосед, вы должны в один и тот же день прийти и убирать. И ещё: вам

нет никакого смысла удобрять эту землю, потому что, вдруг, через три года будет передел — и всё это отойдёт другому. Это была абсурдная система, которая подавляла наше хозяйство, она не давала возможности никакого экономического совершенствования, никакого выбора, что́ сеять, никакой свободы человеку самому сделать лучше или хуже. И поразительно: кто же эту систему защищал? кто же был реакционер в России? Во-первых — власть, во-вторых — социалисты. Почему? Потому что это уже колхоз, это уже социализм. Остается убить царя — и будет социалистическое государство. И третьи, кто был за эту систему, — кого у нас называли либералами, на самом деле они были радикалами, — кадеты. Они составляли образованный слой и не вникали в подробности, как там с крестьянством, хотели только не ссориться с социалистами, с которыми они составляли левый блок. И так Россия шла к нищете, не могла развиваться. И тогда родилась энергичная группа специалистов и государственных деятелей, во главе которой стал Столыпин, и Столыпин решил разрушить эту общину. Столыпин старался перевести нашу систему сельскохозяйственную в такую, как на Западе.

Но мы должны указать: дело не только в том, что его убили. К моменту убийства Столыпина царь уже лишил его своей благосклонности, он уже был политически конченный человек.

Не совсем так, не совсем. Он — эту реформу провёл. Государственная Дума — наш парламент — три года душила эту реформу, не давала провести. Кто реакционер и кто либерал? Столыпин и был либерал. Совершенно верно, что правые, крайне правые круги, ненавидели его. Но ненавидели его и крайне левые. Он, несмотря на всё, свою реформу провёл. Его идея была именно, что надо освободить крестьянина от экономической зависимости — и тогда он станет гражданин. Сперва, говорил он, нужно создать гражданина, а потом будет гражданственность.

В России не было среднего слоя.

Столыпин успел провести свою реформу до опреде-

лённой степени, создать так называемые хутора, отрубá, ну, как западная система, когда живут отдельным куском земли. И кто, вы думаете, отменил эту реформу? Временное правительство в 1917 году! А потом большевики окончательно запретили эти хутора и уничтожили их. Я хочу этим ясно сказать, почему я посвящаю так много внимания Столыпину не только сейчас в разговоре, но в книге. Он был настоящий либерал, сделал попытку освобождения хозяйства и утверждения гражданственности.

Но мог ли Столыпин помешать Октябрьской революции? В «Октябре Шестнадцатого» вы рисуете Россию уже готовой к перевороту.

Ни в коем случае! Мне пришлось прочесть, благодаря любезности моего германского издателя Пипера, примерно сорок рецензий на «Октябрь Шестнадцатого». Когда первый том «Августа» выходил в 1972, мне тоже присылали рецензии, но советская цензура все отбирала, так я их и не читал. А вот теперь, читая рецензии на «Октябрь», я понял, что знает сегодня Германия о старой России и о новой России и чего она не знает. В этих рецензиях относительно широко и представлено такое мнение: что Солженицын рисует в «Октябре Шестнадцатого» Россию, уже созревшую к Октябрьской революции. Так вот, я рисую, действительно, состояние очень большого внутреннего напряжения в государстве. Напряжение между слоями, полное взаимное непонимание доводят до того, что положение становится шатким-шатким, неизвестно, чем это разрешится. Да, неизвестно.

И война была Россией проиграна.

Нет! Совершенно неправильно говорить, что Россия проиграла Первую мировую войну. Она не проиграла её потому, что, во-первых, она была с союзниками. Во-вторых, она не проиграла её потому, что к началу Семнадцатого года имела великолепное военное снабжение, например, артиллерия в начале 1917 уже была снабжена всем необходимым... А вся слабость России состояла в этом конфликте между общественными слоями. Именно это напряжение созда-

вало неустойчивость. Революция не была неизбежна, но *могла* произойти.

> Однако нужно сказать, что самодержцы, которые правили в России, в Австро-Венгрии и в Германии, не справились с решением тех проблем, с которыми демократиям было бы легче справиться.

Я не берусь сейчас говорить о внутреннем положении в Германии и Австро-Венгрии. Но могу сказать, что в России последующий государственный аппарат, который сменил старый царский, оказался гораздо хуже его. Так что сказать, что царь не мог править, — неверно. Царь только не мог найти единый язык с образованными слоями, а они, в свою очередь, не могли понять народ. Итак, повторяю, революция могла быть, могла и не быть. Какая революция? Да вот та самая российская революция, которая произошла в Феврале. Что же касается Октябрьской революции — это смехотворная басня говорить, что она уже в 1916 прорисовалась. Нет, тогда к октябрьскому перевороту ничто не вело, и сам Ленин в январе 1917, в Швейцарии, на одном общественном собрании сказал: наше поколение не доживёт до революции, и я намерен уехать в Соединённые Штаты.

> Вот именно это мне так понравилось в вашей книге. Я впервые понял из неё, лучше, чем из какого-либо исторического труда, почему неизбежно эта российская первая революция пришла и должна была прийти.

Надеюсь, что достигнет когда-нибудь вас немецкий текст «Марта Семнадцатого». В той революции произошла поразительная вещь: наступила неограниченная свобода, настолько неограниченная, какой не знала Европа ни в какой момент своей жизни. Причем эта свобода, принесенная Февралем, быстро, в течение недель, распространилась сверху вниз. И вот простые рабочие могли работать, а могли и не работать, требовать себе денег и не работать. Могли бить своих мастеров и инженеров. Солдаты могли убивать офицеров, бросать фронт. Крестьяне — сжигать поместья, разно-

сить по кусочкам, что находится в поместьи, или мельницу разбить. Хотя период так называемой Февральской революции занимает восемь месяцев, на самом деле через три месяца после революции уже была полная анархия. Временное правительство оказалось не в состоянии управлять страной. Страна стала разваливаться не от недостатка прав, а от безумного злоупотребления правами и свободами. Февральская революция привела к тому, что Россия лежала распластанная, для любого желающего: бери, если хочешь. И вот тогда стал неизбежен октябрьский переворот.

Тут надо возразить, что царское самодержавие не оставило после себя никаких жизнеспособных органов управления. В «Октябре Шестнадцатого» вы вкладываете в уста возлюбленной Воротынцева, что для простого народа совершенно естественно иметь над собой личную волю, волю одного человека, и таким образом монархия только повторяет мировой порядок. Всеми признаётся один-единственный, который может быть милостивым или строгим как к тебе, так и к твоему врагу. А чего ждали вы, если этот Верховный откажется действовать?

Там приведен аргумент монархистов. Это вовсе не аргумент автора, и даже не принят Воротынцевым, который слушает эти рассуждения. Но если говорить об аппарате, который был при царе, то должен сказать: конечно, было много устаревших чиновников на высоких постах, не желавших продуктивно работать, но было и много здоровых сил, очень опытных, которые вот Столыпин же мог повести, чтобы совершить большие реформы. Этим здоровым государственным силам главным образом мешала закостеневшая верхушка чиновничества в высших слоях, в окружении царя, двора.

Но приход к власти народного представителя Гучкова в начале войны уже означает некоторый род двоевластия.

А, ещё до революции? Так как царь имел мнение, что он должен сделать что-нибудь приятное обществен-

ности, то он разрешил такие организации, как Земгор и Военно-промышленные комитеты. Какие же у них были права? 95 процентов своего бюджета они получали из казны без контроля. И если только государство настаивало на контроле, они возмущались, что это недопустимо. А план работы они устанавливали свой, какой хотели. Снаряды, которые они изготовляли, стоили дороже, чем на казённых государственных заводах. А потом они захватывали такие виды деятельности, которые нравились солдатам. Мол, именно мы — суть те, кто делает всё для Армии. Так что вы правы, да, господин Аугштайн, это было действительно двоевластие, допущенное опять-таки из-за того, что ненормально соотносились государственная власть и образованный слой.

Александр Исаевич, разрешите вернуться глубже в историю. Мне кажется, что вы с ваших церковных юных дней сохранили в отношении Петра Первого на всю жизнь отвращение, неодобрение. Мне кажется, вы его упрекаете в связи с тем, что он ловко использовал внутрицерковные распри для того, чтобы подчинить себе всё православие, всю православную структуру. Но подобное делали и другие властители и государи. Да, возможно, царь Пётр вовсе и не был христианином.

Отвращение — нет, но — неприятие. Я не одобряю его действий.

Некоторые считают вас «убеждённым великороссом», чтобы не сказать хуже. Но делом и словом вы, по-моему, этих людей опровергаете. Ещё в лагере, между 1945 и 1953, вы написали в «Дороженьке» строки, которые я цитирую:

Всё понятно — *Прогресс!* А сидит во мне ересь:
Всю страну на дыбы — по какому праву?
Запишу! Назову его: «шведский тезис»:
Оправдала ли цену свою Полтава?
Двести лет всё победы, победы, победы,
От разора к разору, к войне от войны, —
А разбитые нами на Воркле шведы
Разжирели, как каплуны.

Мне эти стихи нравятся, также и их мораль. Но спросишь: можно ли отказать русскому медведю в том, чем занимались и увлекались все другие. Ведь и шведы не добровольно стали мирными, но в связи со слишком малочисленным населением и недостатком ресурсов.

Вы начали вопрос с того, что я отталкиваюсь от Петра за то, что он церковь подчинил государству... Но это действие не является центральным у него, и моё отношение к нему определяется не преимущественно этим. Я Петра не принимаю потому, что он насильственными методами сокрушал и культуру древней жизни, и мироощущение нашего народа — и только для того, чтобы скорее воéнизировать и осуществить свои внешние замыслы. И это делал он в таких темпах, которые невыносимы. Что требовало двух столетий, он вынудил за двадцать лет.

Так сказать, «прусская перегрузка».

Но дороже всего, чтобы народная жизнь развивалась естественно, исходя из своих традиционных путей. Я никогда не был сторонником империи, а Пётр был. Однако в вашем вопросе проскользнуло ещё мимоходом, как меня представляют на Западе. Вы знаете, это настолько юмористично, я вот выписывал, что обо мне говорят, — на меня врут, как на мёртвого...

«Великорусский шовинист».

И это только начало. Правда, на меня лгут, как будто я уже умер.

Понятное заблуждение. Люди у нас в Германии не делают различия между литератором Достоевским и политическим публицистом Достоевским. Как политический публицист Достоевский был действительно великорусским шовинистом, он хотел прикарманить ещё Индию.

К сожалению, ещё и Константинополь!

Но в его великих романах это не прослеживается. Разрешите задать вопрос. В немецком переводе, не знаю, насколько он верен, вы сказали

о церковном расколе: тут руку приложил и Пётр. Но ведь раскол был до Петра. Что вы имели в виду?

Что и Пётр и Екатерина продолжали преследование старообрядцев, староверов.

Но они и больше делали, «продолжали» — это ещё слабо сказано. Я хочу спросить о другом. Когда я, ребёнком, был прислужником в католической церкви в Ганновере, то один иезуит, по имени Кологривов, — он был из России, из Санкт-Петербурга, — утверждал, что царское самодержавие представляет положительные стороны русской сути, а диктатура Ленина и Сталина — отрицательные. Между прочим, Кологривов был очень вспыльчивым человеком, он мне однажды швырнул литургическую книгу под ноги, когда я недостаточно быстро перенёс её с одной стороны алтаря на другую. Но это к слову. Я только спрашиваю, можно ли представлять себе мир в таких чёрно-белых контрастах, не соответствует ли коммунизм каким-нибудь запросам людей, не осуществимым другими путями, — даже если расплатой за коммунизм будет гибель?

Я сегодня сказал ещё в начале: что всякая публицистика однолинейна, а художественная передача — объёмна. Стану ли я сейчас рассуждать о веках самодержавия в России или стану рассуждать о распространении коммунизма по миру — в обоих случаях я буду выступать как политический публицист. Я бы предпочёл этого не делать. Как художник — я отобразил русское государство, русское самодержавие, русское общество в начале XX века. И смею заверить, что я сказал иногда более горькие вещи о них, чем поучают мои политические оппоненты, мало сведущие в истории России.

Как произошло, что Россия подпала под большевизм?

Чтобы об этом рассказать, следует продолжать даль-

ше серию моих Узлов. Но одно замечание можно сделать сейчас: коммунизм есть явление, конечно, не национальное, он и сам себя называет интернациональным, это есть — интернационал-социализм.

Слово интернационализм — не плохое.

Я бы противопоставил ему понятие космополитизма, который я ставлю гораздо выше. «Интер» — это латинское «между»; значит, «интернационализм» самим своим словом показывает, что он не впитывает в себя нации, он именно «интер», он между ними. Вопреки их официальным заверениям, коммунисты подавляют все национальные культуры. А космополитизм — напротив, объединяет, впитывает в себя все национальные культуры. Для этого понятия у Достоевского было слово «всечеловек» и «всечеловечество». Но только космополитизм должен быть действительно честным, последовательным до конца. К сожалению, в Европе долгие века космополитизм понимался как только всеевропейский, объять всю Европу, но не весь мир. На самом же деле человечество состоит из многих культур, которые вовсе не идут параллельно друг другу. Мы должны с таким же уважением отнестись к культуре, не говорю уже Древнего мира и библейства, но и к мусульманской, к индийской, китайской, японской, русской, каких-нибудь маленьких северных народов заполярных и каких-нибудь Полинезийских островов. И вот, если мы с уважением отнесёмся к ним ко всем, это будет космополитизм. Если мы не будем проявлять, так сказать, европейского шовинизма, то есть: делайте всё как мы, живите все как мы — и тогда будет всё правильно.

Важно было бы понять: была ли ленинская революция перерывом традиции, обрывом её, — или она видится в традиции, идущей от Петра, или даже более ранней, и только развивает её.

Состояние России, как я его представил в «Октябре Шестнадцатого», ещё не предвещает октябрьского переворота и захвата власти большевиками, — могло пойти и так и этак. Напротив, состояние России в

марте — мае 1917 делает октябрьский переворот неизбежным.

Ни царю не хватило сил, ни республиканскому премьеру Керенскому?

Коммунизм произошёл не из старого русского режима, но из февральской формации. Впрочем, ситуация не ограничивается только Россией, она повторяется в различных странах. Я очень далёк от утверждения, что коммунизм всплыл в мире полностью неожиданно. Коммунизм — это только левый край интернационал-социализма. Наша февральская ситуация, совершенно неустойчивая и анархическая, открыла свободный путь для коммунизма, и это характерно не только для России. Мы теперь имеем до пятнадцати коммунизмов, в различных странах. Наивно было бы говорить, что коммунизмы Кубы, Никарагуа, Эфиопии, Вьетнама происходят от Петра I.

Должна ли была анархия буржуазной революции иметь следствием коммунизм или Ленин создал свою собственную революцию? Мог ли кто-нибудь другой его заменить или предложить другой путь?

Я уже имел случай сегодня сказать, что ход истории определяется как личностями, так и направлением партий, и хаосом толп, и экономикой. Всё это действует вместе. Ситуация в России в апреле—мае 1917, следствие Февральской революции, открывала все пути крайне левому течению. Ленин обладал гениальной способностью использовать ситуацию. Он делал это наилучшим образом для себя и проводил крайне быстро. Но не надо так представлять, что исходное положение, при котором не было бы Ленина, не могло бы привести к коммунизму. Были и другие, ярко выраженные деятели.

Другим Лениным мог бы стать и Троцкий...

Да, Троцкий. И Красин, Зиновьев, Каменев, Дзержинский, Свердлов, — многие. Только, может быть, они бы совершили это не так легко и не так ловко.

Вашей мировой славой вы обязаны трудам, ко-

торые вы написали при самых неблагоприятных условиях в самой России. Известно, что вам пришлось наизусть запоминать целые пассажи из ваших будущих книг, потому что у вас отбирали всё написанное. А сейчас вы свободны творить и писать. И предприняли задачу написать один из самых монументальных трудов, который известен в мировой истории. Два тома такого большого труда уже имеются, третий том в работе. И, очевидно, вы по-новому хотите осмыслить историю с 1914 года до завершения ленинской диктатуры в 1918 году. Правильно мы это понимаем?

По-новому по сравнению с кем, с чем? Как коммунисты представляют историю?

Да, по сравнению с партийной историографией, но также и с имеющимися на Западе результатами исследований.

Дело вот в чём. Здесь, на Западе, я получил такие возможности для работы, которые мне и сниться не могли в Советском Союзе. Там даже советские источники, лучшие из них, были для меня недоступны. Я не имел права в Москве жить, мне закрыт был доступ к большим библиотекам, нечего говорить об источниках, которые были изданы на Западе. Потом здесь, на Западе, я лично сумел опросить триста человек — участников революции. А в Советском Союзе я не имел легальных возможностей разыскивать современников событий и расспрашивать их. Да никто б и не ответил, из страха.

Как же при таких условиях можно работать?

И это относится к каждому, кто сегодня печатается в Советском Союзе, хотя и расширились рамки допустимого. Однако я могу, кажется, сообщить немецкому читателю, что такое громадное количество Узлов, как я думал, мне не придётся написать. И вот почему. Я должен принять во внимание, что в наше время люди меньше читают, и я должен щадить читателя. Во-вторых, мой возраст. И самое главное: теперь,

когда я кончаю работать над четвёртым Узлом — «Апрель Семнадцатого», я вижу: уже раскрылась картина, страна уже лежит открытой, чтобы быть схваченной большевизмом. Так что в некотором смысле я свою задачу выполнил. Конечно, хотелось бы, интересно очень работать дальше — октябрьский переворот и что дальше, в 1918. Но мне уже не придётся.

Вами движет творческая сила, но вы требуете и от читателя: он должен соработать с вами и никогда не обескуражиться.

Конечно, я всегда видел перед собой русского читателя. Для западного читателя, может быть, надо было бы сесть и сделать несколько сокращённые версии, найти время. Но такого времени у меня не было и нет. И поэтому, может быть, западный читатель просто бы пропускал обзорные главы. Конечно, не все русские подробности Западу нужны, но общая картина весьма поучительна для Запада, потому что всё это может совершиться и на Западе.

Я, конечно, не знаю, кто был Шекспир и как именно он работал, но требовательность и сила воли, с которой вы обращаетесь к вашему читателю, как-то даже наскакиваете на него, кажутся мне уникальными. Снова проявляется тот прежний Солженицын, который делал себе из крошек хлеба чётки для того, чтобы удержать в памяти то, о чём он писать тогда не имел права или, если писал, вынужден был эти записи уничтожать.

Я не нахожу, что я наскакиваю на читателя. В большинстве случаев я предоставляю читателю тридцать-сорок точек зрения. Документально я даю только факты. Я понимаю, что всякий отбор их уже имеет значение. Но я стараюсь давать их столь репрезентативно, сколько это возможно. В обзорных главах я ставлю от себя лишь малые замечания, которые необходимы для понимания. Например, знаменитая речь Милюкова, когда он обвиняет царицу в том, что она ведёт с немцами сепаратные переговоры...

Он ссылался на венскую «Нойе Фрайе Прессе», цитируя по-немецки, чтобы председатель Думы не мог его остановить.

Милюков держал ту речь в ноябре Шестнадцатого. А в июле Семнадцатого он давал показания Чрезвычайной Следственной Комиссии. Его спросили: вот вы сказали, что Нарышкина приехала с поручением от Вильгельма. А он говорит: да нет, это оказалась не Зизи, а Мими, не та Нарышкина совсем, та не приехала, та осталась в Германии. А откуда, мол, вы всё-таки взяли, что ведутся сепаратные переговоры? Милюков отвечает: в «Бернер Тагвахт» была статья. А эта статья, анонимная, была — сочинение Карла Радека, ленинского остроумца. Так я, когда пишу в семидесятых годах об этом, — это так давно, и упущено всеми, — я должен в скобках пояснить, вот только это там и есть от меня.

Александр Исаевич, я нахожу иногда, что в вашем описании истории слишком часто встречается «к сожалению». Например, «к сожалению, царь не справился», «к сожалению, у него не было хорошего правительства», «к сожалению, так называемые прогрессивные силы хотели слишком многого и слишком многого сразу». И, к сожалению, после этого ещё будет Ленин. А я скорее думаю, что прав Толстой: вся мировая история именно состоит из таких «к сожалению». Никто не может исходить из того, что все события должны идти лучшим образом. Обычно мы должны принимать, что всё — идёт как идёт.

Не знаю, найдёте ли вы у меня такие прямые высказывания от автора, где я бы говорил «к сожалению». Это говорят разные персонажи-современники, в спазмах мучительных для них событий. Они имеют право переживать и огорчаться.

Я различал, кто говорит — персонаж или автор. Я имел в виду автора: к сожалению, потерпел неудачу Столыпин, не действовал царь, восстал народ, впал в необузданность, — к сожалению.

Вы ошибаетесь. Кроме небольших замечаний в обзорных главах автор сам вообще не говорит. Обзорные главы документальны. Если бы в истории было всё просто, если бы история позволяла себя так легко представить, или мне хотелось бы выразить себя непосредственно, — тогда я не нуждался бы в таком сложном построении, как роман с сотнями действующих лиц. А потом не забывайте, что я описываю не просто какой-то кусок жизни нашей страны — а самый несчастный. И все участники видят, что это несчастье, и не могут исправить. Да, «к сожалению». И из Первой мировой войны я описал не всю войну, а только самсоновское поражение, я же мог взять и победу.

> Между прочим, в 1944 мы были совсем недалеко друг от друга: капитан Красной армии артиллерист Солженицын и немецкий артиллерист Аугштайн.

Ах вот как...

> Ясно, что насильственно высланный в изгнание Александр Солженицын и думает и пишет иначе, чем артиллерийский командир в 1945 в Восточной Пруссии, который за свои наивные пассажи в письме другу юности получил сравнительно мягкий приговор, а мог получить и смертный. В главном вы остались собою и посегодня: у вас несравненный дар познавать действительность, но одновременно также большой дар не признавать её. В своей переписке тогда вы писали о необходимости второй партии в Советском Союзе. А ведь это была измена самым святым ценностям тогдашнего советского человека.

Конечно. Но если я пишу сейчас иначе, чем когда начинал эту книгу, — а ведь я работаю над ней пятьдесят лет, — то это не потому, что я переехал из Советского Союза на Запад, а также из плохих жизненных условий в хорошие. А потому, что материал, который я тут нашёл, потряс меня. Мне странно, господин Аугштайн, что вы настаиваете, будто я состою с действительностью во вражде и не признаю её. Это не так. Не вижу, где и в чём.

Я неправильно понят: Александр Солженицын состоит с действительностью в исключительно хороших отношениях, но, несмотря на это, может и не признавать её.

Ну, давайте возьмём для примера мой «Раковый корпус», который, может быть, вы читали. Там умирают люди, идёт борьба жизни и смерти. Где вы у меня найдёте, что я не принимаю смерти? Я в равной степени принимаю жизнь и смерть. Кстати, многие врачи писали мне письма после «Ракового корпуса» — что я несомненно врач, и даже онколог. Уверены были. Настолько достоверен у меня каждый факт.

Какие шансы вы имели выжить?

Весьма ничтожные.

Вернёмся ещё раз к войне. Вы воевали на справедливой войне. Я принимал участие в войне, которую, я был убеждён, обязательно нужно проиграть. Ваша война стала потом несправедливой, а наша война была несправедливой с самого начала. Вы согласны с таким определением?

Видите, в то время я был очень убеждён, захвачен марксизмом. Я ещё не понимал, что нашими победами мы, в общем, роем сами себе тоже могилу. Что мы укрепляем сталинскую тиранию ещё на следующие тридцать лет — это в нашей голове не помещалось. И активная советская пропаганда была такова: после войны всё изменится, колхозов не будет, будет свобода мнений. И мы, фронтовики, казались себе такими сильными, мы вернёмся на родину, мы там всё исправим, всё приведём в порядок.

И ещё раз об артиллеристах в своих блиндажах. Мы в наших окопах таких разговоров, как ваш офицер-артиллерист Саня проводит в Шестнадцатом году с полевым священником, — мы таких разговоров не знали. Но я допускаю, что русские люди, которые прошли воспитание и образование в христианском духе, в этом отношении отличаются от немцев. Ваш Саня в этих полевых окопных условиях говорит и думает о

сожжённом Аввакуме, о расколе русского христианства, и вы даёте ему, Сане, высказать, что тогда подпала под преследования определённо лучшая часть народа. Но то время было временем самых крайних смут и жестокостей, и вряд ли кто-то хочет желать, чтобы те времена вернулись. И я спрашиваю вас: а кто вам сказал, что это действительно были наилучшие из вашего народа? Разве все те, которые упорны и упрямы, являются лучшими?

Извините. Эти люди проявили упрямство только в том, что пожертвовали своей жизнью ради своей веры. Никакого другого упрямства они не проявили. Таким образом, они были самые самоотверженные, самые преданные религиозной традиции. И — я вас очень удивлю — они были тогда самые грамотные. Грамотность среди них стояла в XVII веке выше, чем в русском крестьянстве в XIX веке.

Это для меня ново. Естественно, я не знаю русскую историю хорошо, и уж, конечно, не так, как вы. Я-то думал, что Патриарх России был более образован, из византийских и киевских источников, чем Аввакум.

Это верно, что Никон находился под сильным греческим влиянием. Но он не понял, что в Византии сменился церковный обряд. И тот древний обряд, которого держались староверы, он сперва в Византии и был, а потом сменился там безболезненно другим. Никон перенял этот второй обряд и усилием и жестокостью стал его вталкивать в России.

А ведь он имел царя, который по сравнению с ним был мягок.

Не очень-то мягок. Царь Алексей настойчиво продолжил линию Никона, да и во многом подготовил Петра.

Мне бросается в глаза, что вы питаете в отношении некоторых лиц определённые симпатии, которые иногда поражают. Слабосильного царя Николая Второго, который едва справлялся с

управлением, а притом даже не желал пользоваться телефоном, вы, видимо, считаете трагическим персонажем. Но если так рассуждать, то можно сказать, что гросс-адмирал Тирпиц, Людендорф и кайзер Вильгельм II тоже были трагическими персонажами. Один сомалиец в романе Тани Бликсон «По ту сторону Африки» говорит своей белой хозяйке: «Бог нами играет». Я во всех этих фигурах не вижу никакого трагизма.

Я должен сказать, что фигуру царя я дал объёмно — во всех его и слабостях и мыслях. Хотя я известный, как говорят, «друг царей Солженицын», я дал картину весьма объективную. Некоторые же считают, что я принизил Николая Второго. Но я склоняюсь к нему не больше, чем к большевику Шляпникову, которого я описываю, или к революционному демократу Ободовскому, или кадету Шингарёву. Можно меня упрекать, что, скажем, я не одобряю Милюкова, как вот он ведёт себя в ноябре 1916. Но если вы когда-нибудь прочтёте «Апрель Семнадцатого», когда Милюкова все несправедливо изгоняют из Временного правительства, теснят, проклинают, — я испытываю к нему естественную симпатию. Я не могу относиться к человеку вообще всегда одинаково, всё зависит от поворота его личности. Каждый человек в течение своей жизни меняется, отчасти от ситуации, отчасти от собственного развития.

Ситуация Первой мировой войны была исключительной, каждый реагировал непредсказуемым образом.

Вообще, Первая мировая война — такая трагедия Европы, которой она не переживала прежде. Это перелом всей европейской истории. Вся Европа виновата, нельзя было вообще никому воевать. Но зачем воевала Россия, та Россия и та Германия?

Но это не была большая трагедия, чем Пелопоннесская война. А вот мне удивительно, что вы относитесь к хитрому крестьянину Распутину более или менее доброжелательно. Он был против войны, и он повлиял на политику только в

том смысле, что хотел, чтобы его, хитрого крестьянина, принимали всерьёз. Но вы не будете утверждать, что он в самом деле был набожным человеком?

Распутин как личность не вызывает у меня никакого расположения. У него слишком много пороков и крайностей. Но верно: он решительно протестовал против вступления России в войну — этого нельзя не поставить ему в заслугу. Вообще же его влияние на государственные дела было сильно преувеличено оппозицией, на самом деле он так сильно не влиял.

Вероятно, его политическое влияние действительно не было таким большим. Однако его влияние на персональную политику должно быть признано.

Он уверен был, что надо вот эту или ту кандидатуру поддержать, и кой-какие проводил, через императрицу. А другие назначения шли совершенно независимо от него.

Но довольно смешно, когда читаешь у вас, что императрица ответила одному человеку, когда речь зашла о роспуске Думы, — мол, в этом отношении я ничего не могу сделать, обращайтесь к Распутину и получайте у него одобрение.

Нет! Такого я не писал, такого места у меня нет. Но среди политических советов Распутина был совет, что Думу надо сейчас перервать в занятиях. Кстати, в немецких рецензиях я почти сплошь читаю, что Государственная Дума была псевдопарламентом. На самом деле это не так. Она имела, во-первых, все бюджетные права, потом она имела огромный моральный авторитет среди всего образованного общества, какой не имеют, может быть, сейчас некоторые европейские парламенты в своих странах. И наконец, если она не могла утверждать и отставлять правительства, так ведь и американский Конгресс тоже не имеет таких прав.

Ясно, что Государственная Дума представляла переходный орган и она имела определённую

власть. Но Распутин содействовал русской революции не меньше чем Ленин.

Я бы так не сравнивал. Во-первых, потому что Ленин к российской революции почти не имел никакого отношения. Он просто на неё не повлиял, не принимал никакого участия. Его партия была совсем слаба и незначительна в Петрограде. Всё значение Ленина началось, когда он вернулся в Россию через Германию. А Распутин в том отношении приблизил революцию, что он дразнил общество собой. То, что он рядом с троном, всех до того раздражало, что, действительно, накаляло атмосферу. А когда Распутина убили, так революция, наоборот, ещё приблизилась...

Мне кажется, что карта царя была бита, когда он не привлёк к ответственности убийц Распутина.

Это один из ужасных, действительно, моментов, который приблизил революцию, да.

Вы, Александр Исаевич, с большим пониманием описываете императрицу и её министров, даже с некоторой любовью. Я не знаю другого такого чуткого описания царствующей четы, которая более всего предпочла бы спокойно сидеть в своём имении. Но мне кажется, что в вашем изложении вы недостаточно учитываете амбициозность императрицы.

Я использовал из её переписки весьма крайние её выражения, также и суждения о ней других лиц я привожу очень резкие. Но её образ будет дальше в книге развиваться, потому что ей предстоит ещё пережить Февральскую революцию.

Но в любом случае упрёк в её адрес, что она втайне была на стороне немцев, абсурден.

Абсолютный вздор. Хотя, конечно, она сохраняла любовь к Германии, любовь. И поэтому ей та война причиняла безумную боль. Однако она действительно с Россией сроднилась, она искренне приняла русское православие и была верна своей новой родине. Вместе

с тем, конечно, она не раз ходатайствовала, чтобы немецких военнопленных содержали лучше. И в результате, действительно, немецкие военнопленные жили в России несравненно лучше, чем русские в Германии. В лагерях русских военнопленных в Германии иногда бывали порядки, близкие ко Второй мировой войне, к гитлеровцам.

Во Вторую мировую войну в немецких лагерях погибло больше русских, чем немцев в советских, это факт. Но я возвращаюсь. Царская власть была мощной центральной властью с громадным авторитетом. И если самодержавие царское не могло удержаться, возникает вопрос: какая же центральная власть вообще была бы в состоянии предотвратить распад такой громадной империи на части.

Я уже говорил, что революция произошла от напряжения между образованным обществом и властью. Это главная причина революции. Эта революция могла произойти, а могла и не произойти. И в ходе дальнейших событий, прежде всего в марте 1917, мы видим, что всё шатается, но тогдашняя власть могла бы и удержать. Исторический момент, маленький довесок на одну сторону весов решил дело.

И дальше. Если бы был не Сталин, а, скажем, такой умеренный реформатор, как Бухарин, то как бы он мог противостоять Гитлеру?

Как «умеренного» — могу я коммунистического вождя увидеть лишь с большой натяжкой. У Бухарина есть очень резкие высказывания о том, как надо бороться даже против писателей, не то что против классового врага. В условиях молодого ленинизма, то есть в состоянии коммунизма к концу 20-х годов, никакой мягкий вождь не смог бы удержаться, а был бы всё равно жёсткий. Нашлись бы, там достаточно было.

Мы хотели бы осведомиться о личном отношении Александра Солженицына к немцам. Что вы очень энергично боролись против гитлеровского нападения — это само собой разумеется.

Могу повторить, что считаю величайшей трагедией, что в Первую мировую войну Россия с Германией воевали. Абсолютно нечего было им завоёвывать или делить, не было совершенно ни экономического соревнования, ни спорных территорий. Война прошла без личной ненависти, — пожалуй, до того, как начались отравленные газы.

> Пошло к войне, когда Бисмарк недооценил взрывчатую силу немецкого национализма, видимо думая, что Австрию можно заменить, как любого другого партнёра по союзу. Даже и Бисмарк не был таким государственным деятелем, который видит в будущее дальше чем на тридцать лет. И в этом случае он, простительным образом, ошибся. Заменить немецкую Австрию другим союзом нельзя было. Не было в лексиконе Бисмарка понятия «верность Нибелунгов».

Но то была предыстория. А в Семнадцатом году, когда только ослабилась дисциплина военная в русской армии, русские солдаты с совершенно раскрытой душой братались с немецкими. То есть не было никакой ненависти. И вот я должен присоединиться к Томасу Манну. Он раздумывал над этими проблемами, и у него есть два таких места. В 1921 году в предисловии к русской антологии он написал: «Россия и Германия должны знать друг друга всё лучше и лучше, они должны рука об руку идти в будущее.» Вот с таким чувством он вышел из Первой мировой войны, совершенно понятным и правильным чувством. И в 1929, в Нобелевской речи, он, по поводу того, что происходило в Германии, не нашёл другого слова, как сказать: «почти русская сумятица страданий».

> В 1929 при Сталине не было, собственно, никакого разногласия между Германией и Россией.

Дело в том, что Советский Союз я не считаю Россией.

> Нет, сверхвременная, «вечная» Россия.

Это — не переносится, это уже другая страна. Я имел в виду опыт Первой мировой войны, как он

отразился у Томаса Манна. Видите, мы тут время от времени с вами стали переходить ко Второй мировой войне, а это не наша тема. Наша тема — Первая мировая война, и я занят ею, и книги мои посвящены ей, я страдательно переношу ту войну. Но в моих книгах вы не найдёте никакой ненависти к Германии, тем более что германская литература и германская музыка огромное влияние имели на меня и на моё поколение.

С тех пор как разделили Польшу, эти две страны хорошо друг друга понимали.

Раз вы вспомнили Польшу и раздел Польши, напомню вам вашу фразу, что государственный деятель не может видеть вперёд дальше тридцати лет. А на сколько лет предвидел немецкий Генеральный штаб и Вильгельм, когда посылал Ленина через Германию?

Где там лет — на три месяца.

История очень любит посмеяться над теми, кто не видит, не может видеть далеко. Возвращаюсь к Польше. Кто же подготовил, кстати, раздел Польши? Да Пилсудский! Он во время Первой мировой войны организовывал польские силы на стороне Германии и Австрии, рассчитывая получить свободу от Германии. А в 1920 он очень легко помирился с Лениным, рассчитывая быть в хороших отношениях с Советским Союзом. Короче, он подготовил себе двух врагов с двух сторон, которые его разорвали.

В вашем «Августе Четырнадцатого» вы разрешаете своему герою Воротынцеву рассуждать, что было бы лучше жить с Германией в вечном мире, как жаждал Достоевский, и что было бы лучше русскому народу достичь такого же развития и твёрдости, какие у немцев. Это было в Четырнадцатом году, и Воротынцев говорил о кайзеровской Германии. И один из ваших персонажей говорит: мы должны осматриваться очень основательно, должны учиться у врагов; немцы острят о нас: знаете ли вы страну, где есть всё, а ничего нет? так вот я спрашиваю: может ли немецкий народ сегодня что-то дать русским?

Вопрос не следует ставить так узко: отношения между русским и немецким народами. Но шире: отношения между Россией как отдельной культурой и Европой вместе, целиком. Этот вопрос у нас стоял весь XIX век чрезвычайно остро, у нас был так называемый спор славянофилов и западников...

Который и сегодня не решён.

Но то был спор на чрезвычайно высоком уровне, который, увы, в нашем веке уже почти не встречается. Они спорили, внимательно принимая от противника всё, что у него есть правильное и хорошее. И такой спор обогащал культуру, и, кстати, славянофилы наши, они, в общем, под сильным влиянием немецкого романтизма родились. Во время того горячего спора о Европе вот как смотрели наши русские на этот вопрос. Виднейший славянофил Хомяков называл Запад «страной святых чудес», такое стихотворение написал:

А как прекрасен был тот Запад величавый,
Как долго целый мир, колени преклонив,
Пред ним безмолвствовал.

То есть, конечно, нам занимать у Европы ещё очень много полезного нужно и можно, но, увы, нынешние споры довели до такого ничтожного уровня злобного, лишь бы как-нибудь иметь успех у публики, чтобы публике понравиться и натравить против противника. Поэтому расхожий сегодня на Западе термин «неославянофилы» — совершенно не годится.

Но эти славянофилы всё-таки внесли свой вклад в развязывание Первой мировой войны, желая этого или нет, — потому что они не признавали Австро-Венгрию.

Поздние славянофилы — славянофилы уже конца XIX века — действительно сорвались в так называемый панславизм, да, и способствовали обострению отношений с Австро-Венгрией. Но должен, может быть, вас удивить. Когда уже шла война, славянофилы никакого у нас веса не имели, а кто требовал уничтожения Турции как государства, непременного захвата Константинополя и разрушения Австро-Венгрии? Пар-

тия кадетов, Милюков. Радикалы, настойчивее всех требовали этого радикалы.

Цитирую вас. В одном разговоре вы сказали: «Я многие годы страдал: ну за что такая несчастная судьба у России! Ну почему Россия попала в руки бандитов, которые делают с ней что хотят? Но прошли десятилетия, я смотрю — весь мир повторяет эту картину. И я понял: значит, вот это и есть узкие, страшно тяжкие ворота, через которые мир должен пройти. Просто Россия прошла первая. Мы все должны протиснуться через этот ужас. Это не значит, что Бог нас покинул.»

Потому что явление интернациональное. Кто бы мог думать, что Абиссиния одна из первых станет на эту дорогу? Абиссиния! И когда я себе разрешал политическую публицистику — то потому, что мне хотелось предупредить Запад, чтобы эту опасность видели и, может быть, избежали. Фатализма в истории всё же нет. Опять будет зависеть и от личности, и от толпы, и от партий.

Последняя тема. Это — недоразумение? вы — против плюрализма, как говорят на Западе, или нет?

Ваш вопрос очень своевременен. Я добавлю вам. Вот «Райнише Меркур» напечатала переписку Бёлля, незадолго до смерти, с Теодором Шмидтом-Каллером — астрофизиком из Бохума. Бёлль написал Шмидту-Каллеру: «Как сообщили мне мои русские друзья, Солженицын предал анафеме плюрализм, который он считает худшим злом в мире.» Это он — о моей статье «Наши плюралисты». Эта статья на немецком не появлялась, но появилась по-русски, по-французски отдельным изданием, теперь и по-английски в журнале «Сервей». Та́к вот информировали моего друга Бёлля его «русские друзья», и он умер с этой уверенностью, как ясно из «Райнише Меркур». А у меня в той статье написано: «Да, разнообразие — это краски жизни, и мы их жаждем и без того не мыслим.» Во всей статье я не имею ничего против плюрализма как такового.

Но в названии «Наши плюралисты» звучит дистанцирование.

Конечно. Но не от плюрализма, а от «*наших* плюралистов». Я назвал свой очерк иронически, мне нужно было выделить некоторую группу эмигрантов, которая определённым образом искажает русскую историю, а сама к себе при этом любит применять слово «плюралисты». Подождите, это ещё не всё, «Штутгартер цайтунг» написала так: «Солженицын направил свою статью под видом плюралистов против евреев вообще.» Но у меня именно в этом очерке есть место, где со страниц обильной эмигрантской прессы говорят русские евреи, и вывод совершенно ясен и характерен: подавляющая часть еврейской эмиграции не согласна с этой вот шумной группой, а, наоборот, занимает мою позицию. «Штутгартер цайтунг» не обращает на это внимания. Я только утверждаю, что плюрализм не должен быть ограничен, что его многообразие нечестно разрешать в рамках лишь какой-то системы взглядов: в ней, пожалуйста, плюрализм, а за её пределами, извините, мы не разрешаем думать иначе, за её пределами — мы антиплюралисты.

Это была позиция Розы Люксембург... Свобода инакомыслия, но только внутри партии. И никакой свободы для антикоммунистов. Это ваше уточнение для нас весьма важно.

Я так понимаю: если плюрализм — то уже для всех, и никаких границ; иначе надо искать другое слово.

Вы однажды осуществили эту свободу в Советском Союзе опубликованием «Одного дня Ивана Денисовича». Но заслугу в публикации его вы отдаёте исключительно своему другу и покровителю Твардовскому. Но там был ещё некий Никита Хрущёв. Как в доброе старое царское время «Крейцерова соната» Толстого была одобрена и разрешена к публикации царём лично — так ведь Хрущёв дал приказ публиковать «Один день». Может быть, вы тогда всё-таки лелеяли надежду, что, с помощью интеллигенции, совет-

ское государство можно будет реформировать и под властным правителем?

Что касается роли, соотношения Твардовского и Хрущёва — вы совершенно правы, но это у меня подробно изложено в «Бодался телёнок с дубом». Что же касается моих надежд, связанных с появлением «Ивана Денисовича», я должен сказать: от рождения и до своих сорока трёх лет я не сделал ни одного движения, чтобы быть напечатанным в Советском Союзе. Я считал себя советской литературе окончательно враждебным и несовместимым с так называемым соцреализмом. Никогда я не думал, что можно одной книгой изменить или сдвинуть всю эту систему. Никаких надежд и с «Иваном Денисовичем» я не имел, и моя публичность продолжалась два месяца всего. В ноябре напечатали «Ивана Денисовича», в январе «Матрёнин двор» и «Кочетовку». И всё, а дальше стали меня травить. А «Шпигель» пишет, что я вырос в корсете социалистического реализма.

Скажите, пожалуйста, до какого момента своей жизни вы считали себя, — конечно, не коммунистом, — а хорошим советским человеком? До какого момента?

Это определение, «хороший» советский человек, несколько неясное. Я скажу конкретно так: примерно до 17-летнего возраста я считал себя совершенно противоположным этому строю, этому государству. Потом с 18-летнего возраста я стал знакомиться с марксистской теорией, увлёкся, и вот с этого времени, и захватывая ещё приблизительно год тюрьмы, — примерно до 27 лет. А потом уже в тюремных спорах меня стали бить, я просто чувствовал, что у меня аргументов нет.

У нас у всех ещё перед глазами волнующая картина, как вы перед открытым гробом Твардовского прощались с вашим покойным другом. Заблуждаюсь ли я, когда считаю, что ни в одной другой стране литература не имеет такого огромного влияния на политику, как в Советском Союзе, или, лучше сказать, — в России?

Она имеет у нас огромное влияние не только что на политику, просто на всё общественное сознание. Это традиция XIX века, и даже она усилилась, пожалуй, сейчас, так как люди отталкиваются от официальной литературы, которую им навязывают. И жаждут того, что запрещено, чего им не дают узнать.

Вы сами претендуете на то, что вы единственный спасаете истинную историю России от забвения. И я думаю, что оправданность этой претензии вы частично уже доказали.

Возражу: я не претендую, будто я единственный спасаю истину и историю от забвения. Многие и до меня писали, но или погибли их рукописи, или закрылись на полстолетия и больше. У меня есть только манера свои убеждения высказывать уверенно, я уверен в своих убеждениях, а на Западе, особенно в Соединённых Штатах, принято «фифти-фифти» — и та́к сказать, и немножко э́так.

«С одной стороны» — «с другой стороны», — без претензий на знание... Вспомним, что Чехов обожал Эмиля Золя не потому, что тот был крупным романистом. Он его обожал и восхищался им за его «Обвиняю» по делу капитана Дрейфуса. Золя заточили в тюрьму на один год, а с вами, Александр Солженицын, случилось гораздо худшее: вас КГБ засунуло в форму зэка на много лет, а потом вас выслали, боюсь, что навсегда, с вашей родины. Считаете ли вы, что когда-нибудь сможете вернуться на родину?

Этот вопрос мне задавали в моём изгнании уже не раз. Я отвечал всегда: в том, что мои книги все вернуться на родину, в этом я абсолютно уверен. Сейчас они очень маленькой струйкой туда текут, но жадно читается каждая книжка. А доживу ли я до того времени, чтобы вернуться самому, это, конечно, трудно предсказать. Книги не боятся сроков. А я подвержен им.

Александр Исаевич, от всей души благодарю вас за этот разговор.

ИНТЕРВЬЮ С ДЭВИДОМ ЭЙКМАНОМ ДЛЯ ЖУРНАЛА «ТАЙМ»

Кавендиш, 23 мая 1989

Александр Исаевич, ваш роман «Август Четырнадцатого» впервые опубликован по-русски в 1971, сейчас печатается полный английский перевод. Почему вы сочли необходимым добавить к исходному манускрипту ещё 300 страниц?

Да, именно добавил, весь прежний текст я оставил без изменений. Когда пишут об этом издании — «revised», это совершенно неверно: это — не «исправленное» издание, всё оставлено, как было. Но в том тексте, который был напечатан по-русски в 1971 году и по-английски в 1972, во-первых, не было одной главы о Ленине. Она была у меня написана, но я не мог её в то время опубликовать, находясь в Советском Союзе. Ещё большее добавление выросло вот из чего: с годами я понял, что подходы к революции, причины революции нельзя выяснить, начиная только с Первой мировой войны, с 1914 года, что на самом деле надо отступить во времени и взять с начала XX века или даже с последних лет XIX века. Вот необходимость вставить эту ретроспективу, которая делает понятным, как мы вошли в революцию, заставила меня добавить те сотни страниц, которые вы имеете в виду. Первоначальная моя концепция была та, которую разделяет вообще большинство живущих ныне и на Западе и на Востоке, — что главным решающим событием была Октябрьская революция и её последствия. Но чем больше, десятилетиями, я знакомился с материалом — с архивами, книгами, устными и письменными личными свидетельствами, — тем яснее для меня становилось, что главным и решающим событием была не Октябрьская революция. И что даже она вообще не была революцией, потому что революцией мы называем массовое стихий-

ное движение, — ничего подобного в Октябре не было. Истинной революцией была Февральская революция. У нас в Советском Союзе поразительное невежество по отношению к Февральской революции, потому что память о ней сознательно подавлялась и уничтожалась. Самые развитые люди, которые досконально знают XIII век, XIX век, — здесь, перед Октябрём, между Первой мировой войной и Октябрём, полны незнания и заблуждений. А на самом деле главное событие, которое потом отозвалось на всём мире, — произошло в Феврале. Между прочим, все двадцатые годы и сами большевики говорили «октябрьский переворот», а потом спохватились и стали говорить «революция».

Вы думаете, что Февральская революция больше разорвала с российской историей, чем Октябрьская?

Да, да, гораздо больше. А октябрьский переворот есть следствие Февральской революции. Она сразу же, с первых недель, не то что месяцев, пошла так, что уже не мог не произойти октябрьский переворот. Февральская система (если можно её так назвать) — ещё не успела даже сформироваться, как стала разваливаться. Сама разваливалась от недели к неделе, создала анархию и безвластие. И октябрьский переворот только подобрал власть, которая лежала уже на земле, никому, можно сказать, не принадлежащая.

Так является ли октябрьский переворот следствием марксистско-ленинских идей или же февральских событий?

Февральская революция произошла почти без малейшего участия большевиков. Она была для самого Ленина полной неожиданностью. Он сидел в Швейцарии и даже не поверил, что произошла революция. Слабенькая-слабенькая кучка подпольщиков-большевиков была в Петрограде, и она ничего не направляла. Но больше того — и ни одна из революционных партий России, которые боролись десятилетиями против царя, — и ни одна из них не была готова к революции. Революция произошла действительно стихийно, а потом они, партии эти, поспешили занять власть, и опять-

таки без большевиков. А вот октябрьский переворот большевики провели точно по марксистско-ленинским схемам.

Когда Ленин выступил на Финляндском вокзале и сказал: «Да здравствует социалистическая революция!» — это было полной неожиданностью для всех. Ожидали, что он будет говорить о буржуазной революции, которая только что произошла. Это просто случайность, что Ленин так выступил, или это — пример его тактической способности?

Нет, только не случайность. У него было соображение, что силы буржуазной революции слабы и на самом деле их можно быстро сбить, что он и сделал. У них была вместе с Троцким и Парвусом теория «перманентной революции», по которой при слабости буржуазии можно сразу захватывать власть, перескакивать через этап, во всей Европе и во всём мире. Перманентная — сразу, во времени и в пространстве.

Вы в течение всей вашей жизни, так сказать, в тени большевицкой революции, но в этом году мы отмечаем 200-летие Французской революции. Какая связь между Французской революцией и большевицкой?

У меня есть на эту тему статья, опубликованная по-русски меньше года назад, — «Черты двух революций», сравнение Французской и Российской революций. Там я сравниваю некоторые обстоятельства, характерные черты той и другой революции и выясняю иногда удивительную похожесть. Но, сверх того, в революции вообще есть такая тенденция: подражать историческим примерам. Французская революция брала из римской истории, из античности, а наша революция — из Французской. Очень часто российские политические деятели соизмеряли себя с тем, что происходило во Французской революции и даже невольно подражали. Например, большевики после октябрьского переворота сознательно повторили многие примеры якобинцев, как по учебнику. Но если говорить о влиянии всей Французской революции на всю Россий-

скую — это не прямое влияние, а так: Французская революция повлияла на весь XIX век в Европе — и это отозвалось в России к 1917 году.

Судя по вашим произведениям, вы считаете, что интеллигенция во всех странах, а в особенности в России, призывала к насильственным изменениям как способу решения общественных проблем. К сожалению, этот пример повторяется во многих обществах в течение XX столетия.

Не вся интеллигенция российская была захвачена идеей насилия, нет. Только самое крайнее левое крыло революционеров. Но характерно, что либеральная интеллигенция российская никогда не осмеливалась *осудить* террор. Основатель кадетской партии Петрункевич сказал: «Осудить террор было бы моральным самоубийством нашей партии.» И это одна из черт, которая повторяется в Европе XX века. Об интеллигенции XX века, европейской или американской, не скажешь, что она заражена идеей насилия или террора, нет. Но она не смеет послать проклятье. Она не смеет остановить, сказать: «Стойте! Не делайте такого!» И вот это-то поощряет террор. Повторяется та же ситуация: какая-то малая кучка насильников нападает, а образованные, умные люди не смеют этого остановить и больше всего боятся упрёка с левой стороны. Чтобы только тебя не обругали слева!

Почему вы решили назвать весь цикл ваших Узлов — «Красное Колесо»?

Революция — огромнейшее космическое Колесо, подобное галактике, закрученной спиральной галактике. Огромное Колесо, которое начинает разворачиваться, — и все люди, включая и тех, которые начинали его крутить, становятся песчинками. Они там и гибнут во множестве. Это грандиозный процесс, его невозможно остановить, если он уже начался.

Нельзя остановить это Колесо? Раз оно пошло?

Трудно. Хотя революция с революцией не совпадает. Как простое колесо, если вы покатите — оно покатится, покатится и потом остановится раньше или поз-

же. Но за это время страна, в которой произошла революция, может неузнаваемо измениться.

Есть по меньшей мере два толкования истории — марксистское и христианское. По второму — за историей стоит воля Божья. Как бы вы предложили человеку XX столетия понимать историю и что случается с обществом?

Да, по-христиански, история есть результат взаимодействия Божьей воли и свободных человеческих воль. Конечно, Божья воля проявляется, но не фаталистично, и человеческие воли тоже проявляются. И как взаимодействие — получается история. Но вообще история нелегка к пониманию. История иррациональна для нас, мы её по-настоящему понять не можем. Но что безусловно мы признаём: что жизнь — органична и должна развиваться так, как растёт дерево, как течёт река. А всякий перерыв её — болезнен, неестественен. Революция — и есть такой перерыв.

Ваш роман — это сочетание разных литературных жанров: психологические истолкования и портреты людей, истинные события и сюжеты, выдуманные вами. Всё вместе взятое — это совсем новый жанр в литературе или это происходит из какой-нибудь русской литературной традиции?

Я считаю, что жанр должен определяться материалом, над которым писатель работает. Мой материал чрезвычайно сложен и объёмен. Если его передавать равномерными повествовательными главами, просто рассказом, то это будет трудно, это в конце концов утомит читателя, а в иных моментах и не выразит того, что мне нужно. Когда резкий момент, обострение — я даю киноэкран. Иногда я даю просто документ, всегда очень короткий. Иногда прямой обзор исторических событий, как они шли. Я должен комбинировать жанры. Не считаю, что я открыватель чего-то нового, но и не традиционалист, — я только каждый раз думаю, как эту задачу решить лучше всего, как наиболее рельефно подать читателю этот материал. Недостатком многих исторических романов, за многие столетия, я

считаю, было вот что: если автор хотел описать какое-нибудь событие, то непременно придумывал какого-нибудь героя, который «совершенно случайно» попадал туда, где ему на самом деле нечего делать и где он не должен быть. И вот его глазами — что он видит. По-моему, это наивный, устаревший приём. Я во все крупные исторические события никаких придуманных героев не ввожу, а просто описываю тех реальных лиц, которые там действительно были. У меня 90% действующих лиц — исторические, крупные или мелкие, но реально тогда существовавшие. А придуманных персонажей я ввожу не для того, чтобы отдать дань традиции. Но они вносят ощущение какой-то склейки, течения жизни, это напоминание: а жизнь течёт, жизнь сама по себе продолжается. Однако для этого мне достаточно очень немногих вымышленных персонажей и очень немного глав с ними.

Я очень люблю военную историю. Я с огромным удовольствием читал эти 200—300 страниц о военных движениях в Восточной Пруссии, но рядовой читатель, ожидающий читать о Российской революции, может спросить: зачем такое подробнейшее описание военной истории? Почему так много военных деталей?

Видите, в подготовке Российской революции решающую роль сыграла Первая мировая война. Описывать революцию, объяснять революцию без войны совершенно невозможно. Ещё когда мне было 18 лет, я стал ломать голову: как же описать эту войну? Война огромная, мировая, течёт несколько лет, — как её описать? И я решил: надо описать всего-навсего одну битву, заменить всю войну одной битвой, но правильно эту битву выбрать, так, чтобы весь ход её и результат её показывали и вели к причинам революции, показывали слабости или недостатки нашего государственного и военного строя. Для такого образца я избрал тогда же — самсоновскую катастрофу 1914 года. Но описать битву в общих словах — это не будет доказательно, это никого ни в чём не убедит. Я взял только одну битву, но описал её подробно. И кроме военных деталей на тех же страницах изображены люди, во мно-

жестве, такими, какими вскоре они встретят революцию. А потом оказалось, что и 1914 годом не ограничиться, нужно взять причины более глубокие. Тогда пошёл второй том «Августа», где Столыпин и царь Николай II, и вся история от начала XX века.

На Западе принято описывать Первую мировую войну как сплошной ряд ужасов, в очень тёмных цветах. А в вашем описании, с вашей точки зрения — там был и некоторый элемент рыцарства. Вот вы описываете встречу генерала Франсуа с Воротынцевым: они начинают разговаривать, учтиво друг к другу относятся и не перестреливаются. Вы хотели показать, что эта война была последним моментом рыцарства в истории России до наступления большевизма?

Я описываю — первые дни войны. И в этом смысле — вы совершенно правы. Да, это конец прежнего понимания войны. Случай этой встречи — реальный, был, у генерала Франсуа была такая встреча, только не с моим Воротынцевым. А как западные писатели описывают Первую мировую войну — так они описывают не первые дни её, они описывают через несколько лет, под Верденом, как молотят, молотят, молотят... Там уже всё выжжено, всё погибло. И с тех пор мы видим всё меньше милосердия в войнах.

Наверно, та потеря невинности, которая произошла в течение Первой мировой войны, была решающим поворотным пунктом в истории XX века?

Я считаю Первую мировую войну величайшей трагедией Европы. Благополучный конец XIX века усыпил государственных деятелей всех стран, и они перестали чувствовать страшную ответственность за столкновение, которое может произойти. Война 1914—1918 годов действительно жестоко подорвала силы Европы, так что к прежнему здоровью уже Европа не вернулась.

У вас очень много действующих лиц. Почему так много? Чему это служит?

Как я уже сказал, 90% их — исторические. Заменить их никем нельзя. Подменить — нельзя. Были так были. А во-вторых, это-то и даёт объёмность, потому что каждый судит со своей точки зрения, каждый видит предмет по-своему, а всё вместе, с разных сторон, — всё вместе даёт объёмность. У меня каждая глава посвящена какому-то лицу. В течение главы — всё даётся от него, всё через него. Другая глава — другое действующее лицо, и уже от другого даётся. Главного же излюбленного героя у меня нет.

Но видно, что Столыпин вам очень импонировал. Могли бы вы суммировать ваше мнение о его роли в русской истории?

Характерно, что в годы, когда Столыпин активно действовал, самые консервативные круги считали его разрушителем России, а вот кадеты — они называли себя либералами, а в европейском смысле были радикалы, — кадеты называли его консерватором. На самом деле Столыпин-то и был либерал. Он считал, что, прежде чем создавать гражданственность, надо создать гражданина, и поэтому, прежде чем давать неграмотному крестьянству все права, нужно укрепить его экономически и поставить его в общественном отношении независимым. Это была очень конструктивная идея. Столыпин был безусловно самым крупным государственным деятелем России за XX век. То была конструктивная творческая идея. Но всякая идея, идущая по центру, центристская идея, всегда встречает необычайную ярость с обеих сторон. Её наиболее трудно провести. Ещё бы ему лет десять на его реформы — и России было бы не узнать. Он не успел её докончить. А когда произошла революция, то не кто иной, как февральский свободный демократический режим, упразднил всю столыпинскую реформу. Запретили — и всё вернули назад.

Живы ли его идеи до сих пор?

А вот интересно, что за последнее время стали его имя в нашей стране вспоминать не только без проклятий, а с уважением. После того, что у нас 70 лет всё разрушалось — жизнь народа и биологическая основа

её, экологическая основа, экономическая, нравственная, — после этого люди, естественно, смотрят назад и ищут, на что бы можно было опереться, где же была конструктивная идея? И вот теперь, за последнее время, стало звучать в одном, другом, третьем месте: обращаются к реформе Столыпина и к тому, как он построил крестьянство. Потому что хотят твёрдой опоры.

Когда вы провели ваше исследование о Столыпине в Америке, вы сделали какие-нибудь открытия, обнаружили новые стороны его жизни, его мышления, чего вы не знали в России?

Да, конечно, потому что я в России был лишён многих материалов. А здесь, особенно в Гуверовском институте, я познакомился с обильными материалами столыпинской жизни, всей его деятельности и убийства его. Столыпинские главы я написал вот уже здесь, в Вермонте, после того, как поработал в Гувере.

Видно, что у Богрова, убийцы Столыпина, тоже были свои идеи о том, что надо сопротивляться Столыпину, и как будто есть что-то символическое в этом противостоянии Столыпина и Богрова. Есть ли какой-то символический элемент в характере Богрова?

Нет, я никакого символа не искал. Я описывал Богрова исключительно реалистично, на основании довольно тоже обильных материалов о нём. Причём, изучив все возможные материалы и свидетельства, я придерживаюсь в результате той же трактовки поведения Богрова, что и его родной брат, написавший потом воспоминания. Символа я никакого здесь не искал, я только пытался понять, откуда появилось намерение Богрова. И вот намерение его как раз и есть то, чего мы сейчас касались: общее настроение общества, то настроение, когда одобряется или, во всяком случае, не осуждается терроризм. В этой атмосфере и вырос Богров, считающий, что он делает крупное государственное положительное дело.

В связи с Богровым, который был евреем, кое-

кто вас упрекает в антисемитизме. Как вы отвечаете на эту критику?

Критика совершенно безосновательная, вздорная. Самого Богрова я описал абсолютно реально, со всеми подробностями его жизни, его семьи, его идеологии, его поступков, — и я нисколько не принизил того героического порыва, на который он пошёл. Он — поразительный случай террора. Одно дело — когда террор готовит партия, целое подполье, а то один, одиночка, никому ничего не сказав, пошёл на такой шаг. Что же касается употребления слова «антисемитизм» по отношению к «Августу Четырнадцатого» — то это приём вообще бессовестный со стороны тех, кто его запустил в американскую прессу, и непорядочный со стороны тех, кто это повторяет, книгу не читав. А прочитать пока невозможно, поскольку английского издания ещё нет, и даже перевод на английский ещё не закончен. Я раньше думал, что только в Советском Союзе клеют политические ярлыки на недоступную читателям книгу, никогда бы не поверил, что это возможно и в Соединённых Штатах. И вообще термин «антисемитизм» применяется иногда необдуманно и небрежно, и кто что понимает под этим словом — начинает растекаться. Я бы предложил, например, такое определение: антисемитизм — это пристрастное и несправедливое отношение к еврейской нации в целом. Ясно, что не только нет его у меня, не только нет в «Августе Четырнадцатого», но оно невозможно вообще в художественном произведении, невозможно ни у какого *художника,* — ибо художественное произведение всегда даёт объёмность, реальность, и никогда не делает пустых обобщений, иначе оно не будет художественным. Но нельзя требовать от художника скрывать истину, какой она была. Нельзя исходить из того, кто как истолкует; надо исходить из того, как оно было. Каким был Богров, таким я его описал. А о еврейской нации никаких обобщений у меня в романе нет. Против «Августа» это использовали просто как дубину.

Был ли поступок Богрова результатом развития идей терроризма в обществе (как в «Бесах») или

это продукт развития идеи в мозгу только одного этого человека?

Это совпадает. Богров к моменту покушения уже не был членом революционной организации. Не то чтобы ему приказали, не то что сказали: «если не убьёшь — то мы тебя убьём», — не так. Он действовал совершенно единолично и поэтому-то руководился именно развитием идей. Тут Достоевский верно предвидел. Дело не в организации революционной. Богров — тот особенный исключительный случай, когда действием руководит идейное Поле, то есть то, *как все* думают. Его никто не посылал, а он идёт на убийство, — от того лишь, как общество думает.

Одержимость людей идеями — это типично для XX века в России или можно сказать то же и о других обществах, в других столетиях?

Думаю, правильно бы сказать, что развитие материалистического взгляда на мир, которое бурно пошло с XVIII века, оно и породило такое племя — людей, одержимых идеями, для воплощения которых годятся, по их мнению, любые, самые жестокие средства. Сказать, что всегда в истории это было присуще человеческим обществам, — нельзя, хотя одержимость теми или иными идеями встречалась, конечно, всегда. То, о чём сейчас у нас речь, — нет, это не типично русское явление; увлечение материализмом, как и многими другими идеями, Россия переняла с Запада, а уж у нас это бурно развивалось, левое радикальное крыло революционной демократии.

Вы верите, что когда-нибудь «Красное Колесо» будет опубликовано в Советском Союзе?

Я в этом не сомневаюсь, не сомневаюсь.

Вы думаете, это произойдёт при вашей жизни?

Я очень хочу до этого дожить. Я работал над «Красным Колесом» 53 года. Всё, над чем я думал, что нашёл, отработал, — я вложил туда. Я всегда считал, что мои главные произведения, «Архипелаг» и «Красное Колесо», должны вернуться на родину раньше меня:

иначе я как бы немой, ничего ещё не сказал. Что тогда делать? Давать газетные интервью? Разве в газетных интервью можно передать такое произведение, объёмное, художественное? Его нельзя передать, заменить его простым объяснением невозможно. А вообще-то мой личный возврат зависит совсем не только от меня. Ведь до сих пор советские власти не сняли с меня обвинение в «измене родине». Я там считаюсь «изменником родине», уголовно наказуемым человеком.

Вы говорили, что ощущаете себя писателем в традиции русской литературы XIX века. Что вы под этим подразумеваете?

Это не значит точно следовать жанрам и художественным приёмам того века. Конечно, нет. Мой материал, совершенно необычный, потребовал, как я уже говорил, своих жанров, своего подхода. Но это значит — сохранять ту ответственность перед читателем, перед своей страной и перед самим собой, которая была свойственна русской литературе XIX века. Тогда не было упоения, как теперь называют, «самовыражением», то есть хочу лишь выразить себя драгоценного, со всеми моими особенностями, пороками, причудами, комплексами, только и всего. Этого не было. Высокая ответственность — вот главное, что я вижу в традиции русской литературы, что я наследую и стараюсь повторять.

Как вы рассматриваете Ленина в комплексе русского быта и русской культуры — это явление, чуждое русской культуре? Или, учитывая ход событий, он был каким-то необходимым элементом в современной русской истории?

С русской культурой он имел мало общего. Конечно, он кончал русскую гимназию, должен был читать русских классиков. Однако весь его индивидуум, весь его мозг настроен только на интернациональную волну, ни к какой нации не принадлежащую. Он всё время ищет международную ситуацию и дышит ею. И когда он совершал у нас октябрьский переворот, он тоже продолжал дышать интернациональной ситуацией. И он рассчитывал только: когда же будет революция в

Австрии, когда в Германии... а если нет, то надо им помочь. Тому, что составляет русскую культуру, в духе, в традиции, он был чужд. Он был порождение интернационального времени.. Не он один, много было их, интернационалистов.

А насколько он должен был появиться в русской истории... Поскольку у нас было такое накалённое левое крыло интеллигенции, революционеры, то и он закономерно в этом русле оказался, закономерно. И вот в ходе 1917 года у революционной демократии власть вываливалась из рук. Потому что они оказывались недостаточно жестоки, недостаточно последовательны, а он — жесток и последователен до конца. Он был — их левый край, и в этом смысле он был закономерен в русской истории.

Бертран Рассел после встречи с Лениным сказал, что это был наиболее злой человек из всех, с кем он в своей жизни встречался.

Можно с этим согласиться. Необычайно злой.

Что значит, по-вашему, слово «злой»?

Отсутствие всякого милосердия. Отсутствие человеческого подхода, человечности в отношении к народу, к массам людей, ко всем тем, кто не идёт точно по его линии. И даже если соратники чуть-чуть отличались, — меньшевики там чуть-чуть откалывались, — то он ненавидел их, он их топтал, поносил последними словами. Даже не беря слово «зло» в метафизическим смысле, в широком, а вот так, в ежедневном понимании, — да, следует приложить это слово к Ленину.

Можно было бы обсудить и метафизическое значение характера Ленина. Это отсутствие у него милосердия — результат какого-то умственного процесса, или это, скорее, отражает что-то более глубокое в его душе, что-то духовное?

Я думаю, что у него духовность и интеллектуальность были почти одно, почти не различались. То есть его душевные движения были подчинены рассудку, а рассудок рассчитывал революционную тактику. В его практических действиях не оставалось места для про-

стых сердечных движений, что-то смягчить, кого-то пожалеть, к кому-то отнестись более снисходительно. Не оставалось...

Как через двести лет будут рассматривать или истолковывать Ленина?

Постепенно люди обратятся к реальному представлению. Мне кажется, что я даю действительную картину того, каков Ленин есть, что он говорил, что он делал, как он относился к людям, к стране. Миф сойдёт, культ сойдёт. И это реальное представление должно победить, и даже, может быть, раньше чем через двести лет.

Если я не ошибаюсь, некоторые его произведения остаются засекречены в СССР?

Да, вероятно, какие-то отдельные письма, записки.

Например, письмо об изъятии церковных ценностей.

Да, примечательная история. Это письмо всё ещё отрицается официально, а его откуда-то достали, напечатали, оно уже известно. Конечно, отдельные записки и письма Ленина могут быть ещё и посегодня скрыты. Например, художник Анненков уверяет, что он видел в архивах, когда работал в Кремле, видел вот эту знаменитую ленинскую записку, что к западным людям надо относиться, как к слепо-глухо-немым, которые не видят, не слышат, ничего не понимают. Такая записка, разумеется, не напечатана в собрании сочинений, но Анненков уверяет, что она была, — и это очень похоже на Ленина, страшно похоже. А в общем-то, и среди того, что напечатано, начнёшь читать — волосы дыбом становятся. И в переписке Маркса и Энгельса тоже ужасные вещи есть. Страшно читать, как они рассуждали, какая у них бандитская тактика по отношению к людям, какие приёмы.

Американский писатель Генри Джеймс как-то назвал русский роман «огромным неуклюжим чудовищем». Ваше собственное «Красное Колесо» будет в несколько раз больше, чем «Война и

мир», с которым его уже сравнивали. Есть ли что-то в русских условиях или в русской литературе, что требует большей длины романов, чем в других странах?

Я бы заметил, что у французов бывают серии романов по двадцать томов. Так что русские романы — не самые большие. «Война и мир» — это как раз один из случаев крупного романа. Романы Достоевского или Тургенева невелики. Такой русской традиции — нет. Но у меня, действительно, получается очень большая вещь. Однако существует такой афоризм: «Тот, кто забывает свою историю, обречён её повторить.» Если мы не будем знать своей истории, мы снова понесём все те жертвы, те же ошибки, те же несуразности, снова и снова. Историю знать нам надо. Конечно, книга эта написана не для лёгкого чтения, не для развлекательного. Но и длина книги определяется для читателя не числом страниц, а плотностью мысли, материала, и художественностью. Короткий рассказ может показаться длинным при рыхлости письма, а длинный роман — держать читателя в напряженном внимании и интересе. Я не сомневаюсь, что тем читателям, кто хочет понять русскую историю, моя книга будет необходима и не будет им трудна.

Так что, по-вашему, русская литература продолжает играть высокую моральную, философскую и политическую роль?

Да, в России это всегда было так. У нас это очень заметно, да.

Вас сравнивают с Толстым и с Достоевским. Каково ваше отношение к этим двум писателям?

Я испытываю очень большое и уважение и родство с обоими, хотя в разном. К Толстому я ближе по форме повествования, по форме подачи материала, по множеству лиц, реальных обстоятельств. А к Достоевскому я ближе по старанию понять духовную, человеческую сторону процесса истории. Но оба они для меня учителя, конечно, оба.

Какие другие русские писатели повлияли на вас?

Во-первых, Пушкин. Это — отец нашей литературы, он на всех повлиял. А в XX веке я считаю важным для себя образцом Евгения Замятина, у которого очень плотный синтаксис и лаконичность передачи портретов, обстоятельств. Он очень соответствует XX веку, Евгений Замятин. У него несчастная жизнь была, в общем. В конце концов он должен был родину покинуть; и написал меньше своих возможностей; но он литературно весьма яркий, богатый автор.

Ещё подростком вы ощущали что-то неизбежное, предопределённое, что вы должны какую-то большую работу выполнить. Вы чувствовали, что имеете что-то очень важное сказать миру?

Очевидно, бывают какие-то интуитивные предвиденья. В девять лет я твёрдо решил, что буду писателем, — хотя что я мог писать? Но вот я чувствовал, что должен что-то такое написать. Откуда в нас появляется такое — это загадка, загадка. А потом довольно вскоре я испытал ожог от революционной темы. Ну, в моём детстве все взрослые об этом говорили, революция только-только прошла, все были обожжены. И к 18 годам я твёрдо решил, что я буду описывать нашу революцию.

Выбрали битву в Восточной Пруссии — и потом сами туда попали?

Да, это поразительно. Я выбрал в 1937 году самсоновскую катастрофу, а в 1945 попал точно в те места в Пруссии, с нашими войсками. И с 1936 года, с восемнадцати лет, у меня никаких колебаний в выборе темы не было. Меня уже ничто не могло свернуть с этой темы, я уже всё равно только ею занимался. Вот такие прозрения бывают иногда странные.

Вы здесь, в Вермонте, находитесь в некоторой изоляции от окружающего, и в этом смысле не похоже ли это на ваши годы в тюрьме, или в лагерях, или в ссылке, где вы тоже были в изоляции? Может быть, такая изоляция, такое отчуждение от окружающего вам необходимы для вашего мышления, для вашей работы?

Я бы употребил не слово «изоляция», а слово «уединённость». Для работы нужна уединённость — это довольно известно в мировой литературе. Сегодня писатели очень любят ездить по конференциям и выступать, а раньше писатели сидели и писали. Так вот, уединённость, конечно, нужна для работы, просто для сосредоточения. А изоляция? В тюрьме у меня как раз не было изоляции, потому что я всё время со многими людьми общался, и с такими интересными людьми, от которых набирался того, что мне надо. И здесь я не в изоляции — потому что я весь в этом 1917 годе, и все книги со мной говорят, и все те люди передо мной живые. Не говоря уже, что я внимательно слежу за тем, что делается у меня на родине.

Молодым человеком вы одно время были членом комсомола, и убеждённым. Как вы пришли к смене этих идей и стали христианином?

Я должен поправить. Воспитан я был в семье своими старшими в христианском духе. И почти все школьные годы, так лет до шестнадцати-семнадцати, я сопротивлялся советскому воспитанию и не принимал его внутренне. И должен был скрывать свои убеждения. Но потом... такая повелительная сила в этом Поле, в этом влиянии марксизма, который разлит был по Советскому Союзу, — что в молодой мозг входит, входит, начинает захватывать. И так вот, лет с семнадцати-восемнадцати, я действительно повернулся, внутренне, и стал, только с этого времени, марксистом, ленинистом, во всё это поверил. И с этим я прожил до тюрьмы: университет и войну. Но в тюрьме я снова встретился с разнообразием, невиданно свободным разнообразием мнений — и я заметил, что мои убеждения прочно не стоят, ни на чём не основаны, не могут выдержать спора. И я от них стал отказываться. И тогда, естественно не в один год, началось возвращение к тому, в чём я был воспитан ребёнком, к христианской вере. Кроме того, на меня большое влияние оказало то, что я умирал — и вернулся к жизни. В конце лагеря у меня появился рак, и в начале ссылки, в тридцать четыре года, я был на грани смерти, мне уже сказали, что меня спасти нельзя.

Каким образом вы излечились от рака? Вы считаете это исцелением от Бога?

Видите, конечно, меня лечили конкретными способами, в том числе рентгенотерапией. Кроме того, я пил траву с киргизских гор, которую медицина не знает и боится, это ядовитая трава, очень опасная. Конечно, были реальные средства. Но когда человек осмысливает свою жизнь, то нельзя не испытать какого-то мистического уважения к тому, что, вот, зачем-то тебе жизнь возвращена. Врачи сказали, что спасти нельзя, а я спасся. Конечно, это не может не отразиться на человеке. Но и обязывает работать в эту вторую жизнь, себя не бережа.

Какую роль христианская вера играет сейчас в ваших произведениях и в ваших действиях?

Когда я пишу — исхожу только из материала. Сам процесс писания не зависит от моих убеждений. Но оценка того, что получилось и для чего это нужно, сами жизненные задачи, как они рисуются, они, конечно, исходят из христианского мировоззрения. Понимание своих жизненных задач.

Ваша преданность православной вере и русскому народу служит поводом для некоторых критиков обвинять вас в том, что вы являетесь, скажем, ксенофобом и ярым русским националистом. Действительно ли вы русский националист, и если так, то что это значит для вас?

Поражает, что, при полной свободе печати на Западе, множество пишущих не имеет никакой ответственности за то, что они пишут. Основные характеристики, которые мне приписывают, — ни одна не основана ни на одной цитате из мною написанного или сказанного. Никто никогда не привёл: «Вот Солженицын так сказал — и отсюда вытекает.» А просто кто-то вдруг пишет: «Солженицын — империалист» — и все сразу, десять журналистов, сразу повторяют: «Он — империалист». Один напишет: «Солженицын — за теократию» — и все из статьи в статью повторяют: «Он — сторонник теократии». Приведу самый свежий пример.

В журнале «US News and World Report» в декабре прошлого года некто Роджер Розенблат, редактор журнала, пишет, что моя альтернатива коммунизму — это укрепить монархию. Я даже не знал об этой статье, но профессор Некрич из Гарварда пишет и Розенблату и в журнал: «Послушайте, откуда вы это взяли? У Солженицына вот 18 томов напечатаны — и нигде нет ни тени такого предложения и такой идеи. Напечатайте моё опровержение.» — «Нет, не поместим.» И сам Розенблат не признал никакой своей ошибки. Не прошло месяца — «Правда», советская «Правда», пишет: «Солженицын считает самодержавие идеалом политического устройства России.» То есть совершенно одно и то же печатает американский журнал и советская «Правда». И то и другое не основано ни на чём. Это просто поразительно, до какой степени меня оболгали.

Вот несколько обвинений, которые против меня выдвигают. Что я — сторонник теократии, то есть хочу, чтобы государством управляли священники. Ну нигде, никогда я такого не писал. Тем не менее это уже общепринято, и все так повторяют. Дальше: что у меня ностальгия по царям, и я хочу вернуть царизм. Вернуть царизм хочу — вот сейчас, в наш коммунистический СССР. Не говоря о том, что «вернуть» что-нибудь из прошлого — это вообще слабоумие, — но я нигде никогда ничего подобного не говорил. Действительно, у нас в Советском Союзе Николая Второго десятилетиями описывали как последнего негодяя, как уже вообще нечеловека. А я описал его живым, каким он был. Отошёл от стандарта. И всё. Наоборот, многие монархисты обижаются, что я в нём указал много слабых черт, много промахов, считаю его ответственным за многое. А с той стороны говорят: вот-вот, Солженицын мечтает о царизме! Третье придумали — «империалист». То есть ничего дальше от меня представить нельзя, как империалистическое мировоззрение. Во всех моих произведениях, всюду звучит, что только не надо никогда владеть другими народами, принуждать других. Я написал «Письмо вождям Советского Союза» в 1974 году, предложил вождям: немедленно заберите ваши войска отовсюду, где они только стоят, освободите эти народы, дайте им дышать. «Нью-Йорк Таймс» тут же

комментирует, через несколько дней: «Он империалист.» Ну как это оценить? Я не знаю... Дальше. Говорят, что я будто бы утверждаю, что в России революция сделана руками инородцев, то есть других народов. Ну нигде никогда я этого не писал. Вот будете читать «Март Семнадцатого», то есть революцию, вы увидите, что ничего подобного. Описывается так, как оно на самом деле было. Но кто-то искажает сознательно, а остальные не дают себе труда проверить. Это поразительно. Мне стыдно за этих журналистов, стыдно. Так и «националист». Я — патриот, то есть я люблю свою родину и хочу, чтобы она, больная родина, 70 лет разрушаемая, на грани смерти, — чтобы она возродилась.

Да, вы уже говорили, что на вас лгут, как будто вас уже нет в живых. Но непонятно, почему такая эмоциональная, бурная и критика, и защита вас. Почему так?

В самом деле, то, что я пишу, всегда вызывает бурную реакцию, *за* или *против*, равнодушных нет. Не знаю почему. Очевидно, есть какое-то свойство задевать то, что людям важно. В Америке я в основном видел от прессы единодушную критику, а не защиту. Только в читательских письмах противоположное. Во Франции, в Германии, в Англии печатные отзывы на мои книги самые разные — и одобряют, и критикуют. Но в двух странах — в Советском Союзе и в Соединённых Штатах — как с конвейера сходят все мнения абсолютно одинаковые. Чем это объяснить? В Советском Союзе понятно: там Политбюро нажимает кнопку — и все критики говорят так, как сказало Политбюро. Но спрашивается — почему в Америке? В Америке огромную роль играет мода: куда дует ветер. И если ветер дует вот в эту сторону — то и все пишут только так. И абсолютно единодушно, дружным стадом, просто поражает, как это происходит. А именно со мной? Какие могут быть этому причины? Я думаю так: от начала, когда я только выслан был из Советского Союза, я стал говорить и о Востоке и о Западе не то, что журналистам и советологам хотелось бы. Конструкция, выстроенная советологами, не выдерживала того, о чём я говорил: о Востоке я не так говорил, как они годами

учили. И я стал говорить о слабостях Запада. И то и другое очень не понравилось. Я только этим могу объяснить, если не объяснять их ленью и невежеством, что не хотят проверять цитат. А потом была ещё Гарвардская речь. В Гарвардской речи я сказал о недостатках сегодняшних западных демократий, в том числе о безответственности прессы, предполагая, что демократия жаждет критики, любит критику, ждёт критики. Демократия, может быть, и любит, но пресса — её не любит. Пресса возмутилась, вознегодовала на мою речь. С этого момента я стал как бы личный враг американской прессы, поскольку я там её коснулся.

Почему вы никак не комментируете политические события в Америке за последние десять лет?

Некоторые годы я этим занимался, думая быть полезным: взгляд свежего человека, со стороны. А затем понял, что не только моей критики никто не спрашивает, но и своё время, для меня драгоценное, я трачу не на то. Решил: хватит, отныне занимаюсь только своей прямой художественной работой.

Ввиду того, что происходят такие громадные важные события в СССР и во всём коммунистическом мире, немного удивительно всё-таки, что вы не высказываетесь и о них.

Удивительно знаете почему? Потому что не заметили, когда я замолчал. Если бы я замолчал с началом перемен, то это, может быть, было бы удивительно. Но я замолчал в 1983 году, когда переменами никакими не пахло. А позже начались перемены. И мне предстояло — что же? Прервать свою работу и начать выступать как политический комментатор, притом издалека? Но события на родине теперь сменяются часто. Скажешь один раз — нужно сказать и другой, и третий, и четвёртый, то есть комментировать по ходу того, что происходит. А я должен кончить свою работу, меня погоняет возраст, мне же больше семидесяти лет. И ещё другое. Сегодня многие советские люди свободно приезжают, свободно выступают здесь с докладами, с речами. Когда меня выслали, я был редкий вестник из того мира, не было ещё почти никого. А с тех пор на-

бралось и эмиграции, и тех, кто приезжает на время, — десятки и сотни советских людей каждый день объясняют Западу эти события. Зачем ещё я нужен? Что добавится от ещё одного голоса? Ничего. А роман мой никто за меня не напишет.

В самом ли деле вы против так называемых «прогрессивных» течений в жизни западных обществ со времён Просвещения, за триста лет?

Был такой малоизвестный, но очень ценный еврейско-русский публицист в начале века Иосиф Бикерман. Он однажды так написал: «В наше время бурного прогресса быстрей всего прогрессирует легкомыслие.» Могу сказать, что это очень точно подмечено. Прогресс вообще не есть однолинейное всемирное развитие. Есть технический прогресс, но он совсем не есть прогресс человечества как таковой. В каждой цивилизации этот процесс происходит сложно. В западной цивилизации, которую долгое время называли западно-христианской, а сегодня ещё подумаешь, назвать ли её западно-христианской или западно-языческой, — в этой цивилизации вместе с развитием интеллектуализма и науки терялись серьёзные нравственные основы и опоры. Демократический строй как он родился и какой он сегодня — это разные строи. Когда он основывался, в той же Америке, у его создателей было отчётливое представление о нравственных обязанностях каждого. Как будто бы та же конституция, те же поправки, как будто всё то же самое, — но вложено другое содержание. На самом деле не учреждения определяют жизнь общества больше, чем люди, а люди больше, чем учреждения. И если людей подменили, то те же учреждения уже не справляются, уже не дают прежнего эффекта. За эти триста лет в западном обществе произошло выветривание обязанностей и расширение прав. У нас — два лёгких, и мы не можем дышать только одним лёгким, а другим разрешить себе не дышать. Так и права и обязанности. Мы должны правами и обязанностями пользоваться равно, одинаково. Каждый из нас должен сам себя останавливать, ограничивать, даже если в законе это и не указано прямо. При основании западных демократий и было такое представление, что каждый

сам себя ограничит, каждый и сам понимает, чего делать нельзя. А вот закон этого не удержал, и развиваются только права, права, права! — за счёт обязанностей, за счёт долга. Я считаю, что произошло за эти столетия моральное выветривание ценностей, иерархия ценностей изменилась у современного человека. Это критика не Запада, это критика современности.

Вы были очень пессимистически настроены десять лет назад в отношении коммунизма. Остаётесь ли вы до сих пор таким пессимистом — даже ввиду того, что сейчас происходит в СССР и в Китае, где люди стараются заменить коммунизм чем-то другим?

Вообще для пессимиста ошибиться очень полезно, поэтому я нисколько не буду разочарован, если мне придётся признаться в своей ошибке. Я, наоборот, буду сердечно рад. Я предупреждал Запад о худшем, что может случиться, потому что всегда вернее готовить себя к худшему. А оно — очень вырисовывалось. Сколько можно судить — предупреждения мои слышали и в основном разделяли ведущие западные лидеры последнего десятилетия, чья бескомпромиссная твёрдость по отношению к коммунизму и привела к сегодняшнему его отступлению. Да, сегодня есть обнадёживающие признаки во всём мире. Но есть и вовсе не обнадёживающие.

Вы хорошо образованы в разных науках: в астрономии, математике, физике. Этим вы отличаетесь от большинства писателей мира. Эта научная сторона вашей жизни, вашего мышления — влияет на вас, на ваше творчество?

Я думаю, что математическая дисциплина ума, которую я получил в ходе изучения точных наук, совершенно незаменимо мне помогла. Для того чтобы выстроить и удержать такую вот постройку, как «Красное Колесо», чтобы справиться с этим обилием и разнообразием всех материалов и чтобы в нужный момент не терять нужного, где-то заброшенного маленького эпизода или картинки, — для этого необходима очень твёрдая система во всём: система работы, система мышле-

ния. Да, математическая дисциплина очень мне помогла. Не знаю, справился ли бы я без неё. Хотя в самом писании она не нужна. Но в организации и чувстве конструкции — незаменима.

Если бы вы сейчас хотели дать совет начинающему писателю в отношении образования, что бы вы сказали?

Я бы дал ему совет ни в коем случае не получать литературного образования. Любое, любое практическое образование, только не литературное. Потому что литературное — создаёт сразу ложную перспективу. Он имеет перед собой образцы, образцы, образцы, бесконечное число образцов, и он подавлен ими, и должен в борьбе с ними во что бы то ни стало выдумывать что-то своё новое, чтобы отличиться от них. Или, наоборот, кому-то подражать. А это не нужно. Нужно общаться с жизнью. Любая жизненная специальность, всякая, обогатит писателя, но не литературная.

Больше чем у кого-либо другого ваша репутация в литературном мире связана с обжигающим изображением советской лагерной системы. Ваш опыт в лагерях дал ли вам более глубокое понимание всей сущности советской жизни, чем вы имели без него?

Да. И человеческой природы — тоже. Потому что люди в тех обстоятельствах раскрываются, видны. Человеческой природы, всей вертикали человеческой. Это — как бы литературное счастье, что я был в лагере. При том, конечно, что жив остался.

Миллионы читателей «Тайма» будут благодарны вам, Александр Исаевич, за это интервью.

ОТВЕТ
ГЛАВЕ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Москва
Председателю Совета Министров РСФСР
И. С. Силаеву

23 августа 1990

Уважаемый Иван Степанович!

Я узнал из газет о Вашем ко мне открытом письме, которого непосредственно не получил.

Спасибо за приглашение быть Вашим гостем.

Но для меня немыслимо быть гостем или туристом на родной земле — приехал и уехал. Когда я вернусь на родину — то чтобы жить и умереть там. В свой возврат я верил и в самые безнадёжные годы.

Болями нашей страны я и живу всегда. И как раз сейчас окончил статью: мои посильные (и сколько мне доступно извне) соображения о нынешнем состоянии страны и возможных и необходимых мерах, как я их понимаю. Вот неизвестно, «найдётся ли бумага» в СССР для дешёвого и массового издания этой брошюры.

Оговариваюсь так, ибо Вы пишете, что моё «слово дошло нынче и до нашей родины». Отнюдь нет. Тормозят отчаянно. «Архипелаг ГУЛаг», книгу о наших миллионных страданиях, продают только на валюту в гостиницах для иностранцев да в «берёзках». Это ли не издевательство? Да простому человеку никаких моих книг не достать и в Москве, что ж говорить о широких просторах, которые и *есть-то* Россия? Журнал «Новый мир», основной, где я печатаюсь, — задавили. «Красное Колесо», моя полувековая работа о революции 1917 года — и вовсе станет доступна читателям невесть когда.

Но — я не могу обгонять свои книги. Десятилетиями оклеветанный, я должен прежде стать понятен моим соотечественникам, и именно не в одной столице, но — в провинции, но в любом глухом углу.

Пришло время очистить от клеветы и созданный мною на гонорары за «Архипелаг ГУЛаг» Русский Общественный Фонд, снять судимости и следы преследований с его подвижников, а сам Фонд легализовать, по крайней мере в РСФСР, чтобы он мог действовать, оказывать помощь совершенно открыто.

Благодарю Вас за тёплые сочувственные слова.

С уважением

А. Солженицын

ДЕПУТАТАМ РЯЗАНСКОГО ГОРСОВЕТА

21 октября 1990

Глубоко тронут вашим решением — не забыть меня среди рязанцев. Да, я прожил в Рязани 12 лет, с 1957 по 1969, полных напряжённого труда и важных для моей жизни. За это время я привязался к Рязани, к её лучшим местам, от которых и школа моя была как раз недалеко, и к её чудесным окрестностям. Ощутил и принадлежность города к коренной Руси.

В нынешнее тяжелейшее время для России тяжко придётся и Рязани. Желаю вам мудрых решений, которые помогли бы рязанцам — и жить, и дышать. А главное — вырастить детей не в цинизме и не в безнадёжности.

Мой поклон землякам и рязанской земле.

А. Солженицын

ОТВЕТ СВЯТОСЛАВУ КАРАВАНСКОМУ

27 октября 1990

Многоуважаемый Святослав Иосифович!

Глубоко уважая Вас за всё перетерпленное и за Вашу стойкость в испытаниях, я рад услышать сейчас Ваш мягкий голос, притом что ваши земляки — от трибуны Верховного Совета СССР и до дальних эмигрантских газет — только и вывели из моей статьи, что я: великорусский шовинист, колониалист, прихвостень имперской тирании и «закукуриченный империалист» («Гомин Украины», 10.10.90). Такая явно преднамеренная глухота и недобросовестность — изумляют, но и настораживают: *что* они хотят прикрыть этим буквально рычанием?

К Вам — я могу обратиться с надеждой на взаимопонимание, в котором они мне отказали.

На Ваши исторические доводы, начиная с доли отражения татарского нашествия (если считать Червонную Русь — не Русью), можно было бы пространно отвечать, но все они вполне перекрываются самым сильным доводом, который Вы сейчас и не приводите за его ясностью: что если сердца украинцев жаждут сегодня отделения — то не с чем и спорить. Достаточно этого движения сердец! — и я в своей статье *именно это* и сказал. И об этом же написал ещё в «Архипелаге» (часть V, гл. 2, с. 48), так что моё нынешнее обращение вовсе не «беспрецедентно». Однако вот и Вы не отметили, что при такой жажде — я не спорю с отделением Украины...

Но — воистину Украины.

Сейчас, когда на Западной Украине валят памятники Ленину (туда им и дорога!), — почему же западные украинцы страстнее всех хотят, чтобы Украина

имела именно ленинские границы, дарованные ей батюшкой Лениным, когда он искал как-то ублаготворить её за лишение независимости — и прирезал к ней отвеку Украиной не бывшие Новороссию (Югороссию), Донбасс (оторвать бассейн Донца от донских «контрреволюционных» влияний) и значительные части Левобережья. (А Хрущёв с маху «подарил» и Крым.) И теперь украинские националисты бронёй стоят за эти «священные» ленинские границы?

Я пишу в статье (никем как будто не прочтено): «Конечно, если б украинский народ *действительно пожелал* отделиться — никто не посмеет удерживать его силой. Но разнообразна эта обширность, и только *местное* население может решать судьбу своей местности, своей области.» И за это я — «закукуриченный империалист»? А те, кто *запрещает народное волеизъявление* и даже почему-то *боится* его, те — демократы и свободолюбцы, так??

В такой разъярённой обстановке нельзя обсуждать сложнейший вопрос, где наши два народа срослись по миллионам семей, по сотням местностей.

И ещё довод, который, к моему изумлению, приводите и Вы: что выбор языка детей — не должен быть «прихотью родителей», а должно решать правительство республики. Это довод — поразительный. Тогда и выбор христианской веры, крещение детей — тем более не должны быть «прихотью родителей», а ждать в том государственного указания? «Неукраинцы вольны в своем выборе», — пишете Вы; только будет срезано число школ? А украинцы — не «вольны в выборе». Так значит — опять насилие?

Нет, не надо этого диктата, дайте всякой культуре расти, как ей естественно.

С большим уважением

А. Солженицын

ОТКАЗ ОТ ПРЕМИИ ЗА «АРХИПЕЛАГ ГУЛаг»

Председателю Комитета РСФСР по государственным премиям

11 декабря 1990

Прошу Вас передать членам Вашего Комитета мою благодарность за их единодушное отношение к книге «Архипелаг ГУЛаг».

Но я считал бы немыслимым и невозможным принять государственную премию за эту книгу — при том, что большинство нашего народа ещё не имело возможности её достать и прочесть, её малые тиражи продаются на чёрном рынке по бешеным ценам. А тысячи и тысячи бывших зэков доживают свою жизнь или вообще без пенсии или на нищенской, так как каторжный труд в лагерях ГУЛага им не зачтён в трудовой стаж. При таких условиях — для всех них получение мною премии было бы горькой иронией.

Но шире того: в нашей стране болезнь ГУЛага и посегодня не преодолена — ни юридически, ни морально.

Эта книга — о страданиях миллионов, и я не могу собирать на ней почёт.

С уважением

А. Солженицын

К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА НА НЕВЕ

28 апреля 1991

Я слышал, что в вашем городе готовится референдум о возврате ему названия «Санкт-Петербург» (а исторически-то «ПитербурХ»?). Я хотел бы тоже подать голос и убедить Вас, что *этого* звучания возвращать не надо. Оно было в XVIII веке навязано вопреки русскому языку и русскому сознанию. (Как и город на Урале, его устроителем В. Н. Татищевым хорошо звавшийся «Екатерининск», был утвержден петербургскими бюрократами — «Екатеринбург».)

Переименование в 1914 г. в «Петроград» было вполне разумным, и оно верно, если считать город названным в честь императора. (Если же хотеть сохранить, как исторически было, в честь Апостола Петра, — то естественная русская форма: Свято-Петроград.)

И может быть, это решение по важности должно быть обсуждено не только жителями вашего города, но и всей России.

А. Солженицын

РЕЦЕНЗИРОВАТЬ, НО НЕ ПЕРЕДЁРГИВАТЬ

В редакцию журнала «Октябрь»

12 августа 1991

Сейчас мне прислали № 4 «Октября» за 1991 г., где помещены размышления Л. Баткина по поводу моей статьи «Как нам обустроить Россию?». В главке «Процесс разделения» у меня написано: «И не только для *русских с окраин*, но и окраинных уроженцев...», — из этой фразы и изо всего абзаца однозначно ясно, что речь идёт о *людях*, а не об окраинах, ошибиться нельзя. Но, приводя эту фразу, Баткин изящно обранивает «с» и искажённое им место ещё выделяет вразрядку: «русских окраин», тут же с обещательной зарубкой от себя: «выражение за́помним». И не единожды, но трижды он использует этот передёрг, обплясывая его так и эдак, до подлога: будто я называю 12 республик «русскими окраинами»! Есть в рецензии и другие прямые извращения моего текста, и все сделаны с эмоциональным напором.

Удивляюсь, что не было простой редакционной проверки цитат. Была бы легко обнаружена эта, в лучшем случае, радостная небрежность рецензента.

В граждански развитом обществе исказитель цитаты приносит публичные извинения читателям.

А. Солженицын

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ЕЛЬЦИНУ

30 августа 1991

Дорогой Борис Николаевич!

Пользуюсь надёжной оказией доставить это письмо Вам в руки.

Восхищаюсь отвагой Вашей и всех окружавших Вас в те дни и ночи.

Горжусь, что русские люди нашли в себе силу сбросить самый вцепчивый и долголетний тоталитарный режим на Земле. Только теперь, а не шесть лет назад, начинается подлинное освобождение и нашего народа и, по быстрому раскату, — окраинных республик.

Сейчас Вы — в вихре событий и неотложных решений, всё сразу — важно. Но я потому смею вторгнуться к Вам с этим письмом, что есть решения, которых потом *не исправить* вослед. К счастью, пока я писал эти строки, Вы уже дали знать: что Россия сохраняет право на пересмотр границ с некоторыми из отделяющихся республик. Это особенно остро — с границами Украины и Казахстана, которые произвольно нарезали большевики. Обширный Юг нынешней УССР (Новороссия) и многие места Левобережья никогда не относились к исторической Украине, уж не говоря о дикой прихоти Хрущёва с Крымом. И если во Львове и Киеве наконец валят памятники Ленину, то почему держатся, как за священные, за ленинские фальшивые границы, прочерченные после гражданской войны из тактических соображений той минуты? Также и Южная Сибирь за её восстания 1921 г. и уральское и сибирское казачество за их сопротивление большевикам были насильственно отмежёваны от России в Казахстан.

Я с тем и спешу, чтобы просить Вас: защитить ин-

тересы тех многих миллионов, кто вовсе не желает от нас отделяться. При Вашем огромном влиянии примите все меры, чтобы референдум на Украине 1 декабря был проведен полностью свободно, без всякого давления (оно очень возможно!), без искажений голосования — и чтобы результат его учитывался отдельно по каждой области: каждая область должна сама решать, куда она прилегает. И сразу слышим угрозы, со срывом голоса: «Это война!» — нет, только вольное голосование, которому все и должны подчиниться.

Да бесчестный ленинский совнарком, в обмен за мир и признание своего режима, поспешил (2 февраля 1920 г.) отдать и Эстонии кусок древней псковской земли со святынями Печор и Изборска, и населённую многими русскими Нарву. И теперь, без оговорок принимая отделение Эстонии, мы не можем увековечить и эту нашу потерю.

Я уже писал в «Обустройстве» год назад, что я не противник отделения союзных республик, и даже считаю это желательным для здорового развития России. Но федерация — это живое реальное сотрудничество народов в цельном государстве. А всплывшая теперь политическая «Конфедерация независимых государств» — искусственное образование, бессмыслица, и на практике обернётся (как Содружество наций для Британии) — отягощающим бременем для России.

И ещё срочное, Борис Николаевич! Крайне опасно сейчас поспешно принять для России какой-либо не вполне прояснённый экономический проект, который в обмен на соблазнительные быстрые внешние субсидии потребует строгого подчинения программе давателей, лишив нас самостоятельности экономических решений, а затем и скуёт многолетними неисчислимыми долгами. Опасаюсь, что такова программа Международного валютного фонда и Всемирного банка реконструкции (известная у нас как «план Явлинского»). В невылазные тиски долгов попала Латинская Америка и Польша, однако им долги невольно прощают, ибо с них нечего взять. Но России — не простят, а будут выкачивать наши многострадальные недра. А затем, попав во внешнюю экономическую зависимость, Россия неизбежно впадёт и в политическую несамостоя-

тельность. Я — боюсь такого будущего для нашей страны. И сердечно прошу Вас: не разрешите отдаться одному упорно предлагаемому проекту, распорядитесь изучить и альтернативные. Например — план, активизирующий внутренние резервы страны, позволяющий нам обойтись без иностранных займов, — план, поддерживаемый Милтоном Фридманом, крупнейшим авторитетом западной экономики.

Крепко жму Вашу руку.

А. Солженицын

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Кавендиш, 17 сентября 1991

Решением Генерального прокурора СССР теперь снято юридическое препятствие к моему возвращению на родину. Значит, это становится реальностью, я снова вернусь на родную землю. Но прежде я должен окончить на месте мои ранее начатые произведения. По возвращении в Россию сразу обступят другие заботы, которые я и буду делить со всеми.

А. Солженицын

ОБРАЩЕНИЕ

(К референдуму на Украине)

С ошеломлением выбираются наши народы из-под рухнувшего наконец коммунизма. Люди заслуженно ждут — и сколько ж ещё ждать? — достойной, не мучительной жизни. Но пока что мы — в хаосе бед. Так до сих пор и не дана людям пахотная земля, ни даже малые наделы. И до первобытности запущена наша промышленность. И — отравлено всё окружение жизни. А какие-то ловкачи тем временем успевают неслышно продавать или безвозвратно закладывать наши уцелевшие ещё богатства, наше будущее, — и что же останется нам? и, главное, нашим детям? А для тех, кто трудится, — всё вокруг пока только дорожает и дорожает, стеной. И какой всеобщий рост бессовестности, какая порча душ!

Но в этой катастрофе хотя бы мы сейчас-то, своими руками, не громоздили бы новых ущемлений для людей, новых несправедливостей на будущее. Вот, после баррикад в Москве, после московского августовского сокрушения коммунизма — для республик впервые открылась реальная возможность становиться отдельными государствами. Я приветствовал это ещё год назад. Дай Бог каждому новому государству стать на ноги благополучно. (Конфедерация же самостоятельных государств — это пустой звук, ей не жить.) Однако не будет добра, если первые же шаги независимостей сопроводятся подавлением частей населения — новообразующихся национальных меньшинств. Уже сейчас из разных мест несутся жалобы — где на массовые насилия, где стали увольнять с работы по национальному признаку, а дальше не лишат ли меньшинства права обучать своих детей на родном языке, как коммунисты лишали? Наш общий горький советский опыт достаточно нас убедил, что никаким государственным

смыслом нельзя оправдывать насилие над людьми. В с е м должна быть обеспечена нестеснённая спокойная жизнь.

Прекрасно, что назначен референдум на территории бывшей УССР. Но только если он будет проведен вполне справедливо. И я призываю всех, от кого это зависит и кто может повлиять:

— чтобы вопрос в бюллетене стоял совершенно отчётливо (не как в прошлом мартовском в СССР), давая голосующему истинную свободу выбора, без смутной исказительности;

— чтобы, по мировым нормам, не было ни давления на голосующих, ни фальсификации, а по возможности — наблюдение нейтральных комиссий;

— чтобы результат референдума учитывался отдельно по каждой области: каждая область сама должна решить, куда она прилегает.

Разные области имеют совсем разное историческое происхождение, непохожий состав населения, и не может судьба жителей области решаться перевесом среднего арифметического по обширной 50-миллионной республике. Те, кто во Львове и Киеве наконец-то валят памятники Ленину, — почему же поклоняются, как священным, фальшивым л е н и н с к и м границам, на кровавой заре советской власти во многих местах прочерченным лишь для того, чтобы купить стабильность коммунистическому режиму? При решимости Украины полностью отделиться, на что её право несомненно, — такой валовой подсчёт голосов в этих границах может оказаться непоправимым для судьбы многих миллионов русского населения. И создадутся напряжённые зоны на будущее.

Обеспечьте неискажённое вольное голосование — и все подчинятся ему. Дайте истинную свободу всем в ы б р а т ь — и тогда, каков бы ни был результат, это будет уважаемое самоопределение, и мы тепло поздравим Украину с возобновлением её государственного и культурного пути.

Соседями нам быть — всегда. Будем же соседями добрыми.

7 октября 1991

ПОСЛУ РОССИИ В США В. П. ЛУКИНУ

20 марта 1992

Многоуважаемый Владимир Петрович!

На Ваше письмо от 16.3.92 поясню, что я имел в виду в моём предыдущем письме Вам помимо сочувствия начатой Вами деятельности в Соединённых Штатах.

Моя поддержка Вашей позиции относится к тому, что Вы активно поставили в российском Верховном Совете вопрос о судьбе Крыма. Огромная область была вне всяких законов «подарена» капризом подгулявшего сатрапа — и это в середине XX века!

Но вопрос стоит и шире. Я уже писал в своей статье (8.10.91, газета «Труд») к референдуму 1.12.91 на территории Украинской республики в её ленинских границах, — что и *все* границы между республиками бывшего СССР были нарезаны ранними советскими вождями полностью произвольно, без всякого соотнесения с этническим составом областей, местностей и их историческими традициями — а лишь по политическим выгодам того момента. В частности, так была оторвана и Донецкая область от Дона — чтоб ослабить Дон за его борьбу против большевизма. За такую же упорную борьбу были наказаны уральское и сибирское казачество и область большого Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 года. Так же в 1920 г. ленинское правительство без колебаний уступало целиком русские районы — тем первым государствам, которые своими договорами несли ещё слабому коммунистическому режиму первое международное признание.

И ещё. По убеждению, настойчиво выраженному мною в «Обустройстве», — я не вижу возможностей

успешного развития России без равномерного, и вровень со столицами, развития провинциальных областей. А потому — горячо поддерживаю нынешнее предложение составить договор о Российской Федерации на равных условиях для *всех* областей — как национальных автономных, так и собственно русских.

Это моё письмо к Вам не является закрытым.

Всего Вам доброго.

А. Солженицын

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ КОМПАНИИ «ОСТАНКИНО»

(Интервью ведёт Станислав Говорухин)

Кавендиш, 28 апреля 1992

Если принять за основу, что история хранит в себе не только прошлое народа, но таит в себе и его будущее, то, чтобы узнать, что с нами будет, мы должны понять, что с нами было.

Совершенно правильно.

Александр Исаевич, на какие моменты отечественной истории вы могли бы обратить внимание, где мы как бы сбились с истинного курса?

К сожалению, таких пунктов было несколько.

Пунктов, где мы сбились?

Пунктов, или вопросов, или направлений, на которых мы сбились. Я охотно о них скажу. Действительно, над этим мы мало задумываемся. Если сказать в одной фразе, то высшая государственная мудрость состоит в том, чтобы все усилия государства, государственной власти, и все способности — направлять больше на внутреннее состояние, на расцвет своего народа, нежели на внешние вопросы и внешние действия. К сожалению, мы нарушали эту мудрость неоднократно в течение трёх последних веков — Восемнадцатого, Девятнадцатого и Двадцатого. Ну, в Двадцатом это слишком известно: всё делалось для того, чтобы создать мировую революцию сперва, а когда не удалось — то подрывные действия на Западе. Но удивительным и печальным образом кое-что можно отнести и к предыдущим векам. У нас и в XVIII и в XIX веке был часто значительный перевес внешних усилий над внутренними. В XVIII веке Пруссия хочет оттяпать у Австрии Силезию, — спрашивается, ну какое наше дело? Нет, мы посылаем войска в защиту Австрии, чтобы

спасти ей Силезию, и вступаем в Семилетнюю войну с Пруссией. Семь лет война, на далеких европейских полях, мы шлём и шлём туда ратников, губим и губим, льём и льём нашу кровушку. Берём Берлин — безо всякой надобности, безо всякой пользы. И в общем-то выигрываем эту войну. А зачем? А — ни за чем. Или совсем анекдотический случай. Английскому королю, изволите, приятно иметь личное княжество Ганновер в центре Европы — он такое и имел. Вокруг княжества, естественно, развивается свалка европейских держав. Кто же должен решить и чья сила нужна туда, на помощь? — ну конечно российская, и, конечно, мы шлём 30-тысячный корпус топать пешком черезо всю Европу, чтобы помочь в этой свалке с Ганновером. Но, может быть, самая разрушительная идея у нас была — это дутая, надменная, никчёмная идея панславизма: что мы должны опекать и руководить юго-западными славянами и Балканами. В XVII веке патриарх Никон очень хотел распространить свое влияние к западу, а затем и царь Алексей Михайлович. И вот для этого нужно было согласовать очень важные тогда религиозные обряды. Мы же, несколько веков назад принимая православие от греков, приняли их древний обряд. Потом греки по каким-то причинам сменили свой обряд, не слишком значительно. И теперь, чтобы подладиться к ним, чтоб быть для них более близкими и понятными, Никон решил менять наш церковный обряд. А что была для людей XVII века смена церковного обряда? Это — смена религии, это нечто потрясающее, ужасное. И так родился церковный раскол. Во имя чего? А для вот этой панславистской идеи: чтобы как-нибудь ближе быть к Балканам, к южным славянам. Церковный раскол XVII века был такой удар по хребту русскому, который сказался и в 1917 году. Если бы не было того раскола, с двенадцатью миллионами старообрядцев, а это огромная цифра по тому времени, если бы их не начали преследовать, теснить, искоренять своё собственное тело, мы были бы гораздо крепче к XX веку. Мы выкачивали столетие за столетием русскую силушку, часто без всякой надобности для государственных интересов. Мы изнуряли наш народ военными усилиями, а внутренними

забывали заняться. Ну, известно, — об этом говорил и Ключевский, — что освобождение крестьян от крепостного права произошло с опозданием ровно на столетие. Освободили от крепостного права, не подумав, что наше крестьянство попало в положение, я бы сказал, как сегодня наш народ... ошеломился от перехода к рынку: просто непонятно, как жить в этих условиях. Народ пошатнулся духом, он не выдержал этого внезапного взрыва хищничества и власти рубля. Он был сотрясён морально, сразу начала мораль народа разрушаться. А мы продолжали держать общину, не давая талантливым крестьянам индивидуально вести хозяйство и развивать его.

> Александр Исаевич, я читаю у вас в «Красном Колесе» описание Февраля и поражаюсь сегодняшнему сходству, всё безумно похоже на нас. И вдруг я вчера в вашей статье натыкаюсь ещё на такую фразу: «Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, — пишете вы в 1983 году, — если его не вспоминать в прошлом. Ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за восемь месяцев развалившего страну.» Как бы вы Февраль 1917 года соотнесли с сегодняшним временем?

Вот именно потому, что я невылазно, много лет занимался Февралём 1917 года, я с ужасом предвидел, что ведь это может повториться. Это может повториться, если мы не будем опытом своим вооружены. Я всё время этого боялся, и в тот момент, когда началась горбачёвская так называемая «перестройка», я тоже боялся этого. И к сожалению, пошло даже не только, как в Феврале, а хуже. Раз мы находимся на холодном утёсе тоталитаризма, нам в долину нельзя прыгнуть, нам нужно медленно, медленно, при твёрдой, уверенной власти, медленно спускаться виражами в долину демократии. И меня за это клеймили тут на Западе и третья эмиграция, что, значит, я не хочу демократии. Раз я не хочу демократии в один день и сразу — значит, я враг демократии. А я и знал, что так будет. Я имел богатейший опыт, я 1917 год пережил на себе. Да, этого самого я боялся, и наш нынешний хаос пря-

мо напоминает тот, только тот длился восемь месяцев и кончился большевицким переворотом, а этот вот... а это толканье, в общем, длится уже семь лет, и, как мы из него выйдем, в какую сторону, — это ещё вопрос.

За год до так называемого «путча» я предупреждал: Советский Союз всё равно развалится, но давайте к этому готовиться. Коммунизм всё равно рухнет, но самое ужасное, если эти бетонные постройки нас придавят. И это именно произошло.

Главное — не погибнуть под обломками.

Не погибнуть под развалинами, обломки — мелкое слово, под развалинами.

А вот скажите, Александр Исаевич, вы гуляете вообще по этим окрестностям?

По окрестностям я гуляю мало, потому что пересечённая местность мешает думать; а вот здесь, по длинной веранде, я гоняю: ровная местность исключает всякие помехи, одна только мысль идёт. Здесь я хожу быстро, и часто, по полчаса, по сорок минут.

Как в камере?

Именно, так я в камере и привык. Когда разгон есть — так думаешь, думаешь, мысль совершенно свободна, не надо смотреть, как бы не споткнуться, гоняешь и гоняешь, а мысль работает, взял, записал. А потом же у меня здесь, вот, стол, я в любой момент могу стол развернуть и за столом сесть поработать.

Вы хорошо информированы о том, что происходит у нас в стране, и знаете, какие уродливые формы приняло всё. Естественный вопрос: вот то, что происходит, это и есть демократия?

Давайте обратимся к вопросу о том, что такое демократия вообще. Демократия, всем известно, — это власть народа. Но при этом забывают: власть *всего* народа, разлитого по *всей* поверхности страны, и того народа, который живёт в глухих далёких местах, — и его тоже власть. Это не власть какого-то котла, который кипит в столице и состоит из нескольких сотен или тысяч людей — постоянных политиков, имеющих

только неприятную обязанность раз в четыре года куда-то поехать произнести избирательную речь и избраться. Демократия должна опираться на демократию малых пространств. Своими делами местными должны заниматься местные советы, местные земства, потом районные, потом областные. Но этого мало. Система должна быть такова, чтобы воля с местности, с района и области поднималась, поднималась и там наверху воля каждой области и района чувствовалась и ощущалась. Вот тогда будет демократия, тогда будет власть народа. К сожалению, этого у нас сейчас нет, но это было бы ещё полбеды. Коммунизм, как я сказал, рухнул совсем не окончательно, рухнуло верхнее звено. Среднее звено, очень упорное звено, осталось. Множество номенклатурщиков объявили себя демократами, — оказывается, они всю жизнь были демократы. И вот сейчас мне пишут, — я получаю писем горы, я просто неделями не успеваю прочитывать письма и отвечать, — пишут: ну, в тех же самых кабинетах буквально те же самые рожи сидят, только повесили другую табличку. Значит, номенклатура влилась в этот новый общественно-государственный строй очень умело. Есть ещё одна большая сила, которая использовала этот прорыв, мгновенный переход к новому строю, — это акулы финансового подпольного мира, которых даже стыдно назвать предпринимателями: они никакого производства ещё не создавали, никаких благ для России не создали реально.

Продавцы воздуха.

Да, они из денег делают деньги, хапают что-то где-то государственное, потом продают более выгодно; тут купили, там продали, — и вот миллионеры!

Один остроумный человек назвал таких предпринимателей посредниками: посредниками между трудящимся человеком и его карманом.

Да, так. Во-первых, они очень влиятельной силой вошли в инструменты власти — власти в том смысле, что от них зависит, как направлять нашу жизнь. Во-вторых, они начали сплетаться с номенклатурой, ибо наиболее ловкие номенклатурщики, особенно те, кото-

рые должны отмывать партийные деньги, те особенно с этими сплелись. И если вот этот правящий класс сольётся, так он будет нас угнетать не 70 лет, а 170, их уже вообще не вышибешь. Потом не забудьте, что черезо всё это сохранилась структура КГБ, я юмористически воспринимаю, когда говорят, что КГБ теперь уже нет. КГБ только-только самый фасад немножечко приукрасил. КГБ остался вот в этом новом общественно-государственном строе как большая сила с большим аппаратом, с большими пронизывающими нитями. И всё это прикрыто облаком демократии. Так вот, то, что сейчас у нас есть, нынешний общественно-государственный строй, — это слияние номенклатуры, финансовых акул, вот таких вот лжедемократов, которые себя приукрасили, и КГБ. Как это можно назвать? Не только я не назову это демократией, но я должен сказать: это грязный гибрид, которому даже примера не найдёшь в истории. Это грязный гибрид, и неизвестно, во что он разовьётся. Я получаю письма... просто прослезиться можно. Вот с Камчатки пишет учительница: «Каждодневные мытарства, мучительный поиск куска хлеба насущного, выстаивание в очередях, обозлённые люди вокруг — всё это, конечно, отнимает силы, лишает не только настроения, но способности к какому-либо творчеству, что в учительской профессии просто необходимо». (А я слишком это хорошо знаю, к сердцу это принимаю, потому что я сам школьным учителем был много лет.) «Хожу по магазинам, ищу, чем бы накормить свою маленькую семью, чтобы подешевле и дотянуть до зарплаты. Домой попадаю после семи, а то и позже. Кухонно-моечная круговерть отнимает ещё пару часов, и только около 10 вечера я могу сесть за книги, подготовку к урокам, проверку сочинений». (В 10 часов вечера она садится готовиться к завтрашнему раннему утру!) «Раньше хотелось чего-то необычного, хотелось сдвинуть с мёртвой точки, по большому счёту хотелось, чтобы из школы выходили личности, а не серая масса. Ночами читала и разрабатывала, так как пособий нет никаких... уроки по Булгакову, Пастернаку, Ахматовой, по Библии, а теперь устала, просто нет сил, и ещё постоянное чувство унижения, нищеты, ведь какая-нибудь толстая и глупая торгашка

смотрит на тебя как на ничтожество, потому что ты одета нищенски и в квартире не хватает самого элементарного. Безвыходность, уже и души нет, а какое-то месиво внутри». Ну вот, вот такая демократия у нас.

Но очень уж глубокая сейчас апатия в обществе. И, мне кажется, всё надо начинать с нуля, как бы реабилитировать слово «демократия», а то оно стало ругательным.

Вот насчёт «ругательным». Я вам должен сказать так: беда той стране, в которой слово «демократ» стало ругательным. Но и погибла та страна, погибла та страна, в которой ругательным стало слово «патриот». Ни то, ни другое слово не должно быть ругательным. А наше общество, когда объявили гласность, когда Горбачёв с трона объявил великодушно гласность, попалось в ловушку, то есть появились два крыла, которые, вместо того чтобы штурмовать коммунизм, скорей его свалить, начали грызть друг другу глотку. И так стали ругательствами и «демократ» и «патриот». То есть общество шесть лет само себя грызло, а Горбачёв пока болтал свою демагогию и думал, как ему подправить коммунизм, как ему лучше войти в будущее со своим коммунистическим аппаратом.

А вот вы помните, у вас в «Обустройстве» есть такая фраза: «Если в нации иссякли духовные силы — никакое наилучшее государственное устройство не спасёт её от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит. Среди всех возможных свобод — на первое место всё равно выйдет свобода бессовестности.»

Я скажу вам так: сейчас все заняты, в общем, экономикой, и все считают, что если какой-нибудь гений — но пока этих гениев нет — придумает гениальные реформы, если какой-нибудь Международный валютный фонд составит гениальный нам план — а он его не составит, потому что он не понимает, как переходить, как нашу систему преобразовывать... Пока совесть в нас не проснётся — ничего не будет, и никакая экономика нас не спасёт, и государства нам не

устроить. Совесть. У нас сейчас модный и очень выгодный для многих бывших влиятельных людей такой лозунг: «только не охота на ведьм!», только-только не охота на ведьм, мы же так великодушны, мы же так щедродушны, только не охота на ведьм, всем прощаем.

Откровенно говоря, я тоже почти так думал. Поэтому мне от вас интересно было бы...

Видите, вот потому что нам с гнилым дуплом не стоять, нам от прошлого надо очищаться. Германия совершила своё чудо далеко не только экономически. У них тысячи людей выходили и рассказывали о своей деятельности — не о преступной деятельности, за которую те попали давно под суд и сидят в тюрьме, нет. А те, которые лишь косвенно способствовали насилию. Мы должны от этого прошлого, грязного прошлого, освободиться. Мы должны нравственное очищение произвести. Это хитрый, лукавый лозунг: «не надо охоты на ведьм». Какой «охоты на ведьм»! Не охота на ведьм нужна, а нужно народное раскаяние. Ужасно читать. Читаю члена аппарата ЦК, видного работника ЦК: все виноваты, все-все виноваты, и каждый рядовой виноват в том, что не удался социалистический эксперимент. Спасибо вам за социалистический эксперимент. Нет, не все виноваты, далеко не все! Я всю жизнь прожил в социальных низах, и вот из социальных низов я десятилетиями видел этих мерзавцев, которые лгут. Я не говорю уже о тех партократах, номенклатурщиках, которые проводили всё государственное давление, и не говорю о тех, кто рубил головы, кто стрелял в затылок в подвалах, те достойны суда, и только суда. Но те, которые этого не делали, а только голосовали на райкоме за насильственное отнятие чего-то, за насильственный выгон на работу, за обнищание, — они пусть выйдут и расскажут: я сознаю свою вину, я понимаю, что я голосовал не за то, я знал, что это ложь, что это насилие, но я этому служил. Да только ли они? А журналисты? Ведь вот сейчас, недавно, журналисты разыграли такой спектакль: собрали пресс-конференцию и разоблачали иерархов Православной Церкви. Ну, правильно, да, Церковь была в плену, и

КГБ когти в неё впустило. Но как смеют журналисты начинать не с себя? Почему они начинают не с себя? Каждый из них лгал, залеплял нам глаза и уши ложью, десятилетиями лгал. Если этого не будет, то наша молодёжь — она же не глупая — она же видит: если ты был подлец, обманщик, взяточник, негодяй, лжец — ты процветаешь и сегодня.

Молодёжь на примере своих родителей, на примере всего опыта окружающей жизни видит, что честным трудом прожить невозможно.

А если вот молодёжь увидит, что за грязные дела придётся выйти и покраснеть, если за грязные дела приходится раскаиваться, она задумается: э-э-э-э, а пожалуй, может, по-честному жить?

Александр Исаевич, мне всё-таки кажется, что это идеализм, мне кажется, что в нашей стране такого, о чём вы мечтаете и к чему призываете, и давным-давно, «жить не по лжи», — мне кажется, что это невозможно в настоящий момент.

Тогда мы не спасём молодёжи, и тогда мы будем дерево с гнилым дуплом.

На что вот у вас лично надежда?

Моя надежда именно на развитие демократии с низов, на пробуждение к государственной деятельности в масштабах местности, района, области миллионов людей, у которых сегодня руки связаны. Надо пробудить широкие, широкие слои к государственной деятельности, на самом низшем уровне сперва, а потом из них выдвинуть выше наиболее заметных деятелей. Наши государственные деятели сейчас в основном перелицованные брежневские, или хрущевские, или андроповские, вот этого последнего времени. Нет, те бы пришли, которые к этому не касались. Как мы вышли из смуты XVII века? Ведь это страшная была смута. Ведь что творилось, какой грабёж шел по всей стране, какие насилия, Москва была вся сожжена до пепла, кроме Кремля и Китай-города. А откуда взялись силы? Из провинции, из низов. Там начали создаваться ополчения, и они в конце концов победили и польскую ок-

купацию, и шведскую оккупацию, и самозванцев. Но для того, чтобы у низов были силы, надо им дать моральную поддержку. Это невозможно, чтó сегодня уже читаем в прессе: миллионеры, награбившие бессовестным образом, непроизводственным путем, создают клубы миллионеров и хвастаются своей силой. Невозможно, чтоб на отмытии партийных денег та же самая бюрократия снова царствовала. Тогда у нас выхода не будет никакого.

Я, кстати, давно хотел спросить: помните эти беловежские соглашения. Когда я прочёл в газетах, я на секунду подумал: боже мой, кажется, не зря Александр Исаевич писал своё «Обустройство». Думаю, ну поздновато, конечно, но вот как бы обнаружили рецепт врача, который давно поставил диагноз, и решили испробовать это лекарство, образовать союз трёх славянских государств.

Я тоже, знаете, в те дни подумал: а может, правда, создастся союз Белоруссии, России и Украины с возможной добавкой Казахстана, потому что там у них тоже чуть не половина русских. Вот эти четыре республики вместе могли бы создать настоящее, прочное жизнеспособное государство. И я действительно на короткое время подумал, что искренни все участники этого соглашения. Но, когда они тут же начали образовывать СНГ, я понял: нет, это хлипкая затея, хрупкая, недолговечная. Ну, вот было Содружество наций, Британия пыталась не потерять свои колонии и устроила Содружество наций. Чем это содружество кончилось? Да ничем. Оно абсолютно нежизненно, оно ничего не дало. Наше нынешнее СНГ, конечно, недолговечно. Среднеазиатские республики и Азербайджан уже сейчас активно уходят в мусульманский мир, мы это видим: прямые связи, новые у них там нефтепроводы, взаимообъединения, они отдельно соединяются... Дай им Бог, пошли им счастливого пути. Им путь к этому, они всё равно будут тяготеть к мусульманскому миру. Но только сейчас они побудут 5—10 лет с нами, будут использовать наши ресурсы, для того чтобы укрепиться и стать на ноги, потом они от нас сами уйдут, а мы

за то наказаны тем, что не имеем прочной конструкции, мы до сих пор не понимаем, в каком мире мы живём, где наша конструкция?

Как вы думаете, доживём ли мы когда-нибудь до счастливого дня, великого праздника воссоединения Украины с Россией?

Когда я в «Обустройстве» предлагал Российский союз, союз трёх славянских республик, и с возможным участием Казахстана, — можете обратить внимание, в каких мягких и нежных тонах я всё время писал об этом...

В таких мягких тонах об украинцах... А посмотрите, сколько злости в ответ.

Я сам наполовину украинец, чуть-чуть меньше половины у меня украинской крови, я с детства украинский язык знал, у меня дед по-украински говорил только. Я истинно понимаю, что если смотреть далеко вперёд, то этот союз жизненно необходим. Среди массы населения на Украине нет никакого озлобления против России, как среди массы русского населения тем более нет против Украины. И вот что ж теперь? Провели на Украине два референдума в течение одного года, в марте провели горбачёвский референдум, и вопрос был поставлен лукаво, извилисто: хотите ли вы, чтобы был Советский Союз, такой-сякой хороший, демократия, права человека, ну все на свете блага, — *или нет?* Ну, конечно, проголосовали — хотим. И года не прошло — новый референдум на Украине. Перед ним я выступил, сказал, как бы сделать так, чтобы вопрос стоял чисто, честно, не так, как у Горбачёва. И меня знаменитые украинские диссиденты, правда перемежая ругательствами, хотя я очень мягко выражался, заверили: нет, у нас будет честно вопрос стоять. Прошёл месяц — и мы читаем: «хотите ли вы, чтобы Украина, такая-сякая замечательная, с демократией, с правами человека, была независима, — *или нет?*» Ну если в течение одного года, одно и то же население дало вот такие два результата противоположных, то чего же стоят оба референдума? Если два референдума в один

год вот такие, чего они стоят? Обидно то, что эта злость к москалям уже на доме Булгакова выразилась по-фашистски, заливали цветной краской дом Булгакова, — с этого они начинают свою культуру? А вот читаем газету, областную газету города Ровно: «Должны ли украинцы беспокоиться о благополучии русских? Украинцам жизненно необходимо осознать, что их нездоровая терпимость к русским вредит украинскому народу. Надо, чтобы „русские братья“ в кавычках повернули на своё подворье. Они услышат этот призыв тогда, когда на Украине им будут созданы невыносимые условия. Пора москалю возвращаться в свой заплесневелый дом.» Так из этой статьи что же получается? Что им нужны были только земли, а вы, русские, убирайтесь вон? Так получилось, весь мир встревожен, кто наследует империализм Советского Союза? А малоимперское мышление наследовали некоторые республики. Скажем, Молдавия считает, что она отделиться имеет полное право, а от неё отделиться не имеет права никто: это уже сепаратисты. Грузия считает, что она отделиться, конечно, имеет полное право, но от неё никто не имеет права отделяться, — скажем, Южная Осетия или Абхазия, — ни в коем случае. Вот это малоимперское мышление, оно действительно не умерло, но оно пошло по республикам, Россия его не переняла.

Этот стол вы привезли из России?

Да, это старый петербургский стол. А это, над ним, — Столыпин в день убийства. Это снято в Киеве; поскольку празднество, он надел парадный китель председателя совета министров, и вот в этот день он снят. Да, Столыпин уже сейчас вошел в моду, сейчас уже разрешается Столыпина хвалить. А когда я только начал писать о Столыпине, ведь просто лай стоял: как я могу вешателя, реакционера защищать и что-нибудь хорошее о нём говорить. А что он видел при жизни? При жизни видел одну травлю.

Александр Исаевич, на вопрос можете не отвечать, я знаю, что вы подпольщик, конспиратор старый. Но — над чем работаете?

Я вам уже сказал, что в ходе моей двадцатилетней непрерывной работы над «Красным Колесом» — а вообще над «Красным Колесом» я работал, если не непрерывно, то с 1936 года, значит 54 года, — за это время я настолько был поглощён главной работой, что еле-еле вырывал себя на другие работы. У меня были начатые другие, и я все их покидал, потому что соединить с «Красным Колесом» не удавалось. Теперь я кончил «Красное Колесо», и теперь у меня материала — остатки и отростки в разные стороны, с которыми надо разобраться.

> Эту эпопею вы задумали в восемнадцать лет. Это правда, что какие-то уже тогда записанные страницы вошли в окончательный текст?

Да. Я уже в том году выбрал самсоновскую катастрофу из всех эпизодов Первой мировой войны. И тогда же начал писать, а потом листки чудом сохранились; у меня много потерялось, бомбой уничтожило дом, где мы с мамой жили. И тем не менее вот эти главы сохранились, и я их стал читать — и вижу, что конструкция абсолютно правильная, а текст — текст не годится. Фактура не годится.

> У вас есть много работ на тему о русском языке. Важный сегодня вопрос: засорение и коверкание русского языка.

Это меня мучит, я болею от того, что́ делается с русским языком. Само собой — с русской нравственностью, но ещё с языком почему? Ведь, как обезьяны, перенимаем что-нибудь с Запада. *Рейтинг, брифинг,* подождите, ещё на *-инг* ... *прессинг.* Неужели нельзя сказать «давление»? Почему *рейтинг,* а не «мера успеха»? *Консенсус* — почему не «взаимное согласие»? Теперь: *истэблишмент, истэблишментский,* — кому это говорится? А ещё надумали — *мэрия,* хотя есть «городская управа», всем понятное слово; нет, *мэ-э-эрия,* как будто корова мычит, *мэр поселка, мэр рабочего посёлка, первая леди города,* — зачем это копирование? Обезьянничанье ничтожное. Конечно, это всё соскочит, так же как во времена Петра нахлынуло голландских слов, всё было забито, и всё это сошло. Русский язык и это

выдержит, но стыдно обезьянничать сегодня, а считается — это мера интеллигентности. Если вы употребляете «консенсус», то, значит, вы уже действительно развиты, или там «имплификация», «филиация», — сразу всем понятно, что человек невероятно эрудирован...

А это, вы видите, — мой фильмоскоп, это мой друг и приятель надёжный. Если бы не он, то множество архивных материалов было бы для меня недоступно. Потому что сейчас в Соединённых Штатах редко присылают подлинники книг, или рукописей, или газет, а обычно вот в виде плёнок.

Это «Известия»?

Да, это «Известия» за 1928 год. Я сейчас как раз занят чтением «Известий» за 1927-29, — «великий перелом».

Вы очень организованны.

Ну, если бы не организация, причём математическая, я «Красного Колеса» бы не написал. Если бы я это хаотически держал, всё бы пропало. Я всё время записывал методически, тут и на папках тоже можно видеть, это папки по «Красному Колесу», вот отдельно Милюков, Гучков, Шингарёв, железные дороги отдельно, рабочие группы, инженерия, земля и деревня, деревня вообще, деревня в 1917 году, потом идёт Ростов, Киев, студенчество, петроградский гарнизон, отдельно казаки в Петрограде, Балтийский флот, просто Петроград, Москва, либеральное общество, гражданская жизнь, пресса, фронт, военное наступление, чисто военные вопросы, Ставка, — это всё нужно твёрдо знать, всё сразу верно располагать, а иначе запутаешься, никогда не найдёшь. Но, когда мне нужна какая-то тема, я беру — и у меня всё соединено вместе, что собрал.

А во сколько томов «Красное Колесо» получается?

«Красное Колесо» я вынужден был оборвать. Я написал десять томов и вынужден оборвать. Я могу вам показать, как это выглядит. Вот Собрание сочинений, вообще всё мое Собрание сочинений. Сделано оно нами

с женой вдвоем, здесь. Собственно, кроме неё, я ни с кем не сотрудничал. Она была у меня и критиком, чутким и тонким критиком; она была у меня и редактором, очень способным редактором, она к этому прирождена, и также все эти тексты она набрала на электронной машине — сама, всё исправляла, и мы отсюда готовую пачку набора посылали в Париж, там фотографировали и в книжку катали. Иначе в наших условиях, если в какое-нибудь издательство посылать гранки, так когда пришлют на корректуру, первую, вторую, это и за 150 лет не издашь.

Но вот, Александр Исаевич, десять томов труднейшего повествования, с огромными вставками из газет, экраны. А сегодня Россия как раз перестаёт, вот-вот перестанет любить и читать художественную литературу. Я имею в виду молодёжь, она уже читает мало. Вы не боитесь остаться непрочтённым?

И всё-таки «Красное Колесо» написано не для избранной публики. Не для литературных гурманов, и не для специально подготовленных людей. Всё «Красное Колесо» написано в расчёте на самого простого человека. Я утверждаю, что любой простой человек, который захотел бы прочесть, прочтёт все десять томов и всё поймёт. И никаких загадок, эквилибристики литературной не будет. Другое дело, что, конечно, прочесть это — огромная работа. Правильно вы говорите: сейчас в России люди перестают читать, я понимаю, что времени на чтение, на вдумчивое чтение, спокойное, сейчас у людей нет. Но я писал — для самой широкой публики, поэтому наступит время, когда будут читать. Каждый, кто захочет прочесть, как мы влезли в это пекло, не сможет этого миновать. Может быть, да, многие читатели, бóльшая часть читателей, придут уже после моей смерти, это я понимаю. Но я всё описал так, как оно было, как мы в это пекло влезли, я надеялся, что это будет урок для нашего будущего и мы успеем не влезть, не повторить Февраль. Но настолько глухо меня тут заперли, глушили передачи даже, отрывки, которые я читал, — вот, видите, опоздал.

А вот сегодня, в такое трудное для России время, в чём вы видите гражданский долг художника, кинематографиста, режиссёра, писателя?

Я сказал бы так, что долг писателя не зависит от бурности или небурности времени, не зависит от того, что́ сегодня происходит. И об этом Гоголь хорошо сказал, может быть, я вам сейчас, может быть, я вам это найду... Зачем я буду вам повторять, когда можно сказать словами Гоголя. Вот Гоголь пишет: «Долг писателя — не одно доставление приятного занятия уму и вкусу. Строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям.» Ничего не могу добавить. Сегодня все говорят, что «самовыражение» — вот задача писателя, художника. А может быть, он ничтожество такое, что его самовыражение никому не нужно, хоть бы он не самовыражался, так лучше бы было. Нет, само-вы-ра-жение!

В нашей печати распространилось... не помню, было ли это напечатано или просто слухи были о том, что КГБ возвращает вам часть захваченного у вас архива, ваше следственное дело и что Сергей Залыгин едет в Вермонт передать вам эти материалы КГБ. Ответьте, если это не секрет.

Какой уж секрет. Это, как и обычно, по сегодняшнему дню, сделали со вспышкопускательством. Действительно, у меня сердце замерло сперва: КГБ, даже сам Горбачёв отдал Залыгину мои военные дневники? КГБ выдало мои военные дневники? Ну, признаться, я купился на это, обрадовался, потому что мои военные дневники — это вся моя военная память. Я пять блокнотов мельчайшим почерком, твёрдым карандашом исписал, все встречи, все эпизоды, — в общем, это для меня был просто клад, чтобы писать о той войне, о Второй мировой. Всё это при аресте захватили со мной, в «дело» пошло. Когда я услышал — Боже мой, да неужели же дневники привезут? Ничего подобного. Что́ привезли, хотите покажу? Что́ привезли, это про-

сто смех; какой шум подняли — и что́ привезли. Здесь несколько писем, по которым нас с другом посадили, ещё несколько фотографий. А «дело» моё, мол, сожжено, 105 листов моего дела сожжено, ничего нет. Это вот случайно сохранившиеся письма, полевая почта, мои письма с однодельцем моим, несколько писем. Но, в виде юмора, однако, что ценно: сохранился вот, видите, такой блокнот, он был у меня переплетен, — почему они его разодрали, не знаю. Значит, тут я записывал свои политические мысли. И какие же мысли? Вот посмотрите, открывается: «Резолюция № 1». И вот даты стоят: 2 января 44 года. Под новый год, 1944 год, мы с моим другом, однодельцем будущим, то есть сразу однодельцем уже, мы с ним встретились, и друг говорит: что мы с тобой всё вычёркиваем из списка, о чём надо поговорить? Не вычёркивать надо, а записывать. Правильно, записывать надо. И мы решили записать. И вот мы сформулировали нашу с ним вдвоём «Резолюцию № 1». Тут идёт описание того, каково наше советское общество, что это вообще — феодализм, пятое-десятое. Мы к этому времени Сталина не ставили уже ни во что, но в Ленина верили. И в социализм верили.

В 1944 году?

Да-да, раньше уже, всю войну мы уже Сталина просто ни за что считали. И вот конец «Резолюции № 1»: «Наша задача такая: определение момента перехода к действию и нанесение решительного удара по послевоенной реакционной идеологической надстройке.» Это мы за год до конца войны предвидим, как будет, — и правильно предвидим. Но это не всё. Дальше заключение, последняя фраза, за что я получил добавочно 11-й пункт 58-й статьи, почему и был в особых лагерях, а потом вечная ссылка.

58-11 — это что?

58-11 — организация. Так вот, кончается: «Выполнение этих задач невозможно без организации. Следует выяснить, с кем из активных строителей социализма, как и когда найти общий язык.» Ну, не на что обижаться, что дали срок...

А эти письма?

Это — малая часть писем, письма они целый год фотографировали. А я думал: долго идут, но доходят же. Не хватало всё-таки мне ума сообразить, да тут ещё что меня попутало: один мой командир взвода — такой мелкий эпизод — послал своей невесте фотографию и вдруг получает письмо из цензуры: ваша фотография мне так понравилась, я её беру себе и очень бы хотела с вами познакомиться. И он спрашивает: можно, я съезжу, товарищ капитан? Я говорю: ну, поезжайте. Он поехал, виделся с этой девкой, а потом вернулся; да это комедия, цензура, — это комедия! Сидят двадцать девок, им нужно выработать сколько-то единиц в день, и они стараются открытки проверять, а письма не проверять, а большие письма просто выбрасывают, чтобы с ними не возиться. Ну, я думаю, если так вот устроена цензура, так мы можем смело писать. А ничего подобного. Они себе перефотографировали, всё это сосредоточивалось на Лубянке, приказ о моём аресте поступил от заместителя Генерального прокурора СССР Вавилова. А утверждали его другие крупные чины. Командующий армией очень не хотел меня отдавать, спорил долго, генерал Гусев, но пришлось ему уступить.

Редкая профессия у вас была?

Редкая: звукоразведчик; нас, командиров звукобатареи, на каждую армию было всего два человека. А вот посмотрите, вы не графолог. Вы берёте в первый раз, смо́трите, да? Вот вы видите, каким почерком написано. Это первый раздел, вот таким почерком. А потом второй раздел. Ну, по-моему, слепому видно, что это другой почерк. Конечно. А они на Лубянке проводят графологическую экспертизу, высочайшая экспертиза центральной Лубянки! Но они имеют задачу: чтоб я не увернулся, доказать, что это всё мой почерк, и доказывают! Я читал потом. А я просто-напросто менее опасный раздел дал своему сержанту и говорю: перепиши вот это мне. Вот тут — мой почерк. Вот тут — он написал, а я потом писал дальше. Им бы, дуракам, сказать: нет, это почерки разные, — и началось бы

следствие: а чей этот почерк? а кто писал? А они вместо этого доказали мне — я прямо чуть не со смеху помер, когда подписывал 206-ю, читаю — большое доказательство, что всё это одним почерком написано.

Но человек спасён?

Ну конечно, да, и не только он один. Ведь эти дневники мои... Оттого, что их сожгли, я, конечно, очень пострадал как писатель, но зато спаслось сразу человек пять, потому что я, дурак, записывал рассказы их — не фамилии, но по рассказам можно понять. Если он рассказывает про Ярославль, так можно рассчитать, кто из Ярославля. Можно всех рассчитать, можно ещё пять человек посадить шутя из нашего дивизиона. Ну а следователю лень читать, дураку. Он ночное следствие со мной начинает, звонит жене: «Сейчас я буду допрашивать всю ночь наизмот.» Думаю — ну всё, ночка моя пропала. Кладёт трубку, набирает другой номер: «Я, Люсенька, сейчас приеду.»

То есть они не стеснялись вас совершенно?

Меня? Как раздеваются при животных, так и они...

А что за книги на этих полках, рядом с вашим Собранием?

Кроме Собрания сочинений, которое мы с Натальей Дмитриевной выпускали здесь, мы выпустили — и продолжаем выпускать — ещё две отдельные серии. Эти книги не все набирала Наталья Дмитриевна. Часть набирал, кстати, мой сын Ермолай, а часть набиралась в Париже. Но вся подготовка рукописей, вся редактура, всё оформление, вся переписка с авторами — всё лежит на нас, и особенно, на Наталье Дмитриевне. Первая серия — это Исследования новейшей русской истории (ИНРИ). Этих томов пока не так много, но это большой вклад в сегодняшнюю историографию. И мы продолжаем выпускать. Сейчас, например, на самом выходе 9-й том, «Государство и крестьянство». Я, кажется, вчера говорил об этом немножко. «Государство и крестьянство» — леденящая просто книжка, колхозные документы. Эта серия будет продолжаться и

после моей смерти. Это вообще очень долгая серия. Есть другая серия, которую полностью опекает Наталья Дмитриевна, это Всероссийская Мемуарная Библиотека, она имеет подзаголовок «Наше недавнее». То есть мы берём только историю сравнительно недавнюю: перед революцией, самую революцию и после неё. Эта серия — мемуарная. Первая серия — научная, историческая, а эта вторая — мемуарная. Многие читают её и находят увлекательной.

Ваше решение вернуться в Россию твёрдое?

Решение вернуться в Россию абсолютно твёрдое, неизменное, то есть даже сомнений нет. Я знал, что я вернусь, ещё тогда, когда надо мной все смеялись: быть не может, чтобы ты при своей жизни вернулся.

Вы совершили большой нравственный, гражданский подвиг. Вы начали первым, и если вести отсчёт вот тех кардинальных перемен, откуда это началось, то я бы начал с вас, с той борьбы, которую писатель-одиночка повёл против всей огромной системы. От других вы требовали только жить не по лжи. Сами вы пошли на гораздо большее, вы бросили в их откормленные морды слова правды, и если говорить, когда начала разваливаться эта система, то тогда, в те годы, оттуда надо начинать отсчёт. И вот сегодня, сегодня я, предположим, открываю молодёжную газету, и некий молодой журналист...

Какую газету?

«Московский комсомолец»... пишет: да что там, из Вермонта вещать не опасно. А вам не обидно слышать вот такие слова?

Мне не обидно слышать эти слова, потому что я знаю, что юность до истины идёт очень долго, истина никогда не даётся юности, хотя они самоуверенно думают, что она уже у них. Я двадцать пять лет назад объявил открытую войну коммунизму и призыв к свержению коммунизма, и тысячи, тысячи образованных людей сидели и молчали, тихо молчали. И я их тогда ни разу не спросил: а почему вы молчите? Я понимал:

потому что боятся за семью, за работу, и папа вот этого «московского комсомольца» боялся за своего младенца. Поэтому и молчал. Я их не спрашивал, я клал голову под топор, открыто шёл, причём, кроме меня, и ещё голоса были, голоса диссидентские. Но почти все диссиденты имели своим лозунгом: «выполняйте вашу конституцию», «выполняйте ваши законы», — то есть они были по сути дела лояльны. Они не шли на свержение режима, и только тупоумие коммунистическое помешало, недодумали власти, что им надо было принять эту линию, и так бы начался мягкий спуск. Прошло то время, меня выслали, а теперь всем — теперь с высоты — разрешено, милостиво разрешено говорить. Сейчас действительно говорить не опасно, ни в Вермонте не опасно, ни в Москве не опасно. Можно налево и направо нести всё что угодно, можно плевать в лицо кому угодно, и всё это разрешено. И вот этот подросший сын того самого, который его сохранял, отца, подросший «московский комсомолец», теперь, пользуясь свободой, задаёт: да, может быть, Солженицын от начала был трус? Да, может быть, он просто сбежал, оттого что он коммунизма боялся?

Я вам написал короткое письмо — это было через неделю после августа 1991 — и вы мне довольно быстро ответили, и в конце написали: «Поздравляю с великой Преображенской революцией.» Вы не переоценили тогда это событие?

Конечно, коммунизм исторически так и будет датироваться: август 1991 года — конец коммунизма. Хотя мы знаем, что он ещё в среднем звене живёт здорово. Он ломался 70 лет, да никак не сломался, а в те дни он видимо сломался, причём сломался анекдотически, позорно, бесславно, — потому что он сгнил, ничто не держится, понимаете, гнилое падает от лёгкого толчка. Так оно и упало. Совершенно правильно. Советский коммунизм будут датировать: 1917—1991.

Сегодня распространились слухи о неудачном покушении на вас в те годы.

Да, на каждом шагу я ждал от них подвоха, и лю-

бого вреда, любого нападения. Но в тот раз настолько это было ими чисто сделано... Нам казалось с моим другом, что мы от них уехали без слежки. Было полное, абсолютное впечатление, что нет никого за нами. По всей дороге ни одной машины.

А вы поехали на Дон?

Нет, я ехал на Северный Кавказ, но и на Дон. И когда это со мной случилось, я просто поразился: прошло каких-то два-три часа — и вдруг у меня всё тело волдырями покрывается, и больно ужасно. В голову не могло прийти, что это *они* так всё сделали. Только вот теперь мы узнали об этом.

Это что, укол в магазинной очереди?

Очевидно — да. То есть свидетель не пишет «укол», он говорит, что ко мне гебист притёрся в очереди, что-то сделал, а выйдя — сказал: «Ну, теперь он долго не протянет.» Их трое было, гебистов: один, из Москвы, — главный руководитель; второй — исполнитель, вот этот исполнитель ко мне притёрся; а третий, ростовский, теперь дал показания.

Как вам кажется, мы не разочаруем наших зрителей, что мы так мало говорили о литературе?

Я думаю, такое время сейчас, что слишком о литературе не разговоришься. Я понимаю: работаю не для сегодняшнего дня, а для какого-то более дальнего.

Что бы вы пожелали передать? Завтра утром мы отбываем из Вермонта.

Боже мой, выздоровления России! Нравственного, духовного выздоровления, так, чтоб совесть у нас оказалась выше экономики и важней экономики. И тогда мы изо всего выберемся.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО

на присуждение литературной награды Американского Национального Клуба Искусств

Нью-Йорк, 19 января 1993

В искусстве давно живёт истина, что «стиль — это человек». То есть если мы имеем дело с музыкантом, артистом, писателем достаточного художественного уровня, то все его произведения определяются неповторимым, уникальным сочетанием его личности, его творческих способностей и его жизненного опыта — индивидуального, а ещё и национального. И поскольку такое сочетание неповторимо, то искусство — но я здесь буду больше подразумевать литературу — имеет бесконечное разнообразие и в веках, и у разных народов. Божий замысел таков, что нет предела появлению всё новых удивительных творцов — однако никто из них, нисколько и ни в чём, не отменяет созданного его выдающимися предшественниками, хотя бы от тех прошло уже пятьсот лет или две тысячи. И никогда нам не закрыты пути ко всё новой свежести, — однако это не отнимает у нашей благодарной памяти всего прежнего.

Никакое новое творчество — сознательно ли, бессознательно — не возникает без органического примыкания к созданному прежде него. Но и: здоровый консерватизм, как в самом творчестве, так и в восприятии его, должен быть гибок, сохранять равную чуткость и к старому и к новому, и к уважаемой достойной традиции и к той свободе поиска, без которой не рождается будущее. Однако художник не может и забыть, что *свобода* творчества — опасная категория. Чем меньше ограничений он сам наложит на своё творчество, тем меньше будут и возможности его художественной удачи. Утеря ответственной организующей силы — роняет и даже разрушает и структуру, и смысл, и конечную ценность произведения.

Каждая эпоха и в каждом виде искусства много обязана крупным художникам, в трудном поиске плодотворно открывающим новые смыслы и ритмы. Но в нашем XX веке необходимое равновесное отношение к традиции и к поиску нового было не раз резко нарушено ложно понятым «авангардизмом» — звонким, нетерпеливым «авангардизмом» во что бы то ни стало! Такой авангардизм начинал ещё до Первой мировой войны с разрушения общепринятого искусства, его форм, языка, признаков, свойств — в порыве построить некое «сверхискусство», которое якобы будет непосредственно творить и саму Новую Жизнь. В литературе звучало и такое, что отныне её «надо начать с чистого листа бумаги». (Иные почти на этом и остановились.) Разрушение — и оказалось апофеозом этого штурмующего авангардизма: разрушить всю предыдущую многовековую культурную традицию, резким скачком сломить и нарушить естественное развитие искусства. И этого надеялись достичь бессодержательной погоней за новизной форм как главной целью, притом снижая требования к своему мастерству даже до неряшливости, до примитивности, а то и с затемнением смысла — до зауми.

Этот агрессивный порыв можно было бы счесть всего лишь за амбицию честолюбий, если бы в России — прошу прощения собравшихся, что я буду больше говорить о России, но в наше время нельзя обминуть тяжёлый и глубокий русский опыт, — если бы в России он не предварил, не предсказал собою и своими ухватками — вскоре наступившую разрушительнейшую *физическую* революцию XX века. Сотрясательная революция, прежде чем взорваться на улицах Петрограда, взорвалась в литературно-художественных журналах петроградской богемы. Это — там мы услышали сперва и уничтожающие проклятия всему прошлому российскому и европейскому бытию, и отметание всяких нравственных законов и религий, призывы к сметению, низверженнию, растоптанию всей предыдущей традиционной культуры, при самовосхвалении отчаянных новаторов, так и не успевших, однако, создать что-либо достойное. Среди тех призывов звучало буквально: уничтожать Раси́нов, Мурильо и Рафаэлей, так,

«чтобы щёлкали пули по стенам музеев», классиков русской литературы начисто «выбросить за борт корабля современности», а вся культурная история теперь начнётся заново. Всё «вперёд! вперёд!» — себя они называли уже «футуристами» — как бы перешагнувшими и через современность, и вот дарили нам несомненное искусство Будущего.

Но грянула уличная революция — и те «футуристы», которые недавно в своём манифесте «Пощёчина общественному вкусу» призывали развивать «непреодолимую ненависть к существовавшему до сих пор языку», — эти «футуристы» теперь сменили своё название на «Левый фронт» — уже прямо политически примыкая к революции с её самого левого края. Так прояснялось, что прежние рывки «авангардизма» были не просто литературной пеной, но имеют реальное продолжение в жизни, направлены были сотрясти не только всю культуру, но и саму жизнь. И пришедшие к беспредельной власти коммунисты, чьим гимном и было «разрушить до основания» весь существующий мир, а взамен, на беспредельном же насилии, строить Неведомый Прекрасный Мир, — коммунисты не только распахнули этой орде «авангардистов» широкие возможности публичности и популярности, но даже некоторым — как верным своим союзникам — административную власть в культуре.

Правда, и бушевание этого лже-«авангарда» и его власть в культуре не длились долго: за тем наступил всеобщий обморок культуры. Мы в СССР понуро побрели через 70-летний ледниковый период, под корой которого лишь тайно пульсировали несколько великих поэтов и писателей, до поздней поры почти неведомые своей стране, а тем более миру. С окостенением советского тоталитарного режима — и его дутая лжекультура окостенела в омерзительно парадных формах так называемого «социалистического реализма». О его сути и значимости нашлись охотники писать немало критических исследований — а я бы не писал ни одного, ибо он — вообще вне рамок искусства, ибо не существовало самого *объекта* — стиля «социалистический реализм», — а доступная любому бытовому взгляду простая угодливость: стиль «чего изволите?» или

«пиши так, как приказывает Партия». О чём же тут научно толковать?

Но вот — мы пережили эти 70 смертных лет в чугунной скорлупе коммунизма — и на четверть живые выползаем из неё. Наступила несомненно новая эпоха — и для России, да и для всего мира. Россия — дотла разорена и отравлена, народ в невиданном моральном унижении и едва не гибнет физически и даже биологически. При таком состоянии народной жизни, внезапном зримом обнажении и изъязвлении накопившихся прежде ран — для литературы естественна пауза, глубокие голоса национальной литературы нуждаются во времени, прежде чем снова зазвучать.

Однако. Нашлись писатели, кто увидел главную ценность открывшейся бесцензурной художественной деятельности, её теперь никем не ограниченной свободы — в нестеснённом «самовыражении», и только: просто *выразить* своё восприятие окружающего, часто с бесчувственностью к сегодняшним болезням и язвам и со зримой душевной пустотой, выразить, может быть и не весьма значительную, личность автора, выразить безответственно перед нравственностью народной, и особенно юношества, — порой и с густым употреблением низкой брани, какая столетиями считалась немыслимой в печати, а теперь стала чуть ли не пропуском в литературу.

Смятения умов после их 70-летнего тотального угнетения ещё бы не понять: художественное зрение молодых поколений обнаружило себя в ошеломлении, унижении, обиде, беспамятстве. Не найдя в себе прежде сил полноценно противостоять и опровергать советскую догматику, многие молодые писатели поддались теперь легче доступному пути пессимистического релятивизма: великой ложью была коммунистическая догматика, да, — но, дескать, и никаких истин вообще не существует, и не стоит труда их искать; и не стоит труда пробиваться к какому-то высшему смыслу.

И — отталкивающим движением большой досады — признаётся никуда не годной классическая русская литература, которая не гнушалась действительности и искала истину. В оплевании прошлого — мнится дви-

жение вперёд. И вот сегодня в России снова стало модно — высмеивать, свергать и выбрасывать за борт великую русскую литературу, всю настоянную на любви к человеку, на сочувствии к страдающим. А для облегчения операции этого вышвыра — объявить мертвенный лакейский «соцреализм» органическим продолжением полнокровной русской литературы.

Так на разных исторических порогах это опасное антикультурное явление — отброса и презрения ко всей предшествующей традиции, враждебность к общепризнанному как ведущий принцип — повторяется снова и снова. Тогда это ворвалось к нам под трубами и пёстрыми флагами «футуризма», сегодня применяется термин «постмодернизм». (Какой бы смысл ни вкладывали в этот термин, но сам состав слова несообразен: как бы претендует выразить, что человек может ощущать и мыслить *после* той современности, в которой ему отведено жить.)

Для постмодерниста мир — не содержит реальных ценностей. Даже есть выражение «мир как текст» — как вторичное, как текст произведения, создаваемого автором, и наибольший интерес — это сам автор в соотнесении со своим произведением, его рефлексия. Культура должна замкнуться сама на себя (оттого эти произведения переполнены реминисценциями, и до безвкусия), и только она и есть стоющая реальность. Оттого повышенное значение приобретает игра — но не моцартианская игра радостно-переполненной Вселенной — а натужная игра на пустотах, и у художника нет ответственности ни перед кем в этих играх. Отказ от каких-либо идеалов рассматривается как доблесть. И в этом добровольном самозаморочивании «постмодернизм» представляется себе увенчанием всей предыдущей культуры, её замыкающим звеном. (Надежда опрометчивая, ибо вот уже мы слышим о рождении «концептуализма» — термин пока ещё не нашёл убедительного объяснения в приложении к *художественным* произведениям, но поищут и его, — а есть уже и *поставангардизм*, а не удивимся, если появится и пост-пост-модернизм или пост-футуризм.) Можно бы посочувствовать этим поискам, но так, как мы сочувствуем страданиям больного. Уже своей теоретической уста-

новкой такие поиски обрекают себя на вторичность, на третичность, на безжизненность перспектив.

Но перенесём внимание на более сложный поток процесса. Хотя горший и обескураживающий жребий достался в XX веке подкоммунистической части мира, — однако, шире того, нравственно больнó и всё наше столетие, и эта нравственная болезнь не могла и повсюду не отразиться болезнью искусства. По другим причинам, но сходная «постмодернистская» растерянность перед миром возникла и на Западе.

Увы, при небывалом росте цивилизованных благ и во всё более благополучном течении физической жизни — также и на Западе происходило выветривание и затемнение высоких нравственных ориентиров. Затмилась духовная ось мировой жизни — и глазам иных потерянных художников мир предстал во мнимой бессмысленности, несуразным нагромождением обломков.

Да, сегодня мировая культура, конечно, в кризисе, и глубоком. Новейшие направления в искусстве думают обскакать этот кризис на деревянной лошадке «игровых приёмов»: мол, изобрести ловкие, новые, находчивые приёмы — и кризиса как не бывало. Напрасные расчёты: на пренебрежении высшими смыслами, на релятивизме понятий и самой культуры — ничего достойного не создать. Здесь просвечивает, но не светом, а багровостью, нечто большее, чем явление только внутри искусства.

Мы можем пристально уследить, что в этих повсеместных и как будто невинных опытах по отказу от «застарелой» традиции заложена в глубине враждебность ко всякой духовности. Что за этим неутомимым культом вечной новизны — пусть не доброе, пусть не чистое, но лишь бы новое, новое, новое! — скрывается упорный, давно идущий подрыв, высмеивание и опрокид всех нравственных заповедей. Бога — нет, истины — нет, мироздание хаотично, в мире всё относительно, «мир как текст», который берётся сочинить любой постмодернист, — как всё это шумно, но и беспомощно само в себе.

Уже несколько десятилетий в мировой литературе, музыке, живописи, скульптуре проявляется упорная тенденция не в рост, а под уклон, не к высшим дости-

жениям человеческого духа и мастерства, а к разложению их в дёрганой и лукавой «новизне». Для украшения общественных мест выставляются скульптуры, эстетизирующие прямое уродство, — и мы уже не удивляемся тому. А если бы инопланетяне стали ловить из эфира нашу сегодняшнюю музыку — как бы они могли догадаться, что прежде у землян были и Бах, и Бетховен, и Шуберт — но отставлены за устарелостью?

Если мы, создатели искусства, покорно отдадимся этому склону вниз, если мы перестанем дорожить великой культурной традицией предшествующих веков и духовными основами, из которых она выросла, — мы поспособствуем опаснейшему падению человеческого духа на Земле, перерождению человечества в некое низкое состояние, ближе к животному миру.

Однако — не верится, что мы до этого допустим. И даже в тяжело больной России — мы с надеждой ждём, через какой-то срок обморока и молчания, — оживающего дыхания русской литературы, а затем и прихода свежих сил, наших младших братьев.

ОТВЕТ В. П. ЛУКИНУ, ПОСЛУ РОССИИ В США

4 марта 1993

Многоуважаемый Владимир Петрович!

Происходящее в России — разрывает душу (ещё и прежде моего возврата, а дальше будет только больней).

Не все теперь соглашаются помнить, что нынешнее разорение страны истекает ещё из 1930 года. За коммунистические десятилетия оно уже упёрлось в полный хозяйственный тупик. Увы, и с 1985, как на словах схватились выздоравливать, то — не лечили, а разваливали дальше. А когда взялись наконец за необходимую реформу, то повели её необмысленно, и за четырнадцать месяцев народ и вовсе повергнут в нищету и в отчаяние. В такой момент особенно опасно пойти на лихие политические повороты.

И прежде всего — утерять курс на полномочную власть Президента, избранного всенародно, стоящего вне партий и выше их. Да, Россия, при её размерах и многообразии, — не может существовать без сильной президентской власти, никак не слабей, чем в Соединённых Штатах. Опыт государства парламентского — на Западе достигался веками. Сегодня его у нас — и близко нет. Эффективная демократия не может существовать без терпеливого построения снизу, от местных самоуправлений и от уровней провинциальных к уровню всероссийскому. На это уйдут десятилетия. А чтобы выбираться из провала, нам нужна устойчивая форма государственной жизни. Речь идёт не именно и только о Президенте Ельцине, не именно и только о сегодняшнем составе Верховного Совета, — речь идёт о *примере* надолго вперёд, о таком соглашении, при котором Россию не шатало бы от каждого дуновения.

От государственных решений, которые будут приняты сейчас и именно этими людьми, зависит судьба страны, может быть, на столетие вперёд, когда и нынешние политики все перемрут, — а гиря ложного решения так и будет висеть на шее России.

Депутаты не смеют швырять народную судьбу в игралище корыстных голосований. Как и Президент с министрами не должны, не могут пренебрегать уже годичным стоном народа, что реформа ведётся не так. И когда люди сброшены в пропасть нищенских забот — неужели время совать им невнятные вопросники референдума о статьях конституции? И уж вовсе не ко времени сейчас — устраивать выборы в одноразовое Учредительное Собрание и месяцами заседать, вырабатывая «идеальную» конституцию. (Весь 1917 год и вырабатывали «идеальный» избирательный закон — и окончили как раз к октябрьскому перевороту.) Да, брежневская конституция — не руководство к народной жизни, она и составлена была для государства извращенного. Но, я согласен с Вами, вера в спасительность нового текста Конституции — не для нашего провального состояния.

Если сегодняшние избранники сколько-нибудь сострадательны к народу — они будут искать не торжества над ненавистным «противником» — но устойчивого положения государственного руля, которое дало бы нам выйти из бури. А что у нас сейчас? Скороспелые политики не очнутся о народном горе, а ведут яростные битвы в стратосфере, не в силах отвлечься от своих личных неприязней. А тем временем идет массовый, невиданного размаха разграб и дешёвая распродажа российского добра, страну в хаосе растаскивают невозвратимо.

Да ещё стала носиться в воздухе, о чём Вы пишете, и бредовая идея о возврате коммунизма — того самого, который уничтожил внутренним террором 50—60 миллионов наших соотечественников, и без счета, без разума и без жалости уложил 30 миллионов на германской войне, десять за одного. Но погибшие уже своего слова не скажут, а живые иногда теряют рассудок — и видят будущих «спасителей России» в чинах той самой нераскаявшейся партии, кто спрятавших, а

кто и не спрятавших партбилеты. Да если бы коммунизм, не дай Бог, вернулся — он только растянет наши мучения ещё на лишние годы, подавит всё живое, а сам всё равно же через несколько лет в конвульсиях домрёт. Но тотчас возвратит он нам: опять принуждение ко всеобщей лжи, а первее всего — ГУЛАГ.

Вместе с этим бродит в иных головах и другой пагубный соблазн: восстанавливать СССР, — то есть начать кровавую войну по десятку республик. Как раз напротив: мы же видим, что нынешнее СНГ — эфемерное образование, не облегчающее нашего спасения. У Средней Азии и Закавказья — свои отдельные пути, далёкие от нас. Украина — с недальновидной ненавистью отталкивает нас. Единственное реальное обнадёживающее образование, могущее быть прочным, — это государственный союз ·Белоруссии, России и Казахстана.

Всего Вам доброго.

А. Солженицын

ИНТЕРВЬЮ ШВЕЙЦАРСКОМУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКУ «ВЕЛЬТВОХЕ»

(Интервью ведёт Феликс Мюллер)

13 сентября 1993

Почему развалился коммунизм?

Коммунизм развалился оттого, что он противоречит самой сути человеческой природы. Он заставляет людей делать то, что им неестественно делать, и закрывает все пути к тому, что для человека естественно. Коммунизм по своей теории как будто бы базировался на экономике. По обычной иронии истории именно то, на что он рассчитывал, его и погубило. Собственно, что он от этого и рухнет, было ясно многим у нас в СССР давно. Например, в послевоенных камерах Бутырской тюрьмы, где я встречался с умнейшими людьми, заключёнными, обсуждался не вопрос, устоит коммунизм или нет, а обсуждалось, каким образом из него будем когда-нибудь разумно выходить. И всё то, что было там сказано правильное, — ни одна мера не была использована реально теперь при Горбачёве, а как раз всё наоборот.

Но разве Горбачёв не сделал самый большой вклад, чтобы окончить коммунистическую систему?

Фигура Горбачёва на Западе необычайно преувеличена и по значению, и по своему как бы внутреннему наполнению. По смыслу, и по тому, насколько он участвовал в событиях. Он — узкий политик, ловкий в так называемых коридорах власти, но абсолютно ему было не по плечу справиться с теми событиями, которые начали разворачиваться. И когда говорят, что Горбачёв имеет великие заслуги в разрушении коммунизма, то это ложная мысль. Парадоксальным образом, если можно назвать личность, которая сыграла наибольшую роль в разрушении коммунизма, то это был прези-

дент Рейган, потому что, хотя коммунизм экономически уже давно еле тянул, но он всё ещё вытягивал соревнование в вооружении с Соединёнными Штатами; а когда президент Рейган дал новую спираль вооружений, тут экономика СССР и крахнула. И Горбачёв — можно отдать ему справедливость — понимал, что система уже не работает. Но задача его была — не разрушить эту систему, а приспособить её так, чтобы номенклатура вся осталась в силе и власти. И теперь уже все почти забыли, что Горбачёв выдвинул *три* лозунга — перестройка, гласность, и был ещё третий — ускорение, — так вот ускорение: они наивно думали, что заставят народ ещё больше жертвовать, ещё больше работать не для себя, а для государства, и ничего бы не получать. Но уже через год они поняли, что этот лозунг приходится снять.

Что же такое Горбачёв понимал под перестройкой?

Публично понималось так, что перестройка — это перестройка всего государственного и экономического организма в лучшую сторону для народа. На самом деле, вся перестройка была задумана: как лучше номенклатуре приспособиться к новым обстоятельствам и ещё крепче сидеть. Уже тогда он начал пересаживать номенклатуру с чисто административных должностей на функции коммерционные. Для того чтобы лечить народную жизнь, чтобы лечить хозяйство, не было предпринято ничего. Я это и имею в виду, когда говорю, что Горбачёв пошёл наихудшим путём. Шесть-семь лет — это огромный срок — он потратил ни на что полезное. Наоборот, он сумел учетверить государственный долг. И этих денег страна наша не почувствовала. Никакого благодеяния для жизни народа не произошло. Вместе с тем, однако, он начал постепенно расслаблять централизованную систему. И как она ни была плоха, но когда она стала работать слабее, а ничего взамен не было дано, то стало ещё хуже.

Те самые мысли, которые мы после войны в тюремных камерах обсуждали, вот и были, что — да, централизованную систему надо расслаблять, но надо это делать очень постепенно, оживляя мелкий бизнес. А

Горбачёв почти сразу, кажется уже во второй год своего царствования, издал жестокий закон, преследующий деятельность крестьян для своей пользы. Крестьяне поверили было, что можно производить больше овощей и фруктов, что можно заводить оранжереи у себя, теплицы, а тут начали кампанию — разламывать. Приходили, всё разламывали и разрушали.

А чего же Горбачёв хотел достичь гласностью?

Вот и гласность — это не великая заслуга Горбачёва, а его недальновидный манёвр. Он вовсе не думал действительно дать народу свободу слова, свободу выражения мыслей. Он по своей близорукости предполагал, что это будет такая небольшая гласность для столичной интеллигенции. И при поддержке интеллигенции он немножко воздействует, сдвинет те крайние твердолобые круги номенклатуры, которые не хотят уже совсем ничего менять.

Такой же план был у него и относительно Восточной Европы. Слегка-слегка сдвинуть номенклатуру, чуть-чуть сделать её более гибкой, мягкой. А вместо этого там сразу произошли «бархатные революции». И Горбачёву ничего не осталось, как сделать хорошую мину при плохой игре: как будто это он и хотел освободить Восточную Европу. Точно так же он не понял, что гласность, введенная в Советском Союзе, немедленно даст вспышку всех национальных чувств. Что и дало дальше вскоре развал Советского Союза. Горбачёв совсем не этого хотел, а получил это.

На Западе Горбачёв повсеместно оценивается как герой.

Я думаю, здесь ошибка — персонификация истории. Поскольку это было при Горбачёве, то казалось, что Горбачёв и есть причина всех тех благодетельных событий.

Какие воздействия имели семьдесят лет коммунизма на русский народ?

Воздействия эти страшные. Если говорить о самых главных, то происходило, во-первых, физическое истребление народа, и не просто систематическое, под-

ряд, не разбирая, — нет, не так, не просто кого придётся, но всё время с тщательным выбором тех, кто выделялся нравственными или умственными качествами или способностями к протесту. За чем ЧК-ГПУ-КГБ всё время следило. Потом, вся система коммунизма работала постоянно на то, чтобы отбить у людей всякое самостоятельное мышление и самостоятельную инициативу. Наоборот, полностью подчинить воле государства; сделать куклами, рабами. Затем, вся эта система приводила к огромному упадку правосознания в народе. Правосознание русского народа и до революции было не слишком развито, а тут оно было подавлено уже окончательно. В результате этих направленных действий произошло замедление роста и падение биологического состояния народа. Не говоря о том, что массовая медицина крайне низко стоит. Ко всему этому надо добавить, что по теории Ленина надо в каждой стране сломить основной народ — ту национальность, которая составляет массу главную, костяк, большинство народа. Конкретно в СССР это значило сокрушить русский народ и украинский, для чего Ленин заигрывал с малыми национальностями.

Каковы же последствия — духовные, хозяйственные и политические?

Я бы предложил добавить: и территориально-национальные, причём начать в обратном порядке.

Так вот, в соответствии с ленинской теорией, нужно было подорвать русский народ. Для этого, вместо административно-территориального деления России, которое было прежде, он ввёл совершенно искусственное деление, территориально-национальное. Везде, где жила какая-нибудь даже маленькая национальность, образовывалась по её имени автономная республика или, ещё мельче, автономный округ. Характерно, что во всех этих республиках, почти во всех, большинство населения составляли русские. Но назывались республики по малой нации, и была политика продвижения в руководство, как говорилось, национальных кадров. Однако до нынешнего крушения коммунизма при Горбачёве это носило более или менее формальный характер, потому что, в конце концов, руководил не кто иной,

как коммунистическая партия, везде. Когда же начался развал Советского Союза, то сразу откололись, объявили себя суверенными многие республики, в которых осталось огромное множество русского населения. Само по себе распадение Советского Союза было бы полезно и освобождало бы Россию. Но не по этим фальшивым границам, которые провели Ленин-Сталин-Хрущёв. По этим границам, например, к Украине отошло четыре-пять совершенно русских областей и 12 миллионов русских. Для нас это почти такое же явление, как для немцев раздел Германии на Восточную и Западную. Это очень болёзненное чувство. Ведь люди почти не различали: русско-украинский брак не считался смешанным. Проведены границы, которые разрубают миллионы родственных связей, почему я и сравниваю с разделением Германии после войны. И довольно сходная картина с Казахстаном, ибо к Казахстану тоже отошли четыре-пять совершенно русских областей и 7 миллионов русских. Но вот, значит, сработала ленинская установка на разрушение, на разрыв русского народа. Однако и на этом процесс не кончается.

Теперь в самой России, внутри того, что мы называем Российской Федерацией, малые автономии объявляют себя тоже как бы суверенными. И они теперь от формальной власти переходят к реальной власти. И мы получаем то, что я бы назвал антидемократией. То есть во всех республиках право владеть — у меньшинства, власть меньшинства. Более того, существует так называемый Совет Республик, где все республики и округа имеют своих представителей, и число их голосов перевешивает один русский голос. Таким образом, собственно, дела всей России направляют в большой степени национальные меньшинства. Между тем в России 82% чисто русского населения. Вот то, что я назвал территориально-национальными последствиями.

Теперь — политические. Политически мы ещё почти не освободились от коммунистической системы. Например, на Западе очень неаккуратно употребляют слово «парламент» по отношению к нам, России, неадекватно употребляют. У нас сейчас в Верховном Совете большое число просто коммунистических функци-

онеров, назначенных партией. А другие как будто бы избраны, но избраны при такой пассивности и неготовности населения, что опять-таки те самые коммунисты, которые раньше руководили, они и сюда опять вошли. В результате мы имеем в нынешнем Верховном Совете подавляющее коммунистическое влияние. Хотя эти коммунисты перекрасились, конечно, они себя теперь называют демократами. Какое-то количество там есть, прошло и некоммунистических функционеров. Однако почти ни одного из них мы не видели в числе тех, кто боролся с коммунистическим режимом. Ну, буквально три-четыре имени можно назвать. Это не так, как в Чехии пришёл к власти Гавел, в Польше — Валенса. У нас пришли к власти такие «демократы», которые верно и преданно до последнего момента служили коммунистическому режиму. Кончали коммунистические академии, потом пропагандировали коммунистические идеи, а теперь выдают себя за демократов. Так что сейчас в России власти не представляют интересы народа.

Что касается исполнительной власти, то положение не намного лучше. Можно сказать, что исполнительной власти у нас почти нет или весьма слабая, неэффективная. Издаётся бесчисленное количество президентских указов, которые не исполняются и не принимаются никем во внимание. Так же и решения правительства. Но самое страшное, что исполнительная власть создала уже бюрократию, как некоторые считают, даже бóльшую, чем была при коммунизме. И бюрократия эта почти с первых же шагов стала коррумпироваться. Тот процесс, который подтолкнул Горбачёв, то есть разворовку национального достояния, этот процесс продолжается с бурной силой. Множество теперешних бюрократов в среднем звене — во всех звеньях — все, кто имеет власть, — используют своё положение для личного обогащения. Национальное достояние при коммунизме формально принадлежало государству. Как только государство ослабло, всё это достояние стало как будто ничьё. И вот его раскрадывают. И эта коррупция настолько уже проела всю бюрократию, что несомненно в ней не могут не участвовать некоторые министры.

Переходим к третьей власти — судебной. Судебная власть бездействует, как бы спит, дремлет, не мешает этому раскрадыванию национального имущества.

Я перечислил три власти, но можно добавить к ним ещё Конституционный суд. Конституционный суд превратил себя просто в посмешище, главным образом, своим «историческим» решением, что Коммунистическая партия может существовать и действовать, кроме только Центрального Комитета. Представьте себе, что в Германии в 1945 году Конституционный суд решил бы, что гитлеровская партия может существовать сколько угодно, открыто, только кроме своего центрального штаба, чтобы он не был открытым. Вот такой Конституционный суд.

В результате, я сказал вам, — нет у нас конституционной власти, очень мало исполнительной, нет судебной, — вот такое политическое положение. Теперь можно перейти к последствиям экономическим.

Вы пока что не произносили имя Ельцина.

А вот — экономические последствия. После того что Горбачёв за семь лет не начал никакой экономической реформы, с приходом Ельцина немедленно началась реформа: необдуманная, легкомысленная, без всякого прислушивания к народному стону и народным потребностям, без корректировки на ходу, без обратной связи. Гайдар — абсолютно кабинетный теоретик, который на самом деле реальной жизни в стране не представлял. Его характеризуют достаточно два его высказывания. Через несколько месяцев после начала реформы он заявил, что не ожидал такого большого роста цен, и ещё через несколько месяцев — что не ожидал, что придётся создавать такую огромную бумажную эмиссию. А президент Ельцин сказал не так давно: «Нам нужно было скорее начать реформу. У нас не было времени выбирать наилучший вариант.» И в результате сейчас положение такое: правительство всё время ждёт помощи от Международного валютного фонда, который обещал, при некоторых условиях, дать 25 миллиардов долларов взаймы, в долг. Между тем как каждый год, по мнениям многих специалистов, у нас происходит разворовка, раскрадывание, продажа

за границу национального достояния на 100 миллиардов долларов в год. Характерно недавно такое наивное объяснение президента Ельцина, что мы никак не можем сейчас успешно проводить реформу из-за того, что задерживается утверждение Конституции, из-за того что мешает политическая борьба с Верховным Советом. Какова же эта экономическая рыночная реформа, если она целиком зависит от политической ситуации?

Теперь о духовных последствиях. Я уже раньше сказал: 70 лет народ уничтожался избирательно, уничтожались те, кто выдавался нравственно и умственно, со способностями к протесту. Сейчас для наглых бессовестных людей развязались возможности воровать. Народ видит эту бессовестную ненаказуемую разворовку всеобщего достояния, и это отражается губительно на духовном состоянии народа. Потому что: «А что тогда делать мне? мне тоже воровать надо.» Происходит массовая порча нравственности.

Каково сейчас в России соотношение граждан послушных и самостоятельно думающих?

Послушных в прежнем виде, то есть тех, кто трепетали перед центральной властью, сегодня нет. По инерции, конечно, многие бездейственны в политическом отношении. Но наступившую свободу многие — я не ошибусь, если скажу, что даже не тысячи, а сотни тысяч — используют для всяких бессовестных операций. А самостоятельно думающих, конечно, у нас весьма немало, но они не соединены никакой общей организацией или общим движением. Для того чтобы у народа было правосознание — нужен долгий процесс. Над этим работал в дореволюционное время, например, Столыпин. Он говорил: «Гражданское общество не может создаться без гражданина.» Прежде всего должно воспитаться правосознание в людях. И этот процесс действительно шёл во время так называемой «думской монархии», то есть последние 12 лет перед революцией. Затем он был оборван революцией. А сейчас ему только предстоит снова начаться.

Так могут ли в России дисциплина и свобода идти вместе?

Это один из кардинальных вопросов современности. Свобода и дисциплина не только могут, но должны сочетаться. Но этого нельзя достичь только одним общественно-социальным устройством. Это должно воспитываться в людях. Моя мысль, что первое право, которое даёт нам свобода, это самоограничение. Высший смысл свободы в том, чтобы не как можно больше захватывать, а как можно меньше. Таким образом, чтобы личность была защищена не больше, чем общество.

В Америке в 1989 имела место дискуссия о «конце истории», в том смысле, что либеральная демократия доказала себя как наилучшая государственная форма. Что вы можете сказать об этой дискуссии?

Я думаю, эта дискуссия захватила не только Америку, она имела незаслуженный успех во всём мире. И суть этой теории Фукуямы состояла не в том только, что либеральная демократия лучше любого другого устройства, а что она уже бесповоротно победила во всём мире. Так вот, такая самоуверенная теория могла родиться, право, только у самодовольного чиновника. Одним трудностям и опасностям в жизни приходят на смену другие. Действительно, сейчас в мире переломный момент. Происходит смена опасностей: холодной и ядерной войне на смену приходит большая национальная, расовая, культурная раздробленность планеты и напряжённость. Мы видим, что годы после холодной войны совсем не принесли мира и спокойствия. И это будет ещё развиваться очень опасным образом. И каждая культура будет вносить свой вклад, и, может быть, довольно неожиданный, в представления о том, как надо строить жизнь.

Вы видите опасность гражданских войн на территории сегодняшней России?

Собственно, Югославия и Россия находятся в сходном положении в том смысле, что обе страны были внутри себя расчерчены фальшивыми коммунистическими границами. В Югославии это привело к войнам сразу же, потому что она распалась на такие государ-

ства, которые ни этнически, ни исторически не обоснованы, — а Запад поспешил признать эти государства. И так же Советский Союз распался по фальшивым границам. И у нас могла бы возникнуть такая гражданская война, даже небывалого размера, но именно русские повели себя совершенно безропотно. Это объясняется не только миролюбием, а, скорее, огромной подорванностью народа за 70 лет. И заметьте, сейчас войны идут не в России, а на окраинах, там торжествуют национализмы.

Может быть, можно видеть причину в том, что Россия перенимает западные нравы?

Смотря в каком смысле говорить о западных нравах. Если говорить о жизни, сочетающей личную свободу со свободой частной деятельности, то в России дореволюционной это всё было. Рыночная экономика в России уже была. Поэтому нам не предстоит перенимать это как нечто новое. Но всякое развитие должно быть связано с традицией данного народа. Очень дорого, чтобы развитие шло без разрыва с традицией. К сожалению, сейчас у нас, из-за этого общего смятения нравов, роста жадности, у нас сейчас от Запада перенимают самое худшее, то, что продаётся по дешёвке.

Вы не раз высказывали критическое отношение к Западу.

Я критически относился не к Западу в целом как к таковому, а к той опасной слабости, в которой я застал Запад двадцать лет назад. Известно правило, что глазу со стороны видно такое, что изнутри не видно. Я считаю, что Запад делал очень много ошибок слабости по отношению к советскому коммунизму, и это грозило крушением Запада. И моя критика имела цель подкрепить Запад, открыть ему глаза на всю величину опасности. Кроме того, я критиковал, например в Гарвардской речи, отдельные стороны западной жизни, скажем, опасно сильную власть прессы. Есть такая русская поговорка — «не верь потаковщику, верь спорщику». Так что вся моя критика шла из дружественного соучастия к Западу, для того чтобы укрепить его.

Вы собираетесь вернуться в Россию? Каковы ваши планы и намерения там?

Да, я собираюсь вернуться в Россию весной будущего года.

Мои планы в России? Родина моя находится в большой беде. Даже трудно найти во всей русской истории столь тяжёлое положение. Каждый, кто может приложить силы, должен попробовать их приложить. Конечно, у меня есть определённый общественный образ, от всей моей предыдущей борьбы и от того, что я писал и делал в России. Конечно, я постараюсь использовать это всё на пользу России, как я её понимаю. Никакими заявлениями с Запада я так не могу помочь, как своим реальным участием там. Но никакой политической должности я не собираюсь занимать.

Вы хотите прежде всего содействовать в отношении морального состояния русского народа?

Да, главным образом, но это очень нелёгкая задача, а я уже не молод.

Вы думаете, что пресса будет вас при этой задаче поддерживать?

Я должен сказать с огорчением, что пресса у нас сегодня находится в очень уязвимом положении. Газеты, для того чтобы существовать, вынуждены жить на государственные дотации, поэтому, собственно, сильной независимой прессы у нас нет. Будет поддерживать меня пресса или нет, будет зависеть от того, будет ли поддерживать меня правительство или нет. А это — под довольно большим сомнением, потому что я буду говорить всё, что я думаю, не считаясь с лицами. Я сегодня не связан ни с каким политическим движением в России, ни с какой политической партией и ни с каким политическим лицом. Я буду исходить только из того, что я понимаю полезным и нужным для России. И не считаясь с тем, кому это сегодня нравится, а завтра не нравится. Поэтому я допускаю, что я не буду иметь полной свободы слова в России.

Были ли у вас сложности, связанные с правительством, при ваших планах возврата?

Нет, при планах возврата — не было сложностей. Но меня очень многие, конечно, не хотят там, опасаются моего приезда. Гражданство мне вернули, и я могу его взять, и возьму. Я строю, на свои средства, дом и не буду зависеть финансово от правительства. Я только сожалею, что возможность обратиться к народу у нас сейчас очень ограничена, вот и телевидение очень сильно зажато. А книгоиздательское дело сейчас — в больших трудностях, и само распространение книг по стране очень затруднено. Поэтому нелегко устроить физически, чтобы мой голос был хорошо слышен.

Вы закончили «Красное Колесо», огромное десятитомное произведение о русской революции. Имеете ли вы на ближайшее будущее новые литературные планы?

Литературные планы, конечно, я имею, хотя моя неизбежная общественная деятельность будет сильно от них отрывать. Я очень долго работал над эпопеей «Красное Колесо», сам замысел я носил пятьдесят четыре года, над ним работал непрерывно двадцать лет, и поэтому сейчас у меня тяга к малым рассказам. Я надеюсь, что общение с сегодняшней Россией даст мне обилие материала.

ИНТЕРВЬЮ СО СТИГОМ ФРЕДРИКСОНОМ ДЛЯ ШВЕДСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Унтерэрендинген (Швейцария), 16 сентября 1993

Александр Исаевич, сначала давайте поговорим о наших встречах в Москве.

Да, есть что вспомнить.

Почему нас не остановили?

Я думаю, что у нас с вами была блестящая организация. Ведь мы никогда не встречались примитивно-просто, по телефону договорясь. У нас был строго рассчитанный график, у нас были запасные даты, как, помните, когда с вами случилось несчастье, вы попали в аварию, не смогли приехать. Но мы заранее уговорились о следующей дате, и вот тогда вы пришли. Потом это ваше, я считаю гениальное, изобретение, чтобы я звонил вам утром до того, как ваша секретарша придёт на работу в девять часов: я звонил будто бы в гастроном, или в химчистку, по ошибке, а вы всегда узнавали мой голос, и это значило, что сегодня в восемь часов вечера в таком-то месте мы встречаемся. Перед тем как идти на встречу, я плутал, пересаживался несколько раз, иногда шапки менял.

Всё-таки вы, насколько я понимаю, были врагом номер один Советского Союза, и за вами наблюдали. Почему вас...

Не надо думать, что они так совершенны. Действительно, я был для них враг номер один, действительно они много усилий тратили, но, как и во всяком коммунистическом органе, у них были свои недостатки и пропуски. У них везде халтура немножко есть, вот и недоглядели. Это поразительно. Они нас недоглядели, они вам не дали бы жить, выслали бы вас.

Значит, компетентные органы не были такими уж компетентными?

Да, вот именно. Где-то, в каких-то звеньях, у них слабости есть. Там наверху им кажется, что они всем управляют, а вот не так.

Сейчас КГБ говорит, что в своих архивах сожгли всё, что было о вас, 105 томов. Это значит, что мы никогда знать не будем, насколько они были осведомлены?

Очень может быть, что ничего не узнаем. А может быть, что-то и осталось, но всё равно, хоть и осталось бы, архивы КГБ и сегодня закрыты. Никому не доступны.

Немножко о вас лично. Как вы себя чувствуете?

Для своих лет я чувствую себя очень неплохо, энергии ещё имею много, работаю ещё много.

Вам будет 75 лет?

Вот почти уже 75 лет.

Я думаю, наши зрители едва не впервые видят вас в самой жизни, не в чёрно-белых фотографиях. Для них вы — строгий пророк, а я знаю иную сторону: что вы часто смеётесь, что у вас очень тёплый характер. Это другая сторона вашей личности?

Это моя обычная сторона. Но благодаря тому, что все эти 18—20 лет я мало появлялся, редко давал интервью, про меня создали легенду, что я страшный какой-то зверь, сидит в одиночестве в лесу и недоступен. А я просто работал. И всем непонятно, как это писатель может только работать, на конференции не ездит, с докладами не выступает, а просто пишет и пишет.

Я помню, во время нашей последней встречи в Москве, в январе 1974 года, когда газета «Правда» начала атаку на вас, вы всё равно были в полном равновесии, вы смеялись, и я понять не мог, как вы могли держать такое равновесие.

Мы тогда так разогнались в борьбе, что нам уже было ничего не страшно. Мы стояли просто победно. И действительно, у нас в квартире был как бы эпицентр

шторма: вокруг шторм бушует, а у нас тишина, покой, маленькие дети растут.

И у вас действительно было такое равновесие?

Да. Совершенно не было никакого шатания духа. Наоборот, было твёрдое: идём на всё, и Аля, жена моя, и я.

В первые ваши годы на Западе, я помню, наши взгляды насчёт Запада иногда расходились. Может быть, я вас не всегда понимал, и вы меня не понимали. Вы чувствуете, что сейчас лучше знаете Запад, наш общественный строй, чем когда приехали?

А я, вы знаете, его довольно неплохо представлял, ещё живя в Советском Союзе, потому что Запад освещён сам собою, он насквозь освещён, в нём всё открыто говорится, в нём всё открыто показывается. Его видно. А вот коммунистический Восток с Запада понять было трудно, потому что всё закрыто, всё замкнуто, всё в темноте. Запад много капитулировал перед Советским Союзом. И это имеет длительную историю. Как только Германия проиграла в 1918 году войну, так сейчас же европейские союзники предали русскую армию и стали больше помогать большевикам, чем своим бывшим союзникам. И дальше возмутительно с ними обращались. И либеральная интеллигенция Запада в 20—30-е годы молилась на Советский Союз: «Вот наконец наступил справедливый великий строй, счастье человечества, вот это наше будущее!» И это заморочило мозги настолько, что в опасное время холодной войны Запад не стоял крепко. И моя критика Запада больше всего из того и исходила: «Поймите, вам опасность грозит смертельная. Вы не понимаете, что́ делаете. Нужно твёрдо стоять.»

Вы помогали изменить взгляд Запада на Советский Союз?

Я пытался это делать, в какой-то мере мне это удалось, в некоторых странах больше, в некоторых меньше.

Вы помогали менять взгляды левой интеллигенции, в Западной Европе особенно?

Всех, кто прислушивался к моим словам. Чтоб они поняли, что такое коммунизм, чтоб они перестали его идеализировать.

А сейчас Запад выиграл холодную войну.

Холодная война в основном проиграна самим коммунизмом. Коммунизм — античеловеческое образование, он не мог существовать бесконечно. А кто действительно помог подтолкнуть его к концу — это президент Рейган, потому что он такую спираль вооружения дал, какую кремлёвские старцы уже не могли выдержать. А так на Западе за минувшие десятилетия очень много было капитулянтских настроений, очень много философии «лучше быть красным, чем мёртвым», очень много уступок.

Наверное, вы тоже много повлияли на мышление президента Рейгана?

Да, возможно. Рейган меня неоднократно цитировал, неоднократно ссылался на меня. Это правда, я думаю, что как-то повлиял. А коммунизм захлебнулся, собственно, в пассивном сопротивлении народов Советского Союза. Хотя внешне они оставались покорными, но работать под коммунизмом, естественно, не хотели, у всех уже руки опустились, и настолько уже всю эту экономику забросили, что коммунизм просто погибал в нас.

Я помню, мы спорили ещё вот о чём. Наша многопартийность, наш плюрализм — вы скорее это видели как слабость, а я говорил, что это наше богатство.

Я не рассматривал это как слабость. Я видел те слабости, которые из этого истекали. Взглядов-то много, но, к сожалению, ложный взгляд на Советский Союз часто брал верх, вот в чём было дело.

Каковы ваши личные планы сейчас?

Мне удалось закончить большую эпопею «Красное Колесо». А там десять томов, это очень большое чтение, семь тысяч страниц. Но 1917 год определил не только путь России, а во многом и всего мира, — и

тот, кто любознателен, кто хочет понять ход истории, я думаю, много почерпнёт там.

А где вы останавливаетесь в вашей книге?

Я остановился на начале мая 1917 года, когда Ленин уже месяц в Петрограде, и Троцкий приезжает в последний день. И по всей ситуации уже видно, что силы Февральской революции, Временного правительства уронили все вожжи, всю власть. Они уже всё потеряли. Большевики, безусловно, их сметут, уже ясно.

А сейчас какие у вас творческие планы?

Когда я вернусь в Россию, ясно, что динамика движения, общественных действий будет меня сильно отвлекать. А то время, которое я смогу сохранить, и те наблюдения, свежие, новые, в России, я надеюсь, помогут мне писать небольшие рассказы. Вот такие планы.

Когда вы предполагаете вернуться?

В мае будущего года. А сейчас мы приехали проститься с Европой, мы восемнадцать лет сидели не разгибаясь в Вермонте, и не было времени поездить. Не было времени. Сейчас это последняя наша поездка по Европе.

Прощаться с Европой, чтобы сюда не вернуться?

Не то чтобы не вернуться, но мы прощаемся сейчас, перед тем как возвратиться в Россию. А что будет дальше, трудно предсказать.

Как, по-вашему, изменилось отношение к вам на Западе по сравнению с тем временем, когда вы приехали сюда? Каково ваше влияние на Запад?

Оценивать моё влияние — не моя задача, а отношение ко мне за это время было разное. Очень быстро начались сильные на меня нападки прессы, причём с большими искажениями, в основном в Америке, но не только в Америке. Тут вот что. Я ведь пишу большие книги. Читать в наше время многим некогда. И вот какой-нибудь один журналист, а иногда и просто агент

КГБ, так называемый «агент влияния», — печатает обо мне какой-нибудь вздор: «Солженицын — монархист, фашист, антисемит, реакционер», — и не приводит ни одной цитаты. Так другим корреспондентам насколько проще, не надо листать сотни страниц моих книг, они отсюда берут и повторяют. Третий берёт у второго, четвёртый, пятый, — причём дословно, не меняя не то что ни одного выражения, но даже запятой. Смешно, поверить нельзя: в огромной Америке десятки журналов травили вот так меня несколько лет — и никто не привёл ни одной фразы из моего произведения. Такое свойство поверхностных журналистов.

А как вы на это реагировали?

Я реагировал на них так же, как, вы вспоминаете, в январе 1974 года: абсолютно не обращал внимания. Они там все говорят, говорят, пишут, а я им никому не отвечал. Так же точно, как когда меня КГБ травило, а я себе своим делом занимался. Если бы я ввязался с ними спорить, я бы не сделал своей работы.

Но в результате возникла искажённая картина о вас.

Нет, в истории всегда истина поднимается. Вот то, что наврут, настроят быстренько со всех сторон, — это потом отпадает как-то, с какого-то времени. Я знал. И действительно, сейчас уже многое то погасло, уже многие от того отказались. История своё возьмёт. Правда всё равно всплывёт. Я не беспокоюсь.

И факт, что ваши книги сегодня читают меньше, чем раньше, вас тоже не беспокоит?

Меня совсем это не беспокоит. «Красное Колесо» и читать трудно, оно большое. А на английский язык, самый читаемый, очень медленно делаются переводы, потому что первоклассный переводчик один у меня, и он медленно-медленно-медленно работает. Так что вышел по-английски только «Август», даже ещё «Октября» нет.

А другие языки?

Быстрее. В Швеции, кажется, первый том «Марта» вышел. В Германии быстрей, во Франции переводы тоже быстрее идут. Нет, я за это спокоен. Я знаю, что тем людям, которым надо будет революцию 1917 года понять, те из моих книг её поймут.

Я помню, вы часто говорили: «Лишь бы дожить, пока закончу „Красное Колесо“.»

Совершенно верно. Я знал, что должен свою работу окончить.

Вы тоже говорили: «Я вернусь в Россию, чтобы там жить и умереть.»

И никто не верил. Я ведь это говорил ещё в 1974 году, когда меня только выслали. Надо мной смеялись: «Ну, он совсем с ума сошёл! Этого не будет.» Просто до последнего времени смеялись, пока уже началось горбачёвское время, — «а, вот что», — и потом, наконец, открылась дорога. «Да, он был прав. Он-таки вернётся живым.»

А вы действительно в это верили?

Не то что я верил, я это чувствовал. Нам дано предчувствие. Я знал, что это будет, я не могу объяснить почему. То есть я понимал, что коммунизм когда-то кончится. Но, независимо от этого, я же мог умереть раньше. А я знал, что — нет, вернусь живым, вернусь.

В своей речи в Лихтенштейне вы сказали, что на территории бывшего СССР коммунизм далеко ещё не кончился. Это вы считаете реальной опасностью?

Главным образом, коммунизм сохранился в национальных республиках: в Средней Азии, в Закавказьи, в Азербайджане. Там во главе те же самые первые секретари ЦК, они же теперь все объявили себя националистами, и сохранились все кадры. В Таджикистане, например, совершенно вся коммунистическая власть осталась; в Туркменистане президент себя обоготворил, какая уж там демократия.

И никакой оппозиции не разрешают?

Не разрешают. И в Узбекистане. Так же поступил и Кравчук на Украине. Он до последнего дня был вернейший коммунистический лидер. И даже говорил, что ненавидит жёлто-голубое знамя националистов. А как только увидел, что в Кремле произошла передвижка, он за два часа изменился, объявил, что он всю жизнь был националист, всю жизнь был за жёлто-голубое знамя. Да коммунисты всюду... они раньше занимали места в партийных кабинетах, теперь объявили себя демократами, они, оказывается, всю жизнь были демократами, просто непонятно, почему они состояли коммунистами. Вы обратите внимание: в Чехии — Гавел, это действительно противник коммунизма; в Польше — Валенса, это действительно противник коммунизма. Когда же вы посмотрите на сегодняшних наших правящих российских демократов — вы не найдёте там тех, кто боролся против коммунизма. А многие коммунисты стали коммерсантами на нынешний манер, то есть поняли, что надо воровать. Откуда у нас берутся сейчас богатые? Не то что наладил производство и заработал на этом, а — ворует национальное достояние. Я не знаю, было ли когда-нибудь в истории такое положение или нет: огромное национальное достояние, которое считалось государственным, вдруг оказалось ничьё. И проворные хватают, продают: кто за границу, кто друг другу, а деньги себе. И чиновники, которые сидят на местах, почти все коррумпированы, причём именно сейчас буйно коррумпированы, в последние года два. Нельзя шагу сделать просто по закону — нет, дай взятку, без взятки ничего того нельзя. Такая нечестная, нечистая власть у нас всюду. В этом смысле ужасающее состояние.

Что большинство из них старые коммунисты — это неизбежный факт?

Неизбежный. Не могло быть иначе. Потому что 70 лет уничтожали активных врагов коммунизма, а эти — имели административный опыт, они сидели у власти. Куда же им деться? Конечно, это неизбежный факт, он только показывает, что развитие будет очень долгое, длинное.

Вы считаете, что раз Ельцин был коммунистом, то сейчас он не может быть демократом?

Как раз Ельцин имел мужество из коммунистов вырваться тогда, когда ещё это было опасно и не модно. Но одно дело — душевное движение, а другое дело — начинать работать, кем себя окружать. Ясно: всеми своими свердловскими прежними или теми, кто вокруг него тут крутится, — тоже все бывшие коммунисты. Он захвачен этими кадрами и их влиянием. А Горбачёв семь лет топтался на месте, ничего не сделал для того, чтобы началось развитие, ничего. Ельцин, по противоположности, решил скорее начать. Вот и начали. Начали разрушительную реформу. Нужно было начинать с нужд людей, маленьких. А система, как она стояла, пусть пока стоит. Нужно было оживлять мелкий бизнес, маленькие сельскохозяйственные участки, мелкую частную собственность. Люди сразу получили бы еду, одежду, ремонт, обслуживание, сервис. Потом средний бизнес, и так постепенно, постепенно начала бы оживляться вся система. А они сразу всю систему разрушили и объявили свободные цены — это при монопольных производителях! Гайдар совершенно безголово вёл реформу. Его хвалили как гения, а он даже жизни не понимает. Со слепыми глазами пошёл. А Международный валютный фонд его в этом подталкивал всё время, на это и направлял, они всё по Латинской Америке судили, но там — частный бизнес был, у нас не было, такого опыта вообще ещё не было, и Международный фонд не знал, что именно делать, а советы и директивы давал. Гайдар польстился, что нам потом когда-то в долг дадут 24 миллиарда долларов, а тем временем создалось такое положение в стране, что у нас разворовывают на сто миллиардов в год, воруют — и всё. А мы всё ждём, когда эти 24 миллиарда нам дадут в долг.

А вы кого-нибудь видите в правительстве или вокруг правительства, кто мыслит, как вы?

Я ни с какими политическими деятелями сегодняшней России не встречался, не имею контакта. Я из русской истории, из понимания событий получил такие взгляды — их и буду высказывать, и, возможно, многим не понравится это.

А кто будет вашим союзником?

Понятия не имею. Мой союзник — простой народ. Я хочу обращаться к простому народу, и не московскому, провинциальному. А никаких политических союзников я себе не рисую.

А есть те, кто боятся, что вас будут обнимать крайние какие-то фракции. Вы этого не разрешите?

Я ни к каким фракциям вообще принадлежать не буду. Политической деятельностью как таковой заниматься не буду. Я — писатель, общественные выступления — моё второе дело. Я буду общаться с простыми людьми, буду им объяснять, что мне кажется для России полезным и нужным. А кому из политических деятелей это понравится или не понравится, мне совершенно неважно. Каждое слово, какое ни скажи, кому-то будет полезно, а кому-то вредно сегодня, а завтра наоборот. Я не могу с этим считаться: «Ах, я вот сейчас скажу, а подумают, что я поддерживаю тех, а не этих.» Я буду говорить так, как, я думаю, лучше для России.

Но вы всё-таки будете играть важную политическую роль?

Нет, нельзя сказать «политическую роль», если я не буду никакой должности занимать. Это общественная роль, а не политическая. Партии, фракции делят народ, разделяют. Одни против других. А писатель должен объединять свой народ. Моя задача — чтобы на мне могли сойтись люди разных убеждений.

Сегодня в России видны самые отвратительные стороны дикого капитализма.

Самые отвратительные. Такие отвратительные, каких и на Западе не было, потому что на Западе всё-таки не с того начинали, что национальное достояние можно грабить сколько хочешь.

И преступность, и коррупция.

Ужасно. Это результат того, что 70 лет уничтожали по возможности всё честное и умное в народе.

А ваш ответ на всё это — начинать на самом низшем уровне?

На самом низшем. И вообще всё строить снизу, не декретами из Москвы: указ такой-то, указ такой-то. Надо строить, как я выразился, «демократию малых пространств». И от неё постепенно расти кверху. Не может быть гражданского общества без гражданина. Должен быть воспитан гражданин, правосознание. А вот правосознание у нас слабое. У нас оно и до революции слишком сильным не было. Надо, чтобы в людях родилось сознание права, и так постепенно будет рождаться общество. Это очень долгий процесс.

И это, может быть, самое важное наследство коммунизма?

Это самое страшное наследство. Если мы падали вниз 70 лет, то, вы понимаете, падать легче, чем подниматься, — значит, подниматься нам лет 100 или 150.

Вы говорите, что нужны нравственные изменения и изменения представлений в головах людей. Вы такие знаки видите сегодня?

У нас сейчас разные процессы идут. Как бывает перед бурей: посмотрите, одни облака идут в эту сторону, а другие — в другую. Это — признак неустойчивого состояния. Так и у нас. С одной стороны — кинулись в бесстыдное воровство и бесстыдное поведение; а с другой стороны — растут люди, которые хотят построить крепкую, здоровую, нормальную жизнь. Эти силы будут бороться. Это будет трудный процесс.

А в конце концов, как вы видите будущее России? Оптимистически?

Мне уже не застать это будущее. Я буду работать для лучшего будущего, а что удастся?.. что будет? — посмотрим, не знаю. Всякое может быть. Положение очень тяжёлое. Очень тяжёлое.

ПАРИЖСКАЯ ВСТРЕЧА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Телевизионная передача Бернара Пиво «Культурный бульон»

Париж, 17 сентября 1993

Бернар Пиво, ведущий. *Восемнадцать лет назад, перед отъездом в Соединённые Штаты, Солженицын выступал в нашей передаче «Апостроф». И вот, за несколько месяцев до своего возвращения в Россию, Солженицын снова на нашей передаче, чтобы ответить на многочисленные вопросы. Добрый вечер, и спасибо за то, что вы к нам приехали. Мой первый вопрос простой, очень простой: как ваши дела? Ещё до вашего ответа скажу, что мы все хотим услышать ваш голос.*

Мои личные дела идут плотно, хорошо, я ими доволен. Но трудно говорить о делах своих, когда плохи дела на родине.

Бернар Пиво. *Чтобы представить Солженицына — вот коротенький репортаж о его удивительной судьбе. Был мир до Солженицына — и мир после Солженицына. Книги «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Раковый корпус» и, конечно, «Архипелаг ГУЛаг», сверх того что это литературные произведения исключительного качества, наконец открыли миру глаза на тоталитарную систему Советского Союза и на сущность коммунизма вообще. Его творчество было поразительным, решающим: была одна идеологическая атмосфера до Солженицына — и другая после. Сам он пережил три смертных бича века: войну, рак и лагеря. Он получил Нобелевскую премию по литературе в 1970 году, а через четыре года был арестован и выслан из Советского Союза, потому что его голос стал слишком мощным, слишком опасным. В августе 1976 он обосновался в Соединённых Штатах и всю свою неутомимую энергию посвятил написанию «Красного Колеса», огромной картины револю-*

ции Семнадцатого года. В 1983 году, десять лет назад, Александр Солженицын принимал нас в своём доме в Кавендише, в штате Вермонт. Я спросил его тогда, надеется ли он вернуться в Россию когда-нибудь? И он с уверенностью ответил — утвердительно! Удивительное заявление, Александр Исаевич, вы сделали тогда. Это было за шесть лет до падения Берлинской стены, и тогда ещё никто не говорил, что коммунизм рухнет, что Советский Союз распадётся. Откуда у вас была эта уверенность, что когда-нибудь вы вернётесь в Россию?

Что я сам вернусь в Россию — это просто необъяснимое внутреннее чувство, которое никак нельзя обосновать. А что коммунизм рухнет неизбежно — это было ясно из самой сущности коммунизма. Он не мог устоять, он должен был рухнуть.

Бернар Пиво. *Но у меня всё-таки впечатление, что та уверенность, что жила в вас, коренилась скорее в вере, чем в историческом анализе, а вы сейчас говорите обратное.*

Нет, тут противоречия нет. Исторический анализ говорил, что коммунизм падёт. Но человек не волен в сроках своей жизни, и я не знал, доживу ли я наверняка до этого. А просто внутреннее чувство подсказывало, что я доживу.

Бернар Пиво. *Для диалога с вами, Александр Исаевич, я пригласил Андре Глюксмана, философа, писателя, который часто вступает в политические битвы за права человека; Бернара Гетта, журналиста, бывшего корреспондента газеты «Монд» в Москве; Жана-Клода Казанова, профессора политологического института и главного обозревателя «Экспресса». Господа, прежде чем ставить вопросы Александру Солженицыну, задам вопрос вам: какое место занимает Солженицын и его книги в вашей жизни интеллектуалов?*

Андре Глюксман. *Когда я прочитал его первые книги, я испытал шок. Мы знали, что есть лагеря. Мы знали, что представляет собой Советский*

Союз. Но чего мы не знали — это, что русский народ оказывал сопротивление. И вдруг, неожиданно, несмотря на ложь, несмотря на давление, слово об истинной свободе одержало победу. Человек, который сказал это слово, был удивительным, исключительным, и личность его виделась нам как откровение. И было радостно видеть целостность русской души. Как ни парадоксально это может показаться, для меня Александр Солженицын — прежде всего автор «Телёнка». В этой книге он рассказывает о своей битве, каждодневной, ежечасной, с могущественной системой, которая всё пронизала своими щупальцами. И мы увидели, что человек может не дать этой системе одержать победу! Для меня этот человек непосредственно принадлежит, естественно вписывается в плеяду писателей, которые своё искусство поставили на службу борьбе за справедливость. Но ряд таких писателей — Толстой, Золя, Гюго — состоял из людей, которые полностью принимали и полностью соответствовали идеологии Просвещения. А Солженицын к этой идеологии сейчас относится критически, и в этом парадокс.

Жан-Клод Казанова. *Надо сказать, что «Архипелаг ГУЛаг» был для меня огромным, самым крупным событием моей интеллектуальной жизни. И я благодарю Солженицына. Ведь нужно было физическое мужество, чтобы писать эту книгу, вопрос жизни и смерти. Вместе с тем и мужество духовное: нужно было думать и писать в полном одиночестве. Я благодарен Солженицыну ещё и за то, что с его помощью многие из нас поняли: Освенцим, Колыма, Катынь — не фатальность. Это крупные катастрофы, но их можно было бы избежать, им можно было бы помешать. Они могут вернуться, но всё зависит именно от того, готовы ли мы принять новую ответственность, и он настойчиво нам эту ответственность предлагает. Он заставляет нас вернуться к себе, осмыслить себя и бороться с ложью, которая в нас, с теми маленькими «сталиными», которые в сердцах нас всех. Он делает это без всяких призывов, просто своим примером, он показал нам, как пересматривал*

свою жизнь, свои пути с молодости, он при нас оглядывается на свои ошибки — и тем заставляет нас оглядываться на свои. Благодаря ему в наших умах и сердцах обрушились стены.

Бернар Пиво. *Вопрос, которого вы, конечно, ждали, и он поставлен: когда вы вернётесь в Россию?*

Я надеюсь вернуться в Россию в мае будущего года. Окончательно.

Бернар Пиво. *То есть двадцать лет спустя?*

Да, получается, двадцать лет.

Бернар Пиво. *И ваши три сына, которые провели всё детство и юность в Соединённых Штатах, они вернутся с вами?*

Мы с женой вернёмся сейчас, немедленно. А сыновья должны кончить свои колледжи. Их жизнь как раз на переломе, когда надо закончить образование и найти пути его применения, пути работы. Они уже были в России, и будут снова и снова приезжать, и я думаю, что их жизнь постепенно с Россией сплетётся, но принуждать их к этому мы не будем. Мы даём им полную свободу в этом.

Бернар Пиво. *Действительно, трудно будет им, тем более что корни там остались, в Соединённых Штатах.*

Нет, несмотря на то что они выросли в Америке и там получили образование, сердечное чувство к России у всех у них есть. Слово «корни» к Америке не подходит. Как только они приезжают в Россию или касаются русского материала — они сразу ощущают биение сердца.

Бернар Пиво. *А вы? Не опасаетесь ли вы трудной переадаптации? Ведь за эти годы вы неизбежно отдалились от страны и она от вас отдалилась тоже.*

Да, страна необыкновенно изменилась, особенно за самые последние годы. Но трудностей моей адаптации к России я не предвижу.. Я пятьдесят пять лет прожил в России в самых тяжёлых и низких социальных усло-

виях. Я просто никогда не видел там никакого комфорта, никакого благополучия. Вряд ли что-нибудь меня удивит в этом смысле, я вполне готов.

Бернар Пиво. *Почему вы вернётесь в мае? Почему вы не вернулись раньше? Может быть, благодаря вашему присутствию, вашему престижу удалось бы избежать некоторых ошибок в России?*

Путь к возврату мне открылся далеко не сразу, только после снятия статьи, обвиняющей меня в измене родине. Я тогда кончал свою работу, и, если бы бросить, книга осталась бы недописанной, позже к ней не вернёшься. А жена стала ездить в Россию — устраивать, где нам жить. К маю должен быть окончен дом, который мы строим, чтобы там жить и работать. Это личная сторона. А общественная... Да, конечно, от самого начала новых событий в России сердце рвалось туда. Начиная с 1990 года положение в России всё время было бурное, нестабильное и требующее больших усилий. Но это только начало. Если бы я приехал раньше, может быть, я повлиял бы на какой-нибудь ранний процесс. Но глубокие процессы — впереди. Наше несчастье русское такое длительное будет, что не поздно мне будет приехать, и ещё моей жизни не хватит поучаствовать во всём.

Бернар Пиво. *Но, пока строился ваш дом, дом-Россия постепенно подгнивал?*

Он подгнивал все семьдесят лет от Октябрьского переворота 1917 года. Только этот процесс стал всем виден наглядно с 80-х годов. Было бы ложно представлять, что сейчас дела в России налаживаются. Положение наше там сейчас ближе всего описывается словом «хаотическое». Я повторяю: если мы падали семьдесят лет, то за семьдесят лет мы не поднимемся, подниматься всегда труднее, чем опускаться. Это совсем не измеряется сроками моей жизни, это далеко-далеко за ними.

Андре Глюксман. *Какую роль вы будете играть, когда вернётесь в Россию? Мы мало верим, что вы запрётесь в башне из слоновой кости, но нам и*

трудно себе представить, что вы будете организовывать предвыборную кампанию. Скорее всё-таки вы будете вмешиваться, потому что вы несёте в себе память, эту память семидесяти лет несчастья и семидесяти лет сопротивления. Вы, кстати, никогда не говорили о выходе из коммунизма в успокаивающих словах, вы именно говорили, что исход будет длинный, мучительный. Так вот мой вопрос: как вы видите свою роль в этом хаосе?

Тут несколько вопросов, но месье Глюксман уже и ответил на них сам. Он сказал, что я, несомненно, не запрусь от людей. Да, действительно, не запрусь, ещё и потому, что за восемнадцать лет в Вермонте я насытился одинокой писательской работой. И дальше он сказал, что я, конечно, не буду участвовать в избирательных кампаниях. Совершенно правильно, не буду участвовать. И не приму никакого назначения от правительства, если такие предложения будут.

Бернар Пиво. *Но что же вы будете делать?*

Для меня наконец теперь откроется возможность широкого общения с моими соотечественниками и общественного участия в разных областях нашей жизни, которые все в тяжёлом положении, а то и в провале. В лёгком положении — у нас сторон жизни нет. Везде нужна помощь, везде нужны силы, и моих сил слишком мало для этого. В моём понимании писатель должен не разъединять свой народ, но, по возможности, объединять его. Вот эта роль — вполне общественная, и она писателю доступна.

Бернар Пиво. *Ваши книги написаны. Вы будете писать и другие, но большая часть вашего творчества завершена. В одной из ваших последних работ, «Как нам обустроить Россию?», вы говорили о необходимости введения нравственного аспекта в политику. Вы предлагаете вашим соотечественникам создать институцию с этическим характером, которая представляла бы различные профессии. Собираетесь ли вы председательствовать в этой этической палате?*

О том, что нравственность нужна в политике, я говорю уже много лет. Вот сегодня в «Экспрессе» напечатана моя речь в Лихтенштейне, три дня назад я говорил об этом самом. А та статья, на которую вы ссылаетесь, состояла из двух частей. Первая — о самом остром политическом, что стояло прямо тогда, и сию минуту что-то надо было делать. А вторая часть — далёкая перспектива. Когда я писал ту статью, я не был уверен, что доживу до начала исполнения этой программы. И вот, статья уже три года как напечатана, она вышла широким тиражом, 27 миллионов экземпляров, — а обсуждение её было сразу же задавлено Горбачёвым. Хлынули читательские письма, по тысяче в неделю, собирались их широко печатать — и всё задушили, печатать не стали. Так что предложения эти ещё и не обсуждались на родине по-настоящему. Да, я считал, что нравственность должна иметь какое-то совещательное — не законодательное, не исполнительное, но совещательное — влияние на дела в стране. Не только через сердца тех политиков, которые не чужды нравственности, а чтобы было какое-то собрание людей, которое бы советовало, говорило: вот это хорошо, а это плохо, пусть не имея никакой власти, только нравственный авторитет. Сам я никак не надеюсь до этого дожить, не только председательствовать, но и быть членом такого собрания. Такая палата не скоро у нас будет.

Бернар Пиво. *Вернувшись в Россию, вы будете выступать по радио, телевидению? давать интервью в газетах? Будете ли вы показывать себя явно?*

Я буду ездить по стране. Я буду выступать перед моими простыми соотечественниками, не как-то специально подобранными, а просто живущими в данной местности. Прессы я избегать не буду. Однако пресса сегодня в России, чтоб вы не заблуждались, отнюдь не независима. Все главные органы, и телевидение тем более, находятся на дотации правительства, и они все не смеют говорить в полную силу. Поскольку я буду говорить то, что я считаю полезным и верным для России, не считаясь ни с какими политическими автори-

тетами, — очень может быть, что меня начнут ограничивать в праве говорить. Я не удивлюсь, если мне ограничат доступ к телевидению, доступ к прессе.

Бернар Пиво. *В ваших книгах вы предостерегаете ваших соотечественников от реставрации коммунизма, от системы коррупции. Но что вы скажете по двум темам: демократия и верования молодёжи сегодня? Молодёжь, которая родилась после вашего изгнания, которая вас не знает или плохо знает, не читала ваши книги, и для кого ГУЛАГ — это вообще древняя история, как для нас, например, Алжирская война?*

Совершенно правильно. Коммунизм отходит в прошлое, и молодому поколению трудно понять, что все сегодняшние невзгоды происходят не только от сегодняшних ошибок, а как последствия коммунизма. Не только молодёжи трудно это понять, но и населению среднего возраста, да и более старому, которое в известном числе верило в коммунизм. Все видят, что стало жить очень плохо. Но не хотят понять, что мы расплачиваемся за то, что в 1917 году допустили коммунистов к власти и они исковеркали, изувечили нормальный путь развития страны. Мы расплачиваемся, и ещё будем расплачиваться всё за то же, всё за то же, всё за прежнее. Ну а вопрос о состоянии демократии в нашей стране сегодня — не такой простой. Всеобще принято, что в России сегодня демократия. Нет, в аспекте политическом в сегодняшней России пока что — псевдодемократия, лжедемократия.

Бернар Пиво. *Не считаете ли вы, что по отношению к жертвам коммунизма у вас должен быть долг памяти, как у нас — по отношению к жертвам нацизма?*

Несомненно. Мои книги и пытаются воспитать этот долг памяти в тех, кто будет их читать. Без памяти вообще не существует истории народа. Память нельзя обрезать и оборвать — безнаказанно для судьбы народа. Но молодёжь бывает легкомысленна и действительно слабо осмысливает себя в истории. Да, моя задача — чтобы эта память внедрялась и жила в людях.

Бернар Пиво. *Поедете ли вы в те места, где страдали зэком? Поедете ли вы в ваши лагеря?*

Ну, это совершенно частный вопрос. Я считаю: те, кто живут сегодня, гораздо больше заслуживают внимания, чем чтоб я посетил место, сказал бы: «Вот тут был мой барак. Вот тут я сидел в карцере.» Сегодняшние живые люди страдают, им нужно помогать. Они не в лагере страдают, в простой жизни страдают.

Бернар Пиво. *Считаете ли вы, что Россия и другие восточно-европейские страны должны организовывать судебные процессы против лидеров коммунистических партий, по крайней мере тех, которые скомпрометировали себя?*

Меня всегда возмущало, что, например, Молотова и Кагановича, уже и после крушения коммунизма, продолжали содержать в самых почётных условиях, как благородных старцев. И кроме них существуют сотни и тысячи людей, у которых руки в крови, которые были прямыми проводниками страшного насилия. Но вопрос сложней. Ведь есть десятки и сотни тысяч тех, кто не были крупными палачами, крупными насильниками, но участвовали в функционировании партийного аппарата, голосовали за те решения, которые обрушивались карами на народ. И мой призыв был, уже неоднократный: надо начинать с раскаяния, нельзя так, как у нас сейчас, — коммунисты свой партийный билет переложили в задний карман и: «Я — демократ. Я всю жизнь был демократ.» А сколько среди сегодняшних громких демократов — бывших лакеев коммунизма? Они кончали коммунистические академии, они лгали студентам на лекциях, писали лживые книги. Разве могло Политбюро, одно, овладеть мозгами миллионов? Вот те самые люди и делали всё. И потом в один миг — демократы. Нет, такой переход без очищения невозможен. Я всегда говорил: с гнилым дуплом дерево не стоит. Если каждый не начнёт рассказывать о себе, — не надо его судить, но он должен публично рассказать, как он участвовал во лжи, как он участвовал в насилии, и как он раскаивается в этом, — вот с этого момента только начнётся путь нравственного выздоровления.

Бернар Пиво. *Но вы христианин. Вы должны простить.*

Я не говорю, что не прощаю — я. Я говорю, что люди сами себе не должны простить. Люди не могут очиститься, пока они сами себе прощают это всё. Очищение идёт через себя. В том, в чём я нагрешил, я в этом всём признался, я уже много раз раскаялся, в книгах. Мы все прощения ждём от Бога. Но путь к прощению лежит через собственное раскаяние. Я не могу раскаяться за вас, а вы не можете раскаяться за меня.

Бернар Пиво. *Александр Исаевич, вы сейчас услышите один вопрос, который был записан к этой встрече. Вам задает его бывший президент Французской республики Валери Жискар д'Эстен.*

(Включается телеэкран.)

Жискар д'Эстен. *Александр Солженицын, я хотел бы поставить вам один вопрос по поводу русской души. Русская душа — мы её любим здесь во Франции, мы её любим. Мы знаем её главным образом через литературу, русскую литературу XIX века. Эта душа сформировалась на основе крестьянской жизни, религиозного мистицизма, на основе тех отношений, которые существовали внутри русской общины. И мы знаем, что душа эта была богата чувствами, мистикой и великодушием. Думаете ли вы, что коммунизм изменил русскую душу? Вот вы вернётесь в Россию, увидите ваших соотечественников. Думаете ли вы, что встретитесь с русской душой нетронутой, или, напротив, тронутой и даже разрушенной коммунизмом?*

Я попробую ответить в более широком виде. Я, правда, никогда в жизни не пользовался такими выражениями, как «русская идея», «русская душа». Но я считаю, что — да, каждая национальность имеет своё мироощущение, свой уклад, свою историю, свой взгляд на жизнь, свои привычки, — и это всё вместе драгоценно. Наша Земля не скучна, не пустыня — именно потому, что много есть таких национальных душ, много

есть таких ярких отдельных национальностей, то маленьких, то больших. Что происходит с национальностями в ходе истории? Сильно меняются эпохи на земле, и, кроме того, меняются условия существования в данной стране. На пересечении этих двух изменений никакой национальный характер не может остаться без изменения, он обязательно меняется. Теперь я возвращаюсь буквально к заданному вопросу. Конечно, русский народ пережил глубочайшие сотрясения от коммунизма. Во-первых, уничтожали десятки миллионов, и уж во всяком случае уничтожали каждого, кто протестовал, кто думал, кто нравственно отличался, — тех вырезали, по одному. Таким образом, народ был обезглавлен, и несколько раз обезглавлен. Затем он был развращён идеологией коммунизма, коммунизм отбивал всякую инициативу, хоть хозяйственную, хоть в чём-нибудь проявленную. Даже те, кто хотел хорошо работать, — и те были не нужны. Нужны были послушные рабы. Вот это всё вместе, процесс уничтожения и процесс подавления, и прохождение через десятилетия жестокой смертельной жизни, конечно, изменили характер нашего народа. Конечно, что-то в сегодняшнем нашем народе осталось от прежнего, а что-то совсем новое. И очень разного качества. И это одно с другим борется.

Бернар Пиво. *Теперь другой вопрос, который вам поставил писатель, родившийся в России, но пишущий на французском языке, посвятивший многие свои книги жизни царей и великих писателей, — Анри Труайя.*

(Включается телеэкран.)

Анри Труайя. *Дорогой Александр Солженицын, вы хорошо знаете, глубоко знаете возможности русского характера. Думаете ли вы, что после трёх четвертей века коммунистической диктатуры подавления, полиции, культа личности и, самое худшее, государственного общего попечительства — ваши соотечественники пойдут на риск личной инициативы, частной ответственности, конкуренции и вообще битвы за существование? Думаете ли вы, что они смогут*

справиться также с опасностями, трудностями, рифами, которые подстерегают на пути к демократии?

Да, у нас десятилетиями уничтожали всё инициативное в народе, всё думающее, всё идущее. И сейчас, например, землю можно брать, можно бы фермерам работать, а люди уже не идут, не рискуют. Потеряны возможности, потеряны способности, потеряна эта страсть к земле. У некоторых сохранилась, а у многих уже нет. Так же и в предпринимательстве. Мы обескровлены. Но, к сожалению, сейчас ещё наложилась очень тяжёлая, развращающая обстановка в нашей стране. Именно: трудно представить себе в истории такой феномен, чтобы огромное национальное достояние богатой страны — которое формально считалось государственным, фактически принадлежало коммунистической партии — вдруг стало бесхозным. И немедленно жулики и скорохваты начали воровать это национальное достояние. Пока честные люди, вот те, о которых Труайя спрашивает, пока они начнут честный бизнес, честное предпринимательство, — тем временем произойдет страшное стремительное разграбление страны. В условиях, когда у нас законодательной власти почти нет, исполнительная власть слабая, судебная власть ничего не делает и спит, — воровать можно сколько угодно.

Бернар Гетта. *Меня в вашем ответе что-то поражает. Вы крестьян сейчас в пример приводите и, совершенно очевидно, правильно говорите. Но с коммерсантами и торговцами должно быть ещё труднее, потому что крестьянская традиция хотя бы была, а торговцев не существовало в России до революции, не было. Может быть, я ошибаюсь?*

Вы жестоко ошибаетесь. Мне на днях задали такой вопрос: «Есть ли смысл России перенять рыночную систему с Запада?» Я ответил: «Нам не надо её с Запада перенимать. Она у нас в России процветала.» Россия дореволюционная была полна деловой инициативы, свободы выбора деятельности и занятий. У нас цвела торговля, цвела промышленность. К сожалению, у нас тех людей не осталось, выморили.

Бернар Гетта. *Это не совсем так. То есть было, было, но только перед самой революцией.*

Скажем, двадцать лет до революции. Двадцать лет — это уже срок, правда? С конца XIX века и до 1917 года. И когда большевики объявили свой лживый НЭП, так стоило им только сказать «объявляем» — мгновенно вся коммерция пошла. Ещё были навыки, были люди. А вот сейчас: «объявляем» — а идут только воры и взяточники.

Бернар Гетта. *Единственное, что я хотел сказать: конечно, легче для такой страны, как Китай, с вековой коммерческой традицией, вернуться к ней, чем России, которая знала коммерцию только в течение 20—25 лет до революции — и потом всё исчезло.*

Двадцать лет до революции — это я говорил о широком развитии рыночной жизни, а русское купечество существовало уже в XVI веке. То есть пять столетий. Те купцы торговали с Китаем, и с Дальним Востоком, и на Аляске они были, и в Калифорнии они были, русские купцы, и по Северному Ледовитому океану плавали, и с Индией торговали, и с Персией. Всё это было, пять столетий.

Бернар Пиво. *Я с более наивным вопросом. Сделаем вид, как будто я вас не читал, и вот вас спрашиваю. Наш телезритель видит, что Россия сегодня — это хаос, коррупция, и не только в торговле, не только повсюду в политике, но и в душах. Что, например, когда московских школьниц спрашивают, кем бы они хотели стать, то на первом месте, отвечают, «звездой», а на втором — проституткой. То есть действительно имеет место ужасное развращение человеческих отношений. Французский телезритель видит это, и он в ужасе, потому что он этого не ожидал, и даже политические деятели недооценивали этот хаос, экологический, культурный и нравственный. И вот вопрос мой такой: вы многое сделали для того, чтобы разрушить коммунизм, но стоило ли делать это? Я считаю — да, стоило, но для молодых телезрителей это вопрос.*

Да, такой вопрос ставят и советские люди более пожилого возраста. Я такие письма тоже получаю. Стоило ли? Не только стоило, а стоило бы гораздо раньше его разрушить. Чем раньше бы его разрушить, тем меньше бы мы пострадали. А длись он дольше, мы превратились бы вообще в обезьян. Вот ужас, о котором вы говорите, с молодёжью, — ещё бы я не знал, конечно, знаю. Так сейчас и стоит настоящая проблема России. Её пытаются решить экономически, политически, а на самом деле она нравственная. На самом деле опошленная, погубленная, развращённая часть народа может задавить здоровую часть, прежде чем та сумеет укрепиться и стать народом. И будущее России — в этом поединке больше, чем в деталях того, как будет построена конституция и каким именно образом будут идти экономические реформы.

Жан-Клод Казанова. *Но есть ли надежда на победу нравственности?*

Не надо забывать и о собственно жизненной силе. Вот, бывает, завалят траву строительством, железными балками — и травы не видно, и она, как будто, уже навсегда задавлена. Но проходит год, два — и не видно тех балок, а всё заросло живой травой. Сама жизнь так идёт. Здоровое в жизни не умирает никогда, оно всегда движется. Вот на это надежда.

Бернар Пиво. *В нравственном оздоровлении России, которое должно сейчас начаться, какова роль религии и церкви православной.*

Церковь больше всего пострадала, поскольку она — некая организация, и как таковую большевики особенно её давили, эксплуатировали, угнетали и разрушали. А религию выжигали из душ, действительно выжигали из людей верующих, а потом не давали молодому поколению поверить, вели его ложным путём. Этот вопрос смыкается с тем, который месье Казанова мне задал: победит ли нравственность или не победит. Да, нравственность нуждается в религии. Даже такой атеист, как Наполеон, говорил: «Государство без религии — как корабль без компаса.» Религия, безусловно, нужна, но её нельзя насильственно насаждать, даже

нельзя усиленно пропагандировать. Она передаётся от одного человека к другому, как интимный дар, как медленное воспитание. Если даст Бог, этот процесс у нас пойдёт, если скажутся наши русские корни в этом, вот те корни, о которых меня спросил Жискар д'Эстен, тогда мы спасены. А если не скажутся — то нет. Это очень длительный процесс. Конечно, я и вижу свою цель — в нравственной области действовать.

Бернар Пиво. *Когда был избран нынешний Папа, вы сказали, что это — благодать Божья. А как вы представляете себе будущие связи между православием и католицизмом?*

То, что я сказал о Папе Иоанне Павле Втором, я могу повторить. Я считаю это великим счастьем, ничего другого добавить не могу. Но отношения между католицизмом и православием далеко вглубь уходят в историю, на несколько столетий назад. К сожалению, в течение веков католицизм не признавал православие равной христианской религией, а считал его как бы второстепенной сектой. Православие никогда не вело активного обращения католиков в православную веру, а католики вели активное обращение православных в католичество. Так создалась тяжёлая история Брестской унии 1596 года. Уния была, во-первых, насильственна, помещики просто насилием заставляли своих крестьян принять эту унию. Во-вторых, она была по сути цинична, никому не было дела до самой веры, а только подчинитесь административно Риму — и всё... Конечно, каждое злое действие потом встречает когда-то и ответ. При Сталине начали, наоборот, униатскую церковь гнать и разрушать. Но есть более страшный пример, его приводить — сердце кровью обливается. В 1922 году в Советском Союзе началось бешеное гонение на Церковь. Арестовали Патриарха, арестовывали и расстреливали митрополитов, убивали священников, громили храмы и грабили церковное имущество. И в этот момент кардинал Гаспари встретился с Чичериным в Генуе и сказал: «Мы, католики, готовы вам помочь построить религиозную систему.» А другой кардинал тогда же сказал публично: «В СССР никакого преследования религии нет.» Вот когда до та-

кой крайности доходит — это ужасно. Я считаю, что сегодня в мире христиане все должны быть заедино, а не в соперничестве; у католиков много повсюду упущенной паствы, и лучше бы католикам заниматься её спасением, а не смотреть на Россию как на пустыню, которую надо стараться занять под католицизм.

Бернар Пиво. *Считаете ли вы, что русское государство должно остаться светским, — конечно, открытым и относящимся к религии терпимо, но светским?*

Да, государство и Церковь не должны сливаться. Государство должно быть светским. А религии должны иметь свободу.

Бернар Пиво. *Деталь? — может, это не такая уж и деталь. Морис Клавель, он сейчас скончался, католический писатель, он всегда считал, что если нынешний Папа был избран — то это благодаря той роли, которую сыграли вы. Из-за того, что вы взбудоражили всех, и французскую Церковь, и немецкую Церковь, именно из-за этого появился польский Папа. Но проверить этого нельзя.*

Тут я меньше всего могу помочь.

Андре Глюксман. *Сегодня в Иерусалиме возрождается надежда на мир. И когда я читал вашу речь в Лихтенштейне, да и раньше вы много писали — о самоограничении, о том, чтобы не расширять свои желания несоразмерно, мне захотелось спросить вас: а не видите ли вы это самоограничение в том рукопожатии, которым обменялись арабский и израильский лидеры? Не совершают ли они это самое самоограничение — в надежде на мир? То есть все эти религии как раз могут встретиться на почве вашего принципа самоограничения?*

Я думаю, вы очень правы в вашем рассуждении. После пятидесяти лет вражды и кровопролития на Ближнем Востоке сегодняшние события действительно дают луч надежды. Вы знаете, что с обеих сторон — масса недовольства, даже проклятий, мол, не надо было этого делать, — своих лидеров каждый осуждает. Тем

не менее — да, вот таким-то путём: умерить себя; имея права, отказаться от какой-то их части и открыть дорогу другим, — то есть путём самоограничения только и можно вообще строить человеческое общество, жизнь на земле. Совершенно правильно, я с вами согласен полностью.

Бернар Пиво. *Что вас характеризует в политике — что вы враждебны любой революции; само собой разумеется, революции 1917 года, но и любой революции вообще. Так вот, считаете ли вы, что происходящее в течение двух лет в России является революцией? Я ставлю вам такой вопрос вот почему. Перечитав сейчас «Как нам обустроить Россию?», я был поражён вашими тогдашними предостережениями. Вы говорили, конечно, что нужно идти от коммунизма к демократии, многое изменить, убрать Союз, трансформировать, пересмотреть отношения национальностей, но вы говорили, что не нужно делать это сразу, в одночасье. И предупреждали, что произойдёт, если делать это в одночасье. Так вот, может быть, мы сейчас находимся именно при такой ситуации?*

Я действительно всегда говорил, что с крутого обрыва автомобиль не может спрыгнуть в долину, он должен по виражам, по виражам, тормозя, медленно, медленно спуститься. Я говорил, что мгновенный переход к свободе и демократии невозможен, он губителен будет для России, можно расплющиться и погибнуть. Меня за это обвиняли, дескать я сторонник авторитарной власти. Но у нас произошла не революция, у нас разразился просто хаос. Революция — это когда поднимаются массы народа, с оружием обычно, насильственно что-то менять, переворачивать. Наш народ живёт сейчас в потерянном состоянии. Он не понимает, что происходит, он только видит, что происходит ужас. Люди, всю жизнь тяжело работавшие и накопившие на старость, — оказались безо всего. Инвалиды войны, которые жизнь клали, — оказались наголе, голые. Это разве революция? Народ в недоумении, в растерянности. Нет, это не революция.

Бернар Пиво. *Вы как будто сожалеете, что не*

было революции, что люди не взяли дела в свои руки, то есть не поднялся народ?

Нет, извините. Я — враг революций, я совсем не хотел кровавой революции по свержению нашего коммунизма, почитайте, я писал так ещё пятнадцать лет назад, — и я рад, что коммунизм без революции от нас ушёл. Но надо было от коммунизма разумно переводить политическое и экономическое состояние страны. Вот этот внезапный хаотический переход, когда просто-напросто коммунисты пересели в другие кабинеты и стали владеть коммерческими организациями, чей капитал наворован за счёт национального достояния, — вот это ужасно. А народ внезапно оказался в нищете. И вместо того, чтобы развивать производство, его удушают.

Бернар Пиво. *И всё-таки, какую демократию вы можете предложить людям, которые голодны и которые видят, что преступники овладевают ситуацией?*

Какую демократию предложить сегодня? Это не так просто. В той моей статье, о которой сейчас говорили вы и наши собеседники, я писал, что демократия должна строиться медленно, постепенно, снизу вверх. Сперва — демократия малых пространств.

Андре Глюксман. *Но можно ли было выход из коммунизма осуществить лучшим образом?*

Именно можно было. Ещё в послевоенные 40-е годы, в московских тюрьмах, мы это подробно обсуждали. Мы, конечно, понимали, что коммунизм лопнет, но выход из него — очень опасен, так вот — как выходить? Там были в камерах люди старших поколений, с огромным жизненным опытом, и знанием обеих систем, и они говорили: нужно, чтобы вся система начала оживляться снизу. То есть: мелкое землевладение, мелкий бизнес, мелкие ремонтные мастерские, обслуга. Через год-два люди сыты, одеты, обуты. А затем оживляется средний бизнес, потом выше. Это и есть — спуск по виражам, не сразу прыгать.

Бернар Пиво. *Может ли в России вернуться к власти коммунизм?*

Нет, пути коммунизма уже закрыты. Но с коммунизмом не покончено в том смысле, что коммунистические кадры, поменяв амплуа, продолжают нами управлять. А мышление-то у них осталось коммунистическое. Я доверяю только тем, кто лично и вслух покаялся.

Бернар Пиво. *Как вы оцениваете помощь Запада бывшим коммунистическим государствам?*

Я не сторонник западной помощи России, новых займов. Мы должны сами преодолеть свои недуги. А если мы всё время будем получать милостыню, мы никогда не станем на ноги.

Бернар Пиво. *Существует опасение, что ваш возврат в Россию укрепит русских националистов.*

Да, пугают: «Вот Солженицын приедет — будет что-то страшное, он возглавит партию шовинистов.» Эти испуги — от порочности мышления: «левое — правое», «или левое — или правое». А ви́дение событий и людей должно быть объёмное. Сам я в своих действиях и решениях не могу считаться с тем, кто, что и как подумает. Я действую только по своему сердцу и разумению: что полезно для России.

Бернар Пиво. *Но вы не оставите художественной, писательской работы?*

Конечно, нет. Хотя общественная жизнь будет занимать у меня в России много времени, но я имею обыкновение ловить и самые маленькие промежутки времени для работы. Мне приходилось писать и в лагере, на каменной кладке. А теперь уж больших вещей писать не собираюсь, да и трудно начинать их в семьдесят пять лет. А вот маленькие рассказы хочу писать. Меньше, чем «Иван Денисович».

Бернар Пиво. *По каким мотивам вы приняли решение участвовать в торжествах в Вандее?*

Когда я получил приглашение участвовать в торжественном открытии памятника крестьянскому восстанию в Вандее, у меня не было ни минуты колебаний. Русские люди испытали в Гражданскую войну

несколько таких Вандей, коммунисты танками и отравляющими газами уничтожали наших крестьян. В Вандее я одновременно отдаю честь и Тамбовскому крестьянскому восстанию, и Западно-Сибирскому, Донскому казачьему... Может, и у нас, когда мы побогаче станем, памятники такие поставят. Я — враг революций. Революцию — осуждаю всякую. Если французы живут, как сейчас, — то благодаря Термидору. А без Термидора было бы у вас как в России под большевиками. Революции не выпрямляют ход истории, а только делают его ухабистым.

Андре Глюксман. *Какова ваша оценка мировой перспективы?*

Если мы пережили страшные тоталитарные режимы — Ленина, Сталина, Гитлера — это вовсе не означает, что теперь спокойствие снизошло на планету. На Земле — есть много отдельных самостоятельных миров, и сегодня они уже проявляются. Несомненно, Двадцать Первый век будет сложнее Двадцатого — в поиске жизненных решений.

Бернар Пиво. *У меня традиционный вопрос, которым я всегда заканчиваю эту передачу: если Бог существует — что бы вы хотели услышать от него?*

Снимаю с вопроса «если»: Бог — существует! Но мы не разговариваем с Богом, мы только ощущаем его присутствие, Господь всё время посылает нам энергию жизни. Я бы только — просил Его простить мои грехи.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ФИГАРО»

(Интервью ведёт Франц-Оливер Жисбер)

Париж, 19 сентября 1993

Такое впечатление, что конец XX века несколько ослаб в культурном отношении. Как вы объясняете, что конец века таков?

Я бы сказал, что этот процесс начался уже в XIX веке и весь XX век неуклонно шло обеднение в области высоких понятий и высоких чувств. В конце века эта неожиданная пустота лишь стала очень видна.

Это обеднение всё-таки не связано только с авангардизмом, модернизмом?

Нет, это явление отнюдь не только в искусстве. Оно — в общем нравственном состоянии человечества.

Что вы более всего ненавидите в современной цивилизации и культуре?

Я слово «ненависть» не употреблял. Скорей здесь чувство сожаления и сочувствия.

Презираете?

Нет, не презираю. Это чувство сожаления и сочувствия.

К кому и к каким явлениям?

Вот к тому, что люди в суете жизни потеряли связь с высокими ценностями, которые выше нас. От этого и растерянность.

А как вы относитесь к самой новейшей музыке?

Органически не могу её понять.

А абстрактную живопись?

В абстрактной живописи есть разные уровни и разные достижения, о которых можно говорить.

Вы находите интересной абстрактную живопись?

Во всяком случае, там бывает над чем подумать и на что посмотреть. Но моя область — литература.

Вас считают самым крупным писателем второй половины нашего века. Из современных писателей кого вы больше всего уважаете?

Я бы остерёгся строить сейчас какую-то иерархию — кто выше, кто ниже. Это и вообще упрощённый подход, но к тому же я не считаю себя специалистом по современной литературе. Обстоятельства жизни держали меня двадцать-тридцать лет очень пристально на истории России: я должен был углубиться в те источники русской истории, которые уже потом, ещё через двадцать лет, может быть, никто не подхватит. Я сосредоточился на них. Нельзя себе представить огромную гору исторического материала, которую я должен был прочесть. И для того чтобы утром я мог вести работу, я каждый вечер допоздна все ещё рассматривал мемуары и источники.

Вы работали с которого часа и до которого?

Я рано встаю, с семи часов утра я уже всегда за столом.

И когда вы его покидаете?

Когда спать ложусь, просто к вечеру идёт второстепенная работа по подготовке.

До которого часа вечером?

Ну, до десяти, до одиннадцати.

Вы сказали, что слово правды весь мир перетянет. Считаете ли вы, что кто-нибудь сейчас высказывает это слово правды?

Несомненно высказывают, и многие, но, к сожалению, человек так устроен, что он обычно на самое веское, самое важное слово не сразу отзывается.

Нового Давида вы видите?

Увидеть это проще, уже обернувшись в прошлое; в современности всегда видно труднее.

Вы пробили лоб Голиафу, который сейчас лежит ниц. Как вы теперь будете жить, мыслить, не имея перед собой Голиафа—коммунизма?

Я думаю, этот вопрос относится не только ко мне, но и к миллионам людей в мире, в том числе и на Западе. За время холодной войны люди привыкли к синдрому «иметь врага», и некоторые сейчас, может быть, растеряны. Но давняя мудрость состоит в том, что главный враг человека — он сам, и главный враг всякого общества — оно само, это общество.

Коммунизм-то вы победили, но он был вашей неотступной мыслью все эти годы. Продолжаете ли вы думать о нём?

Я думаю не о коммунизме сегодня, а об остатках коммунизма, которые сохранились в сознании людей и в структуре общества российского. Для меня гораздо бóльшая забота — новое, очень трудное, тяжёлое состояние России. Но если уж говорить не обо мне, а в самом общем виде, для человечества, то я думаю, что полного ликования от того, что пал коммунизм, следовало бы избежать, вот почему. Потому что коммунизм давал совершенно ложные, обманчивые ответы на совершенно справедливое негодование людей. Слава Богу, советский коммунизм разбит. Ещё в десятке стран он пал. Сегодня прямой опасности коммунизма для человечества нет. Но те несправедливости, та безмерная алчность наживы, которая не считается с людьми, они, к сожалению, остались, и если человечество не начнёт перерабатывать в себе эти пороки, то никто не может поручиться, что в XXI столетии в какой-нибудь другой части планеты не возникнет нечто подобное коммунизму.

Вопрос: если коммунизм пал, кто враг теперь?

Я только что ответил на этот вопрос. Не надо непременно жить в поисках внешнего врага. Христианская религия учит нас бороться прежде всего со злом внутри самих себя.

Что вы скажете об исламском интегризме?

Скажу, что надо смириться с тем, что человечество

развивается не единым потоком, а отдельными областями, отдельными культурами, у которых свои закономерности в развитии. Это впервые было отмечено Николаем Данилевским в XIX веке в России, потом, на переходе к XX веку, Николаем Трубецким, но не было усвоено до тех пор, пока эту же идею не провёл Освальд Шпенглер, а за ним Арнольд Тойнби. Поскольку эти культуры, эти огромные, часто замкнутые миры, развиваются не по единой команде и не по единому закону по всей Земле — то в разное время они возвышаются, усиляются, потом, наоборот, ослабляются и падают. Сегодняшнее усиление ислама, исламского фундаментализма, — яркий пример этого феномена. Не стану предсказывать, как именно будет развиваться дальше ислам. Картина XXI века вообще будет очень сложной в этом отношении. Могут быть вспышки и других культур: восточных, дальневосточных, может быть даже африканских. Ясно только одно: как бы ни усилялся ислам сейчас, ни одна из крупных мировых религий, даже если она временно ослабла, не исчезнет и не перестанет существовать. В этом разнообразии мира состоит его высшая красота.

Отчего, собственно, умер коммунизм? Не думаете ли вы, что он давно уже был мёртв?

Коммунизм был исторически обречён от самого своего рождения, он противоестественен. Он держался на невероятном кровавом насилии внутри, — в СССР он уничтожил до шестидесяти миллионов человек своего населения, — и на ловкой демагогии вовне, которая воспринималась Западом восторженно. Западная интеллигенция 20—30-х годов почти молилась на Советский Союз, как на достигнутый рай на земле. И тут есть глубокие корни. Потому что коммунизм есть крайняя болезненная поросль из гуманизма. Карл Маркс однажды весьма обоснованно сказал: «Коммунизм — это натурализованный гуманизм.» На сочетании вот этих двух столпов — насилия внутри и обмана наружу — коммунизм продлил свою жизнь необыкновенно. Семьдесят лет — ведь это огромный исторический период. Но коммунизм был обречён. И по иронии истории он лопнул на том, на чём строилась вся его теория: на экономике.

Каких представителей интеллигенции вы упрекнули бы больше всего, кто больше наделал зла?

Я не стал бы выделять имён, но просто все светила, западные светила 20—30-х годов, начиная с Ромена Роллана, все они послужили этому. Например, в 1930 году Запада достигло первое публичное объявление, что в СССР расстреливают 48 ведущих деятелей пищевой промышленности, якобы за вредительство. И невозможно было, очень трудно было собрать хоть маленькую группу подписей протеста западных интеллектуалов. Они говорили: «Наверное, что-нибудь есть. Не зря же расстреливают.» Конечно, не зря: коммунисты довели страну до голода, им надо было на кого-то свалить. Расстреляли 48 человек, которые вели питание в стране.

Доверяете ли вы Борису Ельцину?

Ельцин опрометчиво выбрал команду, с которой делать реформу. Не так давно он заявил: «У нас не было времени выбирать лучший вариант, надо было скорей начать реформу.» Но это страшно. Страшно — начинать реформу такой огромной страны, не выбрав лучшего варианта. Его команда, команда Гайдара, была заворожена диктатом Международного валютного фонда, который никогда не встречался с таким феноменом, как сейчас в России, и понятия не имеет, как с этим справиться. Ничего подобного нигде на Земле не происходило: чтобы столько лет была тоталитарная диктатура и чтобы столько поколений инициативных людей было уничтожено. И вот гремят указы: с одной стороны — указы Президента, с другой стороны — законы Верховного Совета, и никто их не выполняет. А тем временем происходит громадный разграб национального достояния, а судебная власть дремлет и бездействует.

Вас беспокоит, что капитализм захлестнёт Россию?

Не капитализм. Рыночная экономика, инициативная рыночная экономика в России существовала отличным образом и до революции. По промышленному развитию Россия уже была на четвёртом месте в мире. А зерном она кормила всю Европу. В России была полная

свобода личной инициативы и экономической деятельности. Но то был производственный капитализм, создавались ценности. В том-то и дело, что сегодня в России «капиталисты» ничего не создают, только воруют.

Можно ли ещё верить в возрождение России?

Я по природе своей оптимист, я действительно всегда верю в лучшее, не унываю в самых тяжёлых ситуациях. Я надеюсь, что Россия возродится. Но рационально я этого обосновать не могу.

Вопрос культуры. Канцлер Коль сказал, что, несмотря на коммунизм, в Восточной Германии было больше культуры, чем в Западной: там больше читали, все играли на каком-нибудь музыкальном инструменте. Что вы думаете? Коммунизм не разрушил культуру, а Запад эту культуру разрушил?

Когда сравнивают Россию с Западом, вопрос почему-то всегда строится только в плоскости экономики и политики. Экономику переймут? политический строй переймут или нет? Но национальный организм — сложный, живой и многообразный. В нём таятся традиции веков, миропонимания, народного характера, уклада жизни. И при тех же самых экономических обстоятельствах, и при сходном политическом строе — страна может выглядеть совершенно иначе. Так вот потому, что национальная культура, национальный быт состоит из многих этих граней, их нельзя сводить только к экономической и политической плоскости. У нас была великолепная культура, потом она была жестоко подавлена и искорёжена. Можно надеяться, что она возродится. Сегодняшняя безумная оргия наживы мешает развитию культуры. Конечно, надо признать, что положение России сегодня очень тяжело, и материально, и, даже ещё более, морально. Я и сказал, что не беру на себя роли пророка. Я могу только высказывать свою личную надежду.

Но всё-таки есть ли опасность от Запада для того, что в культуре осталось? Я думаю, культура не была разрушена коммунизмом, как вы только что сказали. И не был создан некий Homo Soveticus.

Нет, культура была разрушена, культура была основательно разрушена. И сегодняшняя опасность для нашей культуры — не от Запада, а от того, что творится в самой России, потому что выходим мы из коммунизма самым тяжёлым путём, крайне несчастным путём. Лёгкого не могло быть, но всё-таки среди тяжёлых есть более и менее тяжёлые. А вообще надо считаться с масштабами времени. Наш народ, и наш дух, и культуру уничтожали 70 лет. Было бы нереально ожидать возрождения в каких-нибудь 10 лет.

Такое впечатление, что вы не приросли к Америке, не получилось. Любите ли вы Америку?

Американская политическая жизнь могла меня захлестнуть мгновенно. Меня только ещё выслали из СССР, как я получал в Цюрихе десятки телеграмм — приглашения от сенаторов, от конгрессменов ехать в Америку и выступать. Я не поехал. Когда я только переселился в Америку, да и все годы там, я получал сотни приглашений делать доклады, читать лекции, ехать на симпозиумы, на конференции. Но я понимал, что это для меня гибель. Если я этим займусь — я как писатель кончен. Поэтому я всем отказывал, решительно всем, и в политическую жизнь Америки сознательно не вошёл. Моё общение с Америкой был Вермонт. В Вермонте у нас были очень тёплые отношения с местными людьми. В Вермонте я наблюдал вот ту самую демократию малых пространств, которую я так люблю.

Есть ли у вас американские друзья?

В Вермонте у нас и друзья.

Нескромный вопрос: много ли вы молитесь?

Я считаю, что это вопрос совершенно не для интервью.

Я был уверен, что вы так ответите. Простите. С каким писателем хотели бы вы, чтобы вас сравнивали?

Мне в голову не приходила такая мысль. Сколько писателей — столько творческих методов, сколько писателей — столько стилей. Я не верю в направления, но я верю в ученичество. Действительно, каждый пи-

сатель у кого-то учится и кому-то следует в чём-то, вовсе не целиком, а в чём-то.

Какой всё-таки писатель произвёл на вас наибольшее впечатление? Которое определило вашу литературную судьбу?

Вы хотите, чтобы я перечислил 10—15 писателей? Пушкин, Лермонтов, Алексей Толстой (не путайте, пожалуйста, не советский), Достоевский, Лев Толстой, Булгаков, Бунин. У поэтов тоже я учился, хотя я и не поэт, здесь и Ахматова, и Цветаева. Я не вижу возможности всех перечислить. Можно ещё другие имена называть, Замятин. Многое на тебя влияет из живого течения литературы. Перечисление имён ничего не даёт, только пестрит.

Какую из ваших книг вы предпочитаете?

Всегда ту, которую я пишу в данный момент.

А какую вы меньше всего любите?

Пьесу «Свеча на ветру». Потому что я взял ложную задачу. Я думал: может, сумею написать вещь, которая не будет задевать советскую цензуру, и вместе с тем будет отражать действительные процессы в человеческой душе, в современном мире. Для этого я придумал обстановку в неизвестно какой стране и пытался разместить там современные проблемы. И был наказан за то. «Неизвестно в какой стране» писать нельзя. В той пьесе я потерял русский язык. А без русского языка ничего не получилось.

Вы исключительно храбрый человек. Но был ли какой-то момент в вашей жизни, когда вы испугались? испытали чувство страха?

Я испытал чувство невыносимой боли, когда, по глупому стечению обстоятельств, в 1965 году часть моего архива попала в руки КГБ. Я не испугался, потому что я был готов к тюрьме и к смерти всегда, постоянно, каждый день. Но я представил, что благодаря этому провалу я погублю всё то, что я держу в памяти, всё то, что уже собрал от сотен людей, — всё это погибнет. Этот тяжёлый момент я описал в «Телёнке».

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ФОКУС»

(Интервью ведёт Стефан Заттлер)

Мюнхен, 7 октября 1993

Идеологические правительства, — как национал-социализм в Германии, фашизм в Италии, — были побеждены военной силой, и их страны были освобождены. Но социализм советской чеканки, другой идеологический режим, рухнул сам по себе, и нет опыта, как выйти из социализма разумным путём.

Совершенно верно, опыта нет, зато есть очень много назойливых советчиков.

Ельцин заявил, что будут выборы. Есть ли уже у вас в России партии и возможно ли уже теперь провести выборы?

Выборы, очевидно, раз назначены, то и состоятся. Но что это будут за выборы, весьма сомнительно. Партий действительно множество, все они слабые, ни одной нет сильной и с ясной программой. Но самое главное, что наш народ имеет слабое правосознание, не имеет полного ощущения своих прав, и как ими правильно пользоваться. Сейчас все партии хотят проводить выборы по партийным спискам. Это значит, что люди будут голосовать не за конкретного человека, не за конкретного кандидата, а вот за эту партию, а уж партия сама назначит, кто будет представлять данную местность. Я не раз высказывал своё твёрдое убеждение, что такая система — ложная и вредная. Я считаю, что избирать можно только личных кандидатов, по личному доверию избирателей к этому человеку. А для этого выборы должны идти поступенчато. Сперва научиться выборам в малых пространствах. Получив опыт, перейти на следующую ступень. И только потом могут произойти разумные выборы вверх. Кро-

ме того, при такой системе устраняется скрытое влияние крупных денежных капиталов на выборы. Оно не должно иметь места никогда. Путь этот, конечно, будет для нас длинный. Срок нельзя указать.

На Западе считают необходимыми прежде всего экономические и административные реформы в России. Но не вернее ли было бы взглянуть так, что первостепеннее всего проблема конституции? Создание конституции. Ситуация, которая у вас в 1917 году была: никто не видел государственной проблемы конституции.

Когда народное правосознание ещё не развилось, форма конституции играет третьестепенную роль. Прежде должен создаться гражданин, а потом гражданское общество, — не наоборот. А гражданин может создаться только, если он имеет права частной собственности, и если его гражданские права ограждены, над ним не может быть насилия. Очень наглядно видно, как Ельцин потерял все преимущества своего апрельского референдума тем, что три месяца возился с конституцией — и зря. На самом деле вопрос конституции упирается в вопрос федерации. Пока регионы не будут устроены рационально, никакой центральной конституцией дело не спасти.

Вы имеете в виду создание других границ?

Нет, я имею в виду административные принципы построения. В России была всегда естественная административно-территориальная система. Ленин ввёл искусственную систему, при которой многими регионами управляет национальное меньшинство. И пока не будут перестроены регионы так, чтобы живущее там население было представлено во власти на демократической основе, — пустое дело заниматься конституцией.

Вы выступили с докладом в Академии Философии в Лихтенштейне, а также во Франции в связи с открытием памятника жертвам Вандеи, и ваши мысли вызвали в кругах либеральных левых раздражение. Как вы реагируете на их критику?

Я исхожу из того, как я понимаю предмет и что я считаю важным и нужным сказать. Исходить же из расчетов, кому мои взгляды сегодня понравятся, кому не понравятся, — для меня невозможно. Тем более не моя задача — отвечать на многочисленные газетные и журнальные отклики и рецензии.

Вы знаете, что среди западных левых существует образ «плохого» Солженицына, который и шовинистический великоросс, и противник Просвещения, и в связи с демократией ему нельзя доверять?

Вот как раз пример той монотонной критики, на которую я никогда даже не отвечал. Это совершенно поразительное явление: в десятке стран, во многих сотнях отзывов и рецензий написано именно то, что вы сейчас сказали, и даже резче. При том не приводят ни одной цитаты в подкрепление или в иллюстрацию их утверждений. Они не дают себе труда прочесть мои книги — им много пришлось бы читать, а просто, как попугаи, друг за другом повторяют, переписывают из статьи в статью, дословно. Почти как анекдот можно рассказывать: когда я опубликовал «Письмо вождям» в 1974 году, где призвал, чтобы СССР ушёл из всех завоёванных стран, — западная пресса во главе с «Нью-Йорк Таймс» написала: «Солженицын — империалист.» Когда в 1990, три года назад, я первый предложил дать советским республикам свободу, и что надо уважать национальные стремления каждого народа, — западная пресса отозвалась: «Солженицын не может расстаться с имперской идеей.» Это либо сознательно низкие приёмы борьбы, либо глупость, а с глупостью невозможно дискутировать.

Мы получили сообщение, что снят почётный караул у Мавзолея Ленина. Я уже с путча 1991 года не понимал, почему ваше руководство сохранило Ленина.

В том-то и дело, что коммунизм проедал наше тело 70 лет. Освобождение от него — очень мучительное и долгое. В августе 1991 года к власти пришли всё те же коммунисты, только принявшие некоторые демокра-

тические лозунги, они не могли решительно бороться против оставшегося коммунистического влияния. Снятие караула у Мавзолея — это хороший шаг. Но ещё вся Россия заставлена памятниками Ленину, и весь язык засорён коммунистическими названиями.

Были так удивительны эти длинные абсурдные очереди... культ, арелигиозный, а может просто религиозный.

Я сказал: коммунизм 70 лет проедал наше тело. Это значит, старшему поколению он въелся в голову. Многие тысячи, если не миллионы, ещё продолжают чтить этот культ. Среди тех, кто идёт в Мавзолей, много и просто любопытных, это тоже надо учесть. Освобождение от коммунизма гораздо мучительнее будет для России, чем освобождение от нацизма для Германии. В Германии нацизм был всего 12 лет, и после него была проведена денацификация. У нас — 70 лет, и никакой декоммунизации ещё не начиналось. А наш Конституционный суд год тому назад признал, что Коммунистическая партия может существовать, кроме только своего Центрального Комитета. Так представьте себе, что в 1945 году в Германии решили бы, что нацисты могут существовать как партия, кроме только главного штаба гитлеровского.

Посткоммунистическая ситуация требует и новой духовной ориентации?

Мы в духовной ориентации давно нуждаемся, не от послекоммунистической эры, а от самого 1917 года.

Вы в своих произведениях очень ярко описали духовную коррупцию в Советском Союзе. Если в России теперь, после краха Советского Союза, существует интеллигенция, где же ей найти ту духовную основу, ту традицию, на которой можно построить новое? Должна быть эта субстанция, надо определиться, Запад или не Запад.

Наша интеллигенция находится в такой же растерянности, как и народ. Пересматривая состав видной интеллигенции, мы еле-еле можем на пальцах одной руки насчитать людей, которые были действительно

независимы при коммунизме. Когда Горбачёв дал гласность, интеллигенция семь лет не знала, что с этой гласностью делать, кроме как самовыражаться. Она не сделала того, что было совершенно естественно и необходимо: не повела штурма на коммунизм, а начались внутренние раздоры среди интеллигенции. А если говорить о второй части вопроса, то надо сказать, что западный плюрализм имеет, по-моему, недостаточную широту. На Западе есть такая уверенность, что западные ценности есть общечеловеческие ценности. На самом деле, в мире существует интегральный плюрализм, он включает плюрализм многих миров. Среди таких миров можно назвать Россию, Китай, Индию, Японию, мусульманский мир, Африку, Латинскую Америку, и ещё не все. Так вот, у каждого этого мира есть своя традиция, свой многовековой уклад, своя система мироощущения и взглядов, и надо с уважением признавать этот интегральный плюрализм. Для России не стоит вопрос так просто: перенять всё с Запада. Дело не в том, чтобы перенять, но правильно синтезировать западный опыт со своим национальным. Гёте и Лейбниц говорили, что совершенный человек получится тогда, когда сольются типы западного и восточного человека.

Ваша книга «Красное Колесо» — это книга о человеческой глупости, склонности к коррупции, ложной тактике и холодном цинизме маленькой группы людей.

Ну, это один из разрезов книги. Там гораздо больше слоёв.

Когда я читал вашу книгу — передо мной был сразу и Гомер, и Периклес, и Аристотель, и всё это в XX веке.

Мне трудно это комментировать.

А ваши более ранние книги были важны для меня тем, что вы были способны изображать злое, в то время как я жил в мире, где нет злого и доброго, но только новое и старое, и хорошим является только новое. Редко бывает, чтобы чи-

татель пришёл к мысли, которую автор сразу же и подтверждает. Это же счастливый момент.

Я не раз говорил, что в современном мире утеряны чёткие границы добра и зла, размываются они. И это очень опасное явление для всего человечества.

Кризис не только в бывшем Советском Союзе, но также и на Западе. У нас тридцать лет был прочный левый слой, а теперь, за последние два-три года, этот слой заколебался. Из философии XVIII—XIX веков они взяли свою правду, свою философию, свою основу, а теперь они больше во всё то верить не могут.

Я не стал бы здесь сейчас повторяться, только что в речи своей в Лихтенштейне я об этом много говорил.

Ещё один западный взгляд на Солженицына таков: он был в лагере, у него была смертельная болезнь, и он своей работой как писатель освободился от коммунистической идеологии. В чём же духовная основа ваша?

Духовная основа движения — всегда многообразна. Политический накал к разоблачению коммунизма я получил, конечно, в тюрьмах и лагерях. Я ужаснулся, сколько умов соотечественников наших погибло. И там, в лагерях, от ещё уцелевших я мог перенять духовное наследство. И понимал, что об этом нельзя мне молчать, я должен посвятить жизнь тому, чтобы об этом рассказать. Как сказано: «Пепел Клааса стучит в моё сердце.» А с другой стороны, мне удалось воспринять долю духовного наследства России отчасти через воспитание в юности, отчасти от этих самых моих сокамерников, то есть тех, с кем я сидел. А после лагеря уже мне удавалось иногда читать книги высланных русских мыслителей, в 20-е годы высланных. Изо всего этого вместе и выросла духовная основа.

Теперь в Россию вернётесь ли вы как победитель или вам предстоит новая борьба?

Мне, конечно, предстоит новая и трудная борьба. Маловероятно, чтобы я стал желанным гостем для сто-

ящих у власти. Очень возможно, что мне ограничат свободу выступлений.

Вы сказали, что сегодня в России живые люди страдают, надо им помочь. Вы можете помочь и как писатель, и как политически думающий человек?

Мне трудно сказать, в какой именно форме мне удастся помочь, но, во всяком случае, главный смысл моего возвращения в Россию состоит в том, чтобы всеми средствами, доступными мне, помочь.

ИНТЕРВЬЮ НЕМЕЦКОМУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКУ «ДИ ЦАЙТ»

(Интервью ведёт Фриц Раддац)

Мюнхен, 8 октября 1993

Господин Солженицын, ваша итоговая работа, с одной стороны, история, с другой — повествование, и притом сложное. Где видите вы баланс между чисто исторической, верней историко-повествовательной, работой — и художественным произведением? Тут совсем тонкая граница.

Действительно, соотношение исторического материала и художественности представляет сложную задачу в такой эпопее, как «Красное Колесо». Историю я должен был донести с большой тщательностью, особенно потому, что она у нас совершенно закопана и забыта. У исторических авторов прошлого времени был такой приём: для того чтобы описать известное историческое событие, искусственно помещался туда какой-нибудь из придуманных персонажей. Я нахожу этот приём неуклюжим. Я пошёл по другому пути. Никаких придуманных персонажей, которые болтаются между историческими, я не вводил. Описывая историческое событие, я беру своими основными персонажами те самые исторические лица, которые в нём участвуют. Персонажи придуманные у меня оттеснены на задний план, и они только передают атмосферу обычной нормальной жизни, которая продолжает течь. Потому и идёт в книге преимущественно исторический материал, что он и является главной задачей книги. А моя художественная задача — как можно глубже проникнуть в этих исторических лиц, изображая их изнутри, всех.

Вот вопрос: где этот «маленький бог» Солженицын начинает своё творчество? Где он — творец?

Каждую минуту на всём протяжении эпопеи, с каждым лицом — государственным или тем человеком с улицы.

Меняете ли вы психологию исторической фигуры или остаётесь целиком верны фактам? Поскольку каждый писатель — маленький бог-творец, — начинается это самое творчество уже в области психологии или только в области драматургии, распределения ролей, лиц?

И в том и в другом.

Вы создаёте сюжетную ситуацию: «царь заплакал» или «царица чувствовала себя плохо», то есть вы как писатель изменяете психологическую структуру?

Нет, сюжет определён историей, я его нигде не меняю, кроме только тех маленьких мест, которые историей не уточнены или просмотрены. Но психология действующих лиц редко в истории отмечена прямо, непосредственно, документально, и тогда это как раз место, где художник должен её открыть.

Тут очень сложный подход. Если это касается исторических политических деятелей, то вы можете изменить и нравственный портрет отдельных людей? Одних лиц морально возвысить, других принизить. Изменить тем, что в известном смысле вставить психологический механизм в структуру персонажа.

Я не вставляю психологический механизм от себя. Я всеми силами стараюсь открыть, каким он мог быть.

Мог! А мог быть и другим?

Конечно, я могу ошибиться, могло быть и иначе. Но ни в коем случае я ничего не примысливаю от себя: мол, пусть будет так, вот я хочу, чтобы персонаж так думал. Я целиком переселяюсь в него и стараюсь понять.

Понять, что идёт от исторической фигуры?

Да.

Это называют предположительной прозой. Такой метод имеет моральные и политические последствия. Вы хотите не только изложить политические события, но и истолковать? Но автор,

который попробовал, как часовщик, поставить часы по вероятному времени — моральному времени, политическому времени, — может добавить от себя исторические необходимости, которые таковыми не были.

Конечно, автор как живой человек не может не иметь своего отношения к тому, что описывает. Когда я пишу персонаж в момент его явно несправедливых или злых действий, у меня к нему какое-то отрицательное отношение, естественно, есть. Наоборот, когда он испытывает падение, проигрыш, — моё отношение к нему, тоже, естественно, окрашивается в сочувствие. Приведу пример. Милюков, который произносит в ноябре 1916 года знаменитую речь, явно построенную на лжи, — это один Милюков. И тот же самый Милюков, создавший Временное правительство, — он собрал его, он создатель, и вот они все его начинают обманывать и выталкивать, — этого Милюкова жалко, это другой Милюков. Это уже в четвёртом Узле, в «Апреле Семнадцатого».

Поскольку вы даёте исторические, политические и вытекающие отсюда моральные суждения, то эти суждения могут основываться на тех принципах, ценностях, которые вы сами создали.

Вы правы в том смысле, что освободиться от своей системы чувств я не могу. Но это вовсе не в ущерб изложению исторического материала. Наоборот, это может идти к выигрышу в изложении истории. Ведь я скрупулёзно, до малейших деталей, соблюдаю каждую историческую подробность. Я нигде не выхожу за их пределы. Историк, который то же самое напишет, не осветит это теплом чувства. С моим чувством можно спорить, но оно не борется с фактами, оно органично, как живая ткань, входит в историческое повествование.

В этом и проблема. И разница между литературой и историей: если вы передаёте свои чувства в произведении, тогда вы можете дать историческим событиям другую интерпретацию, то есть вашу собственную. Вы можете их переосмыслить.

Я повторяю. Художник обладает интуицией. Это не моя идея, не мой образ — что интуиция имеет туннельный эффект. Интуиция проходит гору насквозь туннелем и прямее всего схватывает суть.

Если и интуиция, и чувства ваши внедряются в то, что вы пишете, тогда ваши суждения о том, что такое революция, или, лучше, ваше осуждение революции, — это лишь ваша концепция.

Никто не закрывает возможности другому историку или художнику дать другую концепцию, но только не отойти ни от одной, даже крохотной, маленькой, детали. Он может не описывать их, но не должен им противоречить. Я утверждаю, что при той скрупулёзности, с которой я выдерживаю каждую мельчайшую точную историческую деталь, — почти невозможно построить другую трактовку. Место для фантазии будет только тогда, если факты расположены редко, между ними пустые пространства.

Приведу пример, который не относится к вам: Французская революция 1789. Там много фактов, но также и много пробелов. История есть нечто мистическое. И существуют совершенно различные интерпретации правоты и неправоты Французской революции.

Но описание российской Февральской революции, я утверждаю, первое у меня. Первое по времени, с опозданием в семьдесят лет, до сих пор просто не было вообще ни одного серьёзного. Я охотно допускаю, что, если в XXI веке кто-то возьмётся излагать эту историю, он попробует представить другую трактовку. Однако Французская революция имела трактовки, гораздо более близкие по времени. Они начались почти сразу после революции. У нас же получилось так, что события громоздились одно на другое. Октябрьский переворот, Гражданская война и потом Советская Россия заслонили Февральскую революцию, как будто её и не было. Потом была Вторая мировая война и всё сталинское время. И вот только через семьдесят лет — это первая трактовка Февральской революции и изложение её. Нам остаётся подождать того времени, когда появится другая трактовка, но только, повторю, с ус-

ловием, чтобы она не исказила никакую деталь и опиралась бы на не меньшую плотность фактов.

> Насколько ваша этическая система, нравственная система оценок, играет роль в изображении, изложении событий?

Я не считаю возможным, чтобы писатель работал, отбросив свои этические представления. В наше время писатель как бы потерял уверенность в своей способности убеждать и стал скользить к тому, чтобы превратить литературу в забаву. Либо, в другом повороте, заняться главным образом выявлением личности самого автора. В обоих случаях происходит измельчание литературы.

> Вы где-то цитировали Гоголя, весьма соглашаясь с ним, что долг писателя и его разум не должны служить забаве, но душе. Это кредо, это убеждение близко к вашему?

Я его сейчас только что изложил по-своему, как я сказал. Писатель не может отказаться от своих нравственных убеждений и не должен терять веру в силу своего слова, что его слово может убедить кого-то. Он не может опустить руки и пуститься в забавы.

> Главная сила ваших произведений, которые я считаю поэтическими, то, что они — вид проповеди. Но откуда у вас уверенность, что ваша этическая основа — правильная?

Писатель есть реальный комплекс своих убеждений и своих художественных способностей. Это единое лицо, его нельзя разделить. Писатель действует стихийно. Он не исходит из того, что уверен, что он «знает истину и дает её в единственном изложении». Гёте говорил: «Талант действует, как природа.» Упрекайте природу. Откуда у яблони убеждение, что она должна рожать яблоки? Двадцать тысяч лет стоят яблоневые сады и дают всё яблоки и яблоки. А есть, кроме того, сливы. А сливы дают свои сливы.

> Я протестую, ваша честь. Вы говорите о сознании яблока. У яблока нет сознания, тут разница.

Я применил слова Гёте, что талант действует, как природа. У природы есть разные ступени. Яблоня — это одна ступень природы, художник — другая ступень.

Но поскольку вы — не яблоко, и у вас есть сознание, то мой вопрос: когда сознание играет роль, которую можно и подвергнуть сомнению? Ваше этическое отношение к революции — критическое. У вас есть недоверие к любым революциям? Нельзя ли представить себе, что у революционеров, тех, которые подготовили революцию в XVIII столетии, или у Ленина, — тоже было этическое самосознание?

Отвращение к революциям родилось у меня совсем не из общих соображений, а именно из изучения нашей Февральской революции. И потом, я отказываюсь сравнивать роль сознания художника, убеждённость художника с убеждённостью политических деятелей. У политиков всегда однолинейность, у художника всегда объёмность. Сопоставлять их нельзя.

Люди, которые мыслят о революции, — не обязательно те, которые проводят революции. Маркс не был политиком.

Нет, Маркс был очень сильным политиком, острым политиком, и если вы почитаете письма Маркса и Энгельса, то вы увидите, что Маркс с Энгельсом действовали, как позже Ленин, бессовестными, бесстыдными методами.

Бакунин был хуже.

У того — свои пороки. И во всех случаях среди них мы не видим ни одного художника. Поэтому я думаю, что сопоставлять то, что я написал о Февральской революции, можно будет только с работой того художника, который после меня напишет это иначе. Но опираясь на ту же густоту достоверных фактов.

Я согласен с тем, что вы сказали о Марксе. И, конечно, Маркс не был никаким художником. Но он имел концепцию, идею. Как и в XVIII веке Вольтер или Руссо нашли только концепцию

революции, открыли её — из души, или из головы. Это тоже своеобразная этика.

Правильно. Но это всё было *до* революции, и потом прошло проверку на революциях, не весьма удачную. Нас в данном случае следует сравнивать с таким революционером, который может оправдать *уже происшедшую* революцию и доказать, что всё в ней было правильно... Уже революция произошла, и на её основании доказать. Потом вопрос: достаточно ли говорить о политической убеждённости революционеров, или всё-таки они должны также этически доказать свою правоту?

Не признаёте ли вы этическими представления, с которыми советская революция задумывалась? Я не имею в виду ГУЛАГ и тому подобное — но идеи, которые советские революционеры заранее своим умом подготовили?

Ленин ещё в дореволюционный период мог, например, бросать такие фразы в Швейцарии: «Конечно, мы сразу же повесим 800 помещиков.» Как только революция началась, он даёт телеграммы, до сих пор скрытые, даже в собраниях сочинений, сегодня их открывают. В первые месяцы революции: «Расстрелять.» «Расстрелять.» Расстрелять как можно больше, ни с чем не считаться. Я утверждаю, что *этических* представлений у него не было вообще. У него была только убеждённость, что, взяв власть, он может сделать что хочет. Он может строить так, как хочет. Создатель ГУЛАГа — совсем не Сталин. Создатель ГУЛАГа — Ленин, и во многом Маркс.

Я говорю не только о Ленине, я говорю о концепции революции, которая произошла потом в России. Распространяете ли вы ваше осуждение Ленина на всех, которые заранее обдумывали, создавали именно концепцию революции?

Нет, не распространяю. Нет. Многие действительно верили, что идут к светлому будущему. Но мы имеем право считать, что люди после революции обладают более основательным опытом, чем те, которые только планируют революцию, к ней идут.

Если говорить не о малом свете осуждаемой вами революции, но о свете надежды, — я говорю это метафорически, — как объясняете вы, что этот свет надежды очаровывал так долго, и лучшую часть человечества, и многих людей в России?

Верить в светлое будущее и верить в светлые чувства человека людям вообще свойственно. Но когда с XVIII века (а где и с XIX) стала ослабляться религия, то эта вера была перенесена исключительно на социальное устройство. С потерей религиозного чувства стал слабеть путь совершенствования отдельного человека, воспитания отдельного человека, и весь центр тяжести перенёсся на то, что вот перестроим общество — и тогда будет всё хорошо. С этого-то времени и пошли революционеры.

Откуда у вас убеждение, что религиозные представления столь положительны?

Религиозные убеждения веками держали человечество. Я сейчас сказал в своей речи в Лихтенштейне, что с того времени мы стали терять чувство целого и Высшего над нами. А от этого мы стали ложно истолковывать свободу. Свобода всё больше концентрируется на правах, моих правах, нежели на моём самоограничении. Как раз религия учила самоограничению. А сегодня мир страдает именно от отсутствия самоограничения.

Не вела ли христианская религия к страшным варварствам?

Религиозные убеждения в течение тысячелетий неизбежно, по ограниченности человеческой природы, испытывали дробления, расхождения друг с другом, это приводило к страстным спорам и даже войнам. Были также жестокие ошибки, того же католицизма, по усиленному внедрению или укреплению религиозного чувства. Так вот, эти явления, жестокости эти — они происходят от несовершенства человеческой природы, а не от несовершенства религии — христианской или какой-либо другой.

Почему вы различаете зверства, совершённые во имя завоевания Латинской Америки, и зверства, совершённые во время революции?

Нисколько не различаю. Просто я отдал почти всю жизнь русской революции. Это вовсе не значит, что я оправдываю, как, например, нынешние американцы истребляли индейцев, или как Англия через войну внедряла опиум в Китай. Просто не может хватить одного человека на то, чтобы все эти вопросы поднимать.

Вот мы дошли до вашего образа человека, вашего представления о человеке, вашей антропологической концепции. Я говорил в начале беседы, что воспринимаю ваши произведения как проповедь. Может ли, по-вашему, один человек влиять на другого человека при помощи литературы?

Да, я верю в возможность не только литературы, но и других средств искусства влиять на человека. В каждом человеке борется добро и зло. И литература имеет возможность, если она не снижается до низкого уровня, конечно, имеет возможность влиять.

Ещё раз о вашем представлении, что такое человек. У вас звучит как у Руссо. В сущности, человек — добрый. Он окружён корой общественного порядка. Разбить эту кору, например при помощи литературы, — и это выявит собственное в человеке и освободит в нём положительное.

Вы верно излагаете точку зрения Руссо. Но я совсем не смотрю так, как Руссо. Это жестокая ошибка была объявить, что человек по природе добр, а его портит среда, обстоятельства. Я настойчиво всегда повторял, много раз, что линия, которая разделяет добро и зло, проходит не между государствами, не между партиями, не между нациями, но по сердцу каждого человека. Человек по природе склонен и к добру, и к злу. Значит, художнику остаётся только думать: попытаться ли ему повлиять на соотношение это и сдвинуть линию между добром и злом, потеснить зло, или не пытаться. К сожалению, литература XX века почти вся, в огромном множестве, приходит именно ко второму выводу: что нечего и пытаться, и это не наше дело.

И в последние десятилетия такое направление всё более побеждает.

> Значит, вы более чем скептически относитесь к концепциям современности — не только в литературе, но останемся в пределах литературы.

Как раз в этом году, в январе, я в Нью-Йорке говорил на эту тему публично. Я могу к тому добавить, что у художника —я широко беру, не только писателя, — у художника, у которого есть уверенность в своей творческой силе, нет никакой необходимости подрывать своих предшественников и осквернять их могилы. В современном авангардизме более всего меня отталкивает именно желание зачеркнуть всё, что было до сих пор. Всякое развитие есть правильный баланс между сохранением старого и проявлением нового. И я только хочу, чтобы это равновесие соблюдалось. В последние десятилетия я наблюдаю желание обратное, и даже какое-то сладострастие в том, чтобы высокое и подлое смешать. И потом какое-то опасение быть простым и искренним. Наоборот, всё время желание что-то из себя выстроить такое, чего на Земле ещё никогда не было.

> Значит ли это, что вы как художник не чувствуете себя вскормленным модерном?

Я не вскормлен им, это правда. Это не значит, что я не признаю развития. Я — человек уже старый, я, естественно, корнями ухожу в то, откуда я вырос, но я открыт к тому, чтобы принимать новые художественные приёмы. Я только против того, чтобы это изобреталось во имя пустоты.

> Я хочу назвать два имени: Бодлер и Беккет. Они уже принадлежат к тому, что я называю модерном. Вы их признаёте внутри вашего художественного космоса?

Я не согласен сейчас переходить к конкретным именам, потому что немедленно возникнут не только эти два. Возникнут сразу двадцать. Я думаю, что мы уже

достигли законченного формата. Я очень не люблю, когда в интервью сказано гораздо больше, чем газета может поместить. И потом редакция режет и режет.

Значит, семинара о Бодлере не будем вести. Жалко. Но вы правы, конечно, надо прийти к концу. Тогда газетный вопрос, но он тоже нужен. Вы стоите перед возвращением на родину. Думаете ли вы, что ваше физическое присутствие в Москве или под Москвой усилит вас как писателя на родине?

Если бы родина моя находилась сейчас в благополучном состоянии, то весь смысл моего переезда был бы: возврат к прямому наблюдению русской жизни, так, чтобы в творчестве своём перейти к её описанию. После такой огромной эпопеи у меня большое тяготение к маленьким рассказам. Может быть, мне это удастся. Но так как родина моя в большом несчастье, то я не смогу остаться общественно безучастным к тому, что там происходит. И это, конечно, отнимет очень много сил и времени у меня, а мне уже 75 лет.

Вы имеете в виду духовную позицию или официальную?

Что вы понимаете под официальной позицией?

Например — президент. Можете ли вы себе представить: не только писать маленькие прекрасные рассказы, но и исполнять какую-то формальную функцию в этом новом хаотическом государстве?

Так вот, я подчёркиваю: общественной деятельностью я несомненно буду заниматься. Но ни в коем случае не государственной деятельностью. Не приму никаких должностей и постов. В общественной деятельности поле огромно. Например, меня в первую очередь интересует состояние нашей школы, начальной и средней школы. Может быть, удастся повлиять на состояние будущей России через то поколение, которое сегодня в школе. Я сам много лет преподавал и поэтому очень близок к школьному делу. Поверьте, что его одного хватило бы мне выше головы. А кроме того есть и другие общественные нужды.

Конечно, может быть двояко после вашего возвращения. Множество людей могут сказать: вот приходит тот, который здесь не был и не имеет никакого понятия, что здесь происходит. Одна литературная критикесса сказала: «Приходит человек, о котором мы не знаем, кто он есть, и он не знает, кто есть мы.» Но возможно и напротив: «Мы ждали его», и эти люди апеллируют к вам. Как вы будете на это всё реагировать?

Есть ещё третий подход: что вот — тот злостный человек, который так упорно разрушал коммунизм, и поэтому надо рассчитаться с ним. Что же до знания обстановки, то я наблюдал, и повседневно, — через радио, прессу, и личные письма, и свидетельства, и рассказы, — за тем, что происходит в стране. Конечно, страна меняется так быстро, что я даже смею сказать: многие люди, живущие сегодня в России, тоже не понимают, что происходит. В том и первый смысл моего возвращения как писателя — окунуться в самую подробность сегодняшней русской жизни. Если возраст и силы мне позволят, то, стало быть, я скоро и стану уже предельно осведомлённым.

Банкет у Ельцина не предстоит?

Я могу только повторить, что я никаких политических перспектив для себя не строю и не имею их в виду. Больше того, я думаю, что поскольку я останусь так же беспристрастен, буду продолжать говорить обо всём, что происходит в стране, то при сегодняшнем положении и прессы и телевидения в руках правительства — очень может быть, что и свобода моих высказываний будет ограничена.

Наметили ли вы, когда вернётесь?

Да, мы вернёмся в мае будущего года.

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

(Интервью ведёт Владимир Кондратьев)

Унтерэрендинген (Швейцария), 21 октября 1993

Александр Исаевич, сегодня последний день вашего пребывания в Европе. Вы как бы прощаетесь с Европой, и за эти дни вы дали множество интервью европейским средствам массовой информации. Для них вы — один из самых желанных гостей, партнёров по интервью в оценках происходящего сейчас в России. Тем более можно себе представить желание российских телезрителей впервые услышать от вас непосредственно, что вы думаете о событиях начала октября в Москве.

Нынешнее столкновение двух властей — совершенно неизбежный и закономерный этап в нашем мучительном и долголетнем пути освобождения от коммунизма. Могли бы эти события пройти раньше и гораздо мягче, но всё равно освобождение от коммунизма длительно, ещё предстоят нам многие усилия, потому что коммунизм внедрился в наше сознание, в людей и во всю систему.

Но и сейчас встаёт вопрос: как же дальше? Предстоят выборы в Государственную Думу, новый парламент, предстоит принятие новой конституции. Как вам видится решение этих задач?

Я ещё три года назад, в статье «Как нам обустроить Россию?», заглушённой, не допущенной к обсуждению вовремя, писал, на опыт прежней России опираясь, что избирание по партийным спискам — весьма обманчивая вещь. При избирании по партийным спискам избиратель покупает кота в мешке. Он не знает, за кого голосует; он голосует за партию, может быть ещё не созревшую, может ещё с неопределённой про-

граммой, а потом центральные лидеры этой партии скажут: от вашей области избран такой-то, он будет наилучшим защитником ваших интересов. Нет, такой человек — не будет! Правильно избирать — это избирать конкретных людей, живых людей, которых вы знаете, или в которых вы поверили. Пусть ошиблись, но поверили, что они честны, что для них самое главное — не своя карьера, не свой карман, а благо родины и благо народа. Только такие выборы дадут настоящий эффект.

А второе, я считаю, сейчас чрезвычайно опасное и неверное решение — избрать новый парламент на пять лет. У нас ещё не было настоящих выборов. У нас ещё нет опыта — у избирателей ещё нет опыта разбираться в кандидатах. У депутатов ещё нет опыта и практики доказать свою полезность. Мы можем на свою шею нахомутать такой «Верховный Совет», от которого не будем знать, как избавиться. Надо ни в коем случае не избирать больше чем на два года. Через два года депутаты себя проверят, избиратели укрепятся во мнениях, и мы изберём более достойный парламент. Выход должен быть постепенный, методом последовательных приближений; рывком тут ничего достичь нельзя.

Александр Исаевич, но и в других, как сейчас говорят, цивилизованных странах есть положение, когда депутаты выбираются по партийным спискам. В данном случае половина депутатов будет выбираться по партийным спискам, а половина — от территориальных образований.

Не надо думать, что демократические методы на Западе всюду совершенны. Избирание по партийным спискам одинаково обманчиво, одинаково неточно выражает мнение избирателей везде, в какой бы стране ни происходило. А у нас регистрация кандидата личного — затруднена. Хотя бы её нужно облегчить. Ведь люди местные, которые действительно болеют за эту местность, могли бы лучше общаться со своими избирателями, чем какая-то партия из центра, которая потом назначит своих кандидатов.

В последнее время очень часто употребляется

такое выражение: судьба России зависит от регионов. Разделяете ли вы такую точку зрения?

Разделяю, и даже больше чем разделяю. Я в этой связи хотел бы сказать о так называемой Российской Федерации. Что такое федерация? Федерация — это, из истории, добровольное объединение каких-то государственных образований, или образований с начатками государственности, самоуправления, — объединение для того, чтобы быть крепче, сильней, потому что они отдельно выжить не могут. Мы классический пример имеем: Швейцария — объединение кантонов, удивительно крепкое оказалось. Соединённые Штаты — соединение бывших английских колоний, удивительно крепкое оказалось. И — несколько в другой форме — объединение Германии, почему и говорится: Федеративная Республика Германия. Россия, хотя и многоплеменное государство, никогда федерацией не была. Россия никогда не образовывалась таким вот соединением отдельных государственных образований. В России было административно-территориальное деление. Ленин демагогически объявил сразу РСФСР, Российскую Федерацию. И нарезал автономных республик по принципу: где есть какое-нибудь национальное меньшинство, вот оно и есть автономная республика, хотя большинство населения там русские. И в большинстве случаев так.

До 1991 года это не имело никакого значения. Потому что везде господствовала коммунистическая партия, и всё это была дутая, фальшивая вывеска. Но с 1991 года это приобрело огромное значение, и может быть разрушительное для государственности в целом. Мне пришлось за эти двадцать лет, ещё находясь в Советском Союзе, и потом на Западе, неоднократно выступать в защиту наций, в защиту национального лица. Нации — это нерукотворные создания, они не придуманы человеком, как партии или профсоюзы. Они, как семья, создались сами собой. У нации есть своё духовное лицо. Нации — это краски человечества. Сейчас на Западе есть тенденция — стирать различия между нациями, стандартизовать всемирную жизнь. Это смерть. Мы должны беречь каждую ма-

ленькую нацию, беречь её культуру, её сознание. Но это не значит — давать право маленькой нации руководить и направлять в регионе, где она не составляет большинство. Принцип должен быть такой: каждая нация должна контролировать лишь такую территорию, где она составляет основательное, явное большинство.

Существует такая 74-я статья Уголовного кодекса. Вот она: «Наказуется прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности.» Ясно написано, что даже всякие преимущества, даже по территориальному признаку, — уже есть уголовное преступление. Но в наших сегодняшних автономиях, как они с 1991 года себя ведут, торжествует 74-я статья не как уголовное преступление, а как прямая политика.

Я считаю, что новая конституция должна непременно отказаться от этого искусственного ленинского создания автономных республик, которые названы по национальностям, составляющим в них меньшинство, иногда до смешного маленькое меньшинство. Есть только несколько областей автономных, действительно представляющих свою нацию, — это Чечня, Дагестан, Тува. Там не о чем спорить, они действительно самостоятельные государства. Но вот Чечня отделилась — большой радости не получилось.

А с 1991 года автономные республики стали требовать себе экономических преимуществ — больше получать от центра и не платить налогов, что обидно оказалось русским областям. Почему они, области русские, второго сорта образования в сравнении с национальными республиками? Как реакция среди русских областей создалось естественное движение — объявлять себя тоже республиками. И то и другое на самом деле — разрушительный процесс. Вот человек — сложнейшее единство, в котором каждый орган, каждая деталь нужны для общего и живут только общим. Что может быть важнее для человека: глаза или печень? Но отделите этот глаз и положите его отдельно. Что он значит? — ничто, он не просуществует и нескольких минут. Выньте печень — что она? Пища для собак, больше ничего.

И автономные республики, требующие отделения, и русские области, объявляющие себя республиками и требующие отделения, поражены безумной мечтой, что они проживут своими собственными силами. Мы видим, что и республики бывшего Советского Союза, отделившиеся, хлюпаются еле-еле в своей экономике и цепляются за Россию, потому что не могут без неё прожить. На самом деле, отделение, которым бряцают безответственно и грозят, — это гибель России. Новая конституция должна разумно строить Россию по административно-территориальному признаку. Повторяю: при самом тщательном бережном сохранении культурно-национальной автономии, культурного лица каждой маленькой национальности. Таких маленьких, какие в Сибири, например, есть, не говоря уж о больших по размеру.

Насколько должна быть тверда центральная власть в отстаивании этого устройства федерации?

Центральная власть должна быть тверда и опираться на конституцию. В республиках, где 22 или 33 процента местной национальности управляют делами республики, — нет двух третей, законных, конституционных, для проведения своего мнения. Если они хотят противопоставить своё желание центральному, они должны собрать конституционные две трети. При голосовании не в условиях террора, а в условиях международного наблюдения. А так центральная власть должна, опираясь на конституцию, укреплять единство России. Иначе будет гибель для всех. И для России, и для всех этих областей. Это вырванный глаз и вырванная печень.

Есть ли, на ваш взгляд, в России сейчас предпосылки для развязывания гражданской войны?

Думаю, что никак нет. Думаю, что нет, если президентская власть не будет по-прежнему делать тяжёлые ошибки одну за другой и медлить с выполнением прямых задач страны. Ведь последние полтора года президентская власть и правительство были заняты, в об-

щем, только борьбой с Верховным Советом, а что там делалось, как там дальше пошла реформа, которая начата была, как Ельцин признал, «на ходу»... «Нам нужно было начать как можно скорее, мы не могли выбирать лучший вариант.» Вот эта необдуманная, суматошная реформа...

Вы имеете в виду шоковую терапию?..

Шоковую терапию. Нет, ну кто может свою родную мать лечить шоковой терапией? Ну вы будете так лечить? Это необдуманная реформа — но и она заброшена, потому что заняты были только взаимной борьбой. Если наконец правительство займётся исцелением наших ран, то надо не забыть этой опасности — опасности перерождения нового корпуса парламентского. Он должен быть сильно ограничен во времени: дать ему серьёзный экзамен, чтобы проверить себя.

Строительство рыночных отношений, строительство рынка, — насколько велика здесь, по вашему мнению, помощь Запада, и нужно ли нам ориентироваться в своём устройстве именно на западный опыт?

Рынок как таковой в России был ещё до революции, давно. Меня насмешил один французский интервьюер, который сказал, что у нас не было торгового класса. У нас купечество было то, которое и в Калифорнию, и на Аляску раньше их пришло. С конца XIX века в России были полные, развитые рыночные отношения. Так что учиться нам можно и у самих себя. Не перенимать надо, надо строить своё, национальное, в соответствии со своим национальным укладом, своими традициями государственными, своим сознанием.

Помощь Запада, я считаю, нам не нужна. Я бы сказал другое: несправедливо то, что Россия должна платить долги за коммунистические правительства, долги, наделанные коммунизмом для Коминтерна, для создания по всему миру всех этих республик коммунистических, — вот это несправедливо. Если бы нас освободили от долгов, которые мы платим за наших палачей, вот это была бы единственная помощь Запада, которая нам нужна. А в остальном мы справимся сво-

ими силами. Но, конечно, у нас сейчас не рыночные отношения, а хаос, хаос и разворовка. У нас бессовестно разворовывают государство, национальное достояние стало как бы ничьим, получают лицензии за взятки, бюрократический аппарат коррумпирован, и коррумпирован, я боюсь, очень высоко, настолько высоко, что без участия некоторых министров не могло бы такое быть. Нам вот от этого нужно освободиться. А просить помощи у Запада, стоять на коленях, протирать брюки перед Международным валютным фондом не надо! Это ложная политика.

Вы считаете, коррупция, преступность — это явления, свойственные рынку?

Нет, коррупция свойственна, главным образом, не рынку, а остаткам коммунистической системы. Как у нас образовалась бюрократия? Ведь Горбачёв дал свободные, льготные годы... На что пошли семь лет перестройки? Не на перестройку нашей экономики, не на спасение нашей страны, а на то, чтобы партийному аппарату дать возможность занять более выгодные позиции в бюрократической и коммерческой сфере, получить финансовую силу. Вот так они получили, и теперь коррупция неизбежна, мы не можем пробиться через этот бюрократический аппарат. Вот откуда коррупция. Ну а преступность — преступность везде есть, это другое дело. С преступностью, конечно, нужно бороться, это само собой.

Вы считаете, что нынешняя кампания по ликвидации культа, связанного с Лениным, поможет в ликвидации коммунистического идеологического наследства?

Она давно должна была начаться. Ведь это невыносимо, что десятки и десятки тысяч памятников Ленину всюду по России поставлены. Ведь Ленин — автор всего того, что произошло потом. Ленин — и автор ГУЛАГа, Ленин — и автор этих фальшивых границ, по которым раскололся Советский Союз и 25 миллионов русских оказались за границей. Ленин построил всё на терроре. До каких пор можно охранять его труп? До каких пор можно поклоняться его памятникам? Уже

давно его имя поблекло, а внешний культ остался. Конечно, нужно было давно начинать это делать.

Александр Исаевич, вопрос, который, я думаю, очень волнует всех, кто смотрит это ваше выступление. Все эти события в последнее время в России, возможно и будущие, может быть тоже трагические, события... они способны оказать какое-то влияние на ваше решение вернуться в мае 1994 года в Россию?

Нет, никакого. Я действительно не вижу впереди светлого радостного облегчения ни для страны, ни для себя. Но решение моё абсолютно неизменно: родина у нас одна, выбор сделан, и срок этот нами был намечен давно. Мы возвращаемся весной 1994, в мае. Так это и будет.

А вы отдаёте себе отчёт в том, что ваши высказывания, ваша политическая деятельность в России, может быть, кому-то там не очень понравятся?

Очень отдаю себе отчёт. Прекрасно понимаю. Я не вхожу ни в одну партию, не связан ни с одним политическим движением, ни с одним политическим лицом. Говорю только то, что кажется мне полезным и нужным для России, а кому из правящих это нравится или не нравится, кажется сегодня выгодным, завтра невыгодным, — мне совершенно безразлично... Я очень исхожу из того, что буду нежелательной персоной и меня будут лишать свободы слова. И я на это иду.

Большое спасибо, Александр Исаевич, за это интервью. Желаю вам большого здоровья. И от имени наших телезрителей могу только сказать: все ждут вас в России.

ОТВЕТ ПРЕЗИДЕНТУ ЕЛЬЦИНУ НА ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 75-ЛЕТИЕМ

Кавендиш, 13 декабря 1993

Уважаемый Борис Николаевич!

Благодарю Вас за поздравление к моему 75-летию. С возвратом на российскую землю, может быть, мне удастся быть в чём-то полезным нашей измученной родине.

Надежду на духовную силу нашего народа не теряю и я. Но со страданием вижу грозное обнищание народного большинства, приватизацию в пользу избранных, всё идущий бесстыдный разграб национального достояния, густую подкупность государственного аппарата и безнаказанность криминальных шаек. И никак не видно, чтоб ожидалось близкое улучшение в этом кольце бед. Если не возьмёмся бесстрашно и бескорыстно бороться с этими язвами, одолевающими нас.

С добрыми пожеланиями

А. Солженицын

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО В КАВЕНДИШЕ

Кавендиш (Вермонт), 28 февраля 1994

Граждане Кавендиша! дорогие наши соседи!

Семнадцать лет назад на таком же вашем собрании я рассказал, как меня изгнали с родины, и о тех мерах, которые я вынужден был принять, чтобы обеспечить спокойную работу, без назойливых посетителей.

И вы — сердечно поняли меня, и простили мне необычность моего образа жизни, и даже всячески оберегали мою частную жизнь, за что я вам был глубоко благодарен все эти годы напролёт и завершающе благодарю сегодня! Ваше доброе отношение содействовало наилучшим условиям моей работы.

Я проработал здесь почти восемнадцать лет — и это был самый продуктивный творческий период моей жизни, я сумел сделать всё, что я хотел. Часть моих книг, те, которые в хорошем английском переводе, я сегодня преподношу вашей городской библиотеке.

Наши сыновья росли и учились здесь, вместе с вашими детьми. Для них Вермонт — родное место. И вся семья наша за эти годы сроднилась с вами. Изгнание — всегда тяжко, но я не мог бы вообразить места лучшего, чем Вермонт, где бы ожидать нескорого, нескорого возврата на родину.

И вот теперь, этой весной, в конце мая, мы с женой возвращаемся в Россию, переживающую сегодня один из самых тяжёлых периодов своей истории, период нищеты большинства населения и падения нравов, период экономического и правового хаоса, — так изнурительно достался нам выход из 70-летнего коммунизма, где только от террора коммунистического режима против собственного народа мы потеряли до 60 миллионов человек. Своим участием я надеюсь теперь принести хоть малую пользу моему измученному

народу. Однако предсказать успех моих усилий нельзя, да и возраст мой уже велик.

Здесь, на примере Кавендиша и ближних мест, я наблюдал, как уверенно и разумно действует демократия малых пространств, когда местное население само решает бо́льшую часть своих жизненных проблем, не дожидаясь решения высоких властей. В России этого, к сожалению, нет, и это — самое большое упущение до сегодняшнего дня.

Сыновья мои ещё будут оканчивать своё образование в Америке, и кавендишский дом остаётся пока их пристанищем.

Когда я теперь хожу по соседним дорогам, прощальным взглядом вбирая милые окрестности, то всякая встреча с кем-либо из соседей — всегда доброжелательна и тепла.

Сегодня же — и всем, с кем я встречался за эти годы, и с кем не встречался, — я говорю моё прощальное спасибо. Пусть Кавендиш и его окрестности будут всё так же благополучны. Храни вас всех Бог.

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ФОРБС»

(Интервью ведёт П. Хлебников)

Кавендиш, 16 апреля 1994

Растёт напряжение между Россией и ныне независимой Украиной, чью территориальную целостность Запад решительно защищает. Генри Киссинджер утверждает, что Россия будет всегда угрожать интересам Запада, независимо от того, какое в ней правительство.

И Генри Киссинджер, и Збигнев Бжезинский, и Ричард Пайпс, и ещё многие американские политики и публицисты затвердели в схеме мышления, усвоенной ими когда-то, много лет назад, и с неизменным упорством и ослеплением всё повторяют и повторяют эту версию о якобы извечной агрессивности России, никак не сообразуясь с сегодняшней реальностью.

Ну, а насчёт Украины? Разве Россия не представляет угрозы для некоторых государств, бывших составных частей СССР?

Вот, вообразите, что в один не-прекрасный день два-три юго-западных ваших штата — в двадцать четыре часа объявили себя никак не зависящим от США суверенным государством, где единственным языком утверждается испанский, а все англоязычные жители, хотя бы их роды жили там уже двести лет, должны за один-два года сдать экзамен по испанскому языку и присягнуть новому государству, иначе не получат гражданства и будут стеснены в гражданских, имущественных и служебных правах. Какова бы была реакция Соединённых Штатов? да не сомневаюсь, что немедленное военное вмешательство. А Россия вот именно так, в двадцать четыре часа, лишилась 8—10 чисто русских областей, 25 миллионов этнических русских, вот так же попавших в положение «нежелательных

иностранцев» — в местах, где их отцы, деды, прадеды жили издавна, даже с XVII века, их притесняют в служебном положении, подавляют их культуру, образование и язык. (А желающим уехать из Средней Азии не дают брать с собой личное имущество, власти объявляют им: нет такого понятия — «личное имущество»!) И вот в *таком* положении «империалистическая Россия» не сделала *ни одного силового движения* к исправлению этой чудовищной каши: безропотно отдала 25 миллионов своих соотечественников — самую большую диаспору в мире!

Так вы видите Россию не агрессором, а жертвой агрессии.

Кто приведёт из мировой истории ещё подобный пример миролюбия?! И если Россия миролюбива в самом жизненном для неё вопросе — почему можно ожидать от неё агрессивности по поводам второстепенным?

Россия сегодня тяжело больна, до полного истощения болен её народ. Но всё-таки! — имейте совесть и не требуйте же от России, чтобы она — в угоду той же Америке? — откинула бы уже всякую заботу и о своей безопасности и о своей невиданной разрушенности. И это никак ничем не грозит Соединённым Штатам.

Бывший советник по национальной безопасности США Збигнев Бжезинский не согласен с этим. Он утверждает, что Соединённые Штаты должны защищать независимость Украины.

Подавляя в 1919 Украину, Ленин, в утешение её самолюбия, прирéзал к ней несколько русских областей, никогда в истории не входивших в Украину: восточные и южные территории нынешней Украины. В 1954 Хрущёв, произвольным капризом сатрапа, «подарил» Украине ещё и Крым. Но даже и он не догадался «подарить» Украине Севастополь — отдельный в СССР город центрального подчинения, — так это сделал за него американский Госдепартамент: сперва устами американского посла в Киеве Попадюка, а затем и в более высокой своей инстанции. И почему же Госдепартамент решает, кому отдать Севастополь? Если это сопоставить с бестактным заявлением президента

Буша о поддержке украинской суверенности ещё *перед* референдумом о том, — приходится понять, что всё это — в одном ряду: всемерно, во что бы то ни стало, ослаблять Россию.

А почему независимость Украины ослабляет Россию?

От грубого мгновенного разруба между перемешанными славянскими народами — разорвались границами *миллионы* семейных и дружеских связей. Разве можно так? Последние выборы на Украине явно показывают, например, направление симпатий к России у крымского и донецкого населения — и демократия должна их уважать!

Сам я почти наполовину украинец, вырос в звуках украинской речи, люблю её культуру, сердечно желаю всяких успехов Украине — но в её реальных этнических границах, без захвата русских областей. И — не в виде «великой державы», на что украинские националисты поставили ставку: они возглашают и проявляют культ силы, настойчиво выдувают из России образ «врага», то и дело раздаются воинственные выклики, и в украинской армии ведётся пропаганда о неизбежности войны с Россией. Великодержавное состояние всякой страны искажает народный облик, вредит ему. Я никогда не желал великодержавности для России (и не желаю Соединённым Штатам) — не пожелаю и Украине. Она не вынесет даже культурной задачи: в нынешних её границах 63% населения считают своим основным языком — русский (в три раза больше, чем там этнических русских) — и надо всех их переучивать на украинский? а сам украинский язык поднимать до международной высоты и потребности? Эта задача — не на одно столетие.

Центральный вопрос тут: что сказать о России и Соединённых Штатах? Считать ли их историческими соперниками?

До российской революции они были просто натуральными союзниками. Вы знаете, что во время американской гражданской войны Россия поддерживала Север, Линкольна. Потом они были практически союз-

никами в Первой мировой войне. А начиная с коммунизма — России вообще нет, о чём говорить? Противостояние США было вовсе не с Россией, а с коммунистическим СССР.

Множество людей на Западе думают, что то был не коммунизм, а традиционный русский империализм, который направлял Сталина захватить Восточную Европу.

Ни в коем случае! Это — не русский империализм, когда-то расширявший границы вблизи себя, а это — коммунистический империализм, который имел целью захватить весь земной шар. Однако в официальном документе США от 1959 года, закон 86-90, русские не числятся среди наций, угнетённых коммунизмом, зато именно «русскому империализму», а не коммунизму приписаны все захваты двух десятков стран, даже Китая, Тибета и какой-то придуманной «Казакии». Приходится изумляться, что этот нелепый закон не отменён в США и поныне. Совершенный бред! — когда Россия была в Африке? когда она захватывала Анголу или Кубу? когда она встревала в Латинскую Америку? Историческая Россия никогда не пыталась захватить земной шар, а коммунисты имели именно такую цель.

Но и сегодня, при Ельцине, Россия пытается играть роль в бывшей Югославии — за много миль от российских границ.

Вообще — я противник панславизма. Я не считаю, что мы должны заниматься Балканами, славянами. Но Запад сейчас создал такой перевес против Сербии, как будто Сербия во всём виновата. А несчастные народы Югославии не виноваты ни один — ни сербы, ни хорваты, ни боснийцы. В Югославии началось с того же самого, что и в СССР: коммунисты (у них Тито, у нас Ленин и Сталин) нарéзали произвольные, этнически бессмысленные и исторически не обоснованные границы — внутренние, административные, ещё и годами переселяя жителей из одного региона в другой. А когда — так же в несколько дней — Югославия стала распадаться, — то ведущие западные державы с необъяснимой поспешностью и безответственностью объ-

явили о признании этих государств — в их искусственных фальшивых границах. Поэтому за изнурительную кровавую войну, в которой теперь конвульсируют несчастные народы бывшей Югославии, руководители западных держав должны разделить вину с Тито. Теперь, пытаясь как-то исправить положение, они по сути повторяют известный лозунг Меттерниха для Священного Союза: «вмешательство ради оздоровления», сегодня он звучит: «вмешательство ради гуманизма». Ироническое сходство. Но вмешательство — это очень опасная вещь. Мир не так легко поддаётся и поддастся великим державам.

Существуют ли и другие части бывшего Советского Союза, которые обрусели до такой же степени, как восточная и южная часть нынешней Украины?

Да. Весь северный и северо-восточный Казахстан — это на самом деле Южная Сибирь, она населена преимущественно русскими, подавляемыми сегодня в Казахстане в национальном, культурном, деловом и бытовом отношениях (как и другие не-казахи, составляющие вместе с русскими 60% населения Казахстана). Как меньшинству управлять большинством? Только насилием и обманом, — таковы и были недавние казахстанские «выборы». Президента Назарбаева встречают на Западе как великого демократа, а он — уже реальный диктатор.

А в остальной Средней Азии? Почему Россия проявляет интерес к этим исламским регионам?

За век совместной жизни с Россией Средняя Азия многими экономическими связями соединилась с ней — но духовно это чужие нам страны, что можно видеть и по их усиленным националистическим импульсам сегодня, вплоть до межнациональной конференции в Алма-Ате о создании единого великого мусульманского государства от турецких берегов Средиземного моря. И эта затея — не вовсе фантазия.

Завоевание Средней Азии Россией в XIX веке я считаю ошибкой. Сегодня я не вижу перспективы для жизни русских там и считаю первейшей задачей рос-

сийского правительства — помощь русским беженцам в их переселении в Россию.

Также ошибкой России было (ещё со времён Бориса Годунова): взяться выручать Грузию и Армению за Кавказским хребтом — и из-за этого потом ввязаться в долголетнюю кавказскую войну. В Закавказьи нам не следует никак присутствовать, а русских беженцев надо и оттуда вывозить.

И где вы тогда видите границы России? Какие области должны быть соединены с ней?

Я ещё в 1990 писал, что Россия может желать объединения только трёх славянских республик и Казахстана (а все другие республики — отпустить). Но объединения — в единое государство, а не в хрупкую надуманную конфедерацию с огромным наднациональным бюрократическим аппаратом, как предложил недавно Назарбаев. Это — призрак, дым.

Одобряете ли вы частную собственность на землю в России?

В 1990, когда ещё стоял Советский Союз, я писал в моей брошюре «Как нам обустроить Россию?», что я считаю: частная собственность на землю в России — нужна. Только тогда земледелец заинтересован, когда земельный участок принадлежит ему. Однако положение с собственностью на землю сейчас в России столь сложно, что пришлось бы долго объяснять. То, что готовится сейчас, — это распродажа с молотка. Не созданы условия приобретения земли подлинными земледельцами, у них нет и средств. Не останется ни фермеров, ни земледельцев — только наёмные работники. И жулики, которые будут владеть землёй. Вообще России не останется.

Это довольно мрачная картина.

Уже немало лет мы делаем попытку выбраться из-под обломков коммунизма, но ошибками наших правительств и самого народа — выбираемся самым тяжелым, изломанным, неэффективным путём и с наибольшими жертвами. Таковы и избранные у нас приёмы экономической реформы. Такова — и неочищенность

духовной атмосферы, ибо никто из прежних угнетателей и даже палачей — не суди́м, и даже не раскаялся, а просто вся коммунистическая верхушка имела время перекраситься кто в «демократов», кто в коммерсантов и успешно сохранила у себя все командные посты — и в Москве, и в регионах. Государственный строй, который у нас сегодня, — это лжедемократия, ибо народ не контролирует действия властей, не распоряжается своей судьбой и уже отчаялся направить её. Главный недостаток в России сегодня — отсутствие инициативной и непреклонной самодеятельности снизу — каким единственным путём, а не сверху, только и может быть установлена истинная власть народа.

Многие русские сегодня находятся под влиянием западной культуры. Это хорошо?

Да, Россия сейчас перенимает от Запада очень многое. К сожалению, среди этого — и немало самого худшего: наркоманию, порнографию, организованную преступность. И новейшие приёмы жульничества.

Вы думаете, что русский характер враждебен системе свободного рынка?

Это заблуждение, будто Россия никогда не была ориентирована на рынок. Перед революцией в России была полностью рыночная экономика. А вообще, к вопросу о перенимании: в каждом государстве есть свои традиции, которыми невозможно пренебрегать.

Всё-таки вы очень критически относитесь к рыночным реформам, начатым Егором Гайдаром и президентом Ельциным.

Недавно, в феврале, Уильям Перри неосторожно высказался в том смысле, что если в России провалится эта реформа, то Запад должен быть готов к усилению своей коллективной безопасности. Какая тут связь? В какой мере военный министр США может определять *тип* российской экономической реформы? И почему нам угрожают внешним давлением, если в России переменят пути и темпы реформы?

Может быть, потому, что многие люди думают,

что Россия ждет деятеля, который её оседлает. Владимир Жириновский испугал людей на Западе. Не накренится ли Россия от одного деспотизма, коммунистического, к другому, фашистскому?

Сегодня слово «фашизм» обычно употребляют вместо «национал-социализм». Вероятно, так поставлен и ваш вопрос. Нет: гитлеризм имел своей существенной догматической основой — расизм. Но в многоплеменной стране такая идеология не имеет шансов на успех. И никогда подобного движения в России не было. А если говорить о разгуле воинственного *шовинизма* — то мы видим его, и в кровавых формах, в нескольких республиках бывшего СССР, но отнюдь не в России. И если перечислять все случаи резни на национальной почве и локальные войны — то все они произошли не в России и не от русских.

А как Владимир Жириновский?

Жириновский — это злая карикатура на русского патриота: как если бы кто-то его фигурой хотел бы представить миру русский патриотизм — отвратительным чудовищем. Кроме выдающейся денежной поддержки Жириновский имел успех на выборах только потому, что к тому времени *все* демократические партии, группы и деятели полностью пренебрегли русскими национальными интересами и оставались равнодушны к жестокой нищете и безвыходности, в которые повергла большинство народа кабинетная гайдаровская реформа — ещё один, после стольких лет коммунизма, бессердечный эксперимент над несчастной Россией. Сумасбродные, крикливые и безумные заявления Жириновского не имеют почвы в психологии нашего усталого народа, измученного семидесятилетним коммунизмом.

Что же такое Россия: этнос? религия? язык? или культура?

Россия — это совокупность многих наций, крупных, средних и малых, с традиционной взаимной веротерпимостью, с русским языком — государственным

и межнационального общения, и русской культурой — высокого уровня и большого международного веса, воспринятой образованными слоями всех этих народов. Уже перед 1917 управляющий аппарат России был и многонациональным и всесословным.

И тут нет угрозы для Соединённых Штатов?

Если смотреть далеко в будущее, то можно прозреть в XXI веке и такое время, когда США вместе с Европой ещё сильно вознуждаются в России как в союзнице.

Загадочно.

Это загадочно для тех, кто не видит вдаль, и не видит, какие силы растут в мире.

ПРЕДИСЛОВИЯ

1971-1991

К РУССКОМУ ЗАРУБЕЖНОМУ ИЗДАНИЮ «АВГУСТА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»

Эта книга сейчас не может быть напечатана на нашей родине иначе как в Самиздате — по цензурным возражениям, не доступным нормальному человеческому рассудку, да даже из-за того одного, что потребовалось бы писать слово Бог непременно с маленькой буквы. На это унижение я уже не могу пригнуться. Директива писать Бога с маленькой есть дешёвая атеистическая мелочность, мелкость. И верующие, и неверующие согласятся, что когда Областное Управление Заготовок пишется с больших, а КГБ или ЗАГС — из одних больших, то для понятия, обозначающего высшую творческую силу Вселенной, можно бы отпустить одну большую букву. Не говорю уже, что в устах и представлениях людей 1914 года «бог» с маленькой резало бы исторической фальшью.

Общий замысел, открываемый этим первым Узлом, возник у меня в 1936 году, при окончании средней школы. С тех пор я никогда с ним не расставался, понимал его как главный замысел моей жизни; отвлекаясь на другие книги лишь по особенностям своей биографии и густоте современных впечатлений, — я шёл, и готовился, и материалы собирал только к этому замыслу. И вот дохожу, как бы не слишком поздно: и собственной жизни и воссоздающего воображения уже может недостать на эту двадцатилетнюю работу, и современники тех событий умерли почти все, кто могли бы меня исправить, пополнить, сообщить такое, что не записано и не хранится. Да на моей родине и всякий сбор материалов, доступных другим, мне преграждён.

А между тем русские писатели, старшие меня по возрасту, обошли главную тему нашей новейшей истории или скользнули по ней поверхностно. Тем меньше

надежды, что ею займутся младшие меня, да и будет им ещё безнадёжней воскресить те годы, и моему-то поколению почти невподым. Так надо пробовать мне.

Первый Узел своей работы я теперь публикую для русского зарубежного читателя, с одновременной просьбой о критике, поправках и дополнениях, особенно по историческим лицам, по которым у меня было мало материала: о генералах А. Д. Нечволодове, Мартосе, Крымове, Постовском, Филимонове, Артамонове, В. И. Гурко, Савицком, полковниках — Кабанове, Первушине, Каховском, Исаеве, Христиниче, подполковнике Сухачевском, есауле Ведерникове, штабс-капитане Семечкине.

Буду признателен за всякие неопубликованные материалы, относящиеся к годам последующим, но строго определённым местам: Петрограду, Москве, Тамбову, Ростову-на-Дону, Новочеркасску, Кисловодску-Пятигорску. Все остальные места не охватываются моим замыслом, давно отстоявшимся в томах и Узлах.

Я надеюсь, что издательство возьмёт на себя труд собрать для меня присылаемые материалы.

Май 1971
Ильинское

К ВЫХОДУ «АРХИПЕЛАГА ГУЛага»

Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедленно публиковать её.

Сентябрь 1973

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ИЗ-ПОД ГЛЫБ»

Всеобщая подавленность мысли приводит не к прекращению её, но к искажению, неосведомлённости, неузнанию между соотечественниками и современниками.

Много десятилетий ни один вопрос, ни одно крупное событие нашей жизни не было обсуждено свободно и всесторонне, так, чтобы мочь нам произнести истинную оценку происшедшего и путей выхода из него. Но всё подавлялось при начале же, всё покидалось неосмысленным хаотическим хламом, без заботы о прошлом, а значит и о будущем. А там валились новые, новые события, грудились такими же давящими глыбами, так что потеряны были и интерес и силы к разбору. И теперь, подойдя снаружи и даже с наскоку, беспрепятственно и безответственно выносят любое произвольное суждение о нашей близкой истории и о возможностях нашего народа. Мы начинаем возражать и так завязаем в полемике, роняя, быть может, главное для случайного. Голоса же, которые в нужную пору предназначались выразить знаемое, умолкли прежде времени, документы погибли, а в тёмную глубину под неразобранные навалы не добирается взгляд стороннего исследователя.

Из той темноты и сырости, из-под глыб, мы и трогаем теперь первыми слабыми всходами. Ожидая от истории дара свободы и других даров, мы рискуем никогда их не дождаться. История — это сами мы, и не минуть нам самим взволочить на себя и вынести из глубин ожидаемое так жадно.

1973

НЕВЫРВАННАЯ ТАЙНА

Предисловие к книге Д* «Стремя „Тихого Дона“»

С самого появления своего в 1928 году «Тихий Дон» протянул цепь загадок, не объяснённых и по сей день. Перед читающей публикой проступил случай небывалый в мировой литературе. Двадцатитрёхлетний дебютант создал произведение на материале, далеко превосходящем свой жизненный опыт и свой уровень образованности (четырёхклассный). Юный продкомиссар, затем московский чернорабочий и делопроизводитель домоуправления на Красной Пресне опубликовал труд, который мог быть подготовлен только долгим общением со многими слоями дореволюционного донского общества, более всего поражал именно вжитостью в быт и психологию тех слоёв. Сам происхождением и биографией «иногородний», молодой автор направил пафос романа против чуждой «иногородности», губящей донские устои, родную Донщину, — чего, однако, никогда не повторил в жизни, в живом высказывании, до сегодня оставшись верен психологии продотрядов и ЧОНа. Автор с живостью и знанием описал мировую войну, на которой не бывал по своему десятилетнему возрасту, и гражданскую войну, оконченную, когда ему исполнилось четырнадцать лет. Критика сразу отметила, что начинающий писатель весьма искушён в литературе, «владеет богатым запасом наблюдений, не скупится на расточение этих богатств» («Жизнь искусства», 1928, № 51, и др.). Книга удалась такой художественной силы, которая достижима лишь после многих проб опытного мастера, — но лучший первый том, начатый в 1926, подан готовым в редакцию в 1927; через год же за первым был готов и великолепный второй; и даже менее года за вторым подан и третий, и только пролетарской цензурой задержан этот ошеломительный ход. Тогда — несравненный гений? Но по-

следующей 45-летней жизнью никогда не были подтверждены и повторены ни эта высота, ни этот темп.

Слишком много чудес! — и тогда же по стране поползли слухи, что роман написан не тем автором, которым подписан, что Шолохов нашёл готовую рукопись (по другим вариантам — дневник) убитого казачьего офицера и использовал его. У нас, в Ростове-на-Дону, говорили настолько уверенно, что и я, 12-летним мальчиком, отчётливо запомнил эти разговоры взрослых.

Видимо, истинную историю этой книги знал, понимал Александр Серафимóвич, донской писатель преклонного к тому времени возраста. Но, горячий приверженец Дона, он более всего был заинтересован, чтобы яркому роману о Доне был открыт путь, всякие же выяснения о каком-то «белогвардейском» авторе могли только закрыть печатание. И, преодолев сопротивление редакции «Октября», Серафимович настоял на печатании романа и восторженным отзывом в «Правде» (19.4.1928) открыл ему путь.

В стране с другим государственным устройством всё же могло бы возникнуть расследование. Но у нас была в зародыше подавлена возможность такового — *пламенным* письмом в «Правду» (29.3.1929) пяти *пролетарских* писателей (Серафимович, Авербах, Киршон, Фадеев, Ставский): разносчиков сомнений и подозрений они объявили «врагами пролетарской диктатуры» и угрозили «судебной ответственностью» им — очень решительной в те годы, как известно. И всякие слухи — сразу смолкли. А вскоре и сам непререкаемый Сталин назвал Шолохова «знаменитым писателем нашего времени». Не поспоришь.

Впрочем, и посегодня живы современники тех лет, уверенные, что не Шолохов написал эту книгу. Но, скованные всеобщим страхом перед могучим человеком и его местью, они не выскажутся до смерти. История советской культуры вообще знает немало случаев плагиата важных идей, произведений, научных трудов — большей частью у арестованных и умерших (доносчиками на них, учениками их), — и почти никогда правда не бывала восстановлена, похитители воспользовались беспрепятственно всеми правами.

Не укрепляли шолоховского авторства, не объясня-

ли его темпа, его успеха и печатные публикации: о творческом ли его распорядке (Серафимович о нём: работает только по ночам, так как днём валом валят посетители); о методе ли сбора материалов — «он часто приезжает в какой-нибудь колхоз, соберёт стариков и молодёжь. Они поют, пляшут, бесчисленно рассказывают о войне, о революции...» (цит. по книге И. Лежнева «Михаил Шолохов», «Сов. пис.», 1948); о методе обработки исторических материалов, о записных книжках («записываю очень редко»). А тут ещё: не хранятся ни в одном архиве, никому никогда не предъявлены, не показаны черновики и рукописи романа (кроме Анатолия Софронова, свидетеля слишком *характерного*). В 1942, когда фронт подошёл к станице Вёшенской, Шолохов, как первый человек в районе, мог получить транспорт для эвакуации своего драгоценного архива предпочтительнее перед самим райкомом партии. Но по странному писательскому равнодушию это не было сделано. И весь архив, нам говорят теперь, погиб при обстреле.

И в самом «Тихом Доне» более внимательный взгляд может обнаружить многие странности: для большого мастера необъяснимую неряшливость или забывчивость — потери персонажей (притом явно любимых, носителей сокровенных идей автора!), обрывы личных линий, вставки больших отдельных кусков другого качества и никак не связанных с повествованием; наконец, при высоком художественном вкусе — места грубейших пропагандистских вставок (в 20-е годы литература ещё к этому не привыкла). Да даже и одноразовый читатель, мне кажется, замечает некий неожиданный перелом между вторым и третьим томом, как будто автор начинает писать другую книгу. Правда, в большой вещи, какая пишется годами, это вполне может случиться, а тут ещё такая динамика описываемых исторических событий. Но вперемежку с последними частями «Тихого Дона» начала выходить «Поднятая целина» — и простым художественным ощущением, безо всякого поиска, воспринимается: это не то, не тот уровень, не та ткань, не то восприятие мира. Да один только натужный грубый юмор Щукаря совершенно несовместим с автором «Тихого Дона», это же сразу дерёт ухо, — как нельзя ожидать, что

Рахманинов, сев за рояль, станет брать фальшивые ноты.

А ещё удивляет, что Шолохов в течении лет давал согласие на многочисленные беспринципные правки «Тихого Дона» — политические, фактические, сюжетные, стилистические (их анализировал альманах «Мосты», 1970, № 15). Особенно поражает его попущение произведенной нивелировке лексики «Тихого Дона» в издании 1953 года (см.: «Новый мир», 1967, № 7, статья Ф. Бирюкова): выглажены многие донские речения, так поражавшие при появлении романа, заменены общеупотребительными невыразительными словами. Стереть изумительные краски до серятины — разве может так художник со своим кровным произведением? Из двух матерей оспариваемого ребёнка — тип матери не той, которая предпочла отдать его, но не рубить...

На Дону это воспринимается наименее академично. Там не угасла, ещё сочится тонкою струйкой память и о прежнем донском своеобразии и о прежних излюбленных авторах Дона, первое место среди которых бесспорно занимал **Фёдор Дмитриевич Крюков** (1870—1920), неизменный сотрудник короленковского «Русского богатства», народник по убеждениям и член первой Государственной Думы от Дона. И вот в 1965 в ростовской газете «Молот» (13.8.1965) появилась статья В. Моложавенко «Об одном незаслуженно забытом имени» — о Крюкове, полвека запретном к упоминанию за то, что в гражданскую войну он был секретарём Войскового Круга. Что *именно* хочет выразить автор подцензурной пригнетенной газетной статьи, сразу понятно непостороннему читателю: через донскую песню связывается Григорий Мелехов не с мальчишкой-продкомиссаром, оставшимся разорять станицы, но — с Крюковым, пошедшим, как и Мелехов, в тот же *о́тступ* 1920 года, досказывается гибель Крюкова от тифа и его предсмертная тревога за *заветный сундучок* с рукописями, который вот достанется невесть кому: «словно чуял беду, и наверно не напрасно»... И эта тревога, эта боль умершего донского классика выплыла через полвека — в самой цитадели шолоховской власти — в Ростове-на-Дону!.. И не так-то скоро *организовали* грубое «опровержение», опять партий-

ный окрик, опять из Москвы — через один год и один день («Советская Россия», 14.8.1966, «Об одном незаслуженно возрождённом имени»).

Конечно, на шестом десятке лет всякое юридическое расследование этой литературной тайны скорее всего упущено, и уже не следует ждать его. Но расследование литературоведческое открыто всегда, не поздно ему произойти и через 100 лет и через 200, — да жаль, что наше поколение так и умрёт, не узнав правды.

И я был очень обнадёжен, что литературовед высокого класса, назовём его до времени Д*, взялся, между многими другими работами, ещё и за эту. Западу, где не принято выполнять никаких работ бескорыстно, будет особенно понятно, что Д* не мог слишком много времени тратить на работу, которая его не кормила. Поймёт и Восток хорошо: на работу, которая могла обнаружить Д* и привести к разгрому всей его жизни. Работая урывками, хотя и не один год, Д* сперва вошёл в материалы, открыл общий план возможной работы, создал гипотезу о вкладе истинного автора и ходе наслоений от непрошеного «соавтора» и поставил своей задачей отслоить текст первого от текста второго. Д* надеялся закончить работу реконструкцией истинного первоначального текста с пропуском недописанных автором кусков или утерянных в «соавторской переработке».

Увы, он написал лишь то, сравнительно немногое, что публикуется сегодня здесь, — несколько главок, не все точно расставленные на места, с неубранными повторениями, незаполненными пробелами.

В самые последние месяцы тяжёлой болезни работа Д* разогналась, и за месяц до смерти он писал мне:

> За весну и за лето, несмотря на всевозможные помехи, сделал три новые главы, которыми, наконец, завершилась (удовлетворяя) часть историческая. Эти главки нужно сейчас только подтесать и угладить, к чему, надеюсь, уже помех не будет. Тогда срочно начинаю приводить в порядок часть вторую (поэтику). Исподволь в простом карандаше делаю задуманную реставрацию, пока только композиционную. Фразеологический и лексический отслой сам собою сделается после поэтики. Исторический комментарий получает другое назначение. Он будет не так, как я раньше полагал, — лишь опорой моего исследования. Он явится необходимым добавлением к самому произведению.
>
> Верю, что к весне завершу задуманное, и, как никогда раньше, понимаю важность именно этой первой части моей рабо-

ты. Дело ведь не в разоблачении одной личности и даже не в справедливом увенчании другой, а в раскрытии исторической правды, представленной поистине великим документом, каким является изучаемое сочинение. Это дело я уже не могу не довести до конца. Верю, что доведу.

Что касается детектива, то я решил составить краткий конспект этой второй своей книги с приложением собранной документации (библиографии и т. п.), а также и написанных глав — двух. Это, равно как и резюме, будет «Приложением» ввиду кончины автора. В кратком сообщении издателя будет сказано, что есть надежда найти 2-ю часть в завершённом виде. Вдруг мой век продлится, и эта книга окажется написанной? Посмертно найденная рукопись составит вторую книгу. Таковы планы.»

Но не только всего этого не выполнил Д*, а умер среди чужих людей, и нет уверенности, что не пропали его заготовки и труды последних месяцев.

В который раз история цепко удержала свою излюбленную тайну.

Я сожалею, что ещё сегодня не смею огласить имя Д* и тем почтить его память. Однако придёт время.

Но даже по этим, приносимым читателю, разновременным и разночастным осколкам уже многое ясно. Добросовестному и способному литературоведу открыт путь довести этот замысел до того состояния, о котором мечтал умерший исследователь и которое так необходимо читателям: читать эту великую книгу наконец без сумбурной наслоенности вставок, искажений, опусков — вернуть ей достоинство неповторимого и неоспоримого свидетеля своего страшного времени.

Цель этой публикации — призвать на помощь всех, кто желал бы помочь в исследовании. За давностью лет, за отсутствием вещественных рукописей нынешняя постановка вопроса — чисто литературоведческая: изучить и объяснить все загадки «Тихого Дона», помешавшие ему стать книгой высшей, чем она сегодня есть, — загадки его неоднородности и взаимоисключающих тенденций в нём.

Если мы не проанализируем эту книгу и эту проблему — чего будет стоить всё наше русское литературоведение XX века? Неужели уйдут все лучшие усилия его только на казённо-одобренное?

Январь 1974

О КНИГЕ Н. И. КОБОЗЕВА «ИССЛЕДОВАНИЕ в ОБЛАСТИ ТЕРМОДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИИ и МЫШЛЕНИЯ»

Этим предисловием я скудно заменяю биографический рассказ о замечательном человеке — одном из сильнейших умов России, встреченных мною когда-либо. Советская система умела уничтожать лучшие умы страны, даже не сажая их в тюрьмы, — лишь своим постоянным неотступным угнетением тупости. Сказать о Николае Ивановиче Кобо̀зеве (1905—1974) — физикохимик (ещё у́же — термодинамик), — мало. В высшей традиции науки предшествующего века он, параллельно своим главным исследованиям, в вечном самодвижении ума, не могущего остановиться, да и в череде болезней, обступивших его на многие годы, обдумывал и сопоставлял проблемы наук смежных и даже дальних — истории, философии.

Как многое глубоко оригинальное остаётся в советской науке в пренебрежении, пока не явится к нам извне уже признанным и в блеске практических применений, так не могли втиснуться ни в какие «научно-производственные» планы, например, такие исследования Кобозева: каково общежизненное или общеприродное оптимальное соотношение векторной настойчивости и броунизированной пассивности? Как счастье выпадало, если таким исследованиям находились страницы в «Бюллетене испытателей природы» — на торной научной дороге никем не читаемом журнальчике, почему-то не додавленном с дореволюционного времени. К 1948 году, совершенно независимо от Р. Винера, ничего не зная о его трудах, Н. Кобозев в одиночку разработал совсем в иной терминологии и методике то, что за океаном стало кибернетикой, а через 8 лет сквозь большое сопротивление пробилось и к нам.

В течение сорока лет профессор Московского университета, он, разумеется, никогда не был отмечен ни

одним государственным поощрением, но постоянно был тесним. Сокращалось финансирование его лаборатории, работы его не печатались, он находился в постоянной невозможности выразить себя печатно и публично.

В последние предсмертные годы Кобозев написал работу, предлагаемую здесь читателю: на термодинамическом языке трактовка кибернетических проблем, к которым автор прикоснулся так рано. Долгие его болезни снизили политическую *бдительность* властей к нему — и так работе удалось появиться в журнале физической химии Академии Наук, затем и — единственным отдельным русским изданием. *Бдительность* могла потому задавить эту книгу (как в нашей стране задушены тысячи их за полстолетия), что здесь доказывается существование противоэнтропийного центра во Вселенной, то есть, уходя из физической терминологии, — Бога.

Рассматривая эту книгу как сохранившийся осколок погибшей русской науки, читатель может живей вообразить её несостоявшиеся контуры.

Май 1974

К ПУБЛИКАЦИИ БРОШЮРЫ «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ФАБРИК И ЗАВОДОВ г. ПЕТРОГРАДА 18 марта 1918"

Эта истлевающая облохмаченная брошюрка в 16 страниц на дурной бумаге военного времени, с опечатками, без художественного глаза изданная, — драгоценнейшая книга моей библиотеки: не знаю, сохранилась ли где другая такая в Союзе, — в наших печках 30-х годов уж такие-то погибали и от гонителей и от хранителей. А издана брошюра собранием уполномоченных петроградского пролетариата в марте 1918, тотчас после бегства советского правительства в Москву.

За 55 лет практического большевизма всё багровое у нас так орозовело легендами и ложью, что даже соотечественникам истина совсем уже не видна, где ж говорить о Западе! И кто прозревает, тот для себя, перед взором собственным, сшибает лжи последние, недавние, очень явные и неумные, а уж те, что приросли к корневищу, — то ли земля святая, то ли сам ствол, — мы уж дружно почитаем за правду, мы и не наклоняемся разглядеть и очистить.

Такова и первая, исконнейшая ложь нашей революции: будто бы партия большевиков в годы переворота выражала интересы, исполняла волю *рабочего класса*, и особенно, конечно, петроградского. Из этой публикации читатель быстро увидит, как русский пролетариат в той «революционной колыбели» понимал правительство захватчиков.

1975

К ПУБЛИКАЦИИ ДВУХ ЛАГЕРНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

В лагерные годы, лишённый возможности хранить написанное дольше нескольких часов, от обыска до обыска, я по необходимости писал только в стихотворной форме, чтобы наскоро заучить, а бумагу сжечь. Всё написанное в те годы, естественно, не считаю достижением поэтическим, но многие мысли и чувства тех лет сохранялись только в этой форме.

И вот теперь, через четверть века, переглядывая старое, сам удивляюсь: как же устойчивы настроения — в своё время разделённые с кем-то из сокамерников, сегодня — с молодыми друзьями направления «Из-под глыб». Это даёт надежду, что как будто исчезнувшая духовная Россия, которую я тогда всё же угадывал, — выжила, крепнет, скоро проявит себя сильней.

1975

О КНИГЕ И. Р. ШАФАРЕВИЧА «СОЦИАЛИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ»

Есть в мире вещи, которых, очевидно, никак нельзя открыть без обширного опыта — личного или своего окружения. Так и эта книга с её острым и свежим взглядом на тысячелетние течения мирового социализма, хотя использует также обильную литературу, известную в научном мире, — закономерно появляется в стране, пережившей (и переживающей...) самый жестокий и длительный социалистический опыт Нового Времени. А внутри этой страны, так же закономерно: книга появляется не под пером гуманитария — вся прослойка учёных-гуманитариев наиболее основательно задушена у нас от октябрьской революции и посегодня, — но под пером математика с мировой известностью: представители точных наук в коммунистическом мире вынуждены заменять своих уничтоженных братьев.

Зато эта ситуация предоставляет нам редкую возможность получить последовательный анализ теории и практики мирового социализма — от крупного математического ума с долголетней привычкой к беспощадной методике своей науки. (Из чьих уст и наиболее весомо суждение, что, например, «в марксизме нет даже атмосферы научных исследований».)

Весь мировой социализм и все его деятели окутаны легендами, противоречия его забыты и скрыты, он не отвечает на аргументы, но постоянно игнорирует их — по тому инстинктивному отвращению от научного анализа, тому облаку иррациональности вокруг социализма, какое много раз и по многим поводам выявляет в своей книге академик Шафаревич. Социалистические учения кишат противоречиями, теории непрестанно расходятся со своим практическим осуществлением, но по могучему инстинкту — его тоже вскры-

вает автор — эти противоречия никак не мешают всё новой пропаганде социализма. И не существует чёткого понятия социализма, а лишь расплывчатое радужное представление о чём-то хорошем, благородном, о равенстве, всеобщности, справедливости: вот, наступят они — и всем сразу станет хорошо, и в обществе не будет недостатков.

XX век — из наибольших взлётов успеха социализма, и тут же возникли отвратительные практические осуществления его. Но по той же страстной иррациональности они отталкиваются от рассмотрения, либо совсем не принимаются во внимание, либо отводятся искусственными оговорками: то — об «азиатском» или «русском» искажении, то — о личности диктатора, либо переписываются на счёт «государственного капитализма». В предлагаемой читателю книге, при огромном охвате во времени и в пространстве, неутомимо развёртывая перед нами и анализируя десятки социалистических учений и десятки государств, построенных по принципам социализма, Шафаревич не оставляет места для увёрток о «непоказательных исключениях», на которые, конечно, не будет похоже сияющее будущее. Историей ли централизации Китая в первом тысячелетии до Р. Х., европейскими ли кровавыми опытами времён Реформации, утопиями европейских мыслителей, вызывающими дрожь (однако повсюду благоприлично почтёнными), деловой кухней Маркса-Энгельса или радикальными коммунистическими мероприятиями ленинских лет, никак не мягче к человеку, чем тяжеловесная сталинская поступь, — автор во всех десятках примеров доказывает нам неуклонную последовательность изучаемого мирового явления.

Автор выделяет инварианты социализма — основные неизменяемые элементы его, не зависящие ни от века, ни от страны возникновения, — и, увы, неотклонимо нависшие над сегодняшним шатким миром. Во всей истории человечества социализм уже имеет за собой и бóльшую длительность и крепость во времени, и бóльшую массовость и бóльший охват пространства, чем нынешняя западная цивилизация, — так что трудно отделаться от мрачного предчувствия — *во что* мы можем поглотиться даже к концу XX века: в ту «ази-

атскую формацию», от которой поспешил увильнуть в своей классификации Маркс и перед которой растерялась современная марксистская мысль, ибо увидела в тысячелетнем зеркале свою собственную безобразную физиономию. «Социалистическими» уже были, пожалуй, большинство государств протяжённой истории человечества — и это никак не были места и периоды счастья и расцвета человека.

Шафаревич с большой точностью указывает нам и причину и время появления первых социалистических учений — как реакции: Платона — на греческую культуру, гностиков — на христианство, реакции — одолеть распрямление человеческого духа и вернуться к приземлённому бытию самых примитивных государств древности. Автор этой книги убедительно показывает нам и диаметральную противоположность концепции человека во всякой религии и во всяком социализме. Социализм стремится редуцировать личность к её самым примитивным слоям, уничтожить всю высшую, сложную, «богоподобную» часть человеческой индивидуальности. И само равенство, так зажигательно обещаемое социалистами всех времён, не есть равенство прав, возможностей или внешних условий для человека, но равенство-тождество, равенство как внутренняя идентификация разнообразного — к однообразному.

И хотя, как показано именно в этой книге, социализм неизменно и с успехом уклонялся от всякого истинно-научного обсуждения своей сути, — книга Шафаревича бросает вызов нынешним теоретикам социализма: показать в деловой публичной дискуссии арсенал своих аргументов.

Февраль 1976

К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ ТРЕТЬЕГО ТОМА «АРХИПЕЛАГА ГУЛага»

Читателям, которые нашли в себе душевные силы преодолеть тьму и страдания первых двух томов, — откроются в третьем томе просторы свободы и борьбы. Тайну этой борьбы советская система хранит ещё сокровенней, чем тайну своих мучительств и миллионных уничтожений: коммунистический режим более всего страшится открыть, что против него борются, и борются с невиданной силой духа — известной не всем странам и не во всякие периоды их истории. Сила духа борцов тем напряжённей и выше, чем беспомощней их положение, чем истребительнее государственная система.

Не потому коммунистический режим не свергнут за шестьдесят лет, что с ним не боролись внутри, что ему отдались покорно, но потому, что он бесчеловечно силён, — так силён, как Запад ещё не представляет.

В лагерной среде, растленной по советскому образцу, пронизанной доносчиками, борьба начиналась — увы, не могла начаться иначе — с террора. Террор — ужасное средство, но порождён он был несравненным сорокалетним советским государственным террором. Это яркий пример, как зло порождает зло и как зло сверхчеловеческих размеров оставляет даже вырваться из себя только путями зла. Однако лагерный террор 50-х годов, породивший затем бессмертные восстания, принципиально отличался от «левого» революционного террора, сотрясающего сегодня Запад: эти юные террористы, освинячившиеся от избытка своей свободы, играют жизнями совершенно невинных людей — и убивают невинных ради своих корыстных или непроверенных теоретических целей. Террористы в совет-

ских лагерях 50-х годов избирательно убивали доносчиков и предателей, чтобы сохранить глоток воздуха.

Но никакой террор не украсил XX век, а сделал его — из самых позорных веков человечества. И нельзя поручиться, что самые чёрные бездны террора уже позади.

Ноябрь 1977

К СЕРИИ «ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ» (ИНРИ)

Русская история стала искажаться задолго до коммунистической власти: страстная радикальная мысль в нашей стране перекашивала русское прошлое соответственно целям своей борьбы. От неё и от революционных эмигрантов получил Запад первые начатки искажений. Не подходящие для западной мысли направления русской историографии, в XIX веке известные, ныне пренебрежены как современными западными историками, так и тем более советскими. Коммунисты, придя к власти, отчасти продолжили «освобожденческую» (Союза Освобождения) и «революционно-демократическую» трактовку, ещё во многом её огрубив, изломав, захламив. Прежние русские историки, застигнутые революцией, либо были физически уничтожены, либо пригнетены, приспособились к советскому строю и, значит, потеряли самостоятельность. Но и выехавшие тогда на Запад далеко не охватили сути и многих обстоятельств революционного обвала. Тем временем большая часть исторических материалов в Советском Союзе была истреблена, целенаправленно и стихийно, другая взята в спецхранения, под особый допуск, — и так подрастающие поколения лишены были пользоваться сколько-нибудь полным набором даже общеизвестных книг. Советская официальная наука, если и содержала иногда ценные сведения, то лишь по недосмотру цензуры или от поворотов политического флюгера, когда приоткрывалось то, что скрывалось на предыдущем отрезке. Однако и западная наука, во многом сохраняющая усвоенное предубеждение о русской истории, а ныне сталкиваясь со скудостью одних источников или болезненным состоянием других (из-за обязательной марксистской деформации), не смогла проявить глубину понимания, невольно попала в при-

нудительное русло, предоставляемое советской официальной наукой (но в иллюзии, что идёт независимым путём), — и так важнейшие темы, целые области знания остаются за пределами её зрения.

Наша страна в её нынешнем духовном возрождении больно ощущает провал своей исторической памяти. Вместе с тем подросло и молодое поколение историков, сознающее всю громадность и тяжесть опыта своих отцов. К тому же после десятилетий стали выныривать из забвения многие первоисточники, считавшиеся утраченными или вовремя не оцененные, и многие личные свидетельства, на которые уже не было надежды. Этими силами, малыми сравнительно с возможностями России, мы начинаем серию исследований в надежде на постоянный приток новых.

Авторы нашей серии не во всём непременно согласны друг с другом. Но все объединены целью очистить русскую историю от наростов лжи, выяснить затоптанную истину о последних веках России.

1979

К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ В. В. ЛЕОНТОВИЧА «ИСТОРИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ»

(ИНРИ, том 1)

Эта книга, по горькому року эмигрантских творений, могла быть опубликована сперва лишь на чужестранном языке, а на родном появляется с опозданием более чем в двадцать лет, и через двадцать лет после смерти автора, — и даже теперь не свободно для отечественного читателя. А между тем, трактуя исключительно русскую историю и идеи, наименее разъяснённые и усвоенные именно русским обществом, эта книга наиболее необходима читателю русскому.

Читатель найдёт здесь последовательное развёртывание ряда важнейших мыслей о сути либерализма, о шагах его в России — и это открывает нашему взору существенные уточнения понятия либерализма, помогает приблизиться к охвату его. Мы убеждаемся, что понятие это употреблялось в России сотню лет (и употребляется нами сегодня) далеко не в своём истинном значении. Особенно поучительно для нас методически проводимое автором различение между либерализмом и радикализмом: слишком долго в русских XIX—XX веках второй называл себя первым, и мы принимали его таким, — и радикализм торжествовал над либерализмом на погибель русскому развитию. Автор даёт нам ощутить и другие возможные срывы либерализма, выражаясь его языком: к демократическому абсолютизму и к империалистической демократии. Сегодня, когда уже и на Западе повсюду либерализм потерпел уничтожительное утеснение со стороны социализма, тем более звучны предупреждения автора, что либерализм жив, лишь пока он придерживается эволюционного преобразования уже существующих структур. Но, как только он будет навязывать существующему — схемы извне, он всегда будет в этом перекрыт и побит социализмом. Или предупреждение, что лич-

ная свобода никогда не может осуществляться без имущественной, — отчего и не могут никакие виды социализма дать свободу. Изложение этой книги заставляет нас также задумываться: не преувеличиваем ли мы значения политической свободы сравнительно с гражданской?

Автор свежо смотрит и помогает нам свежо посмотреть на многие лица и события в русской истории — от Радищева, Пугачёва, Екатерины Второй, Карамзина, декабристов (этих последних, уже радикалов, он считает роковыми для либерального развития России) — и до настойчивого либерализма Столыпина, широты гражданских свобод по конституции 1906 года, глубины русской государственной мысли в начале XX века. И в нашу сегодняшнюю смятенную перекорёженную обстановку предупредительно и напоминательно входит старый выбор: сперва ли конституция, потом освобождение крестьян (Сперанский); сперва ли гражданские права крестьян, потом политические свободы (Столыпин).

Этой книге присуще то изящество удавшихся произведений, когда помимо выяснения заданной темы автор попутно освещает другие вопросы, иногда и более важные. Так, в этой истории либерализма мы находим и глубокое высвещение некоторых ведущих причин, сделавших возможной революцию в России.

Однако строго выдержанная формально-правовая линия зрения иногда сужает автора и его истолкование русской истории, где не всё может быть уложено в такое русло. Так, освобождение дворян от государственных повинностей во второй половине XVIII века автор расценивает как процесс увеличения свободы в обществе и, стало быть, торжество либерализма. Но чувство протестует против такого истолкования, ибо именно это освобождение одних дворян укрепило искажённое понятие об их землевладении и надолго стало препятствием к освобождению крестьянского народа. Определяя метод либерализма как устранение всего, что грозит индивидуальной свободе, автор оставляет нас в неведении: должны ли существовать на этом пути духовные запреты? Правовым представлениям и правосознанию автор приписывает ведущую роль в

развитии исторических событий, нормы права в его оценке даже сходны с литургическими текстами. (В этом духе он почти враждебно отзывается о так называемых «славянофилах», впрочем делая исключение для обширного и сочувственного цитирования Д. Н. Шипова.) Автор нигде не упоминает и как будто даже не предполагает, что правовой метод при изучении исторического процесса — не вседостаточен и даёт не высшие точки обзора.

Сейчас, когда в нашей стране так разгорается жажда понять нашу недавнюю, но вовсе потерянную историю, — обзорный труд профессора Леонтовича осветит и поможет многим.

1979

К КИТАЙСКОМУ ИЗДАНИЮ
«АРХИПЕЛАГА ГУЛага»

После 1917 года от России не сохранилось ни клочка национальной территории, где жизнь и культура могли бы развиваться неискривлённым путём, год за годом являя себя здоровой противоположностью коммунистическому тлену, альтернативой и надеждой всего народа. После 1949 года от Китая сохранился, к счастью, Тайвань. Мало кто на Земле может так понять историческое значение свободного Тайваня, как мы, подгнётные советского коммунизма.

И потому я с особым чувством провожаю свою книгу в её китайском переводе. Это — редкое сочетание, что её будет свободно читать народ, сознающий себя живою частью народа порабощённого. Западное сознание украшает сегодняшний коммунистический Китай как чуть ли не добродетельный: это вольно и невольно строится, чтобы подставить его на войну вместо себя и так вручить ему дальнейшие судьбы человечества. Но мы-то с вами знаем, что сегодняшний коммунистический Китай — это страшная, бесчеловечная, потаённая страна, и её Архипелаг ГУЛАГ соревнуется с советским и по миллионам жертв и по бескрайней жестокости. И, я думаю, превосходит его в том и другом.

Китайский читатель перечувствует в этой книге ещё гораздо больше, чем в ней написано. Он дорисует всё то о сегодняшней своей родине, что находится и вовсе уже за пределами воображения.

Декабрь 1980

К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ Г. М. КАТКОВА «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

(ИНРИ, том 4)

По зажатому немому состоянию нашего отечества и эта книга появилась на иностранных языках (1967) на пятнадцать лет раньше, чем появляется сейчас на русском, уже в переводе, — а пятнадцать лет назад мы могли только слышать отрывочные суждения о ней по Би-Би-Си. В СССР в 20-е годы ещё было немало разрозненных публикаций о Февральской революции, некоторые весьма важные документы в «Красном архиве», часть и сокращенных перепечаток из эмигрантских изданий, — но с годами тема Февральской революции была умышленно пригашена и даже стёрта сравнительно с октябрьским переворотом.

В русской эмиграции существует о Февральской революции обширная мемуарная и публицистическая литература. Но почти каждая книга посвящена какой-нибудь отдельной личности, линии развития или эпизоду. Такой серьёзный историк, как С. П. Мельгунов, так много давший нам на пути понимания нашей революционной истории, как раз о мартовских днях написал свою наименее удачную книгу; не нашёл убедительного порядка изложения, раздробился в дискуссиях, в критике источников, а иные основные факты вовсе не рассматривал, предполагая общеизвестными. Г. М. Катков в предлагаемой книге решил задачу более стройного, цельного изложения событий, соблюдая при этом уместность и пропорциональность представления материала. В преимущество от своих предшественников, Катков мог воспользоваться также и сенсационными результатами открытия тайных архивов германского министерства иностранных дел.

Материал по Февральской революции огромен и вряд ли может быть сведен весь в одной обобщающей работе или к одному простому пониманию. Книга Каткова даёт

нам в этом направлении много и свежо, также и с большим числом важных психологических догадок, восстанавливающих скрытую связь событий. Естественно, что не все они оказались вполне удачны, против некоторых хочется выдвинуть возражения. Автор преувеличивает действенность и практическую реализацию заговора Гучкова, степень его удавшегося влияния на старших командующих. Совсем не основательно подозрение, что недолечившийся генерал Алексеев преждевременно возвратился в Ставку по замыслу Гучкова. Вообще фигуре генерала Алексеева, вокруг имени которого долго не утихали едва ли не самые резкие споры в русской эмиграции между направлениями легитимистским и белогвардейским, Катков, как нам кажется, дал упрощенное объяснение, почти сводя его позицию 1—2 марта к корыстной: покрыть прежний грех сокасания с заговорами. Но все переходы Алексеева в эти дни вполне поддаются объяснению и человеческой ограниченностью и путаницей заблуждений, в которую может попасть всякий человек. Не соответствует и характеру Государя приписываемое ему намерение рассчитаться с Родзянкой и кадетскими вождями после победы на фронте. В главе 16-й допущено неосторожное выражение, что «самодержавие осталось после революции». Всякий, кто касался фактуры коммунистической системы, знает, что это абсолютно новое явление мировой истории, и ни в ленинские, ни в сталинские времена не сводится к простым аналогиям.

Книга Каткова, ясная в изложении и удачно построенная, потому особенно интересна, что в новейшей русской истории нет события ни более крупного по последствиям, ни менее освещённого для отечественного читателя, чем Февральская революция.

1982

К СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕМУАРНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Для страны, которая переживает (и, надеюсь, переживёт) так затянувшуюся, всемертвящую коммунистическую диктатуру, одна из главных духовных целей — сохранение памяти о своём истинном прошлом, без чего нельзя восстановить самих себя духовно. Усилия коммунистических властей от первого дня их господства направлены были на уничтожение вещественных памятников, подлинных исторических документов, личных свидетельств и особенно — самих носителей этой памяти, сугубо — людей выдающихся способностей, не поспешивших поддаться режиму. В СССР это планомерное жестокое уничтожение достигло зловещих успехов, но советским властям удавалось даже захватывать или раскрадывать хранилища документов, сформированные после революции за границей, либо попавшие туда из Советского Союза во Вторую мировую войну.

В таких условиях один из существенных способов сохранить связь с прошлым — собирать письменные воспоминания старых людей, независимо от того, досталась ли им в жизни заметная историческая роль или рядовая. Всякий человек, кто долго жил, был непременно свидетелем или участником неповторимых событий, происшествий, обстоятельств, и доносит до нас какую-то хоть частицу, а часто целые пласты — эмоционального воздуха эпохи, языка, быта, людских наружностей и психологии.

Внутри СССР такие воспоминания немало писались, и, безусловно, некоторые сохраняются посегодня, сохранятся для будущего, однако множество их сожжено самими авторами в страшные годы. В эмиграции таких воспоминаний совсем не мало. Часть их уже напечатана — иных известных лиц, также и малоиз-

вестных. Но, по скудости эмигрантского житья, большинство мемуаристов писало просто для своих детей и внуков. Многие же эмигранты не находили в том цели, или времени для того, — и вообще ничего не записали, и умерли так.

Мы дважды обращались к эмигрантам с призывом писать и присылать мемуары: в 1974 — к свидетелям революции и гражданской войны, в 1977 — и к тем, кто моложе, о разных периодах советской и эмигрантской жизни. Для старых поколений это было уже поздно: большинство видных и невидных участников почили. Но и то, что удалось собрать, несколько сот больших и малых рукописей, — составляет большую ценность при наших прежних провалах и потерях. Всероссийская Мемуарная Библиотека предназначена сохранить эти рукописи для будущей России, где получит, конечно, новый прилив их.

Некоторые присланные рукописи выделяются своей яркостью, даже увлекательностью, неожиданным углом зрения или описанием полностью утраченного ныне, — и мы уже теперь начинаем публиковать их в серии «Наше недавнее». Она будет выходить непериодически, каждый том — отдельного автора, иногда двух-трех вместе. Наряду с эмигрантами мы будем печатать и воспоминания людей, живущих в СССР или живших там безвыездно до смерти. В серию будут включены также и давно написанные, но никогда не напечатанные воспоминания видных деятелей дореволюционной России (либо напечатанные только на иностранных языках).

Разумеется, читатель простит мемуаристам безыскусность языка, несовершенство композиции, весьма разную степень подробности или общности в отрезках времени, при смене тем, даже разрывы повествования — как складывалась жизнь и как вспоминалась потом. Беспритязательность и честность вспоминателей, простота их речи — лишь оттеняют достоверность и содержательность сообщаемого и вызывают в ответ благодарность, что они оставили нам эти свидетельства.

Август 1983

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСПОМИНАНИЯМ ЧЕТЫРЁХ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

(Всероссийская Мемуарная Библиотека, серия «Наше недавнее», книги 6 и 7)

Возьму на себя подтвердить полновесную правдивость того крайнего голодного отчаяния, до которого доходили пленники германо-советской войны в немецких лагерях. Именно это, в разных сходных вариантах, я слышал в советских тюрьмах 1945—1947 годов от многих наших пленников, добровольно или насильственно возвращённых в СССР и на родине снова брошенных за колючую проволоку.

Но самых потрясающих свидетельств нам не предстоит тут прочесть. Скольким случайностям надо было сойтись, чтобы наши рассказчики уцелели. У кого не было полегчающих поворотов личной судьбы, кто испытал более ужасное и длительное — те давно в могилах. И их — миллионы, бойцов Красной армии, преданных Сталиным.

Мне уже приходилось писать в «Архипелаге», что эти несчастные наши воины были трижды преданы коммунистической властью:

— они были отданы в плен бездарным военным руководством без возможности сопротивляться и часто безоружными;

— отвергнув Женевскую конвенцию, советская власть отреклась от них, лишила не только помощи своей, но и международного Красного Креста, какая была у военнопленных всех других наций, поставила вне всякого статута и законной защиты — ниже уровня скотины, которую всё же берегут из хозяйственного расчёта;

— и вдобавок она объявила всех выживших — «изменниками», и судила.

Думаю: и вся человеческая история не знала такого бесстыдного отношения правительства к собственным солдатам, попавшим в плен.

Наши рассказчики захватывают и смежные жизненные полосы нашей истории: чего стоила военная подготовка в СССР и вождение войск; картины военного хаоса 1941 да и 1942 годов; судьба *остовцев* — советских гражданских лиц, увезенных в Германию; безвластные, анархические недели в разгромленной Германии; затравленность во всей Европе гонимых жертв позорной Ялты; и свирепые тени насильственной репатриации в СССР: советское «освобождение» стоило немецкого плена!

Всех этих вопросов (и к ним взывает присоединиться абсурдная и преступная мясорубка «московского ополчения») строго запрещено касаться в СССР. Но и эмигрантская печать за десятилетия мало осветила их, — таков и посегодня великий страх над выжившими.

Предлагаемые две книги помогают нам заглянуть в эту чёрную дыру отечественной истории.

Декабрь 1986

ОБЪЯСНЕНИЕ
(к Русскому словарю языкового расширения)

С 1947 года много лет (и все лагерные, так богатые терпением и лишь малыми клочками досуга) я почти ежедневно занимался обработкой далевского словаря — для своих литературных нужд и языковой гимнастики. Для этого я сперва читал подряд все четыре тома Даля, очень внимчиво, и выписывал слова и выражения в форме, удобной для охвата, повторения и использования. Затем нашёл эти выписки ещё слишком громоздкими и стал из первой выжимки вытягивать вторую, а затем из второй третью.

Вся эта работа в целом помогла мне воссоздать в себе ощущение глубины и широты русского языка, которые я предчувствовал, но был лишён их по своему южному рождению, городской юности, — и которые, как я всё острее понимал, мы все незаслуженно отбросили по поспешности нашего века, по небрежности словоупотребления и по холостящему советскому обычаю. Однако в книгах своих я мог уместно использовать разве только пятисотую часть найденного. И мне захотелось как-то ещё иначе восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему — особенно для тех молодых людей, в ком сильна жажда к свежести родного языка, а насытить её — у них нет того многолетнего простора, который использовал я. И вообще для всех, кто в нашу эпоху оттеснён от корней языка затёртостью сегодняшней письменной речи. Так зародилась мысль составить «Словарь языкового расширения», или «Живое в нашем языке»: не в смысле «что живёт сегодня», а — что ещё может, имеет право жить. С 1975 года я для этой цели заново стал прорабатывать словарь Даля, привлекая к нему и словный запас других русских авторов, прошлого века и современных (желающие могут ещё многое найти у

них, и словарь значительно обогатится); также исторические выражения, сохраняющие свежесть; и слышанное мною самим в разных местах — но не из штампов советского времени, а из коренной струи языка.

Лучший способ обогащения языка — это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств. Так и французы в начале XIX века (Ш. Нодье и др.) пришли к этому верному способу: восстанавливать старофранцузские слова, уже утерянные в XVIII веке. (Но нельзя упустить здесь и других опасностей языку, например, современного нахлына международной английской волны. Конечно, нечего и пытаться избегать таких слов, как *компьютер*, *лазер*, *ксерокс*, названий технических устройств. Но если беспрепятственно допускать в русский язык такие невыносимые слова, как «уик-энд», «брифинг», «истеблишмент» и даже «истеблишментский» (верхоуставный? верхоуправный?), «имидж», — то надо вообще с родным языком распрощаться. Мои предложения могут и не быть приняты, но не защищать язык по этой линии мы не можем. Другие, ещё далевские, предложения о замене слов, не все привившиеся, я привожу, однако, как напоминание, с оговоркой «иногда можно сказать» — хотя бы для редких случаев, хотя бы в художественных произведениях.)

Итак, этот словарь ни в какой мере не преследует обычной задачи словарей: представить по возможности полный состав языка. Напротив, все известные и уверенно употребительные слова отсутствуют здесь. (С общими словарями неизбежны перекрытия, только когда прослеживаются оттенки значений.) Тут подобраны слова, никак не заслуживающие преждевременной смерти, ещё вполне гибкие, таящие в себе богатое движение — а между тем почти целиком заброшенные, существующие близко рядом с границей нашего изношенного узкого употребления, — область желанного и осуществимого языкового расширения. Также и слова, частично ещё применяемые, но всё реже, теряемые как раз в наше время, так что им грозит отмирание. Или такие, которым сегодня может быть придано освежённое новое значение. (И, например, с удивлением мы можем обнаружить среди исконных дав-

них русских слов кажущиеся новоприобретения современного жаргона — как *зырить, кунять, надыбать, заначить, с кондачка* и др.) Стало быть, этот словарь противоположен обычному нормальному: там отсевается всё недостаточно употребительное — здесь выделяется именно оно. Словарь составлен не по привычным нормам, и я не претендую ни на какую научность отбора. Этот словарь имеет цель скорее художественную.

Повышенное внимание я уделял наречиям и отглагольным существительным мужского и женского рода, ценя их энергию. Я опирался на личное языковое чутьё, примеряя, какие слова ещё не утеряли своей доли в языке или даже обещают гибкое применение. И когда таким словом я находил областное, старинное или церковное — я и включал его, часто без ограничительной ссылки: по их неутерянной выразительности такие слова имеют достоинство к жизни и распространению. К тому же у Даля областные указания естественно неполны: он указывает губернию, где достоверно слышал, однако слово живёт и в других областях, я обнаруживал такие случаи. А в наше время смешения населения тем более решает не локализация слова, но качество его. (Да ведь какому слову как повезло: попробуйте сейчас впервые изобрести слово «путе-шествие» — вас засмеют, что это напыщенно и искусственно.) В этом словарном расширении мы встречаем слова сотен новых оттенков, непривычного числа слогов и ещё никем не употреблённых рифм.

В соответствии с такой задачей словаря многие слова и вовсе не объясняются тут или только подсказывается мысль о возможном их применении. Многие разъяснительные примеры дословно взяты из Даля. В некоторых случаях объяснение не дано для большей свободы использования, простора воображения. Если читатель затрудняется — он может взять справку из большого систематического словаря, принцип же нашего словаря — лишь о т б о р. Если слово, взятое у писателя, даёт возможность и иных, чем у него, толкований — я не даю никаких, оставляя многозначность. Иногда я предлагаю истолкования, более применимые сегодня, чем полвека назад. (Например, у Даля «за-

имословие» объясняется как иносказание, а сегодня это скорей: перенятое у кого-то выражение или пользование речевыми стандартами.) Иногда здесь — форма усвоения иностранного слова (*организовка, протестный*).

Читатель не найдёт здесь и полноты грамматического аппарата. Грамматические категории слов, для сокращения объёма, указаны далеко не везде, а лишь где мне это казалось нужным в пособленье. Род существительных большей частью самопонятен, наречия отмечены чаще, по их непривычности. Глаголы не всегда приводятся в паре (несовершенный и совершенный вид), иногда только один из пары или объясняется только один из двух — который я нахожу более выпуклым, выразительным.

Словари, построенные на крупных гнёздах, как далевский, уже поэтому обречены пренебрегать алфавитом (*облекать — оболоконце*). Но и как будто строго алфавитные словари (как 17-томный академический 50-х годов) всё же допускают в себе малые гнёзда, а значит, уже небольшие отступления от алфавита. Да и выбор, что́ принять в основу гнезда (здесь — часто глагол), — меняет расположение слов внутри его. Значительные алфавитные шатания могут вызываться и пропуском буквы в приставке: о(б)(о), в(о)з. Графически я не выделял гнёзд, в этом словаре не имело бы смысла: чаще всего основообразующее слово здесь вовсе пропущено, а лишь приведены производные — несколько или только даже одно, и весь словарь течёт как череда расчленённых словесных единиц, где производные равноправны с исходными. Но, следуя Далю, я располагал рядом с глаголами некоторые производные от них глаголы с приставками (собранные вместе, они более наглядны), наречия от основного слова, производные формы со сменой коренной гласной или слова́, присоединяемые по ассоциации, по противоположности — для углубления впечатления. Чаще бывает важнее стык и последовательность по взаимной связи соседних слов. Таким образом, предлагаемый словарь предназначен не для розыска по алфавиту, не для справок, а для чтения, места́ми подряд, или для случайного заглядывания. Нужное слово может быть найдено

не строго на месте, а с небольшим сдвигом. Иногда глагол с приставкой может встретиться и по корню, и по приставке: для подобного словаря я не видел беды в таком повторении.

Но даже если бы этих присоединений не делать — строго алфавитного порядка не получилось бы ещё из-за колебаний между этимологическим и фонетическим принципами. (А устойчивость достижима только на двух крайних полюсах.) В настоящее время советские грамматисты сильно склоняют написание в сторону принципа фонетического. Мне уже пришлось писать в другом месте (Собр. соч., т. 10, с. 564), что этот принцип имеет пределы, до конца фонетические приёмы не могут быть употреблены, ибо затемняется смысл слов. Ведь мы всё же не пишем «зделать», «оптереть», «расскащик», «объещик». Или, например, принято *бестолковый*, но *без толку* — а фонетической ведь разницы никакой. Произношение ещё и меняется от времени или от местности. (Напротив, этимологический принцип, вероятно, мог бы быть выдержан вполне последовательно, хотя это затруднило бы чтение и письмо для недостаточно грамотных.)

Спор между этими принципами ярко сказывается, например, в написании приставок *без-*, *воз-*, *из-*, *раз-* перед глухими звуками (перед звонкими спора нет). Тут последовательно фонетический принцип очень гасит смысл слов, таких, как *изсекать, изскакать, изспела, изстараться, изстружить, черезсильный, безкабальный, безссорный, безсоветный* (да и *безклассовый*), *низсылал, возсылать, близтекущий*. Проблема должна быть решена как-то промежуточно, так решал её и Даль. Приставки на *-з* он пишет как *-с*: перед *к, п, т, ф, х, ц, ч, ш, щ* (но *без-* часто сохраняя и перед ними), однако очень держится за сочетание *зс* — для этимологической ясности. На каком-то промежуточном решении пытался удержаться и я: всегда стараясь отчётливо выразить смысл слова, но и не вызывающе расходясь с фонетикой. (Всё же *к* я считал наименее глухим из трёх глухих взрывных *п, т, к*.) Но и в парных сочетаниях *зс* или *сс*, *зк* или *ск*, *зт* или *ст*, *зх* или *сх* — выбор приходилось делать каждый раз так, чтобы не погас точный смысл слова, в зависимости от

привычности или редкости его. Разумеется, все такие решения приняты субъективно, и я не настаиваю на них. Тут надо искать достойное равновесие, и я не утверждаю, что его нашёл.

Часто Даль даёт яркие слова — по́ходя, не на своём месте, где они должны бы стоять (например, *беспокидно*), а на месте — не даёт их, я пытался некоторые возвращать в алфавит, как и некоторые слова из крупных гнёзд, если они сильно отскакивают по смыслу.

Написания ***ъи*** и ***ы*** считаю равноправными (*безъизгибный, безызгибный*), пользуюсь обоими. (Но они не везде тождественны, в частных случаях возможно предпочтение). Написания в существительных на ***-ник*** и ***-нник*** я избирал в каждом случае на пригляд к слову.

Если слову даётся объяснение или подбор синонимов, то: через тире в случаях более прямого соответствия; при помощи скобок, когда объяснение более косвенное.

Изредка смею взять на себя перенос ударения или его двоение (в первом и втором изданиях Даля бывают ошибки).

Слова, прямо относящиеся к лошадям, и некоторые примеры бранных выделены в приложение.

При составлении словаря мне много помог мой младший сын Степан.

Сердечно благодарю Елену Дорман за огромный труд по набору этого словаря.

1988

КОЛХОЗНАЯ ПОЛЫНЬ И ГИБЕЛЬ

Предисловие к сборнику документов В. П. Попова «Крестьянство и государство (1945—1953)» (ИНРИ, том 9)

Эта книга — в сухих и не бегло прочитываемых документах — содержит проблему исполинского размаха: как после советско-германской войны, «всемирно-исторической победы, спасшей человечество», доживала и погонялась к гибели бо́льшая, главная часть того «народа-победителя», который решил исход войны, сам полегши на полях сражений в десятках миллионов.

Перед внимательным читателем выступит уголовное управление колхозным крестьянством и ненаказуемый и не отводимый никакими воплями болей — прямой государственный грабёж крестьянства всеми видами поставок, налогов и обдираний. Тут мы найдем и Указ от 2 июня 1948 г. (трусливо не опубликованный в газетах!) о ссылке провинившихся колхозников — ещё одна ступень «коллективизации». И насильственное объединение колхозов («укрупнение») в 1950 г. (да когда?! посреди летних работ), вопреки всем чувствам тружеников и смыслу труда, но в твёрдую колодку государственного прижима, — ещё одна, добрежневская, ступень вымаривания и забрасывания опустевающих «неперспективных» русских деревень.

В этих официальных документах, к счастью не уничтоженных до нашего времени, открываются десятки страшных «сюжетов», которых в те годы не смела донести до нас лицемерная советская литература. *Тут*, в бесстрастных расчётах, признается «норма» потребления зерна колхозником — 200 граммов в день, и это «включая вероятный сбор опавших колосьев» (за который судят!). Тут мы увидим и 15-часовой рабочий день, и домашний ручной размол зерна (чтобы не платить мельничного сбора), и питание — травой. Тут и распущенность, воровство райпартактива и колхозных

заправил, и бытовая месть начальников, все виды расправ и угрозы тюрьмой (и реальные суды).

Разумные жалобы и советы с низов, когда находились для того отчаянные, — никогда не слушались, не использовались, спасибо, что подшивались в архивы — и теперь донесены до нас терпеливым составителем этого сборника. (Вместе и с доносами старателей, тоже — с низов...)

Нельзя сказать, что в громадном аппарате управления вовсе не было разумных людей, следящих за сутью процессов и истинным состоянием колхозных хозяйств, — но и их не слушали (если не топтали и не выгоняли). Даже в добросовестных стараниях — какая же это уродливая, неповоротливая система — бессильная в хозяйствовании, сильная только в угнетении.

Да была ли в истории где-либо, когда — такая власть: неуклонно ведущая свой народ к вымиранию — и при том именуясь *народной*?

Май 1991

НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

При печатании текстов нельзя было многажды не столкнуться с некоторыми неясностями и недостатками действующей русской орфографии и в иных случаях не предпринять самостоятельных шагов. Эти решения и объясняются здесь.

«ЯТЬ» и «Ё»

Совместная судьба этих двух букв характерна для торопливой энтропийной реформы 1917-18 годов и затем десятилетних полос пренебрежения русским языком. Как будто имелась в виду широкая механическая доступность грамоты — на самом деле безжалостно сглаживался рельеф языка и смазывались его драгоценные различия.

Мгновенное и бесповоротное искоренение «ятя» из самой даже русской азбуки повело к затемнению некоторых корней слов, а значит смысла и связи речи, затруднило беглое чтение. Например, перестали на письме отличаться:

ѣсть (кушать) и *есть* (быть);

ѣли (кушали) и *ели* (деревья);

вѣдение (от вѣдать, знать) и *ведение* (от вести, направлять);

свѣдение (о чём) и *сведение* (к чему);

тѣ (местоимение) и *-те* (частица);

нѣкогда (когда-то) и *некогда* (нет времени);

вообще *нѣ-* как указатель неопределённости и *не-* как отрицательная приставка;

лѣчу (на крыльях) и *лечу* (рану);

смѣло (храбро) и *смело* (спахнуло);

видѣн (издали) и *виден* (собою);

синѣе (положительная степень) и *синее* (сравнительная);

прѣние (гниение) и *прение* (препирательство);
вѣсти (новости) и *вести* (инфинитив);
рѣк (род. п. мн. ч.) и *рек* (сказал);
горѣ (горно, в духовном смысле) и *горе* (беда) —

и многие другие пары. В большинстве случаев эта нивелировка привела к возникновению помешных омонимов и омографов, балласта языка. Утеряна и окраска пассивности глаголов, оканчивающихся на «-ѣть».

Нивелировка опасно коснулась и падежей, лишая язык точности. Слились:

на море (вин.п.) и *на морѣ* (предл.п.);
в сердце (вин.п.) и *в сердцѣ* (предл.п.);
на поле (вин.п.) и *на полѣ* (предл.п.) и т. д.

Бóльшая часть всех этих потерь уже непоправима. Кажется маловероятным восстановление буквы «ять» хотя бы в частичных правах. Но на наших глазах происходит и уничтожение «ё». Эта буква не отменялась специально советским законом, но годами была покинута и стёрта в потоке всеобщей нивелировки и всеобщего безразличия к языку: её перестали набирать типографии, перестали требовать корректоры и учителя, исчезла клавиша «ё» на многих пишущих машинках. Эта бессмысленная нивелировка уже сегодня приводит к затруднениям и ошибкам чтения.

Я больно ощущаю ещё эту последнюю потерю нашего языка, даже и не подневольную, но от небережности и от потери интереса, только. Уже сейчас на некоторых фразах приходится останавливаться, возвращаться, перечитывать: понимать ли «все» или «всё». И не всегда это однозначно понимается. Теперь пишется одинаково: «хоронили в белье» или «не тратились на белье» — уродливая энтропия падежей.

Не признавать «ё» — значит содействовать расхождению написания и произношения. Уже в ближайшем поколении начнётся (а у иностранцев и сегодня происходит) двоение в произношении многих слов, вплоть до «ещé»; «ё» будет теряться всё глубже, станет изменяться звуковая картина нашего языка, произойдёт фонетическое перерождение многих слов.

А между тем с уничтожением «ятя» именно употребление «ё» во многих случаях оставалось препятстви-

ем для языковой энтропии. Пока существовал «ять», многие различия были понятны и без «ё» (откуда и взялось представление о необязательности этой буквы):

всѣ и *все* (всё);

слѣз (от слѣзать) и *слез* (слёз);

мѣл (сущ.) и *мел* (мёл);

чѣм и *о чем* (о чём);

осѣл (осыпался, обосновался) и *осел* (осёл) и др. Ныне последовательность в употреблении «ё» частично покрыла бы утерю «ятя».

Пренебрежение буквой «ё» неизбежно затянет нас и в дальнейшую энтропию языка. Как «незачем ставить две лишние точки, и так понятно» — скажут скоро: «незачем ставить шляпку над «й», и так понятно». Сегодняшним нам было бы действительно почти понятно: *маиор, иог, каима, жнеика, вои, конвои,* — но очень скоро это привело бы к затемнению смысла и дальнейшему разрушению языка.

И потеря «ё» ничем не восполнима при передаче народного произношения: *в ём, одноё* и т. д.

Но «ё» ещё можно успеть отстоять. И такая попытка делается в данном собрании. Нам удалось осуществить добавку «ё» в шрифт электронной наборной машины, где, разумеется, этой буквы не было.

Мы поступали так: ставили «ё» во всех однозначных и несомненных случаях. Также — когда автор весомо предпочитает в данном случае «ё» из вариантов. Или когда надо передать определённое произношение персонажа. Если же произношение слова практически двоится, возможно в двух вариантах — и «е» и «ё», — то оставляли «е», для того чтобы читатель мог принять для себя любой вариант. Так было чаще всего в причастиях:

воз-, от-, разведенный, запеченный, зароненный, заснеженный, изнеможенный, настороженный, недоуменный, неметенный, новоиспеченный, новорожденный, обойденный, оцененный, при-, от-, увезенный, при-, с-, унесенный, приотворенный, примененный;

в соответственных существительных:

настороженность, недоуменность;

в некоторых прилагательных и в кратких причастиях:

беленая, введен, завезен, изобретен, моченая, повторен —

и в ряде других случаев:

блеклый, на черта, неподалеку, оперлась, перекресток, пересек, ремнем, распростерлась, сек, трехсотлетие, углем, упершись.

При уничтожении «ё», протекавшем многие годы, происходила массовая замена «ё» на «о» после шипящих, потом от неё отказывались. Фонетически такая замена вполне равнозначна, однако она часто оскорбляет глаз, привыкший к традиции, и зачастую отрывает слово от других его форм. Здесь возможны разные решения. Так, в суффиксе «енк» существительных женского рода под ударением мы ставили «ё»:

бумажёнка, девчёнка, жжёнка, одежёнка, ручёнка, собачёнка, тушёнка, шапчёнка, (но *деньжóнки*),

но принимали «о» в подобных случаях мужского рода:

бочонок, дурачонка, мальчонка, мужичонка, мышонок.

ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭНТРОПИЙНОЙ РЕФОРМЫ

Мы все ещё помним, как твёрдый знак искоренялся полностью, даже и внутри слов, заменяясь нелепым апострофом. Затем нам вернули его. (Но недостаточно. Родились малопонятные формы: *выгрался* вместо *въигрался.*) В 20-е годы уничтожалась и форма «обеих» (о женском роде говорили «обоих»), позже вернули. Такая же нивелировка мужского и среднего рода прилагательных на *-аго, -яго* и *-ого, -его*, очевидно, уже неисправима. Бессмысленно стёрты местоимения — личное «оне» и притяжательное «ея». (В редких случаях мы восстанавливаем: «санитарный поезд Ея Величества».)

Отсутствие *i* во всех наборных алфавитах также очень чувствительно и приводит к затемнению смысла и досадной путанице в религиозно-философских текстах

и в распространённых ныне рассуждениях о міровых проблемах и проблемах мира-войны, о *міре* (Вселенной, Земле, человечестве) и *мире* (отсутствии войны, согласии, покое) с их производными. И передача крестьянского *міра* (как и церковного *мѵра*) через *и* приводит к утере окраски и духа слова. Однако мы не имели технической возможности провести эту разницу последовательно, а лишь в немногих исключительных местах.

Отсутствие *і* затрудняет также и точное воспроизведение украинской речи: приходится пользоваться *и* вместо *і*, потому и *ы* вместо *и*.

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

Всякая дифференциация в языке, его способность различать, — драгоценна, она есть сила и талант языка. Большевицкие реформы и практика советских лет направлены против дифференциации, они стирали рельеф и различия русского языка. Принимая грамматические решения, я руководствовался старанием сохранить и усилить оттенки, где это возможно.

При нивелировке языка значительное разрушение потерпел предложный падеж. Уже упомянуто, как он частично пострадал от отмены «ятя». В том же неосмысленном порыве всеобщего «упрощения» был срезан предложный падеж ещё одного обширного класса существительных — среднего рода с окончанием *-ье*, стали писать предложный в точности как именительный и винительный: *в Поволжье, в платье* (без всякой логики сохранив предложное *-и* для случая полного окончания *-ие*: *в состоянии*). Но нельзя объяснить разумно, зачем уравнивать три разных падежа, затруднять распознание, а предложный лишать его естественной формы:

в Заполярьи, в заседаньи, о здоровьи, в многолюдьи, в окруженьи, в окружьи, на перекрестьи, в платьи, в Поволжьи, в подпольи, в раздумьи, в состояньи, на сиденьи, о счастьи, в устьи, в ущельи (но *на острié*, поскольку окончание под ударением).

Этот случай предложного падежа имеет важное про-

должение в смешении некоторых словообразований и наречий. Мы пишем:

вступил в противоречье (вин.п.) с чем —
находится в противоречьи (предл.п.) *с законами*;

в продолжение (вин.п.) *этой книги будет написан еще один том* —
в продолжении (предл.п.) *многих веков*;

в продолженье разговора он предложил обсудить —
в продолженьи разговора они коснулись;

в уваженье к заслугам —
воспитаны в уваженьи к родителям;

в пребыванье моё в полку —
в пребываньи его здесь не было удивительного;

в исключенье, в отступленье от чего —
состоит в отступленьи от правил;

в отличье (противопоставление) —
в отличьи (состояние);

в сопровожденье назначен конвой —
в сопровожденьи конвоя.

Я нахожу неверной единообразную директиву писать во всех случаях: «вследствие» и «в течение» (когда речь идёт о времени), теряя разницу между направленностью и пребыванием. Нет основания столь непроходимо отличать течение времени от сходного ему течения реки и для времени запретить образование от предложного падежа «в течении» — хотя именно этот смысл чаще всего и вкладывается, а навязывают редко здесь прилагаемый по смыслу винительный падеж. Напротив, «впоследствии» единообразно указывают нам в форме от предложного падежа, хотя и тут жива форма от винительного.

НАРЕЧИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРЕДЛОГ

Слитность или раздельность написания их регулируются ныне правилами, недостаточно убедительными. Привлекается кроме смыслового и фонетический принцип, который здесь второстепенен, и иногда противоречиво. Так, «поодиночке» велят писать вместе, а

«в одиночку» отдельно (хотя фонетика, кажется, требовала бы обратного). Но вот я столкнулся с фразой: «вызванные в кабинет в одиночку». В раздельном написании (и при общей тюремной теме) может быть понято, что кабинет послужил какое-то время одиночкой (правдоподобный случай), тогда как разумелось, что вызывались не все сразу, а по очереди, — и слитное написание «водино́чку» было бы ясней. Нам предлагают «в гору», «в меру», «на лету», «под стать» писать отдельно, хотя это решительно (и часто неосновательно) сдвигает их от наречий к предложно-именным сочетаниям. (Теряется различие: «в меру того как» и «выпито вмеру».)

Но главное-то, что никакой массовый справочник и никакие единые правила не могут упорядочить *всего* непредставимого бесчислия наречий в русском языке, таких, как:

вдомёк, вкруте, в огиб, в отдар, вподбежку, вподробне, впоколоть, вполвысоты, вполсыта, впригнуску, вприголодь, вприкось, впристыдь, впробежь, впрочёт, врозбежь, вросхмель, всугонь, втриногі, в упрос, вусмех, вуторопь, доплоска, наиспыт, напредкі, на прилог, напроброс, невпротолочь, поскору, предпослед и т. д.

Решение вопроса всякий раз: в каком виде (отдельно или слитно) наречие будет лучше воспринято глазом, легче понятно, и — каков оттенок его в данной фразе.

В зависимости от оттенка смысла возможно и слитное, и раздельное написание наречий с отрицаниями, как *не зря, не против, не всерьез.*

ФОНЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИМЕЕТ ПРЕДЕЛЫ

Послереволюционные реформы все клонили дальше от этимологии и ближе к фонетике, несостоявшаяся реформа 1964 года грозила довести и до анекдота. Но этот путь никак не может быть пройден до конца, и остановки всё равно нелогичные: почему «разсказ» фонетизируется в «рассказ» (а не «раскас» и «раскащик»), почему «отдельно» не доведено до «оддельно» и «считать» до «щитать»? Сохранили осмысленное «брезжить» и зря исказили до «вожжи».

А коль скоро путь не пройден, и не может быть пройден, то, когда фонетическим написанием затемняется смысл слов, пишущим должно быть предоставлено право частично возвращать смысловую запись:

не — *черессильно, ниссылал, бесклассовый,*
а — *черезсильно, низсылал, безклассовый.*

Из написаний «предызбрать» и «предъизбрать» мы находим второе преимущественным.

НЕ УПУСКАТЬ РАЗЛИЧИЙ,

где можно их сохранить. Задача языка — как можно меньше уподоблять и смешивать, как можно тоньше различать.

«Листья шелест*ели*», но «ветер шелест*ил* листья(ми)». В подобных парах мы следили сохранить в окончаниях переходного глагола гласную *и*, непереходного — *е*:

построжеть (самому) — *построжить* (кого);

обезоружеть (самим) — *обезоружить* (кого).

Также признавали мы и различие:

заведывать (в разных местах, в разное время, о длительном, многократном действии) — несовершенный вид — и

заведовать — взамен формы совершенного вида (однократное действие);

переследывать (многие дела) и
переследовать (данное дело);

обнародывать (не раз) и
обнародовать (однократно);

пересажаны (все инакомыслящие) и
пересажены (с места на место ученики);

перевешаны (восставшие) и
перевешены (картины);

развешаны (оттенок изобилия, хвастовства) и
развешены (деловитее) —

и другие подобные пары.

Современные словари не различают: «безвестный» (не подающий вестей) и «беззвестный» (безызвестный):

Дело сошло безвестно, как сотни других.
Пропал безвестно.

Но:

Беззвестный посёлок. Беззвестно для вождя.

Нет оснований отказаться и от различения союза «нето» (слитно) и указательного местоимения с отрицанием «не то»:

Нето плавился, нето подгибался под её рукой.
Нето сказал, нето собирался только.

Но:

Не то, мой друг, не то. Не то сказал.

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ НАПИСАНИЙ

Сегодня язык стонет под напором больших букв — от учреждений и организаций, часто ничтожных. А уж грозное МВД всем кажется естественным — тогда как в дореволюционной России писалось с маленьких букв: «министерство внутренних дел» или «м.в.д.». Притяжательные прилагательные от собственных имён мы пишем с маленькой буквы: *надино горе, юриковы игры, сонечкина кукла*. Сегодня «*Катино вышиванье*» выглядит так же странно, как былое написание национальностей с большой: *Англичанин, Испанец*. Но мы оставляем большую, когда речь идёт об известном историческом или мифологическом лице: *Петрово детище, Софьин указ, Михаилово отречение, Венерин павильон*.

Как правило, мы пишем *Государь* с большой буквы (как руководитель государства, наряду с *Государственной Думой* и *Государственным Советом*), но *государыня* с маленькой. Так же с малой — *его величество, император, царь, августейшая семья*, если это не цитата и если по тексту в эти слова не вкладывается повышенный эмоциональный смысл.

Также в зависимости от контекста колеблются у нас

написания: *Действующая Армия* (с самым уважительным смыслом), *Действующая армия* (более служебно), *действующая армия* (косвенно, вскользь). То же и: *Главнокомандующий* и *главнокомандующий; Двор* и *двор*; *Учредительное Собрание* и *учредительное собрание.*

Слово *Бог* пишется с большой буквы всегда, когда ему придаётся религиозный и вообще наполненный смысл. Но в служебно-бытовом употреблении, в затёртых словосочетаниях — с маленькой:

окошко не дотягивалось до божьего света;
работа выходила на божий свет;
ей-богу; о, господи (мимоходом).

Также и *боги* — при многобожии или в переносном смысле: *боги рынка.*

Большое неудобство представляют советские извращённые слова: *зав. отделением, зав. производством, зам. министра.* С ними какое решение ни принять — всё дурно: писать ли их отдельно через точку или писать слитно. Во втором способе (который мы и приняли как меньшую беду) искажается скрытый падеж: «скажите замминистру». Очевидно, следовало бы решиться на раздельное написание и дать склонение «заву» и «заму». Впрочем, более полные сокращения, как *завмаг,* уже приобрели такую оборотистость.

Взывает к упрощению простановка годов. Склонение года мы указываем, только если он дан лишь двумя последними цифрами: *это уже было в 58-м.* «Году» добавляется не всякий раз, а когда этого требует выразительность или может быть иначе утерян смысл. Но созрело обходиться и без окончания и без «года»: *это началось в 1917, когда...* От частых «г.г.» рябит в глазах, затрудняется строй фразы и ничего не выигрывается. (В английском языке давно употребляется так.)

От слова *погон* род.п. мн.ч., несомненно, *погонов,* а не распространённое теперь *погон,* что опять-таки нивелирует склонение.

Слова *цыгарка, цыгейка, цынга, панцырь* мы печа-

таем через *ы*, чтобы тесней приобщить их к кругу русских слов. Написание через «и» выглядит худосочно.

Не могу отказаться от *я* в словах *семячки, мятель, меряный* (наряду с *меренный* — прич.). Эта потеря кажется мне обесцвечиванием. Различаю *прострелянный* (много раз, от «прострелять») и *простреленный* (единожды, от «прострелить»).

Хотя слитное написание *полнóчи* (половина её) требуется общим правилом, но так создаётся омограф, различаемый только специальным ударением от *пóлночи*. Встречаются случаи, где путается смысл, и тогда для различения мы вводим чёрточку: *просиживал пол-нóчи* (половину ночи), но *работал до пóлночи* (до двенадцати часов ночи).

Словарь Академии Наук (1950-е годы) даёт:

запань — спец. (перемычка из брёвен на реке).

Но нельзя придумать корня и смысла такого слова. Даль (хотя не строгий в написаниях) пишет *запонь* и роднит с *запоной* (т. е. брёвна — как плавучая завеса). Так принимаем и мы.

Русский язык склонен обрабатывать на свой лад втягиваемые иностранные слова — и это есть признак его силы и здоровья. Народная попытка склонять «пальто», хотя и превращена интеллигенцией в анекдот, а на самом деле здравая. Так и несклоняемые (и оттого совсем у нас неуклюжие) «*жалюзú*» стали произноситься *жáлюзи* и склоняться: *жáлюзей, жáлюзями*.

Подчиняюсь принятому *фольклор*, хотя *о* мы удерживаем неповоротливо, наше произношение сразу сложилось как *фольклёр*.

Для отличия *стóящий* от *стоящий* хорошо бы в первом случае принять написание по народному произношению *стоющий*, отступив от правил спряжения.

В эмигрантских изданиях в минувшие десятилетия стали писать «большевицкий», приближая к общему правилу (сравни: *мужик — мужицкий, дурак — дурацкий*). И в самом деле, при русских корнях, написания «большеви*ст*ский» и «меньшеви*ст*ский», да ещё при частоте их употребления, обременительны, и следовало бы упростить на *ц*.

Написание отдельных слов зависит также и от общего языкового фона этого отрезка. Например, если описывается деревенская жизнь, то и в прямой речи персонажей, и даже в авторской речи, естественно писать «грамофон» через одно *м*, вопреки словарю.

Безнадёжно отстало от устной речи слово «сейчас», к тому же такое частое. В прямой речи всё чаще приходится его сокращать в «сечас» или «щас».

Имена-отчества могут писаться сокращённо не только в прямой беглой речи, но и в авторской — при утере степенности, при ироничности:

Василий Аксентьич, мастер литья (вместо *Авксентьевич*).

ЗАПЯТЫЕ

Могучее средство выражения, но если пользоваться им достаточно свободно, применительно к тонкостям интонации. Современный английский почти лишён запятых, и это обедняет его фразу. Наша нынешняя письменность слишком обременена формальными традициями немецких грамматистов.

Запятые должны служить интонациям и ритму (индивидуальным интонациям фраз и персонажей), помогать их выявлять — а не быть мёртво-привязанными для всех интонаций и всех ритмов. Для синтаксиса интонация должна быть ведущей. Школьные пунктуационные правила формальны и не учитывают живое дыхание речи. Я считаю нужным следить, чтоб не происходило такого резкого отрыва письменной речи от гибкой устной.

РАЗГРУЗКА ОТ ИЗБЫТОЧНЫХ ЗАПЯТЫХ (УСКОРЕНИЕ, ОБЛЕГЧЕНИЕ)

Читатель не должен встречать частокол тормозящих запятых, обременяющих фразу.

Во-первых, это относится к приложениям и сравнительным оборотам с союзом «как». Мы не ставим запятую при краткости сравнения, беглости его применения или расхожести употреблённого образа; не ставим, если сравнительный оборот имеет значение при-

равнивания или обстоятельства образа действия, или является именной частью сказуемого:

упрямый становится как осёл;
на войне как на войне;
сошлись как срослись;
сказала как о незначащем;
философ-доцент, представительный как министр;
городки как Кизел;
целые районы как Таншаевский;
начинают оплавляться как восковые;
мотнул головой как отплюнулся;
ногу держал как гитару;
проезжают мимо рабынь как подлинные олимпийцы;
это «интересненько» Костоглотова пришлось ему как нож между рёбрами;
всеобщей амнистии боялись они как моровой язвы (если поставить запятую — будет ударение на «боялись», потом пауза и сравнение произносится новым духом; без запятой — сплошное прочтение и ударение на «моровой язве»);
там свои ноги тяжелы как у слона, тут перебирают как воробьиные;
он сам как тройная подушка;
но чистая совесть как горное озеро светит;

во-вторых, беглости чтения способствует облегчение от запятых, несмотря на подчинительные союзы, и при цельных неразложимых выражениях:

что ни год безнадёжней;
перекрикивались с кем хотели;
пусть каждый добывает как может;
две тысячи лет уже как сказано, что;
надевает что хочет и ест сколько хочет;
уже два года как в его неуклонном взгляде;
исчез, не прислал ни одного донесения, неизвестно где находится;
готов помочь в чём-нибудь, не знал в чём;
Россию раскачиваете, неизвестно кто больше;

в-третьих, при интонационной беглости можно некоторые деепричастные обороты не заключать в запятые

(иногда отделять с одной стороны), а также одиночные деепричастия, которые приобретают значение наречия или обстоятельства образа действия:

проходил не здороваясь;
так, чтоб голову нагнувши войти;
не видя как иначе поступить;
и покуривая смотрел, прищурившись

(возможен симметричный вариант:

и, покуривая, смотрел прищурившись);
и не зная подробностей, можно быть уверенным;
вряд ли ошибёмся обругав;
поднимался по лестнице шатаясь, вцепясь в перила;

в-четвёртых, разгрузка от запятых часто настоятельна вокруг вводных слов и оборотов, во всяком случае с одной стороны. В зависимости от темпа фразы не всегда должна вклиниваться запятая после «во-первых», «во-вторых», «например», «конечно». Часто помешны запятые вокруг «может быть», особенно в форме «может». Чаще других обособлены интонацией «пожалуй», «напротив», но отнюдь не всегда:

может не рассудительно, а хотелось;
да может и не коменданта, груз может и не военный;
да может быть я давно-давно об этом думаю (интонация слитно-настоятельная);
ну, кажется всё начинало налаживаться;
говорят послали флот;
так оказывается потому;
в 20-е годы знаете как говорили? (разговорная беглость);
и как всегда они правы, и как всегда доказательств не требуется;
вы пожалуй запомнили бы навсегда.

Перечислительные запятые при однородных членах тоже могут ставиться или не ставиться, или не все, — подчиняясь интонации:

и друзья и враги, и свои и чужие;
и придя и не застав дома;
тогда и обед и ужин.

И много других случаев, когда интонация повелительно требует облегчения потока речи:

она обернулась обиженная;
он испытывал не что иное как ревность;
не знаешь какого другого поворота ждать, и с чего начинать не знаешь, разве с подарков;
злоба с вывертом, то что называется садизм;
приезжали всё гуще, видно было что повалят;
с такими бандитами как вы — не стану!

УГЛУБЛЕНИЕ ИНТОНАЦИИ ЗАМЕДЛЯЮЩИМИ ЗАПЯТЫМИ

Кроме случаев, оговоренных правилами, таких, как:

десять раз за процесс возвращается, и возвращается, и возвращается;
первый, и второй, и третий год тюрьмы;
все они очень умными себя представляли, и очень тонкими, и очень сложными;
приудобился он читать эту тихую, спокойную книгу;
вторая, решётчатая, дверь, —

интонация иногда требует не только неукоснительной расстановки запятых, но и добавления их:

на увечье, на смерть, и без надежды на возврат;
миновал комнату, другую, и увидел накрытый стол;
мы исправились, и у себя на родине освоились;
она робела, и при встрече не могла бы найтись.

Частицу «де» принято присоединять через дефис к предыдущему слову. Но иногда это невозможно:

что де он с веками блекнет;
и потому де это справедливо, —

а выделять запятыми кажется обременительным. Но в иных случаях интонация велит взять в запятые:

будто, де, купить на него ничего нельзя.

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУНКТУАЦИИ

Возможна череда вопросительных или восклицательных знаков — и при слитности фразы, накате речи, текст возобновляется после них всякий раз с малой буквы. Напротив, ремарка к прямой речи, обычно начинающаяся с малой буквы, может начинаться с большой, если глубока пауза между речью и сопровождающим пояснением.

Запрет двух (или даже трёх) последовательных двоеточий в одной фразе необоснован. Высвобождая русский синтаксис, этот запрет взорвали уже Белый и Цветаева.

По существующим правилам — в конце фразы, содержащей цитату или закавыченную прямую речь, вопросительный, восклицательный знаки и многоточие ставятся до кавычек, а точка почему-то после. Это не логично. Мы ставим точку также до кавычек, если закавыченная фраза является законченной, и — после них, если кавычки заключают несамостоятельную часть объемлющей фразы.

1977—1982

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Статьи, письма, интервью, вошедшие в данный том, впервые собраны вместе. Некоторые из них прежде не публиковались. Иные — были опубликованы только в переводах на иностранные языки. Больше половины работ этого тома никогда не печатались в России. Треть тома составляют устные интервью. Как правило, редакции журналов, газет, радио- и телепрограмм при подготовке к печати или трансляции значительно меняют исходный текст интервью: сокращают (иногда существенно), делают перестановки и пр. Здесь мы приводим исходные тексты по оригинальной магнитофонной записи — во всех случаях, когда она сохранилась в архиве автора. Все тексты утверждены автором для настоящего издания.

Главный урок (15 января 1982). — Статья написана в Вермонте в декабре 1981, по предложению французского журнала «Экспресс». Опубликована: «L'Express» (Париж), 15.1.1982. По-русски впервые напечатана в газете «Русская мысль» (Париж), 21.1.1982.

Скоро всё увидим без телевизора (23 апреля 1982). — Статья написана также по предложению журнала «Экспресс», где опубликована 23.4.1982; по-русски впервые — в газете «Русская мысль», 13.5.1982, затем — в «Вестнике РХД» (Париж), 1982, № 136.

Письмо Президенту Рейгану (3 мая 1982). — Предполагавшаяся по инициативе Белого дома личная встреча А. И. Солженицына с Президентом Рейганом была, по сообщениям вашингтонской прессы, «сочтена нежелательной функционерами администрации» и подменена церемониальным завтраком с группой бывших советских диссидентов (11 мая 1982). От участия в нём писатель отказался, объяснив причины в конфиденциальном письме Президенту Рейгану. Однако мотивы отказа Солженицына были в прессе существенно искажены, что сделало необходимой публикацию данного письма. Впервые по-английски опубликовано в еже-

дневной вермонтской газете «Ruthland Herald», 13.5.1982, оттуда перепечатано в «The Washington Post», 16.5.1982. По-русски первая публикация: «Русская мысль», 20.5.1982. В СССР впервые: «Литературная Россия», 29.12.1989.

Поздравление Генриху Бёллю (31 мая 1982). — Автограф в альбоме, составленном и отпечатанном друзьями Бёлля к его 65-летию. Русский текст в альбоме воспроизведен факсимильно. Отдельно не публиковался.

Радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-Би-Си (8 июня 1982). — Дано в Вермонте в доме автора 8 июня 1982. Барри Холланд — тогдашний глава русской службы Би-Би-Си. Передавалось на СССР в ноябре 1982 в связи с 20-летием опубликования «Ивана Денисовича». Текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Впервые напечатан в журнале «Звезда» (С.-Петербург), 1995, № 11.

Коммунизм к брежневскому концу (сентябрь 1982). — Статья написана в сентябре 1982 по предложению японской газеты «Йомиури» (Токио), где опубликована 23.10.1982. Французский перевод напечатан в журнале «Экспресс», 10.12.1982. Русский текст впервые появился в газете «Русская мысль», 2.12.1982, затем в журнале «Посев» (Франкфурт-на-Майне), 1983, № 1.

Нобелевскому комитету мира (14 сентября 1982). — Обращение А. И. Солженицына в поддержку кандидатуры Леха Валенсы на Нобелевскую премию мира было передано мировым агентствам через польскую службу «Голоса Америки». По-русски напечатано впервые в «Русской мысли», 23.9.1982.

Телеинтервью японской компании «Нихон» (5 октября 1982). — Дано А. И. Солженицыным в Токио, во время путешествия по Японии осенью 1982. Транслировалось в Японии 5 октября 1982. Текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Печатается впервые.

Три узловые точки японской новой истории (9 октября 1982). — Речь, произнесенная в Токио перед представителя-

ми делового и политического мира. В выдержках напечатана тогда же в японской газете «Санкё». По-русски впервые опубликована в «Вестнике РХД», 1982, № 137.

Круглый стол в газете «Йомиури» (13 октября 1982). — Дискуссия имела место в Токио, 13.10.1982. Японский текст опубликован в газете через день. По-русски впервые напечатан в «Вестнике РХД», 1983, № 138.

Свободному Китаю (23 октября 1982). — Речь, произнесенная в Тайбэе перед общественностью и политическими деятелями Тайваня. Транслировалась по всем тайваньским телевизионным каналам, затем опубликована во многих газетах. По-русски напечатана той же осенью в «Вестнике РХД», 1982, № 137, и в «Русской мысли», 11.11.1982.

Заявление при отъезде с Тайваня (25 октября 1982). — Сделано в аэропорту перед корреспондентами и распространено мировыми агентствами 25.10.1982. По-русски напечатано в «Вестнике РХД», 1982, № 137, и в «Русской мысли», 11.11.1982.

Пресс-конференция в Лондоне (11 мая 1983). — Созвана устроителями в связи с получением А. И. Солженицыным Темплтоновской премии в лондонском Гилдхолле накануне, 10 мая (см. том 1-й настоящего издания: «Слово при получении Темплтоновской премии» и «Темплтоновская лекция»). Писатель посвятил пресс-конференцию главным образом положению политзаключённых в СССР и судьбе только что арестованного в Москве С. Д. Ходоровича, возглавлявшего работу Русского Общественного Фонда. Распространённая агентствами, пресс-конференция публиковалась в отрывках и комментариях многими западными газетами и журналами. По-русски значительные фрагменты текста напечатаны в «Русской мысли», 7.7.1983. Полный текст, воспроизведенный с оригинальной звукозаписи, печатается впервые.

Интервью лондонской газете «Таймс» (16 мая 1983). — Дано в Лондоне старейшему обозревателю «Таймса» Бернарду Левину. Опубликовано: «The Times», 23.5.1983. Русский текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Впервые напечатан в «Русской мысли», 23.6.1983.

Телеинтервью с Малколмом Магэриджем для Би-Би-Си (16 мая 1983). — Записано в Лондоне. М. Магэридж — английский интеллектуал, писатель, в молодости журналист. Передавалось несколько раз английской службой Би-Би-Си. Русский текст впервые напечатан в «Вестнике РХД», 1983, № 140.

Выступление в Итонском колледже (17 мая 1983). — Итон — старейший в Англии колледж для мальчиков. По традиции колледж приглашает выдающихся людей современности для встреч со старшеклассниками. Отчёт о посещении Итона А. И. Солженицыным, о его выступлении и беседе с молодыми людьми появился в ряде английских газет. Русский текст опубликован в «Вестнике РХД», 1983, № 140.

Якунинским Слушаниям в Ванкувере (18 июля 1983). — Обращение послано писателем на адрес Слушаний и распространено агентствами из Ванкувера. По-русски напечатано в «Русской мысли», 11.8.1983.

Фильм о Рублёве (октябрь 1983). — Критический этюд, написанный (как и следующие ниже «По донскому разбору» и «...Колеблет твой треножник») во время паузы в работе над «Красным Колесом» (конец 1983 — начало 1984), в Вермонте. Первая публикация: «Вестник РХД», 1984, № 141. В России текст впервые напечатан в журнале «Звезда», 1992, № 7. В настоящем издании после основного текста впервые публикуется «Добавление (май 1985)».

О присуждении Нобелевской премии Леху Валенсе (5 октября 1983). — Заявление передано польской службе Би-Би-Си и ею распространено. Русский текст: «Русская мысль», 13.10.1983.

Письмо в «Вестник РХД» (Ответ Е. Янкелевичу) (11 октября 1983). — Письмо Е. Янкелевича вызвано публикацией дискуссии «Круглый стол в газете „Йомиури“» в «Вестнике РХД», 1983, № 138 (см. данный том «Публицистики»). Напечатано вместе с ответом А. И. Солженицына в «Вестнике РХД», 1983, № 140, в разделе «Письма в редакцию».

Интервью с Бернаром Пиво для французского телевидения (31 октября 1983). — Снято в Вермонте, в доме писа-

теля. Бернар Пиво — многолетний ведущий литературной передачи «Apostrophes», очень популярной во Франции. Демонстрировалось по 2-й программе французского телевидения 12 декабря 1983 (затем повторно во Франции и в нескольких европейских странах). Вызвало многочисленные отклики во французской прессе. Вот несколько фрагментов:

...Захватывающий репортаж... Средоточием его жизни была и остаётся писательская работа. Передача Бернара Пиво восстанавливает истинное соотношение, о котором и у нас, и в США часто имеют тенденцию забывать, выдвигая на первый план политические выступления Солженицына, тогда как они лишь побочная часть его деятельности... Вот он размышляет, горячится, смеётся. Самый обыкновенный человек. Но какой человек! ... Замечательная и нелёгкая удача Пиво состоит в том, что он сумел показать Солженицына самим собой, не отделённого от нас экраном (Пьер Дэкс. «Котидьен де Пари», 10—11 декабря 1983).

...То, что вчера можно было увидеть по 2-й программе, — действительно из ряда вон... Вам известно, кто такой Александр Солженицын? Величайший, пожалуй, писатель со времён Достоевского. И вчера, с гениальной простотой, он рассказывал о себе и о своём. ... Это было настоящее вторжение духа. Говорил поэт. Спокойно. Сильно. Это было — как молния среди туч. ... В совершенстве владея искусством трагедии, но и не без лукавства, он напомнил Западу об очевидной опасности... (Рено Матиньон. «Фигаро», 10—11 декабря 1983).

...Конечно, для чистой совести левых, у которых в 70-е годы, благодаря Солженицыну, открылись глаза, удобно было бы, чтобы изгнанник обо всём думал, как они. Увы, не удаётся заполучить зэка, мешает его опыт и бескомпромиссность. Внимая духу, он пренебрегает тактикой. Будучи твёрд, отказывается от условностей. Суровый, не принимает легкомыслия. Короче, для левых он невыносим, это очевидно, но он невыносим и для правых... Солженицын несговорчив. Ни брань, ни похвалы его не задевают, он их просто не замечает... (Ж.-П. Иоми-Амюнатеги. «Матэн», 9 декабря 1983).

...Какая в нём уверенность, какая сила! ...Тут слово свободно, полнокровно, исполнено своей первобытной силы. Этот человек думает, заглядывает в будущее, страдает, надеется, верит, не скрываясь делится своими не отработанными заранее мыслями, жаром своих чувств с тем, кто слушает его не перебивая, слушает за всех нас. ... Как я завидовал Солженицыну, как завидовал ровной энергии, которая проявляется и в том, как он колет дрова, и в том, как он чеканит свои мысли. Тут было что-то от символа... (Пьер Эммануэль. «Франс католик», 11 декабря 1983).

По-русски полный текст интервью был опубликован в «Русской мысли», 1.11.1984, выдержки — в «Вестнике РХД», 1984, № 142. В России печатались фрагменты интервью: «Европа+Америка», 1991, № 1; полный текст печатается впервые.

Интервью с Даниэлем Рондо для парижской газеты «Либерасьон» (1 ноября 1983). — Дано молодому французскому писателю Даниэлю Рондо в вермонтском доме писателя 1 ноября 1983. Опубликовано: «Libération» (Париж), 12 и 13 декабря 1983. Предлагаемый русский текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Впервые напечатан в «Вестнике РХД», 1984, № 142. Первая публикация в России: журнал «Звезда», 1996, № 1.

По донскому разбору (январь 1984). — Первая публикация: «Вестник РХД», 1984, № 141. В России впервые — в журнале «Звезда», 1992, № 7.

Английскому священнику Майклу Бурдо (4 марта 1984). — Церковный и общественный деятель, директор Кестон-колледжа священник Майкл Бурдо стал лауреатом Темплтоновской премии 1984 года. Лауреат предыдущего года А. И. Солженицын поздравил его письмом, которое впервые публикуется по-русски в настоящем издании.

...Колеблет твой треножник (апрель 1984). — Первая публикация: «Вестник РХД», 1984, № 142. В России впервые — в журнале «Новый мир», 1991, № 5.

Радиоинтервью о «Красном Колесе» для «Голоса Америки» (31 мая 1984). — Записано в Вермонте, в доме писателя. Интервьюер Марк Помар — тогдашний глава русской службы «Голоса Америки». Интервью предваряло цикл литературных передач радиостанции, в которых А. И. Солженицын читал столыпинские главы из «Августа Четырнадцатого». Текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Печатается впервые.

Интервью с Н. А. Струве об «Октябре Шестнадцатого» для журнала «Экспресс» (30 сентября 1984). — Интервью было дано по просьбе журнала в связи с готовящимся к печати французским изданием второго Узла «Красного Колеса». Н. А. Струве — многолетний редактор журнала «Вестник РХД» и директор старейшего эмигрантского издательства YMCA-press. Беседа происходила в Вермонте, в доме писателя. Интервью опубликовано по-французски в «Экспрессе», 7.6.1985. Русский текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Напечатан впервые в «Вестнике РХД», 1985, № 145.

Радиоинтервью о «Марте Семнадцатого» для Би-Би-Си (29 июня 1987). — Записано в Вермонте. Передавалось русской службой Би-Би-Си в связи с циклом чтений из «Марта Семнадцатого». Текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Печатается впервые.

Интервью с Рудольфом Аугштайном для журнала «Шпигель» (9 октября 1987). — Происходило в доме писателя в Вермонте. Р. Аугштайн — главный редактор журнала «Шпигель». Опубликовано: «Der Spiegel» (Гамбург), 26.10.1987. Широко цитировалось в европейской и американской периодике. В русской эмигрантской прессе печатались отрывки в обратном переводе с немецкого. Полный русский текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Печатается впервые.

Интервью с Дэвидом Эйкманом для журнала «Тайм» (23 мая 1989). — Происходило в доме писателя в Вермонте. Дэвид Эйкман — один из ведущих сотрудников журнала «Тайм», в течение нескольких лет — глава его восточно-европейского бюро. Опубликовано: «Time», 24.7.1989. Тексту предпослана большая статья Пола Грея о жизни и работе А. И. Солженицына в Вермонте. Опубликовано в СССР в обратном переводе

с английского: «За рубежом», 1989, № 31; «Экспресс-хроника», 30.7.1989. Полный русский текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Печатается впервые.

Ответ главе российского правительства (23 августа 1990). — В середине августа 1990 средства массовой информации распространили сообщение о том, что глава правительства РСФСР приглашает А. И. Солженицына приехать и быть его гостем (см., например, «Письмо Председателя Совета Министров РСФСР И. Силаева писателю А. Солженицыну», «Советская Россия», 18.8.1990). Ответ И. С. Силаеву напечатан в ряде советских газет: «Комсомольская правда», 24.8.1990, «Советская Россия», 25.8.1990, и др.

Депутатам Рязанского горсовета (21 октября 1990). — Городской Совет депутатов, в остром противостоянии с областными властями, избрал А. И. Солженицына почётным гражданином Рязани. Сообщение об этом было послано телеграммой в Вермонт. Ответ Солженицына опубликован в газете «Рязанские вести», 26.11.1990.

Ответ Святославу Караванскому (27 октября 1990). — В отклик на раздел «Слово к украинцам и белорусам» из статьи А. И. Солженицына «Как нам обустроить Россию?» долголетний узник ГУЛАГа украинец Святослав Караванский написал «Открытое письмо Александру Солженицыну» («Русская мысль», 19.10.1990). Ответ писателя опубликован в «Русской мысли», 2.11.1990. В России текст впервые напечатан в журнале «Звезда», 1993, № 12.

Отказ от премии за «Архипелаг ГУЛаг» (11 декабря 1990). — Постановлением Совета Министров РСФСР о присуждении государственных премий 1990 года в области литературы, искусства и архитектуры А. И. Солженицын награждался премией за книгу «Архипелаг ГУЛаг» («Советская Россия», 11.12.1990). В тот же день Солженицын отказался от премии; текст письма опубликован в «Известиях», 12.12.1990, в «Советской России», 13.12.1990, ещё в ряде советских газет.

К жителям города на Неве (28 апреля 1991). — Написано к референдуму жителей Ленинграда о переименовании го-

рода. Опубликовано в газете «Смена» (Ленинград), 30.4.1991, в «Литературной газете», 8.5.1991, в «Московских новостях», 12.5.1991.

Рецензировать, но не передёргивать (12 августа 1991). — Реплика по поводу искаженного цитирования Л. М. Баткиным статьи «Как нам обустроить Россию?», приводящего к извращению смысла («Октябрь», 1991, № 4). Послано в «Октябрь», где и напечатано в № 10 за 1991 год.

Письмо Президенту Ельцину (30 августа 1991). — Написано в разгар событий после 19—21 августа 1991. Президент ответил в конце сентября, не затрагивая сути поднятых вопросов. Публикуется впервые.

Заявление для прессы (17 сентября 1991). — Генеральный прокурор СССР объявил 17 сентября о прекращении дела по статье 64 УК РСФСР («измена родине»), возбуждённого в 1974 году против Александра Солженицына: дело прекращено за отсутствием состава преступления. В тот же день информационные агентства широко распространили ответное заявление А. И. Солженицына. В России текст был напечатан в ряде газет; см., например: «Известия», 18.9.1991, «Правда», 19.9.1991.

Обращение (К референдуму на Украине) (7 октября 1991). — На территории бывшей Украинской ССР был назначен на 1 декабря 1991 года референдум о её суверенитете. А. И. Солженицын призвал к справедливому проведению референдума и отдельному подсчёту голосов по областям, имеющим разное историческое происхождение и состав населения. Текст напечатан в «Труде», 8.10.1991, в «Русской мысли», 11.10.1991, позже в журнале «Звезда», 1993, № 12.

Послу России в США В. П. Лукину (20 марта 1992). — В. П. Лукин — первый посол России в США после распада СССР. Между ним и А. И. Солженицыным завязалась переписка. Приводимое письмо напечатано впервые в «Литературной газете», 1.4.1992, вместе с ответом Лукина.

Телеинтервью компании «Останкино» (28 апреля 1992). — Первое телевизионное интервью, когда-либо взя-

тое у А. И. Солженицына российской телекомпанией. Снималось в Вермонте в доме писателя режиссёром С. С. Говорухиным, незадолго перед тем сделавшим документальный фильм «Так жить нельзя». Почти двухчасовой фильм-интервью «Александр Солженицын» демонстрировался телеканалом «Останкино» два вечера подряд, 2 и 3 сентября 1992. Вызвал большое количество откликов в отечественной и зарубежной прессе. Значительные фрагменты текста опублико-ваны в «Русской мысли», 11.9.1992. Полностью печатается впервые.

Ответное слово на присуждение литературной награды Американского Национального Клуба Искусств (19 января 1993). — Прочтено в английском переводе сыном писателя Игнатом Солженицыным на церемонии вручения премий в Клубе Искусств 19.1.1993. Опубликовано: «The New York Times Book Review», 7.2.1993; перепечатывалось во многих американских и европейских периодических изданиях. По-русски впервые: «Новый мир», 1993, № 4.

Ответ В. П. Лукину, послу России в США (4 марта 1993). — Письмо В. П. Лукина от 2 марта 1993 написано в преддверии очередного Съезда народных депутатов («мы опять у опасной черты... неужели ещё один поворот страшного российского колеса?»). Лукин размышляет о форме российской государственности, о поисках соглашения, о неготовности страны к принятию серьезной Конституции. А. И. Солженицын откликается на его «беспокойные мысли по поводу наших российских дел». Ответ Солженицына, вместе с письмом Лукина, опубликован в «Комсомольской правде», 10.3.1993, и в «Московских новостях», 14.3.1993. Переписка обильно цитировалась и получила большой отклик в американской и западно-европейской печати.

Интервью швейцарскому еженедельнику «Вельтвохе» (13 сентября 1993). — Первое из серии интервью, данных А. И. Солженицыным во время прощальной, перед возвращением в Россию, поездки по Европе в сентябре—октябре 1993. Опубликовано по-немецки: «Weltwoche» (Цюрих), 16.9.1993; перепечатано рядом европейских газет. Полный русский текст с оригинальной звукозаписи впервые напечатан в журнале «Звезда», 1994, № 6.

Интервью со Стигом Фредриксоном для шведского телевидения (16 сентября 1993). — Снято в Швейцарии, в Унтерэрендингене. Стиг Фредриксон, глава отдела новостей Стокгольмского телевидения, 20 лет назад был в Москве одним из тех западных корреспондентов, чья самоотверженная помощь опальному писателю описана в книге «Бодался телёнок с дубом» (Москва: Согласие, 1996; раздел «Невидимки», очерк «Иностранцы»). Часовая передача, озаглавленная «Тайные встречи в Москве», демонстрировалась в Швеции в начале октября. Газета «Известия» (6.10.1993) поместила подробный отчёт своего стокгольмского корреспондента о передаче. Полный русский текст печатается впервые.

Парижская встреча в прямом эфире. Телевизионная передача Бернара Пиво «Культурный бульон» (17 сентября 1993). — Передача шла в прямой эфир из телестудии 2-го канала французского телевидения вечером 17 сентября; вызвала много откликов во французской печати. По-русски пространный отчёт о передаче напечатан в «Известиях», 21.9.1993, отрывки — в «Московских новостях», 26.9.1993. Полный текст печатается впервые.

Из интервью газете «Фигаро» (19 сентября 1993). — Дано в Париже. Опубликовано: «Le Figaro» (Париж), 22.9.1993. По-русски, с сокращениями и в обратном переводе с французского, публиковалось в «Культуре», 9.10.1993, и в «Неделе», 1993, № 40. Для настоящего издания текст воспроизведен с оригинальной звукозаписи. Несколько сокращён за счёт повторов с другими интервью, данными в той же европейской поездке. Печатается впервые.

Из интервью журналу «Фокус» (7 октября 1993). — Дано в Мюнхене. Опубликовано: «Focus» (Мюнхен), 18.10.1993. Русский текст, соответствующий оригинальной звукозаписи, несколько сокращён за счёт повторов с предыдущими интервью. Печатается впервые.

Интервью немецкому еженедельнику «Ди Цайт» (8 октября 1993). — Дано в Мюнхене. Опубликовано: «Die Zeit» (Гамбург), 19.10.1993. По-русски, с сокращениями и в обратном переводе с немецкого, печаталось в «Культуре», 11.12.1993. Полный русский текст, воспроизведенный

с оригинальной звукозаписи, напечатан в журнале «Звезда», 1994, № 6.

Интервью для российских телезрителей (21 октября 1993). — Последнее интервью европейской поездки А. И. Солженицына, записано в Швейцарии (Унтерэрендинген). В. Кондратьев — боннский корреспондент телекомпании «Останкино». Демонстрировалось в России 24 и 26 октября. Сокращённый текст с видеозаписи напечатан в «Экспресс-хронике», 29.10.1993. Полный текст с магнитофонной записи, ведшейся во время интервью, напечатан в «Русской мысли», 28.10.1993.

Ответ Президенту Ельцину на поздравление с 75-летием (13 декабря 1993). — Поздравление было переслано писателю в Вермонт российским посольством в Вашингтоне. Ответ опубликован в «Российской газете», 15.12.1993.

Прощальное Слово в Кавендише (28 февраля 1994). — Произнесено на ежегодном городском собрании граждан Кавендиша в преддверии отъезда на родину. На такое же собрание семнадцать лет назад, 28 февраля 1977, писатель пришёл для встречи со своими новыми соседями. Вот выдержки из того первого обращения, никогда не публиковавшегося по-русски:

> *Граждане Кавендиша! Дорогие соседи! Я пришёл сюда для того, чтобы поздороваться с вами и поприветствовать вас. Мне уже скоро 60 лет, но за всю жизнь у меня никогда не было не только своего дома, но даже и определённого постоянного места, где бы я жил. Не зная советских условий, вы даже представить себе не можете... Я не имел возможности жить там, где было нужно для моей работы, а иногда мне не давали жить и с моей семьёй. В конце концов советские власти уже не терпели меня совсем и выслали из страны.*
>
> *Но определил Бог каждому человеку жить в той стране и среди того народа, где он родился. Как взрослое дерево при пересадке болеет, а иногда и умирает на новом месте, не приживаясь, так и человек не всегда может перенести изгнание и форменно болеет от него. Я хочу надеяться, что никому из вас не придётся испытать*

этого горького жребия — жить в чужой стране поневоле. На чужбине всё кажется не таким, не своим: человек испытывает постоянную тоску в тех обстоятельствах, когда другие живут нормально; и тебя все рассматривают как чужака.

Но вот получилось, что первый свой дом и своё первое постоянное жительство мне удалось избрать лишь тут у вас, в Кавендише, в Вермонте. Я очень не люблю больших городов с их суетой и с их образом жизни. Мне нравится уклад жизни здесь, ваш простой уклад, похожий на жизнь наших русских крестьян, только, конечно, они живут гораздо беднее, чем вы.

...Пользуясь сегодняшней нашей встречей, я хотел бы сказать и ещё два слова: просить вас никогда не поддаваться неправильному истолкованию, этой путанице слов «русский» и «советский». Вам сообщают, что в Прагу вошли русские танки и что русские ракеты с угрозой наставлены на Соединённые Штаты. На самом деле, это советские танки вошли в Прагу и советские ракеты угрожают Соединённым Штатам. Слова «русский» и «советский» сопоставлены так, как сопоставлены человек и его болезнь. Мы человека, больного раком, не называем «рак», и человека, больного чумой, не называем «чума», — мы понимаем, что болезнь — не вина, что это тяжёлое испытание для них. Коммунистическая система есть болезнь, зараза, которая уже много лет распространяется по земле... Мой народ, русский, страдает этим уже 60 лет и мечтает излечиться. И наступит когда-нибудь день — излечится он от этой болезни. И в тот день я поблагодарю вас за ваше дружеское соседство, за ваше дружелюбие — и поеду к себе на родину!

Прощальное Слово обильно цитировалось американской прессой. Полный текст, и русский и английский, опубликован Историческим Обществом города Кавендиша. В России печатается впервые.

Интервью журналу «Форбс» (16 апреля 1994). — «Форбс» (Нью-Йорк, выходит два раза в месяц, тираж — 800 тыс.) — крупнейший журнал предпринимателей и бизнесменов, который читают влиятельные люди не только в Америке и не

только в экономических кругах. Интервьюер Пол Хлебников — американец русского происхождения. Это интервью — последнее, данное А. И. Солженицыным на Западе, перед возвращением в Россию. В редакционном комментарии отмечено: «Вермонтского мудреца нелегко определить. Он не консерватор. Он не либерал. Он... Солженицын. ...Его исторический труд «Архипелаг ГУЛаг», вероятно, самый сильный аргумент против коммунизма, когда-либо опубликованный. ...Его знаменитая Гарвардская речь проникла в сознание, или, по меньшей мере, задела струну настолько, что американский народ избрал в 1980 Рональда Рейгана, который оживил, хотя бы на время, американскую демократию и так усилил нашу национальную безопасность, что это привело к развалу коммунизма.» Опубликовано: «Forbes», 9.5.1994. Первая публикация оригинального русского текста — в газете «Известия», 4.5.1994.

К русскому зарубежному изданию «Августа Четырнадцатого» (май 1971). — Написано в Москве. Опубликовано в июне 1971 в качестве послесловия к первому русскому изданию «Августа Четырнадцатого» (Париж: YMCA-press, 1971). Перепечатывалось в сокращённом виде в первых иноязычных изданиях «Августа Четырнадцатого». Сослужило роль первого обращения автора к эмигрантам по сбору материалов о войне и революции. В изгнании А. И. Солженицын сформировал из присланных воспоминаний Всероссийскую Мемуарную Библиотеку, которую, при своём возвращении в 1994, перевёз в Россию. Библиотека открыта для публики в Москве с 1996 года.

К выходу «Архипелага ГУЛага» (сентябрь 1973). — Написано в Москве, после того как КГБ захватило один из машинописных экземпляров книги. Текст напечатан в 1-м томе первого русского издания «Архипелага ГУЛага» (Париж: YMCA-press, 1973). В переводах печатался во всех первых иноязычных изданиях книги.

Предисловие к сборнику «Из-под глыб» (1973). — Написано в СССР в конце 1973, при подготовке книги к публикации. По-русски впервые напечатано: «Из-под глыб» (Париж: YMCA-press, 1974), под заголовком «От составителей». Перепечатывалось во всех иноязычных изданиях сборника. В СССР

впервые напечатано в книге «Из-под глыб» (Москва: Из глубин, 1990), затем отдельно («Независимая газета», 28.5.1991).

Невырванная тайна. Предисловие к книге Д* «Стремя „Тихого Дона"» (январь 1974). — Из последнего написанного автором в СССР до изгнания. По-русски впервые опубликовано при издании книги (Париж: YMCA-press, 1974). По-английски: «Times Literary Supplement», 4.10.1974. В России впервые — в первом отечественном издании (*И. Медведева (Д*)*. Стремя «Тихого Дона». Москва: Горизонт, 1993).

О книге Н. И. Кобозева «Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления» (май 1974). — Написано в мае 1974 в Цюрихе для предполагавшегося тогда на Западе английского издания книги профессора Кобозева (Москва: Изд-во Московского университета, 1971). Западное издание не состоялось. Текст впервые напечатан в 1983, в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 450 (*Александр Солженицын*. Собрание сочинений: В 20 т. Вермонт—Париж: YMCA-press, 1978—1991).

К публикации брошюры «Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов г. Петрограда. 18 марта 1918» (1975). — Эту редкую брошюру из своей библиотеки автор предложил опубликовать новому эмигрантскому журналу «Континент», снабдив её сопроводительным словом. Опубликована во 2-м номере журнала (1975). Соответствующие переводы — в иноязычных изданиях «Континента»; по-английски см.: Kontinent 2. (New York: Doubleday, 1977; London: Hodder & Stoughton, 1978).

К публикации двух лагерных стихотворений (1975). — Написано в Цюрихе. Опубликовано впервые в «Вестнике РХД», 1976, № 117 как предварение к двум стихотворным отрывкам, сочинённым и сохранённым в лагере, без бумаги, на память, — «На советской границе» (из поэмы «Дороженька», 1951) и «Россия?» (1952).

О книге И. Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории» (февраль 1976). — Написано в Цюрихе как предисловие к иноязычным изданиям книги. Опубликовано в американском издании: *Igor Shafarevich*. The Socialist Phe-

nomenon. New York: Harper & Row, 1980. Русский текст впервые опубликован, отдельно от книги, в «Вестнике РХД», 1977, № 121.

К американскому изданию третьего тома «Архипелага ГУЛага» (ноябрь 1977). — Написано в Вермонте, по просьбе американского издательства. Опубликовано в американском и английском изданиях: The Gulag Archipelago. New York: Harper & Row, 1978; London: Collins & Harvill, 1978. Русский текст впервые напечатан в 1983, в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 457.

К серии «Исследования новейшей русской истории» (ИНРИ) (1979). — Серия исторических исследований, основанная А. И. Солженицыным и выходящая под его общей редакцией, начала публиковаться в Париже в 1980; с 1995 переиздаётся и продолжается в России издательством «Русский путь». Предисловие написано в Вермонте. Опубликовано впервые в первом томе серии: *В. В. Леонтович.* История либерализма в России, 1762—1914 (Париж: YMCA-press, 1980). В России впервые напечатано в новосибирской газете «Северо-Восток», 1992, № 7, затем в журнале «Москва», 1994, № 2.

К русскому изданию книги В. В. Леонтовича «История либерализма в России» (1979). — Написано одновременно с предисловием ко всей серии «Исследований», напечатано впервые в русском издании книги, открывшей серию (см. выше). В России впервые напечатано в «Северо-Востоке», 1992, № 7, затем в журнале «Москва», 1994, № 2.

К китайскому изданию «Архипелага ГУЛага» (декабрь 1980). — Написано в Вермонте, по просьбе тайваньского издательства Taosheng Publishing House, к выходящему (в переводе с английского) китайскому изданию «Архипелага ГУЛага». Опубликовано в 1981 году. Русский текст впервые напечатан в 1983, в Вермонтском Собрании, т. 10, с. 464.

К русскому изданию книги Г. М. Каткова «Февральская революция» (1982). — Предисловие опубликовано вместе с книгой (Париж: YMCA-press,1984), четвёртой в серии «Исследований новейшей русской истории». В России

впервые — в «Северо-Востоке», 1992, № 7, затем в «Москве», 1994, № 2.

К серии публикаций Всероссийской Мемуарной Библиотеки (август 1983). — С 1983 года А. И. Солженицын начал издавать в парижском издательстве YMCA-press серию мемуаров «Наше недавнее» из собрания Всероссийской Мемуарной Библиотеки. Данный текст напечатан в 1-м выпуске серии: *Н. В. Волков-Муромцев.* Юность: От Вязьмы до Феодосии (Париж: YMCA-press, 1983). В России впервые — в журнале «Москва», 1994, № 2.

Предисловие к воспоминаниям четырёх советских военнопленных (декабрь 1986). — Предваряет 6-й и 7-й выпуски серии «Наше недавнее», призванные осветить «чёрную дыру отечественной истории». Опубликовано в 6-м выпуске: *Ф. Я. Черон.* Немецкий плен и советское освобождение. *И. А. Лугин.* Полглотка свободы (Париж: YMCA-press, 1987). В России напечатано впервые в «Северо-Востоке», 1992, № 7, затем в журнале «Москва», 1994, № 2.

Объяснение (к Русскому словарю языкового расширения) (1988). — Впервые напечатано при издании словаря (Москва: Наука, 1990); затем в журнале «Русская речь», 1990, № 3, и во втором издании словаря (Москва: Голос, 1995).

Колхозная полынь и гибель. Предисловие к сборнику документов В. П. Попова «Крестьянство и государство (1945—1953)» (май 1991). — Опубликовано в 9-й книге серии «Исследований новейшей русской истории» (Париж: YMCA-press, 1992). В России впервые напечатано в «Северо-Востоке», 1992, № 7, затем в журнале «Москва», 1994, № 2.

Некоторые грамматические соображения (1977—1982). — Многолетние наблюдения, обобщённые в основном при работе над текстами Вермонтского Собрания, где и опубликованы впервые в 1983 году (т. 10, с. 557). В России впервые напечатаны в журнале «Русская речь», 1993, № 2.

СОДЕРЖАНИЕ

НА ЗАПАДЕ (1982—1994)

ПРЕДИСЛОВИЯ (1971—1991)

Художественно-публицистическое издание

Александр Исаевич Солженицын

ПУБЛИЦИСТИКА

В трех томах

Том 3

СТАТЬИ, ПИСЬМА, ИНТЕРВЬЮ, ПРЕДИСЛОВИЯ

Составление и пояснения
Натальи Дмитриевны Солженицыной

Редактор Т. Н. Спирина
Художник В. Х. Янаев
Художественный редактор Т. А. Ключарева
Технический редактор В. М. Панфилова
Корректор Т. В. Чупина

ЛР № 010008 от 30.12.96.
Сдано в набор 28.05.97. Подписано в печать 18.11.97. Формат $84\times108^{1}/_{32}$.
Бумага кн.-журн. Гарнитура Школьная. Печать высокая. Усл. п. л. 29,4. Уч.-изд. л. 27,13.
Тираж 10 000 экз. (1-й завод 3200.) Заказ 374.

Издательство «Верхняя Волга»
Государственного Комитета Российской Федерации по печати.
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12.

ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.